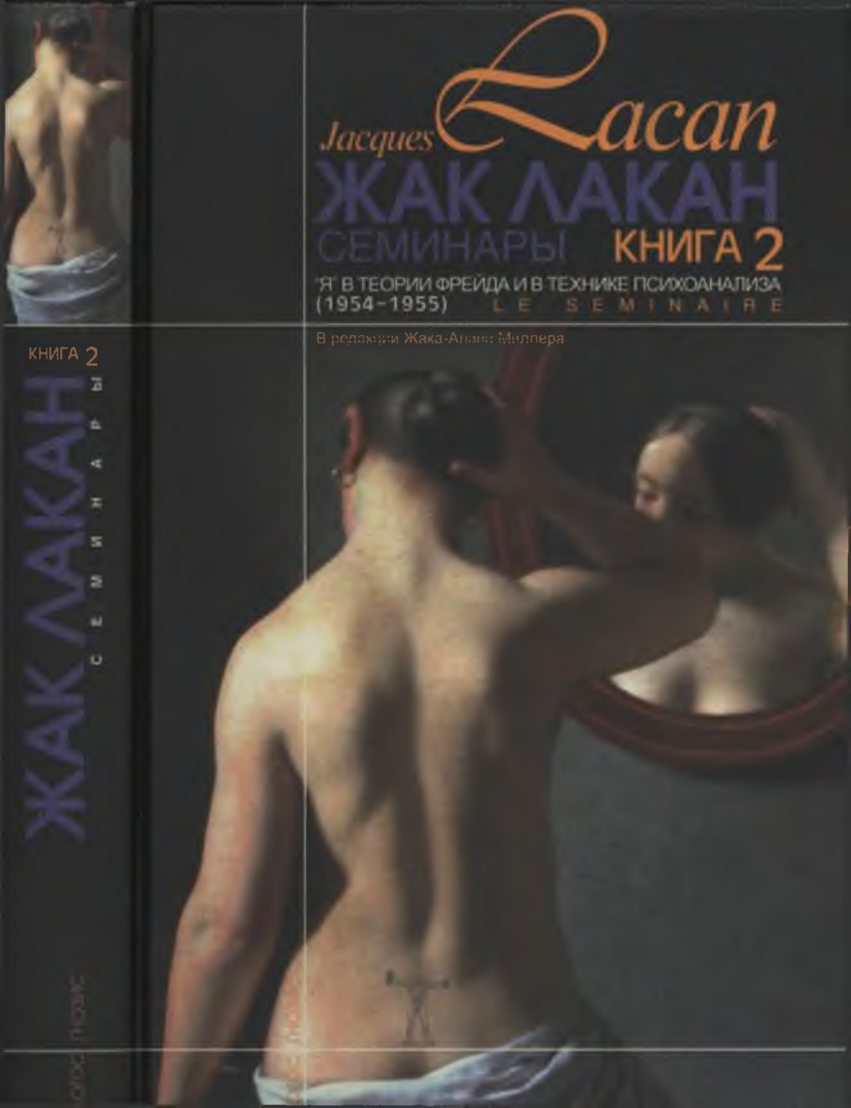

КНИГА 2
ЖАК ЛАКАН
СЕМИНАРЫ
Jacques Lacan
ЖАК ЛАКАН
СЕМИНАРЫ КНИГА 2
"Я" В ТЕОРИИ ФРЕЙДА И В ТЕХНИКЕ ПСИХОАНАЛИЗА
(1954–1955) LE SEMINAIRE
В редакции Жака-Алена Миллера

ЖАК ЛАКАН.СЕМИНАРЫ.**КНИГА2**

LE SEMINAIRE

LE MOI DANS LA THEORIE DE FREUD ET DANS LA TECHNIQUE DE LA PSYCHANALYSE

LIVRE 2 (1954–1955)

Texte établi par Jacques-Alain Miller

EDITIONS DU SEUIL
PARIS
1978

ЖАК ЛАКАН

СЕМИНАРЫ КНИГА 2

"Я" В ТЕОРИИ ФРЕЙДА И В ТЕХНИКЕ ПСИХОАНАЛИЗА

(1954–1955)

В редакции Жака-Алэна Миллера

ГНОЗИС/
/ЛОГОС

МОСКВА
2009

ББК 87.3
Л 86

Перевод с французского – *Александр Черноглазов*
Редактура перевода – *П. Скрябин* (Париж)

Координация проекта – *О. Никифоров,*
философский журнал ЛОГОΣ *(Москва)*

Лакан Ж.
Л 86 *"Я" в теории Фрейда и в технике психоанализа*
(Семинар, Книга II (1954/55)). Пер. с фр./ *А. Черноглазова.*
М.: Издательство "Гнозис", Издательство "Логос". 2009
(1-е изд: 1999). – 520 стр.

Дизайн серии – *Андрей Бондаренко*
Художественное формление – *А. Ильичев*

ISBN 5-8163-007-5
ISBN 5-8163-0037-7 (серия, т. II)

ВВЕДЕНИЕ

I
ПСИХОЛОГИЯ И МЕТАПСИХОЛОГИЯ

Истина и знание.
Когито зубных врачей.
Я (je) *– это не то же, что* [мое собственное] *Я* (moi),
субъект – не то же, что индивид.
Кризис 1920 года.

Здравствуйте, мои дорогие друзья, вот мы и встретились вновь.

Определить природу Я (moi) – задача, которая уведет нас очень далеко. Что ж, издалека мы, пожалуй, и начнем, и уже оттуда вернемся в центр, что как раз и выведет нас к этой дали.

Нашей темой в этом году будет "Я в *теории Фрейда и в технике психоанализа*". Но понятие *Я* имеет смысл не только в границах этой теории и этой техники, но и за их пределами – в этом-то и состоит вся сложность проблемы.

Понятие Я вырабатывалось испокон веков – вырабатывалось как так называемыми философами, знакомством с которыми мы ничуть не боимся себя скомпрометировать, так и обыденным сознанием. Короче говоря, о Я существует некое представление, условно, чтобы предварительно сориентироваться, назовем его доаналитическим, – представление, которое стремится уподобить себе то принципиально новое, что утверждает относительно этой функции теория Фрейда.

Это стремление уподобить себе и подвести, пусть даже ценой извращения первоначального смысла, под собственные категории, могло бы удивить нас, не будь фрейдовское понятие Я настолько революционным, чтобы заслуженно именоваться "коперниканским переворотом" – выражение, смысл которого приоткрылся нам уже в том прошлогоднем курсе, что и ляжет теперь в основу наших нынешних встреч.

Почти все полученные результаты будут теперь использованы нами в рассмотрении следующей фазы теории Фрейда. Теория эта и здесь останется нашей нитью Ариадны, – не забудьте, что семинар наш посвящен именно работе над текстами.

1

Новые перспективы, которые открыл Фрейд, призваны были упразднить предшествующие представления. Но несмотря на это, вследствие тысячи незаметных сдвигов и искажений, в использовании технических терминов произошло нечто такое, в результате чего понятие собственного Я вновь явилось на свет в облике, не только не отвечающем требованиям архитектоники фрейдовской теории как единого целого, но и обнаруживающем тенденцию – как это, кстати, открыто и признавалось, – растворить это знание в общей психологии, то есть, в данном случае, в психологии до-аналитической. Поскольку же теория и практика друг от друга неотделимы, то и аналитическое взаимодействие, сама направленность аналитической практики оказались смещенными. То, что происходит сейчас в технике психоанализа, ясно это демонстрирует.

Дело это остается очень загадочным. Но оно не трогало бы нас так сильно, когда бы речь шла просто-напросто о конфликте между различными школами – ретроградами и прогрессистами, птолемейцами и коперниканцами. В данном случае, однако, происходит нечто куда более серьезное. Речь идет о том, что анализ, эта высвобождающая, демистифицирующая человеческие отношения операция, с одной стороны, и свойственная человеку, во всяком случае современному человеку, фундаментальная иллюзия “пережитого на опыте”, с другой, вступили между собою в конкретное и весьма эффективое сообщничество.

Современный человек держится о себе представления отчасти наивного, отчасти же детально проработанного. Его убежденность в том, что он устроен таким-то и таким-то образом, сформирована в среде расплывчатых, общепринятых в его культуре понятий. Хотя он и способен вообразить, будто убеждение это является результатом естественной склонности, на самом деле оно активно внушается ему со всех сторон нашей сегодняшней цивилизацией. Мой тезис заключается в том, что техника Фрейда в ее первоначальном виде эту иллюзию, получившую над человеческой субъективностью вполне конкретную власть, преодолева-

ет. Вопрос, следовательно, можно поставить так: допустит ли психоанализ, чтобы его постепенно вынудили оставить то, что оказалось на мгновение приоткрыто, или, напротив, он вновь явит это еще рельефнее и в обновленном виде?

Поэтому-то мы и сочли полезным обратиться к определенным работам совершенно определенного стиля.

На мой взгляд, было бы неуместно распределять высказанные нами соображения по отдельным направлениям, в которых они развиваются. Так, к примеру, то, о чем рассказал нам в свой вчерашней лекции о функциях платоновского диалога, исходя из диалога *Менон* Александр Койре, вполне естественно укладывается в ход рассуждений, который предлагаем здесь мы. Вторничные лекции – справедливо именуемые внеочередными – как раз и служат тому, чтобы у каждого из вас кристаллизовались не имеющие пока ответов вопросы из областей, пограничных теме данного семинара.

Вчера вечером в нескольких словах своего краткого выступления я (в связи с преобразованием уравнений *Менона*) обратил особое ваше внимание на то, что можно назвать функцией истины в состоянии зарождения. Дело в том, что знание, с которым связана в своем зарождении истина, не может не обладать собственной инерцией – инерцией, в силу которой оно теряет нечто от того самого свойства, благодаря которому и начинает полагать себя как таковое; другими словами, оно выказывает явную склонность к игнорированию собственного своего смысла. Причем нигде деградация эта не выступает очевиднее, чем в психоанализе, и уже один этот факт свидетельствует о том, насколько важный выбор совершается в том месте, которое занимает психоанализ в определенного рода развитии человеческой субъективности.

Эта исключительная двусмысленность истины и знания заметна с самого начала – до самого начала нам, правда, никогда не добраться, но примем за начало (своего рода "начало координат") хотя бы Платона. Мы заметили эту двусмысленность вчера в *Меноне*, но с таким же успехом могли бы мы разглядеть ее и в *Протагоре*, о котором вчера речь не шла.

Кто такой Сократ? Это человек, впервые придавший че-

ловеческой субъективности стиль, из которого вышло понятие знания, отвечающего требованиям определенного рода связности, – знания, предшествующего любому прогрессу науки в качестве дисциплины экспериментальной. Что именно означает автономия науки по отношению к экспериментальному регистру, нам установить еще предстоит. Так вот, едва положив начало тому новому бытию-в-мире, которое я называю здесь субъективностью, Сократ немедленно обнаруживает, что к самому драгоценному, *арете* (добродетели), этому высшему совершенству, человеческому роду доступному, – вовсе не науке дано сообщить пути, способные к нему привести. Уже здесь возникает своего рода расцентровка: с одной стороны, именно эта добродетель открывает знанию поле деятельности, с другой стороны, в отношении передачи, наследования, воспитания ее, добродетель эта оказывается ему запредельна. И вместо того, чтобы отмахнуться от этого, поспешив уверить себя, что в конце концов все образуется, что перед нами сократовская ирония, что рано или поздно наука справится с этой проблемой задним числом, гораздо лучше подумать над этим уже сейчас. Тем более что до сих пор история не принесла нам на сей счет ничего утешительного.

Что со времен Сократа успело произойти? Множество разных вещей – в частности, явилось на свет понятие Я.

Когда что-то появляется на свет, что-то такое, что мы вынуждены признать новым, когда возникает другой порядок вещей, перед нами тут же открывается новая перспектива в прошлом и мы говорим себе: “Это никогда иначе и не могло быть, так испокон веков и было!” Разве не замечали мы в себе этой черты?

Возьмите, например, возникновение языка. Мы воображаем, будто был момент, когда на этой планете должны были начать говорить. Мы признаем, следовательно, что имело место некое возникновение. Но начиная с момента, когда возникшее, со структурой, ему присущей, нами усвоено, мы абсолютно неспособны, рассуждая о том, что ему предшествовало, обойтись без помощи символов, которые могли быть применимы всегда. Нам всегда представляется, будто то, что возникло вновь, существует во времени

неопределенно долго, простираясь за свои собственные границы. Мы не в силах мысленно упразднить этот новый порядок. Это можно утверждать о чем угодно, включая происхождение мира.

Точно так же не можем мы, когда думаем, обойтись без благоприобретенного нами в ходе истории регистра *собственного Я*, хотя и имеем порою дело со следами размышлений человека о себе самом в те эпохи, когда регистр этот как таковой активно не использовался.

В связи с этим нам кажется, что у Сократа и его собеседников уже было подспудно представление об этой центральной функции, что собственное Я уже выполняло у них, по-видимому, функцию аналогичную той, что принадлежит ему и теперь, – не только в теоретических размышлениях о себе, но и в спонтанном восприятии собственных стремлений, желаний, в различении своего и чужого, того, что мы признаем подлинным выражением собственной личности, и того, что мы отбрасываем как на ней паразитирующее. И нам очень трудно представить себе, что эта психология свойственна нам не испокон веков.

Правы ли мы? Задаться этим вопросом в любом случае стоит.

Задаться же им – значит попытаться обнаружить некоторый момент, в который понятие Я позволяет разглядеть себя как бы в состоянии зарождения. Для этого не надо идти так уж далеко – свидетельства перед нами еще вполне свежие. Достаточно вернуться в ту совсем недавнюю еще эпоху, когда в жизни нашей произошли такие серьезные сдвиги, что нам делается смешно, когда мы читаем сейчас в *Протагоре*, как некто, придя к Сократу, на возглас: "Эй, входите, кто там?", отвечает: "Это я, Протагор". Смешно потому, что происходит все, как Платон невзначай об этом упоминает, в полной темноте. Никто никогда не обращал на это внимания, потому что заинтересовать это может лишь людей, которые, вроде нас, вот уже по меньшей мере лет семьдесят пять как пользуются электрической лампочкой.

Загляните в литературу. Вы утверждаете, что хотя все это действительно свойственно людям думающим, у людей не думающих какое-то понятие об их собственном Я тоже

всегда, более или менее спонтанно, существовало. Но что вы-то об этом знаете? Ведь сами-то вы относитесь к людям думающим или, по крайней мере, наследуете людям, которые об этом думали. Впрочем, вместо того, чтобы от вопроса этого так легко отмахнуться, попробуем лучше в нем разобраться.

Люди того сорта, которых мы назовем, условно, "дантистами", твердо уверены в существовании миропорядка, поскольку полагают, что законы и процедуры ясного мышления изложены в *Рассуждении о методе* г-ном Декартом. Однако его *я мыслю, следовательно я существую* – фундаментальный принцип для всего, что относится к новой субъективности, – не так прост, как этим "дантистам" кажется, и находятся люди, готовые признать в нем чистой воды надувательство. Если правда, что сознание прозрачно для самого себя и осознает себя как таковое, то ясно, что *я* (je) не становится от этого для него прозрачнее. Оно не дано ему каким-то отличным от объекта способом. Восприятие объекта сознанием не дает ему немедленного представления о его свойствах. То же самое характерно и для восприятия сознанием *я*.

Другими словами, даже если *я* действительно предстает нам в акте рефлексии, где сознание прозрачно для себя самого как непосредственно данное, это вовсе не значит еще, что реальность эта – заключить о существовании которой уже само по себе немало – оказывается тем самым всецело исчерпана.

Соображения философского характера постепенно привели нас к чисто формальному понятию о собственном Я, больше того – они привили нам критическое отношение к этой функции. От идеи, будто собственное Я представляет собой субстанцию, человеческая мысль пока отказалась, рассматривая ее, скорее, как миф, подлежащий строгой научной критике. На законных основаниях или нет, неважно, мысль эта, в лице Локка, Канта и психофизиологов, которым – по своим, правда, причинам и с опорой на собственные предпосылки – ничего не оставалось, как за ними последовать, предприняла попытку увидеть в нем чистой воды иллюзию. Все они относились к функции *Я* с великим по-

дозрением, ибо в ней более или менее явно увековечивался субстанционализм, подразумеваемый в религиозном представлении о душе как субстанции, наделенной, по меньшей мере, свойством бессмертия.

Сколь поразительный фокус сыграла с нами история: стоило нам лишь на мгновение пренебречь той стороной учения Фрейда, которая знаменовала собой подрыв основ и в определенной традиции развития мысли может быть сочтена прогрессом, как мы немедленно оказались в той докритической эпохе, с которой философия давно рассталась!

В свое время мы, характеризуя учение Фрейда, назвали его *коперниканским переворотом.* Это не значит, что все некоперниканское непременно однозначно. Люди далеко не всегда представляли себе Землю эдакой бесконечной равниной, – порой они приписывали ей границы, а то и различные формы, скажем, дамской шляпки. Но в конце концов они пришли к мысли, что есть нечто, расположенное внизу – скажем, в центре, – и на нем как на основании строится остальной мир. Так вот, хотя мы плохо представляем себе, что мог думать о собственном Я современник Сократа, что-то должно было располагаться для него в центре, и не похоже, чтобы Сократ в этом сомневался. Вероятнее всего, это *что-то* мало напоминало то собственное Я, что берет свое начало где-то в середине XVI – первой четверти XVII века. Но и то, и другое лежали в основании, в центре. И вот по отношению к этому представлению открытие Фрейда и было коперниканским переворотом – центр оказался перенесенным. Смысл этого открытия неплохо выражает великолепная формула Рембо (хорошо известно, что поэты, которые не знают, что говорят, говорят, тем не менее, всегда первыми): "Я – это другой".

2

Только не поддавайтесь на эпатаж, не вздумайте бежать на улицу, крича, что *я это другой*, – это, поверьте, ни к чему хорошему не приведет. Более того, этим ведь ничего не сказано. Потому что сначала надо узнать, что же это такое, "другой". Не стоит этим термином слишком увлекаться.

У нас есть один старинный коллега, сотрудничавший немного в "Тан Модерн" (*Новое время*), который, как вы знаете, называют журналом экзистенциализма; так вот, однажды он огорошил нас заявлением, что для успешного прохождения психоанализа необходима способность воспринимать другого как такового. Нашелся умник! "А что вы имеете в виду, когда говорите: *другой*?" – сразу можно спросить у него. – "Другой – это кто: вам подобный, ваш ближний, идеал вашего Я или просто пустая лоханка? Разве они не все другие?" Бессознательное полностью ускользает из круга достоверных вещей, в которых человек узнает себя в качестве собственного Я, Именно вне этого круга существует нечто, имеющее полное право называться Я и демонстрирующее это право уже тем фактом, что именно заявляя о себе в качестве Я оно появляется на свет. Это и есть то самое, чего область собственного Я, всегда готового выдать себя в анализе за Я в собственном смысле слова, не желало знать.

Именно в этом регистре рельефнее всего выступает значение того, что сообщает нам о бессознательном Фрейд. То, что свою мысль он выразил с помощью термина "бессознательное", привело его к настоящим противоречиям *in adjecto*, когда ему пришлось говорить – он и сам это знал и (sic venia verbo!) не переставал за это извиняться – о бессознательных мыслях. Все это действительно было страшно неудобно, потому что в условиях языка общения той эпохи, когда он впервые стал формулировать свои идеи, он вынужден был исходить из представления, согласно которому все, из чего строилось собственное Я, принадлежало также и строю сознания. Но это далеко не очевидно. Если он порою и говорит так, то причиной тому был определенный ход философской мысли, которая в ту эпоху рассматривала *собственное Я* и *сознание* как две величины равноценные. Но чем дальше развивает Фрейд свою мысль, тем хуже удается ему определить сознанию его место, так что в результате он волей-неволей вынужден признать, что места сознанию решительно не найти. Выстраивается постепенно диалектика, в которой *я* уже не совпадает с собственным Я. В конце концов Фрейд сдается окончательно: здесь налицо – говорит он – условия, которые от нас пока ускользают;

только будущее покажет нам, в чем тут дело. В этом году мы как раз и попытаемся разобраться в том, какое место можем мы указать сознанию в предложенной Фрейдом функционализации.

Фрейд распахивает перед нами новую перспективу – перспективу, которая революционизирует изучение субъективности. В ней-то как раз и становится очевидным, что субъект с индивидом не совпадает. Различие это, которое я продемонстрировал вам вначале в субъективном плане, не менее ощутимо – что с научной точки зрения имеет, пожалуй, решающее значение – и в объективном плане.

Если мы встанем на точку зрения бихевиористов и рассмотрим все то, что в животном по имени "человек", в индивиде, взятом как организм, нам дано объективно, то мы обнаружим ряд свойств, перемещений, маневров, взаимоотношений и по организации этих способов поведения как раз и станем судить о том, насколько далеко способен индивид отклониться от прямого пути, чтобы достичь вещей, которые по определению считаются его целями. Тем самым мы составим себе представление о развитии его связей с внешним миром, определим степень его разумности, установим уровень, шкалу, на которой сможем измерить степень совершенствования, или *арете*, его рода. Так вот, то новое, что принес нам Фрейд, заключается в следующем: вся та работа субъекта, о которой мы сейчас говорили, отнюдь не направлена по оси, продвижение вдоль которой совпадало бы с ростом разумности, достоинств, совершенства индивидуальной особи.

Фрейд уверяет нас, что субъект – это не разум его, он лежит на другой оси, он разуму эксцентричен. Субъект как таковой, то есть функционирующий в качестве субъекта, представляет собой нечто иное, нежели адаптирующийся к внешней среде организм, и все поведение его говорит – для того, кто умеет его голос расслышать – совсем из другого места, нежели та ось, которая видна нам, когда мы рассматриваем этот субъект как функцию индивида, т. е. как обладающего определенным набором интересов, базирующихся на идее индивидуальной *арете*.

Попробуем держаться пока этой топологической ме-

тафоры – субъект децентрирован по отношению к индивиду. Фраза "Я – это другой" заключает в себе именно этот смысл.

В какой-то степени мысль эта просматривается уже на полях центральной картезианской интуиции. Стоит вам, читая Декарта, снять очки дантиста, как вы немедленно обнаружите у него ряд загадок, одна из которых касается, в частности, так называемого *Бога-обманщика*. Дело в том, что, беря на вооружение понятие собственного Я, вы волей-неволей подразумеваете, что где-то передернуты карты. В конечном счете, Бог-обманщик – это способ реинтеграции того, что было отвергнуто, эктопия.

В это же самое время один из вольнодумцев, посвятивших себя упражнениям в салонном красноречии (именно там, в салонах, происходят порою поразительные вещи, и в пустячных развлечениях обнаруживается новый порядок явлений), – странный тип, нисколько не отвечающий ходячим представлениям о классике, по имени Ларошфуко, решил ни с того ни с сего поведать нам нечто удивительное о предмете, до тех пор особого интереса не вызывавшем, – о самолюбии. Забавно, что сказанное им показалось таким уж скандальным, – ведь что он, собственно, говорил? Он всего-навсего обратил внимание на тот факт, что даже самые, на первый взгляд, незаинтересованные наши поступки совершаются ради славы – в том числе и те, где нами движет страстная любовь или желание творить добродетель в самой глубокой тайне.

Но что же в точности он утверждал? Утверждал ли он, что мы все делаем лишь ради удовольствия? Это очень важный вопрос, потому что у Фрейда вокруг него-то все и построено. Если бы Ларошфуко хотел сказать только это, он бы лишь повторил то, что все философские школы твердили *испокон веку*, – конечно, на самом деле ничего не происходит испокон веку, но вы прекрасно понимаете, что я в данном случае имею в виду. Со времен Сократа люди считают, что удовольствие – это преследование своего блага. Что бы человек ни думал, он стремится к удовольствию, он преследует свое благо. Вопрос лишь в том, является ли конкретный образец человеческой породы, с присущими ему здесь и те-

перь поведенческими реакциями, достаточно разумным, чтобы свое подлинное благо распознать, и если он понимает, где это благо лежит, он получает и удовольствие, которое из него непременно следует. Бентам развил эту теорию до самых крайних ее последствий.

Но Ларошфуко обращает внимание совсем на другое – на то обстоятельство, что, совершая поступки якобы незаинтересованно, мы воображаем, будто отказываемся от непосредственного удовольствия и стремимся к благу высшего порядка, но что при этом мы обманываемся. В этом-то и заключено новое. Это вовсе не общая теория, уверяющая нас, будто всеми человеческими функциями правит эгоизм. Подобная мысль есть уже у святого Фомы в его физической теории любви, которая гласит, что субъект ищет в любви своего собственного блага. Правда, святому Фоме, лишь повторяющему здесь сказанное за много веков до него, возражал некто Гийом де Сент-Амур, утверждавший, что любовь к поискам собственного блага сводиться не может. Скандальным же является у Ларошфуко не то, что самолюбие кладется им в основание любого человеческого поведения, а то, что оно оказывается обманчивым, неподлинным. Нашему *эго* оказывается свойственным некий гедонизм, и вот он-то как раз нас и обманывает, лишая одновременно как непосредственного удовольствия, так и удовлетворения, которое мы могли бы испытать от сознания собственного превосходства над ним. Здесь впервые происходит разделение планов, в картине появляется глубина, которая, словно в эффекте двойного в*и*дения, диплопии, раскрывает нам глаза на то, что предстает как обособление плана реального.

Концепция эта вписывается в традицию, параллельную традиции философской, – традицию моралистов. Моралисты – это не те люди, которые на морали специализируются, а те, кто рассматривает моральное поведение или нравы в перспективе того, что называют *истиной*. Традицию эту венчает *Генеалогия морали* Ницше, которая все еще целиком лежит в той, некоторым образом отрицательной, перспективе, где все человеческое поведение предстает как сплошное заблуждение. Вот в эту-то полость, в этот сосуд, и льется струя Фрейдовой истины. Да, вы за-

блуждаетесь, но истина существует, просто она в другом месте. И Фрейд говорит нам, где именно.

То, что внезапно, как удар грома, врывается в этот момент – это сексуальный инстинкт, либидо. Но что это такое – сексуальный инстинкт? А либидо? А первичный процесс? Вы полагаете, что вам это известно, – я тоже, но это вовсе не значит, что мы так уж в этом уверены. Вопросы эти стоит изучить повнимательнее – именно этим мы в нынешнем году и займемся.

3

Что мы имеем на сегодняшний день? Теоретическую какофонию, поразительную смену точки зрения. А почему? Да в первую очередь потому, что написанные Фрейдом после 1920 г. работы по метапсихологии первым и вторым поколением после Фрейда – людьми не его калибра – были неверно прочитаны и истолкованы в совершенно бредовом духе.

Почему Фрейд вообще счел своим долгом ввести эти новые, известные под именем топических, метапсихологические понятия: *я, сверх-я, оно*? Все дело в том, что в опыте, выросшем вследствие его открытия, возник поворотный момент, конкретный кризис. Состоял он, собственно говоря, в том, что новое *я*, с которым предстояло вести диалог, отказалось, по истечении определенного времени, отвечать.

Кризис этот с несомненностью выступает в исторических свидетельствах, относящихся к периоду между 1910 и 1920 гг. Сразу после первых психоаналитических открытий субъекты исцелялись едва ли не чудесным образом – мы до сих пор чувствуем это, вчитываясь в наблюдения Фрейда, их ослепительные истолкования и объяснения, которым не видно конца. Но факт остается фактом: дело постепенно шло все хуже и хуже, и с течением времени результаты стали куда скромнее.

Это как раз и позволяет думать, что я в какой-то степени прав, указывая вам на существование субъективности как таковой и на то, что в изменениях своих с течением времени она следует некоей причинности, некоей свойственной

ей диалектике, которая переходит от одной субъективности к другой и не подвержена, по-видимому, какому бы то ни было индивидуальному влиянию. В этих условных единицах, в силу их частных особенностей, именуемых *субъективностями*, что-то происходит, что-то замыкается, что-то сопротивляется – что же именно?

Так вот, именно в 1920 г., то есть после поворотного момента, о котором я только что сказал, после наступившего в аналитической технике кризиса, Фрейд и находит нужным ввести в оборот свои новые метапсихологические понятия. И если внимательно почитать, что пишет Фрейд начиная с 1920 года, станет ясно, что между кризисом техники, который предстояло преодолеть, и созданием этих новых понятий существует самая тесная связь. Но для этого нужно читать его работы, причем желательно в том порядке, в котором они были написаны. Сам факт, что *По ту сторону принципа удовольствия* написана прежде *Коллективного психоанализа и анализа собственного Я* и прежде *Я и Оно*, вызывает у нас кое-какие вопросы, которые до сих пор никто перед собой не ставил.

То, чем пользуется Фрейд начиная с 1920 г., – это дополнительные понятия, необходимые в то время для того, чтобы сохранить принцип децентрации субъекта в неприкосновенности. Но вместо того, чтобы понять учителя как следует, ученики подняли радостный гвалт: "Ура! Вот мы и встретились! Наше маленькое да удаленькое *я* снова с нами! Мы возвращаемся на стези общей психологии!" Да и как туда с радостью не вернуться, если пресловутая общая психология эта – не просто удобство, а психология всех и каждого? Открылась новая возможность уверовать в то, что "мое Я" находится в самом центре, – вот чему все обрадовались! И гениальные измышления, вести о которых ныне доносятся до нас с другого берега океана, служат последним тому подтверждением.

Господин Гартман, этот херувим психоанализа, принес нам благую весть, которая позволит нам, наконец, спать спокойно, – весть о существовании *автономного эго*. То самое *эго*, которое с момента фрейдовского открытия всегда рассматривалось как источник конфликтов, которое даже

будучи определено как связанная с реальностью функция не переставало считаться чем-то таким, чье покорение протекает подобно покорению реальности, драматично, – неожиданно возвращается нам в качестве некоей центральной данности. Какой же внутренней необходимости отвечает побуждение утверждать, будто должно где-то существовать *autonomous ego*?

Убежденность эта выходит за рамки индивидуальной наивности субъекта, который “верит в себя”, то есть верит, будто он это он и есть, – сумасшедствие весьма распространенное, но не полное, так как относится к области верований. Ясно, что тенденция верить в то, что мы это мы, есть у нас всех. Но присмотритесь-ка получше – разве так уж прочно мы в этом уверены? В очень многих и совершенно конкретных обстоятельствах у нас возникают на сей счет сомнения, хотя мы и не перестаем при этом чувствовать себя личностью. Так что вовсе не к этому наивному верованию собираются нас обратить. Речь идет о явлении, собственно говоря, социологическом, когда анализ выступает как техника или, если хотите, церемониал – своего рода священнодействие, принятое в определенном социальном контексте.

Зачем понадобилось вновь заявлять о трансцендентной реальности автономного эго? Если присмотреться поближе, окажется, что речь идет об *эго* у разных индивидов различных, – *эгалитарным* тут и не пахнет. Мы возвращаемся к опредмеченным представлениям, согласно которым мало того, что индивиды существуют как таковые, но одни существуют при этом больше, чем другие. Именно такими представлениями заражены, более или менее явно, те понятия “сильного я” и “слабого я”, к которым прибегают ныне, чтобы уйти от проблем, связанных как с пониманием неврозов, так и с правильным использованием аналитической техники.

В свое время и на своем месте мы к этому еще вернемся.

Итак, мы продолжим в текущем году изучение и критику понятия собственного Я в теории Фрейда и уточним смысл этого понятия в свете фрейдовского открытия и психоаналитической техники. Параллельно мы займемся изучением

некоторых современных выводов из этого понятия, связанных с определенным способом психоаналитического рассмотрения отношений между индивидами.

Фрейдовская метапсихология возникла не в 1920 году. Она налицо у Фрейда с самого начала – смотрите сборник его первых ученых работ, переписку с Флиссом, метапсихологические работы того же периода – и развивается им в конце *Толкования сновидений*. Между 1910 и 1920 гг. следы ее тоже достаточно заметны, в чем у вас была возможность убедиться на наших семинарах прошлого года. Начиная с 1920 г. мы вступаем в то, что можно назвать последним метапсихологическим периодом. *По ту сторону принципа удовольствия* является первым текстом этого периода и играет в нем ключевую роль. Он же является и наиболее трудным. Нам не удается немедленно разгадать все его тайны. Но что же делать, если произошло все именно так – Фрейд написал этот текст до того, как успел разработать свою топику. И потому откладывая его изучение до тех времен, пока мы не разобрались хорошенько – или не вообразили, будто разобрались, – в работах, за ним последовавших, мы рисковали бы совершить немало самых серьезных ошибок. Так и получается, что у большинства аналитиков словно язык отнимается, когда речь заходит о знаменитом *инстинкте смерти*.

Я попросил бы, чтобы кто-нибудь – Лефевр-Понталис, например, – любезно согласился прочесть *По ту сторону принципа удовольствия* и представить эту работу нашей аудитории.

17 ноября1954 года.

II
ЗНАНИЕ, ИСТИНА, МНЕНИЕ

Психоанализ и его понятия.
Истинное, недоступное связанному знанию.
Форма и символ.
Перикл-психоаналитик.
Программа года.

При нашей последней встрече я вкратце посвятил вас в проблему, которой рассчитываю заняться вместе с вами в этом году, – проблеме собственного Я в теории Фрейда.

Понятие это не идентично соответствующему понятию традиционной классической теории, хотя и наследует ему, – вследствие того, что в классическое понятие при этом привносится, собственное Я приобретает во фрейдовской перспективе совершенно иное функциональное значение.

Я уже упоминал о том, что теоретическим понятие *собственного Я* стало не так давно. Во времена Сократа его понимали совсем не так, как сегодня, – откройте книги, и вы убедитесь, что термин этот в них начисто отсутствует. Но мало того, на деле – в самом прямом смысле этого слова – собственное Я выполняло тогда совершенно иную функцию.

Произошедшие с тех пор изменения перспективы перевернули традиционные понятия о том, что может составить благо для, скажем, индивида, субъекта, души, да вообще для чего угодно. Начиная с определенной эпохи, представление о едином благе как совершенстве, или *арете*, которое поляризует или ориентирует становление индивида, стало казаться подозрительным. Я уже продемонстрировал вам, насколько мысль Ларошфуко в этом отношении показательна. Откройте маленький сборник его афоризмов – буквально ни о чем. В удивительной салонной игре, свидетелями которой вы станете, вы почувствуете своего рода пульсацию, а точнее – мгновенную регистрацию работы сознания. Это момент рефлексии, который характерен именно своей активностью, хотя непонятно еще, на что именно открывает он нам глаза, – идет ли речь о конкретном и крутом повороте в отношении человека к себе самому или всего-навсего об осознании,

о познании чего-то такого, чего раньше не замечали.

Психоанализ совершил в этом отношении поистине коперниканский переворот. С открытием Фрейда все отношение человека к себе самому предстало в совершенно иной перспективе, на чем наша повседневная аналитическая практика как раз и построена.

Вот почему в прошлое воскресенье все вы стали свидетелями того, насколько категорично отвергаю я попытку вновь слить психоанализ с общей психологией. Идея однолинейного, предустановленного индивидуального развития, проходящего один за другим чередующиеся в заданной типической последовательности этапы, есть не что иное, как чистой воды маскировка, подмена, оставление, нарочитое игнорирование, вытеснение, наконец, всего того, что составляет в анализе самую суть его!

Попытка синкретизма, о котором идет речь, исходила от единственного сторонника этой тенденции, который способен выражать свои мысли связно. И вы могли самостоятельно убедиться, как сама логика речи вынудила его признать, что *аналитические понятия не имеют ни малейшей ценности, они не соответствуют реальности*. Но как же можем мы этой реальностью овладеть, если мы не означим ее с помощью имеющихся у нас в распоряжении слов? Допустим, что, продолжая это делать, мы остаемся в убеждении, что словарь наш лишь сигнализирует нам о лежащих за словами вещах, что он представляет собой лишь набор маленьких этикеток, обозначений, плавающих в безымянной стихии повседневного аналитического опыта. Но если это так, то это означает лишь одно – что нам надо создать новый словарь, то есть заняться не психоанализом, а чем-то другим. Если психоанализ не представляет собой набора понятий, в которых он формулируется и передается, то это не психоанализ, это что-то другое, но тогда об этом надо сказать открыто.

Мошенничество же заключается в том, что аналитики, конечно же, благополучно продолжают своими понятиями пользоваться, так как без этого весь их опыт бесследно бы растворился, – я, впрочем, не утверждаю, что у тех из них, что позволяют себе окончательно свести психоанализ к об-

щей психологии, дело не происходит именно так. Но понятия психоанализа покуда стоят твердо, и только благодаря этому психоанализ еще живет. Другие аналитики ими пользуются, не могут не пользоваться, но делают это так, что использование это несвязно, невразумительно, не способно ни объяснить себя, ни научить себя, ни даже себя защитить. И потому когда такие аналитики ведут диалог с другим специалистами, скажем, психиатрами, то они прячут свой словарь в карман, заявляя, что в аналитическом опыте, мол, важно вовсе не это, а обмен сил, то есть область, в которую вам лучше бы не совать носа.

Имя Менона фигурировало в преамбуле к нашему лекционному курсу совсем не напрасно. Значение этого персонажа – во всяком случае для здесь собравшихся и прилагающих усилия, чтобы меня понять, – в его типичности. Ведь кто-кто, а эти люди не способны разделить заблуждение тех, кто, как мне стало известно, решил, будто Менон – это анализируемый, несчастный анализируемый, которого мы, якобы, давеча высмеивали. Нет, Менон – это не анализируемый, это аналитик, это воплощение большинства аналитиков.

Мне не хотелось бы, чтобы пропало втуне все то, что при нашей встрече с Александром Койре осталось недоговоренным. Я знаю, что то была наша первая встреча и что завязать диалог всегда нелегко. Это целое искусство, своего рода майевтика. Некоторые из тех, кому было что сказать, сделали это лишь в кулуарах. Мы не можем претендовать на то, чтобы исчерпать содержание платоновского диалога за один вечер. Важно, что тема остается животрепещущей и открытой.

Было бы жаль, тем не менее, если бы то, что сказал мне после той лекции Октав Маннони, не было предложено нашему общему вниманию. Помнит ли он до сих пор то, что пришло ему в голову после моего собственного выступления по поводу функции *orthodoxa*? Потому что, по правде говоря, в этом *orthodoxa* есть какая-то загадка.

1

Маннони: – *Что поразило меня в ходе мыслей г-на Койре, это прежде всего почти спонтанная тенденция непосредственного уподобления платоновского диалога и сократической майевтики психоанализу. Вот против этого-то слишком прямого уподобления я и хотел бы возразить, заметив, что для Платона существует некая забытая истина, а мотивировка, искусство спора, состоит в том, чтобы эту истину обнаружить, так что диалог представляет собой смесь заблуждения и истины, а диалектика – своего рода сито для отсеивания истины. Анализ же имеет дело с истиной другого рода, с истиной исторической, в то время как у Платона истина оказывается в какой-то мере подобной истине в естественных науках. Поразительно, что бессознательным можно, оказывается, называть с равным успехом то забытый язык, как это делает Эрих Фромм, то фундаментальный язык, как это делает председатель суда Шребер, другими словами, – то мудрость, то безумие. Таким образом, если что-то выявляется в аналитической майевтике, то это истина в заблуждении и заблуждение в истине. С происходящим в платоновской перспективе это не имеет ничего общего. Я полагаю также, что Койре сближает* orthodoxa *с тем, что соотвествует у народов на ранней ступени развития бытовым обычаям. В результате действительно может оказаться, что люди, этим обычаям следующие, – такие, как Менон и особенно Анит, – могут перед лицом эпистемологического исследования почувствовать себя в опасности. И не исключено, что подобного рода конфликт возникает и в анализе, когда человек, уверенный в происходящем, опасается того, что может произойти, если поставить его действия под вопрос.*

Лакан: – Совершенно верно – не только г-н Койре, но и многие другие проявляли, пожалуй, излишнюю настойчивость, сравнивая менононовский диалог с аналитическим опытом.

Теперь, что касается истины, – посмотрите внимательно, какова цель *Менона. Менон* показывает нам, как можно извлечь истину из уст раба, то есть любого человека вообще, демонстрируя тем самым, что любой человек является обладателем вечных форм. Ведь если опыт нынешний предполагает припоминание, а припоминание представляет собой фактически опыт жизней предшествовавших, то и этот опыт не мог в свое время обойтись без помощи припоминания. Регрессия эта, по идее, может продолжаться бесконечно, что и свидетельствует нам, что на самом деле речь

идет о связи с вечными формами. Пробуждение в субъекте этих форм и объясняет переход от невежества к знанию. Другими словами, нельзя узнать ничего такого, чего ты уже не знаешь. Но цель *Менона* заключена, собственно говоря, не в этом.

Цель и парадокс *Менона* состоят в доказательстве того, что эпистема, т. е. знание, связанное требованиями формальной связности, не покрывает собой всего поля человеческого опыта и что не существует, в частности, эпистемы того, в чем осуществляется совершенство, *арете* этого опыта.

Что касается этих связей, то я заранее предупреждаю вас, что, читая *По ту сторону принципа удовольствия*, нам предстоит разобраться в том, что они собой представляют.

Особое значение приобретает в этом диалоге не столько тот факт, что Менон не знает, что говорит, сколько тот факт, что он не знает, что говорит по поводу добродетели. А происходит это оттого, что он был у софистов нерадивым учеником – он не понял, чему именно могут они его научить, а научить они могут его не доктрине, которая все объясняет, а использованию искусства речи, что совсем другое дело. До какой степени нерадивым учеником он был, становится ясно, как только он заявляет, что *будь, мол, здесь Горгий, он бы все объяснил. Против того, что сказал Горгий, вам было бы нечего возразить.* Система всегда в ком-то другом.

Что касается Сократа, то особое значение приобретает для него как раз то, что у добродетели, и в первую очередь у той, что и у нас, и у древних считалась добродетелью по преимуществу, – у добродетели политической, эпистемы нет. Блестящие, выдающиеся практические деятели, такие, как Фемистокл и Перикл, отнюдь не демагоги, в политическом правлении, этой высшей сфере деятельности, руководствуются той самой ортодоксией, которую мы как раз и охарактеризовали тем, что в ней имеется нечто истинное, но в то же время недоступное формально упорядоченному знанию.

Orthodoxa переводится как правое, истинное мнение, и в этом весь смысл.

Если построение – внутри вселенского шума, гула, хаоса и суматохи софистики – *эпистемы* действительно являет-

ся функцией Сократа, остается понять, чего он сам от этого ждет. Потому что Сократ вовсе не считает, что на этом все и кончается.

Многое следовало бы сказать и о том, на что Сократ опирается. Ведь его дилектика всегда отсылает нас к различным техникам или искусствам – хотя он, конечно же, не делает из них какой-то всеобщей модели, прекрасно понимая разницу между такими, скажем, искусствами, как навигация, судостроение, медицина, с одной стороны, и высшим искусством тех, кто управляет государством, с другой. И в *Меноне* он точно указывает нам, где эта трещина пролегает.

Ипполит: – *Вы немного уклоняетесь от вопроса Маннони.*

Лакан: – Я не уклоняюсь от него. Я давно хожу вокруг да около. Вы согласны с тем, что я сейчас высказал?

Ипполит: – *Я жду, что вы скажете дальше. Мне кажется, что Маннони только что сформулировал фундаментальное различие между платоновским диалогом и диалогом в психоанализе.*

Лакан: – Формулировку эту я целиком принимаю, и никакой связи здесь нет.

Ипполит: – *Я полагаю, что различие это в крайних его проявлениях можно обойти. И мне интересно, не это ли самое вы попытаетесь сделать. Я ждал, что последует.*

Лакан: – Еще увидите.

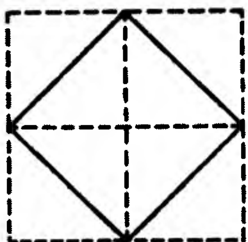
Сплести петлю непросто. Дело в том, что наша эпистема ушла в развитии так далеко, что построена теперь совсем иначе, нежели эпистема Сократа. Нельзя, тем не менее, закрывать глаза на то, что, хотя в основании ее и лежит форма экспериментальной науки, эпистема и теперь, как во времена Сократа, остается по сути своей определенной связностью дискурса. Важно лишь понять, что за этой связностью стоит, какого рода связи она содержит. Именно термин связи и окажется в центре большинства тех вопросов, которые возникнут здесь в связи с тем, что я попытаюсь объяснить вам относительно *эго*.

Прежде чем зажечь окончательно мой фонарь, я сделаю еще одно замечание. Желая дать Менону пример того, как строится научный дискурс, и показать ему, что в многознании нужды нет, что не следует воображать, будто от-

веты можно найти в речах софистов, Сократ говорит ему: – *Вот, я беру первое же человеческое существо, которое находится здесь, с нами, этого раба, и ты сам убедишься, что он знает все. Его просто надо разбудить.* Перечитайте теперь внимательно, как именно помогает он рабу найти истину, о которой идет речь, – как удвоить площадь квадрата, зная, что стороне его соответствует определенное количество единиц поверхности, находящихся по отношению к этой стороне в определенной пропорции.

Так вот, несмотря на весь багаж знаний, приобретенных им в предыдущей жизни, раб начинает с того, что совершает ошибку. Ошибается он, совершенно правильным образом используя то, что лежит в основе наших тестов на интеллект, – он исходит из тех самых отношений эквивалетности типа A/B = C/D, к которым разум чаще всего и прибегает. Применяя соответствующую математически процедуру, он и приходит к ложному выводу, будто, удваивая сторону, мы удваиваем тем самым и площадь.

Используя фигуру, нарисованную на песке, Сократ объясняет ему, что это не так.



Раб прекрасно видит, что площадь квадрата, построенного на удвоенной стороне квадрата со стороной 2, в два раза больше, чем та, что он хотел бы получить, и составляет16, а не 8. Но в решении проблемы это не подвигает его ни на шаг – и уже сам Сократ объясняет ему, что отнимая четыре угла большого квадрата, мы уменьшаем его ровно вдвое, то есть на 8 единиц, и что внутренний квадрат, площадью в оставшиеся 8 единиц, дает, таким образом, решение проблемы.

Разве вы не видите теперь, что между интуитивным элементом и элементом символическим пролегает трещина? Результата удается достичь, прибегая к представлению о числах, о том, что 8 составляет половину шестнадцати. Мы

вовсе не получаем в итоге 8 квадратных единиц. У нас в центре четыре единицы площади и еще иррациональный элемент, корень из двух, который не дан нам в интуитивной плоскости. Налицо, таким образом, переход из плоскости интуитивной связи в плоскость связи символической.

Демонстрацию эту, представляющую собой пример перехода от воображаемого к символическому, проводит, конечно же, господин. Именно Сократ приводит аргумент, что 8 составляет половину 16. Раб же, со всем своим припоминанием и со всей своей разумной интуицией, усматривает, если можно так выразиться, верную форму лишь с того момента, как ему на нее укажут.

Здесь мы своими глазами видим, как от плоскости воображаемого, или интуитивного – где активную роль играет припоминание, то есть тип, вечная форма, то, что можно назвать еще интуициями *a priori*, – отслаивается совершенно неоднородная с ней символическая функция, введение которой в реальность является актом насильственным и искусственным.

Я хотел бы поинтересоваться у присутствующего здесь математика, месье Риге, не кажутся ли ему спорными высказанные мною соображения?

Риге: – *Я с вами совершенно согласен.*

Лакан: – Я все-таки чувствую себя увереннее, когда математик со мной согласен.

Вы видите, таким образом, что функция, которая выступает здесь как порождающая по отношению к тем связям, которым Сократ придает значение внутри эпистемы, понуждает нас всерьез задуматься о значимости изобретения Символического, о возникновении речи. В истории геометрии наступает момент, когда появляется $\sqrt{2}$. До этого люди ходят вокруг да около. Оглядываясь назад, мы можем утверждать, что египтяне и индийские геометры о нем догадывались и знали, как с ним обращаться. Умеет это делать и Сократ, ухитряющийся там, на песке, начертить фигуру, ему равнозначную. Но самостоятельность величины $\sqrt{2}$ в диалоге никак не выявлена. Будучи выяснена, она породит массу вещей, целую область математики, где рабу уже вовсе не будет места.

Ипполит: – *Вы показываете, таким образом, что у Платона любое изобретение, стоит ему увидеть свет, оказывается порождающим собственное прошлое, предстает открытием вечной истины. По сути дела, мы совращены с этого пути христианством, под влиянием которого локализуем вечные истины как предшествующие во времени, между тем как платонизм, последовательнее держась тенденции, которую можно назвать историчностью, показывает, что изобретение символа, будучи сделано, сразу же предстает как вечное прошлое. Понятие вечной истины не имеет, возможно, в платонизме того смысла, который приобрело оно в Средние века и на котором, очевидно, интерпретация Маннони и основывается. Вот почему я и говорил, что между анализом и платоновским диалогом может существовать парадоксальная связь и что именно ее-то вы и пытаетесь разглядеть, исследуя соотношение между символизмом и истиной.*

Лакан: – Нет, дело не только в этом. Я полагаю, собственно говоря, что существует два способа соотнесенности со временем. Любая часть символического мира, явившись на свет, действительно создает свое собственное прошлое. Но по-другому, нежели делает это форма на уровне интуитивном. Именно в смешении этих двух планов и гнездится заблуждение – ошибочное мнение, будто всё, что создает, прибегая к помощи символической функции, наука, существовало всегда, является данностью.

Заблуждение это свойственно всякому знанию, ибо последнее представляет собой лишь кристаллизацию символической активности, о которой, сложившись, оно немедленно забывает. В любом сколь-нибудь сложившемся знании присутствует измерение заблуждения, возникающего из забвения творческой функции, присущей истине под покровом ее рождающейся на свет формы. То, что о ней забывают в области экспериментальной, еще куда ни шло, так как область эта связана с деятельностью чисто рабочей (operantes) – ее часто называют операциональной (opérationelles), не знаю почему. Ведь слово “рабочая” здесь вполне уместно. Но нам, аналитикам, людям, работающим в измерении этой истины в самый момент ее рождения, – подобное забвение непростительно.

То, что мы открываем в анализе, расположено на уровне *orthodoxa*. Все, что происходит в поле аналитического

воздействия, предшествует формированию знания, что отнюдь не помешало нам, действуя в этом поле, сформировать знание самим, и притом знание, продемонстрировавшее исключительную эффективность, – что только естественно, ведь всякое знание возникает в результате работы с языком, формированию этого знания предшествовавшим, а именно в этой работе с языком и развивается аналитическое взаимодействие. Вот почему чем больше мы знаем, тем больше рискуем. Все, что в пресловутых институтах психоанализа в более или менее пережеванной форме вам преподносят – стадии садистские, анальные и все такое прочее, – все это, конечно, очень полезно, в особенности для того, кто аналитиком не является. Систематически пренебрегать этими знаниями было бы со стороны психоаналитика глупо, но важно, чтобы он понимал, что это вовсе не то измерение, в котором он действует. Формировать и совершенствовать себя ему надлежит вовсе не в той области, где оседает и откладывается все то, что постепенно обретает в его опыте форму знания.

Маннони: – *Целиком с вами согласен.*

Лакан: – Я просто стараюсь растолковать вам то, что только что прозвучало у вас как загадка. Вы сказали, что с каждой стороны присутствовали истина и заблуждение, заблуждение и истина. И распределение их было в ваших глазах строго обратимым и симметричным.

Маннони: – *Я не говорил об этом как о загадке. Загадочным казалось мне то, что публика готова принять психоанализ вслед за платонизмом.*

Лакан: – Есть две публики: одна находится перед нами и, по крайней мере, имеет шансы во всем этом разобраться, и другая – та, что заходит со стороны посмотреть, что происходит, находит это забавным, видит в этом прекрасный повод для обсуждения и занятной беседы и может, естественно, сбиться немного с толку. Если такие люди захотят все-таки понять, что к чему, им достаточно проявить для этого немного усидчивости. Любопытству потакать мы ни в коей мере не собираемся – у нас здесь не публичные лекции. Если они являются сюда в уверенности, будто мы соби-

раемся превратить психоанализ в продолжение платоновского диалога, то их ждет разочарование. Это я говорю к их сведению.

К словам-зиждителям (paroles fondatrices), обволакивающим субъекта со всех сторон, относится все то, что сформировало его – родители, соседи, структура сообщества – все то, одним словом, что не просто сформировало его как символ, а сформировало в самом его бытии. Это законы номенклатуры, предопределяющие (во всяком случае, в каких-то пределах) и канализирующие союзы, в которых человеческие существа сочетаются друг с другом, создавая в конечном итоге не просто какие-то другие символы, а другие живые существа, которые, едва вступив в мир, тут же получают маленькую этикетку под названием *имя* – важнейший символ, от которого зависит весь их земной удел. И потому *orthodoxa*, которую Сократ оставляет позади, но которой сам чувствует себя окутанным, – ведь именно из нее он так или иначе исходит, именно формированием той *orthodoxa*, что остается у него позади, он и занят – оказывается у нас вновь в самом центре. В этом-то анализ и состоит.

В конечном счете, для Сократа (вовсе не обязательно для Платона) Фемистокл и Перикл были великими людьми именно потому, что они были хорошими психоаналитиками.

Они обнаружили в своем регистре, что истинное мнение означает. Они находятся в самом сердце исторической конкретики, где возник диалог, но в то же время отсутствует какая бы то ни было истина, которая могла бы быть обнаружена в форме подлежащего обобщению и всегда истинного знания. Отреагировать на событие значимое, то есть являющееся функцией символического обмена между человеческими существами, правильно – например, дав флоту приказ выйти из Пирея, – как раз и значит предложить хорошую интерпретацию. А предложить правильную интерпретацию в нужный момент как раз и значит быть хорошим психоаналитиком.

Я не хочу этим сказать, что политик – это психоаналитик. Это Платон в *Политике* начинает излагать политику как науку, и бог свидетель тому, куда мы на этом пути зашли.

Для Сократа же хороший политик – это психоаналитик. Это и есть мой ответ Маннони.

Маннони: – *Я не совсем согласен. У альтернативы есть и другое решение, которое представляется мне более сократическим. Перикл и Фемистокл были хорошими государственными деятелями по другой причине – они обладали пресловутой* orthodoxa, *потому что принадлежали к тем, кого сегодня мы называем* джентльменами. *Они были включены в своего рода социальную среду настолько полно, для них существовало так мало проблем, они испытывали так мало нужды в науке, что дело обстояло, скорее, наоборот.*

Лакан: – Это именно то, мой дорогой, что я вам и собирался сказать. Они не были хорошими психоаналитиками вовсе не потому, что были психоаналитиками прирожденными, что сами психоанализа не прошли.

Совершенно ясно, что в этот момент историю делают только господа и что рабу, которому Сократ пожелал немного подыграть, сказать нечего. Чтобы стать Спартаком, ему еще потребуется какое-то время. А пока он ничто. Если джентльмены считают слова необходимыми, то именно потому, что исключительно им есть в этой истории что сказать. И даже типу вроде Сократа укажут на дверь, *out!*, потому что он из компании *джентльменов* немножко выпал. Верный *эпистеме*, он оказывается недостаточно *ортодоксален*, и за это его заставят самым дурацким образом поплатиться. Но верно и то, что – как обратил на это внимание Морис Мерло-Понти – Сократ платит эту цену отчасти по доброй воле: ведь он едва ли не во всем мог легко обвести их вокруг пальца. Может быть, в момент этот он не вполне владел собой? Наверное, на выбор этой формы доказательства у него были свои причины. В конце концов, все это не так уж плохо сработало. Потому что это имело символический смысл.

2

У нас еще остается немного времени. У вас есть, Понталис, что сегодня нам рассказать?

Помоему, к вопросу лучше всего приступать с самой трудной стороны – впереди тогда останется только спуск. Поэтому-то я и предпочел начать с работы *По ту сторону*

принципа удовольствия. Я, разумеется, не собирался обременять Понталиса непосильной задачей с самого начала представить нам исчерпывающий анализ этой работы, так как мы вряд ли сможем понять этот текст, прежде чем рассмотрим все, что говорил Фрейд относительно Я, начиная с первых своих работ и кончая последними.

Я хотел бы напомнить вам, что в этом году все вы должны прочесть, от начала до конца и самым внимательным образом, следующие тексты.

Во-первых, *Aus den Anfängen der Psychoanalyse*, куда включены письма к Флиссу, и *Entwurf*, представляющий собой его первую, уже завершенную, психологическую теорию. Эти опубликованные после войны бумаги молодого Фрейда стали важнейшим открытием. Прочтите этот *Набросок* теории, еще именующей себя психологической, но уже представляющей собой метапсихологию, с готовой теорией эго. Все это вы можете найти и на английском, в книге *Origins of Psycho-analysis*.

Во-вторых, *Traumdeutung*, в особенности главу "Психология процесса сновидения", причем лучше в немецком издании, в крайнем случае – в английском.

В-третьих, тексты, имеющие отношение к тому, что называют второй метапсихологией Фрейда, изданные во французском переводе под заглавием "Очерки психоанализа". Сюда входят *По ту сторону принципа удовольствия*, *Коллективная психология и анализ Я*, *Я и Оно* – три основополагащие для понимания проблемы Я статьи.

В-четвертых, есть и другие вещи, которые вам стоит прочесть. Среди них такие статьи, как *Невроз и психоз*, *Функция принципа реальности в неврозе и психозе*, *Анализ конечный и бесконечный*.

В-пятых, вы должны ознакомиться с последней работой Фрейда – незаконченным очерком, именуемым по-немецки *Abriss der Psychoanalyse*. Текст этот даст вам некоторое представление о том, каким образом удалось Фрейду совместить свое первоначальное топическое деление психики на бессознательное, предсознательное и сознательное с новой топикой Я, сверх-Я и Оно. Нигде, кроме этой работы, указаний на сей счет найти вы не сможете.

Все это – а сюда входят как самые ранние, так и самые поздние работы Фрейда – и станет тем материалом, над которым в ходе анализа фрейдовой теории Я нам предстоит работать.

Маннони: – *Вы позволите мне указать еще на одну работу – статью в* Collected Papers, *что идет там последней, под названием* Splitting of the Ego?

Лакан: – Вот оттуда-то вся путаница и началась.

Понталис, у вас есть десять минут, чтобы рассказать о том, какие вопросы возникли у вас при первом чтении *По ту сторону принципа удовольствия*.

Лефевр-Понталис: – *Я напомню в двух словах, что это заглавие означает. Вы знаете, что* По ту сторону принципа удовольствия *является той работой, где Фрейд обнаруживает, что принцип удовольствия, связанный с принципом постоянства, согласно которому организм стремится снизить напряжение до некоторого постоянного уровня, не господствует так уж безоговорочно, как он сам первоначально предполагал. Создается впечатление, что определенное количество фактов вынуждает Фрейда перешагнуть через то, что он утверждал прежде. Но он явно в затруднении, и в этом тексте, который я прочел впервые, это чувствуется.*

Налицо, во-первых, сновидения людей, переживших травму, то есть тот любопытный факт, что в неврозах, вызванных травмой, травматическая ситуация воспроизводится в сновидениях вновь и вновь. Так что представление о сновидении как галлюцинаторном осуществлении желания тем самым рушится.

Во-вторых, игры, которые детьми повторяются до бесконечности. Приводится знаменитый пример, в котором ребенок в возрасте восемнадцати месяцев в отсутствии матери занимается тем, что отбрасывает от себя и вновь возвращает один и тот же предмет, воспроизводя процесс его исчезновения и появления. Ребенок пытается играть в этой ситуации активную роль.

Самым же важным является то, что происходит в ситуации переноса, когда анализируемый вновь и вновь видит определенные сновидения, всегда одни и те же. Говоря вообще, он вместо того, чтобы просто вспоминать, вынужден повторять. Все происходит так, словно сопротивление исходит не исключительно от вытесненного, как первоначально полагал Фрейд, а исключительно от собственного Я. В результате представление Фрейда о переносе меняется. Теперь он рассматривается не как продукт предрасположенности к нему, а как результат принуждения к повторению.

Короче говоря, эти факты вынуждают Фрейда сделать объективные выводы и прийти к утверждению, что помимо принципа удовольствия существует еще и нечто другое – непреодолимое стремление к повторению, лежащее за пределами как принципа удовольствия, так и принципа реальности, который, будучи определенным образом противоположен принципу удовольствия, дополняет его, тем не менее, в рамках принципа постоянства. Все происходит так, словно наряду с повторением потребности существует и потребность в повторении, которую Фрейд не столько вводит, сколько просто констатирует.

О том, чтобы следовать за Фрейдом в его попытке сослаться в качестве объяснения на биологическую инфраструктуру, не может быть речи. Мне просто хотелось бы теперь поставить по поводу здесь нами увиденного несколько вопросов.

Что меня, в моей теперешней роли наивного простеца поразило, так это тот факт, что стремление к повторению определяется, оказывается, весьма противоречивым образом.

Определяется она через свою цель, цель же, если взять ту же детскую игру в качестве примера, состоит, похоже, в совладении с тем, что угрожает сложившемуся до известной степени равновесию, в принятии на себя активной роли, в торжестве над неразрешенными конфликтами. В этот момент стремление к повторению проявляет себя как источник напряжения, как фактор прогресса, в то время как инстинкт, в том смысле, в каком говорит о нем Фрейд, оказывается началом стагнации. Главная мысль состоит в том, что стремление к повторению изменяет предустановленную гармонию между принципом удовольствия и принципом реальности, что оно приводит к интегративным процессам все более и более широким, что оно является, таким образом, фактором человеческого прогресса. Заглавие статьи оказывается в этом случае оправданием. Принуждение к повторению действительно оказывается по ту сторону принципа удовольствия, ибо, в отличие от этого последнего, связанного с безопасностью индивида, является условием человеческого прогресса.

Но если встать на другую точку зрения, если в определении того, что представляет собой стремление к повторению, исходить не из его цели, а из его механизма, то оно оборачивается чистым автоматизмом, регрессией. Чтобы этот аспект проиллюстрировать, Фрейд заимствует множество примеров из биологии. Аспект напряженности иллюстрируется прогрессом человечества, аспект же регрессии иллюстрируется феноменом гигиены питания.

Вот та конструкция, которая, как мне кажется, связывает в этой статье стремление к повторению как фактор прогресса и стремление к повторению как механизм. Не стоит отказываться от описания

этого механизма в терминах биологических и понимать его исключительно в терминах человеческих. Неустранимая угроза смерти, стагнации, инерции вынуждают человека это стремление обуздать.

Второй вопрос. Инерция эта может быть воплощена в собственном Я субъекта, которое Фрейд прямо определяет как ядро возникающих в переносе сопротивлений. Перед нами новый шаг в эволюции его учения – в анализе, то есть в ситуации, где неустойчивое равновесие, постоянство, ставится под вопрос, собственное Я воплощает собой безопасность, стагнацию, удовольствие. Так что функция связи, о которой мы только что говорили, отнюдь не определяет субъект в целом. Собственное Я, чья основная задача состоит в том, чтобы преобразовывать все во вторичную энергию, энергию связанную, не определяет субъекта в его целом, откуда и возникает тенденция к повторению.

Вопрос о природе Я можно связать с функцией нарциссизма. Но и здесь я обнаружил у Фрейда определенные противоречия: иногда он отождествляет его с инстинктом сохранения, порой же говорит о нем как о своего рода поиске смерти.

Вот приблизительно все, что мне хотелось сказать.

Лакан: – Все ли в том, что было здесь так кратко изложено, показалось вам ясным?

Несмотря на краткость этого выступления, подход Понталиса к постановке проблемы кажется мне замечательным – он затронул самую суть тех двусмысленностей, с которыми нам, по крайней мере, на первых шагах нашей попытки понять фрейдовскую теорию Я придется иметь дело.

Вы говорили о принципе удовольствия как эквиваленте стремления к адаптации. И вы, конечно же, понимаете, что именно это в дальнейшем и оказалось у вас под вопросом. Глубокое различие пролегает между принципом удовольствия и чем-то другим, отличающимся от него так же, как различаются два английских термина, которыми слово "потребность" можно перевести – *need* и *drive*.

Вы правильно поставили вопрос, когда сказали, что определенный способ говорить об этих вещах подразумевает идею прогресса. Возможно лишь, что вы недостаточно обратили внимание на тот факт, что понятие стремления к повторению в качестве *drive* явно направлено против представления, будто существует в жизни что-то такое, что стремится к прогрессу – противонаправлено перспективе тра-

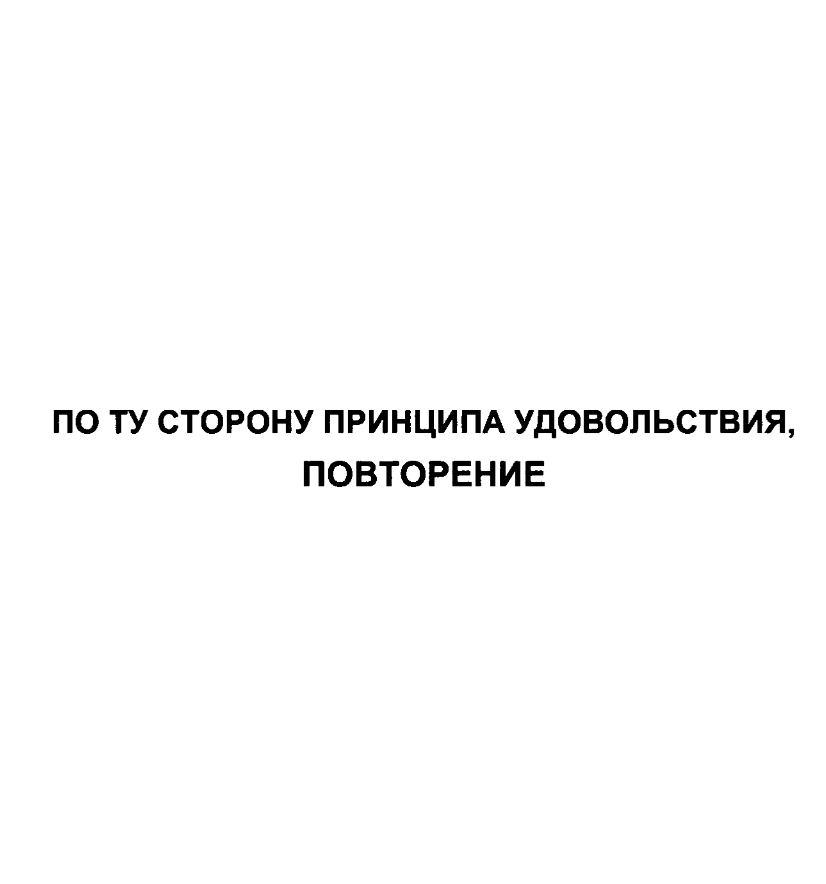
диционного оптимизма и эволюционизма, что оставляет проблематику адаптации (я бы даже пошел дальше, сказав: проблематику реальности) полностью открытой.

Вы правильно сделали, подчеркнув разницу между регистром биологическим и регистром человеческим. Но интересным это окажется лишь тогда, когда мы заметим, что именно от смешения этих двух регистров проблематика этого текста и возникает. Нет другого текста, в котором так глубоко ставился бы под вопрос самый смысл жизни. И это приводит к смешению, я бы сказал самому радикальному, человеческой диалектики с чем-то таким, что заложено в самой природе. Есть здесь термин, который вы не произнесли, но который является, тем не менее, абсолютно существенным – я говорю об *инстинкте смерти*.

Вы совершенно справедливо показали, что все это не просто образчик фрейдовской метафизики. Вопрос о собственном Я подспудно со всем этим тесно связан. Вы лишь наметили его – сделай вы больше, вы уже выполнили бы ту задачу, которую я в этом году перед вами поставил.

В следующий раз я подойду к рассмотрению вопроса о Я и принципе удовольствия, то есть возьмусь одновременно и за последнюю тему вопросов Понталиса, и за то, с чем он столкнулся с самого начала.

27 ноября 1954 года.



ПО ТУ СТОРОНУ ПРИНЦИПА УДОВОЛЬСТВИЯ, ПОВТОРЕНИЕ

III
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ВСЕЛЕННАЯ

Разговоры о Леви-Строссе.
Жизнь и машина.
Бог, природа, символ.
Природное воображаемое.
Фрейдовский дуализм.

Прошлое занятие прошло успешнее, чем первое; нам удалось поддержать наш диалог немного лучше и немного дольше.

До меня дошли сведения о колебаниях, которые это обстоятельство у каждого субъективно провоцирует: *Выступать мне? Не выступать? Я не выступил* и т. д.

Вы не могли, однако, не заметить уже по одному тому, как я этот семинар веду, что занятия наши вовсе не похожи на те, где делаются так называемые научные сообщения. Имея это в виду, я и хочу предупредить вас, что хотя на этих собраниях действительно присутствуют приглашенные нами иностранные гости, люди нам симпатизирующие и многие другие, это, тем не менее, отнюдь не спектакль. Не старайтесь непременно высказать что-то изящное, способное выставить вас с выгодной стороны и увеличить уважение, которым вы уже, вероятно, пользуетесь. Вы находитесь здесь для того, чтобы открыть себе глаза на вещи, которые вы еще не видели и которые, в общем-то, для вас неожиданны. Так почему же не извлечь из этого открытия все возможные выгоды, ставя самые глубокие вопросы, какие у вас возникают, даже если звучат они сомнительно, неловко, порою даже странно? Другими словами, единственное, в чем я позволил бы себе вас упрекнуть, это всем вам свойственное желание казаться слишком умными. Все и так знают, что вы умны. Зачем же вам таковыми казаться? Да и вообще – быть ли, казаться ли, экая важность!

Сказав это, я попросил бы тех, кто копит желчь или что-то противоположное с прошлого раза, дать себе волю теперь, поскольку интерес наших встреч в том и состоит, что у них бывает продолжение.

Вот Анзьё уже просит слова. Я буду признателен, если он выскажется.

Вопрос Анзьё в записях отсутствует.

Дюранден, похоже, имел в виду, что строгость запрета на инцест была чем-то измеримым и находившим свое открытое выражение в общественных действиях и установлениях. Это не так. Чтобы открыть эдипов комплекс, вначале пришлось исследовать невротиков и лишь потом возможно стало перейти к изучению более широкого круга лиц. Вот почему я сказал, что комплекс Эдипа, наделенный фантазматической интенсивностью, которую мы в нем обнаружили, для субъекта, с которым мы в наше время имеем дело, в воображаемом плане столь важный и актуальный, следует рассматривать как явление недавнее, завершающее и по отношению к тому, о чем поведал нам Леви-Стросс, совсем не первичное.

Почему, дорогой Анзьё, Вы придаете такое значение тому факту, что Леви-Стросс, говоря, например, о тибетских и непальских племенах, где убивают маленьких девочек и мужское население в результате превышает женское, пользуется таким словом, как *компенсация*? Термин компенсация имеет здесь чисто статистическое значение и употребляется совершенно безотносительно к соответствующему термину аналитическому.

Мы не можем не согласиться с Леви-Строссом в том, что числовые элементы участвуют в формировании человеческой общности. У Бюффона есть по этому поводу очень верные замечания. Досадно другое – что, ставя ногу на очередную ступеньку нашей обезьяньей иерархии, мы забываем о ступеньках, оставшихся позади, – и позволяем им сгнить. В результате концепция в целом страдает от недостатка простора. Исключительно меткие замечания Бюффона о роли, которую играют в общественной группе, статистические элементы, заслуживают того, чтобы о них помнили.

Замечания эти имеют далеко идущее значение, лишая всякого рода псевдофиналистские проблемы какой бы то ни было почвы. Существуют вопросы, задаваться которыми нет нужды, так как стоит задуматься о пространствен-

ном распределении чисел, как они исчезнут сами собой. Впрочем, подобного рода проблемы существуют и на определенных демографических уровнях, о которых Леви-Стросс отдаленными намеками упоминает, и продолжают изучаться и по сей день.

Задавшись вопросом о том, почему пчелы делают такие правильные шестиугольники, Бюффон пришел к выводу, что нет другого многогранника, который мог бы заполнить поверхность таким практичным и симпатичным способом. То, что это должны быть именно шестиугольники, объясняется своего рода нуждой в заполнении пространства, и ученые вопросы типа: *знают ли пчелы геометрию?* – здесь неуместны.

Сами видите теперь, какой смысл может приобрести здесь слово "компенсация" – когда женщин меньше, мужчин, само собой, оказывается больше.

Но вы заходите в своем заблуждении еще дальше, когда рассуждаете о целенаправленности, когда полагаете, будто говоря о циркуляции от одной семьи к другой, Леви-Стросс приписывает обществу что-то вроде души. О самом использовании термина *целенаправленность*, о связи ее с *причинностью*, следовало бы сказать многое, и, повинуясь своего рода интеллектуальной дисциплине, мы не можем на какое-то мгновение на этом вопросе не задержаться. Укажем хотя бы на то, что в любом объяснении причинного характера целенаправленность всегда подразумевается, – и это при том, что акцент ставится обычно на противопоставлении мышления причинного мышлению телеологическому. Для причинного мышления целенаправленности не существует, но сам факт, что на этом нужно особо настаивать, говорит о том, насколько трудно с этим представлением справиться.

В чем оригинальность идей Леви-Стросса об элементарной структуре?

Он постоянно делает упор на то, что в собранных за долгое время многочисленных фактах относительно родства и семьи нельзя ничего понять, пытаясь вывести их из какой-либо природной или по аналогии с ней действующей динамики. Инцест не вызывает по природе своей никакого естественного ужаса. Я не утверждаю, что мы можем из это-

го делать выводы, я просто пересказываю вам, что говорит Леви-Стросс. Никакой биологической и, в частности, генетической причины, которая могла бы мотивировать экзогамию, не существует, что Леви-Стросс на основании исключительно внимательного обсуждения научных данных и демонстрирует. В сообществе – причем мы можем рассматривать любые сообщества, не обязательно человеческие, – постоянная и непрерывная практика эндогамии не только не приведет к каким-либо нежелательным последствиям, но даже позволит, по прошествии некоторого времени, устранить пресловутую деградацию. Исходя из плана чисто природного вывести формирование той элементарной структуры, которая именуется *порядком предпочтения*, решительно невозможно.

И чем же он это обосновывает? Да тем фактом, что в человеческом роде мы имеем дело с возникновением некоего тотального явления, охватывающего весь человеческий мир в целом, – с новой функцией. В качестве функции символическая функция не нова, начатки ее можно встретить и за пределами человеческого мира, но то будут лишь начатки. Человеческий мир характеризуется как раз тем, что символическая функция участвует в его существовании в каждый момент и на всех уровнях.

Другими словами, все согласовано. Чтобы составить представление о том, что происходит в области, присущей именно человеческому миру, следует исходить из того, что мир этот представляет собою единое целое. Целокупность символического порядка именуется Вселенной, Универсумом. Символический порядок дан нам в первую очередь как порядок по характеру своему универсальный.

Он вовсе не складывается потихоньку, постепенно. Где является символ, там налицо и целый символический универсум. Вопрос, которым можно было бы здесь задаться: сколько символов, в числовом выражении, достаточно для того, чтобы из них сложился символический универсум? – остается открытым. Но сколь бы мало ни было количество символов, которое можно представить себе необходимым для появления в человеческой жизни символической функции как таковой, они уже имплицитно заключают в себе

совокупность всего, что миру человека принадлежит. Все организуется по отношению к уже возникшим символам, с самого момента их возникновения.

Символическая функция образует универсум, внутри которого все человеческое должно быть упорядочено. Неслучайно Леви-Стросс называет эти структуры *элементарными* – а не *примитивными*. *Элементарное* противопоставляется *комплексному*. Так вот, интересно, что книгу *Комплексные структуры родства* он так еще и не написал. Комплексные структуры – это как раз те, что представлены нами, и характеризуются они куда большей аморфностью.

Де Барг: – *Леви-Стросс говорил о комплексных структурах.*

Лакан: – Разумеется. Он затрагивает эту тему, он указывает, где они прививаются, но специально он их не рассматривает.

В элементарных структурах правила союза включены в исключительно богатую, пышным цветом расцветшую систему предпочтений, запретов, указаний, установлений, обычаев и подчиняют себе область гораздо более широкую, чем это происходит в формах комплексных. Чем более мы приближаемся – нет, не к изначальному, а к элементарному – тем большую значимость приобретают структурная разработанность, широта и усложненность той системы номенклатуры, которая и является символической в собственном смысле слова. Номенклатура родства и брачного союза в элементарных формах шире, чем в так называемых комплексных, то есть в формах, выработанных в гораздо более протяженных культурных циклах.

Это наблюдение Леви-Стросса играет фундаментальную роль и демонстрирует в его книге свою плодотворность. Исходя из него мы можем сформулировать гипотезу, что символический порядок, всегда полагая себя как целокупность, как начало, самостоятельно формирующее независимый универсум – больше того, созидающее Универсум как таковой как нечто, от Мира отличное, – должен и сам быть структурирован как целокупность, то есть представлять собой независимую, полную диалектическую структуру.

Из систем родства одни выживают лучше, другие хуже.

Некоторые из них заходят в тупики, имеющие природу чисто арифметическую, и предусматривают, что внутри общества возникают время от времени кризисы, каждому из которых сопутствует разрыв и последующее восстановление заново.

Исходя из этих арифметических штудий – где под арифметикой понимается не просто манипуляция совокупностями предметов, но и понимание значения этих комбинаторных операций, выходящего за пределы каких бы то ни было данных, которые можно вывести из витальных отношений субъекта с миром экспериментальным путем, – Леви-Стросс как раз и показывает, что все то, что наблюдаем мы в элементарных структурах родства, допускает определенную классификацию. Но это предполагает, что символические инстанции действуют в обществе изначально, с того самого момента, когда оно является как человеческое. А это, в свою очередь, как раз и предполагает существование бессознательного – того самого, которое мы наблюдаем и с которым работаем в процессе анализа.

Именно здесь во вчерашнем ответе Леви-Стросса на мой вопрос и прозвучала некоторая неуверенность. Ибо, по правде говоря, испытывая нередкую для людей, высказывающих новые идеи, нерешимость идти в их развитии доконца, он едва не вернулся вновь в плоскость психологическую. Вопрос, который я задавал ему, вовсе не предполагал существование, как он выразился, коллективного бессознательного. Чем может помочь нам в данном случае слово коллектив, если, как мы знаем, коллективное и индивидуальное – это, строго говоря, одно и то же? Нет, речь идет не о том, чтобы предположить существование где-то некоей общей души, в которой и производились бы все вычисления, речь идет не об овеществлении психологии, речь идет о символической функции. Символическая же функция не имеет абсолютно ничего общего с каким-то параанималистическим образованием, с чем-то, что делало бы из человечества некое подобие больного животного, – а коллективное бессознательное, в конечном счете, ничего другого собой и не представляет.

Если символическая функция действительно функцио-

нирует, мы находимся внутри нее. И я скажу больше – внутри до такой степени, что выйти из нее не в наших силах. В решении огромного большинства проблем, встающих перед нами, когда мы пытаемся подойти к определенному ряду явлений научно, то есть установить в них какой-то порядок, мы не руководствуемся, в конечном счете, каким-то непосредственым их восприятием, мы следуем путями, проложенными для нас символической функцией.

Так, например, живое существо мы, несмотря ни на что, пытаемся объяснить в терминах механизма. И первый же вопрос, которым мы, аналитики, задаемся – может тут-то как раз и дается нам шанс уйти от готовой завязаться полемики между витализмом и механицизмом, – следующий: а что же, собственно, вынуждает думать о жизни в терминах механики? Что роднит нас, людей, именно как людей, с машинами?

Ипполит: – *То, что мы – математики, что мы питаем страсть к математике.*

Лакан: – Разумеется. Философская критика в адрес механистических по духу исследований опирается на то, что машина якобы лишена свободы. Я мог бы запросто доказать вам, что машина куда свободнее животного. Животное – это блокированная машина. Это машина, у которой ряд параметров не может больше варьироваться. А почему? Да потому, что животное определяет внешняя Среда, это она подчиняет его некоему неизменному типу. И только потому, что мы являемся по отношению к животным машинами, то есть продуктом распада или разложения, мы и обнаруживаем большую свободу, если под свободой разуметь разнообразие возможностей. Под этим углом зрения на вещи никогда не смотрят.

Ипполит: – *Разве смысл слова машина не претерпел, со времени появления своего и до времен кибернетики глубоких изменений, в том числе в социологическом плане?*

Лакан: – Я с вами согласен. Я собираюсь впервые попытаться втолковать своим слушателям, что машина – это вовсе не то, что праздная публика на этот счет думает. Еще немного, и для каждого из вас, независимо от того, случалось

ему листать книжку по кибернетике или нет, смысл слова *машина* полностью изменится. Вы, как всегда, немножко отстали от времени.

Люди восемнадцатого столетия, те, что впервые заговорили о механизме – да-да, о том самом, что теперь так принято поносить, механизме маленьких бездушных машин, который вы-то уж, разумеется, оставили далеко позади, – так вот, люди эти, вроде, например, Ламетри, чтение которого я вам настоятельно рекомендую, люди, которые все это выстрадали, которые писали книги вроде *Человек-машина*, вы не представляете себе, до какой степени были они еще напичканы категориями эпохи предшествующей, до какой степени эти последние владели, поистине, их умами. Прочтите от корки до корки все тридцать пять томов "Энциклопедии искусств и ремесел", которая лучше всего дает представление о стиле той эпохи, и вы увидите, до какой степени схоластические понятия подавляли то, что они не без усилий старались высказать. Попытки их, взяв за основу машину, рационализировать и функционализировать явления, имеющие место на уровне человека, ушли далеко вперед по сравнению с логикой умозаключений, применявшейся ими к любой другой теме.

Откройте "Энциклопедию" на слове *любовь* или *самолюбие*, и вы сами увидите, до какой степени их человеческие чувства далеки были от их же построений в области знаний о человеке.

И лишь гораздо позже, у нас и у наших отцов, слово "механизм" приобрело свой полный, очищенный, неприкрытый, исключающий всякую другую систему интерпретации, смысл. Наблюдение это позволит нам понять, наконец, что же это такое – быть предшественником. Это вовсе не значит – что совершенно невозможно – предвосхищать категории, которые явятся позже и покуда еще не созданы, ибо любое человеческое существо без остатка погружено в ту же культурную среду, что его современники, и никаких иных понятий, кроме им свойственных, иметь не может. Быть предшественником значит видеть все то, что твои современники в сфере мысли, сознания, действия, техники, политических форм готовы создать нового, и видеть все

это как бы глазами тех, кто явится веком позже. А это как раз вполне возможно.

В настоящее время в функции машины происходит мутация, оставляющая безнадежно позади всех тех, кто все еще занят критикой механизма в его прежнем смысле. Быть чуть-чуть впереди – значит обратить внимание на то, что все классические возражения против использования собственно механических категорий окажутся в результате этих изменений полностью переосмыслены. И я полагаю, что в этом году у меня еще будет случай это продемонстрировать.

2

Кто-нибудь еще хочет задать вопрос?

Маннони: – *Что меня заинтересовало, так это подход Леви-Стросса к проблеме природы и культуры. Он утверждал, что, начиная с какого-то времени, люди перестали отчетливо усматривать противоположность между природой и культурой. Выступавшие вслед за ним продолжали поиски природы, сближая ее с аффективностью, влечениями, природной основой бытия. Что же до Леви-Стросса, то к вопросу о природе и культуре его привело другое – ему показалось, что, скажем, определенная форма инцеста была всеобщей, оставаясь при этом случайной. Противоречие такого рода привело его к своего рода конвенционализму, сбившему с толку многих его слушателей. Я заметил тогда, что проблема случайного и всеобщего встает, и очень остро, не только в отношении человеческих учреждений. Правши – это всеобщая форма, но при этом она случайна – с таким же успехом все могли бы быть и левшами. И никто так и не выяснил, социальное это явление или биологическое. Мы остаемся здесь в совершенных потемках – того же рода, что и у Леви-Стросса. Идя еще дальше, чтобы показать, насколько тьма эта непроглядна, можно обратить внимание, например, на тот факт, что у моллюсков типа улиток, социально уж точно никак не организованных, раковина спиралевидно закручена в направлении для всех одном и том же, и в то же время случайном, так как она с равным успехом могла бы оказаться закручена и в обратном направлении, как, кстати сказать, у некоторых особей действительно и происходит. Мне кажется поэтому, что вопрос, поставленный Леви-Строссом, выходит далеко за рамки классического противопоставления природного социальному. Неудивительно поэтому, что он начинает прощупывать и самого себя, пытаясь понять, что в нем идет от природы, а что – от социума с его учреждениями, как это еще недавно делали все. Это ка-*

жется мне чрезвычайно важным – перед лицом того, с чем мы имеем здесь дело, и прежняя идея природы, и идея учреждения утрачивают всякий смысл.

Ипполит: – *Наверное, мы имеем дело со всеобщей случайностью.*

Маннони: – *Я не знаю.*

Лакан: – Мне кажется, что вы заговорили здесь о вещах, которые Леви-Стросс, используя понятие *случайности*, вовсе не имел в виду. По-моему, случайность противостоит у него понятию *необходимости* – он, кстати, говорил об этом и сам. В форме же вопроса – в конечном счете, по нашему мнению, наивного – прозвучала у него тема различия всеобщего и необходимого. И это, в свою очередь, заставляет нас поставить вопрос о том, что можно было бы назвать необходимостью в науках математических. Совершенно очевидно, что она заслуживает особого определения – именно ради этого я и говорил только что с вами об универсуме. Что касается введения символической системы, то я полагаю, что на вопрос, заданный вчера Леви-Строссом, ответ будет следующий: эдипов комплекс является одновременно всеобщим и случайным, являясь всецело и исключительно символическим.

Ипполит: – *Я так не думаю.*

Лакан: – Случайность, о которой только что говорил Маннони, совершенно иного рода. Ценность различия между природой и культурой, проведенного Леви-Строссом в *Элементарных структурах родства*, состоит в том, что оно позволяет нам увидеть разницу между родовым и всеобщим. Чтобы быть действительно всеобщим, символическому всеобщему нет никакой нужды распространяться по всей поверхности земного шара. К тому же, насколько я знаю, не существует по сей день ничего, что объединяло бы всех людей в мире в единое целое. Не существует ничего, что было бы конкретно осуществлено как всеобщее. И тем не менее, стоит какой-то символической системе сформироваться, как она тут же, и с полным правом, оказывается всеобщей. То, что у людей, за немногими исключениями, две руки, две ноги, пара глаз – все это, кстати, они разделяют с животными, – что все они являются, по известному определению,

двуногими без перьев, ощипанными курицами, – все это черты родовые, но ни в коем случае не универсальные. Вы же завели речь об улитках, закрученных в ту или другую сторону. Вопрос, который вы поставили, относится к природе.

Маннони: – *Вот это самое я и ставлю как раз под вопрос. До сих пор люди противопоставляли природе некую псевдоприроду, которую составляли человеческие учреждения – семья "встречается" нам в том же смысле, в каком "встречаются" в той или иной местности дубы или березы. Со временем они согласились, что эти псевдоприродные образования представляли собой плод человеческой свободы, его произвольного выбора. В результате они вынуждены были придать огромное значение новой категории,* культуре, *противопоставляя ее* природе. *Изучая эти вопросы, Леви-Стросс приходит к выводу, что он не знает больше, где кончается природа и начинается культура, потому что пресловутые проблемы выбора возникают не только в мире номенклатур, но и в мире форм. Природа говорит во всем – от символизма номенклатур до символизма любой формы. Говорит, закручиваясь по часовой стрелке или против, становясь правшой или левшой. Произвольные решения – будь то формы семьи или арабских узоров – вполне в ее духе. Сейчас у меня такое чувство, будто я стою на линии водораздела и не вижу больше, где именно она проходит. Я хотел просто поделиться своим затруднением. Я предлагаю задачу, а не решение.*

Ипполит: – *Мне кажется, Вы как раз только что очень точно противопоставили универсальное родовому, сказав, что универсальность была связана с самим символизмом, с созданной человеком модальностью символического универсума. Выходит, однако, что это чистая форма. Ваше слово* универсальность *подразумевает, в сущности, что человеческий универсум обязательно принимает, по меньшей мере внешне, форму универсальности, оно создает представление об универсализирующей себя целокупности.*

Лакан: – Это и есть функция символа.

Ипполит: – *Разве это наш вопрос разрешает? Это просто показывает, что человеческий универсум принимает чисто формальный характер.*

Лакан: – Слово *формальный* имеет два смысла. Когда говорят о математической формализации, обычно имеют в виду совокупность условностей, из которых вы можете вывести целый ряд следствий, вытекающих друг из друга теорем, внутри совокупности которых устанавливаются отношения структур, – то, собственно говоря, что мы называем

законом. В гештальтистском же смысле слова *форма*, *хорошая форма*, означает, напротив, целокупность осуществленную и изолированную.

Ипполит: – *Так в каком же смысле употребляете его Вы – во втором или в первом?*

Лакан: – Безусловно в первом.

Ипполит: – *Вы говорили, однако, о целокупности – выходит, символический универсум этот носит характер чисто условный. Он принимает форму, в том смысле, в котором мы говорим об универсальной форме – форму, которая не является при этом ни родовой, ни всеобщей. И я спрашиваю себя, не даете ли Вы проблеме, поставленной Маннони, чисто формальное разрешение?*

Лакан: – Вопрос Маннони имеет две стороны.

Во-первых, он ставит перед нами конкретную проблему, предстающую как вопрос о *signatura rerum*: присущ ли вещам – самим по себе, естественным образом – некий характер асимметрии? Существует нечто реальное, данное. Данное это определенным образом структурировано. Имеются, в частности, некие естественные случаи ассимметрии. Предпримем ли мы на том этапе познавательного процесса, где мы сейчас находимся, исследование их тайного смысла? Существует целая традиция человеческой мысли, именующая себя философией природы, которая всецело посвятила себя его прочтению. И мы уже знаем, что это дает. Далеко по этому пути не уйдешь. Приводит он к истинам весьма премудрым, за которыми, однако, нас ждет тупик – если, конечно, мы не будем упорствовать и не вступим в область, именуемую, как правило, бредом. Это, разумеется, не касается Маннони, чей ум слишком изощрен и диалектичен, чтобы задаваться этим вопросом иначе, нежели в чисто проблематической форме.

Во-вторых же, нам нужно понять, действительно ли это имел в виду Леви-Стросс, сказав нам вчера вечером о головокружении, которое охватывает его там, на границе природы, когда он спрашивает себя, не в ней ли следует ему отыскивать корни своего символического древа. Мои личные беседы с Леви-Строссом позволяют мне внести в этот вопрос ясность.

Леви-Стросс готов отступиться от проведенного им четкого разграничения природы и символа – разграничения, творческую плодотворность которого он, однако, хорошо чувствует, будучи именно ему обязан методом, позволяющим провести границу между различными регистрами и одновременно между различного порядка фактами. Он колеблется, причем колеблется по причине, которая может показаться вам удивительной, хотя она явно у него налицо, – он опасается, как бы под видом символического регистра не проникла назад, в чужом облике, та трансценденция, к которой он, в силу особенностей своей чувствительности и вкуса, ничего, кроме страха и отвращения, не испытывает. Он боится, другими словами, как бы, выставив Бога в дверь, не впустить его, паче чаяния, в окно. Он не желает, чтобы символ, пусть в той исключительно чистой форме, в которой преподносит его нам сам ученый, стал лишь новой маской все того же Бога. Вот почему он заметно колеблется, когда дело доходит до методического размежевания символического и природного планов.

Ипполит: – *И все же сам вопрос о выборах, которые были человеком сделаны, ссылка на символическую вселенную не решает.*

Лакан: – Разумеется нет.

Ипполит: – *То, что мы называли* учреждениями, *или* установлениями, *и что предполагает за собой определенное количество произвольных актов выбора, в символическую вселенную, безусловно, входит. Но сам выбор это нисколько не объясняет.*

Лакан: – Об объяснении нет и речи.

Ипполит: – *Мы стоим, тем не менее, перед проблемой.*

Лакан: – Да, и это именно проблема истоков.

Ипполит: – *Я не отрицаю, что символическое отношение накладывает печать символической универсальности. Но сам факт этого облечения в универсальность требует объяснения и приводит нас к все той же, поставленной Маннони, проблеме. Я хотел бы сейчас выступить вашим критиком. В чем использование слова "символическое" оказывает нам услугу? Что оно нам дает? Вот вопрос. Я не сомневаюсь, что оно услугу оказывает. Но в чем? И что оно с собой привносит?*

Лакан: – Оно служит мне в изложении аналитического опыта. В этом вы могли убедиться в прошлом году, когда я

показывал вам, что многочисленные аспекты переноса нельзя правильным образом упорядочить, не исходя при этом из определения речи, из творческой, зиждительной функции наполненной речи. В опыте, где мы обнаруживаем его в разных аспектах – физиологических, личностных, межличностных, – он имеет место в виде несовершенном, расщепленном, замедленном. Пока вы не определите вашего отношения к функции речи с абсолютной четкостью, перенос останется для вас просто-напросто непонятен. Непонятен в самом прямом смысле слова – ведь понятия переноса не существует, есть лишь ряд фактов, между которыми прослеживается смутная и неопределенная связь.

3

В следующий раз я поставлю вопрос о собственном Я таким образом: *Отношения между функцией собственного Я и принципом удовольствия.*

Надеюсь, я смогу показать, что тому, кто желает составить понятие о функции, которую Фрейд называет Я, равно как и изучить фрейдовскую метапсихологию в полном объеме, не обойтись без того размежевания планов и отношений, которое вводится мною в терминах Символическое, Воображаемое, Реальное.

Зачем это нужно? А нужно это для того, чтобы сохранить смысл символическому опыту в наиболее чистом его виде – опыту аналитическому. Я приведу вам один пример, подводя постепенно к тому, что мне придется в дальнейшем сказать вам касательно Я.

Свое Я (moi) есть, в наиболее важном своем аспекте, функция воображаемая. Это открытие, сделанное на опыте, а вовсе не категория, которую я мог бы, едва ли не *a priori*, квалифицировать как принадлежащую к Символическому. Именно в этой точке – я даже сказал бы, едва ли не в ней одной – обнаруживается в человеческой природе выход на элемент типичности. У природы элемент этот, безусловно, лежит на поверхности, но в форме неизменно обманчивой. Именно это хотелось мне настоятельно подчеркнуть, говоря о провале различных попыток создания натурфилософии. Обманчива эта форма и в том, что касается вооб-

ражаемой функции Я. И в этом последнем заблуждении мы погрязли буквально по уши. Поскольку мы являемся своим Я сами, мы не просто знаем о нем по опыту – это оно руководит нашим опытом, равно как и всеми теми регистрами, которыми, как мы обыкновенно считали, наша жизнь руководствуется и которые мы именуем *ощущениями*.

Фундаментальная, центральная структура нашего опыта – это структура воображаемого порядка. И можно видеть, насколько по-иному, по сравнению со всей остальной природой, выступает эта функция в человеке.

Ее, эту воображаемую функцию, мы встречаем во множестве самых различных форм – ведь это не что иное, как гештальт-ловушки, связанные с брачными ритуалами животных, столь важными для сохранения сексуальной привлекательности особей внутри рода.

У человека, однако, функция его Я приобретает иные, отличные характеристики. В этом и состоит великое открытие анализа – на уровне родовых, связанных с жизнью вида, отношений человек функционирует по-другому. В его жизненной регуляции уже налицо трещина, налицо глубокие нарушения. В этом и состоит значение введенного Фрейдом понятия инстинкта смерти. И дело не в том, что понятие это так уж сразу все проясняет. Самое главное здесь – это уяснить себе, что Фрейд вынужден был его ввести для того, чтобы наше восприятие данных психоаналитического опыта, восприятие, начавшее было понемногу притупляться, заново обострить.

Как я уже только что заметил, когда в*и*дение структуры проясняется, возникает момент нерешительности, стремление от увиденного отвернуться.

Именно это и произошло во фрейдовском кружке в то время, когда открытие бессознательного отодвинулось на второй план. Произошло возвращение к сбивчивому, унитарному, натуралистическому представлению о человеке, о его *Я*, а вместе с тем и об инстинктах. И вот для того, чтобы возвратить своему опыту смысл, и пишет Фрейд *По ту сторону принципа удовольствия*. Я еще покажу вам, какая необходимость вынудила его написать те последние параграфы, чья судьба, уготованная им со стороны большинс-

тва аналитического сообщества, вам хорошо известна. Как правило, признаются, что в них ничего не понятно. Но даже те, кто готов вслед за Фрейдом его слова об инстинкте смерти повторить, разобрались в них не лучше, чем яковиты, послужившие Паскалю в *Провинциалах* столь славной мишенью, разобрались в понятии *достаточной благодати*. Я призываю всех вас прочесть этот удивительный, невероятно двусмысленный и запутанный текст, причем прочесть несколько раз – в противном случае в предложенном мною подробном его прочтении вы ничего не поймете.

Последние его параграфы так и остаются до сих пор буквально за семью печатями, никто так и не попытался их прояснить. Их невозможно понять, не уяснив себе, что опыт Фрейда призван был дать. А призван он был спасти дуализм любой ценой, спасти в тот самый момент, когда дуализм этот готов был выскользнуть у него между пальцами, а *Я*, либидо и проч. уже слились было в некое обширное целое, возвращавшее нас к философии природы.

Дуализм этот и есть то, о чем я говорю, когда ставлю на первый план автономию символического. Это у Фрейда не сформулировано. Но чтобы вам это объяснить, понадобится критическое истолкование его текста. Я не вправе считать окончательно установленным то, что, собственно, в этом году еще предстоит сказать. Но я уверен, что смогу продемонстрировать вам, насколько категория *символического действия* является обоснованной.

Ипполит: – *Против этого я и не возражал. Символическая функция является для вас, насколько я понимаю, функцией трансценденции, в том смысле, что мы не можем ни в ней оставаться, ни из нее выйти. Чему она служит? Мы не можем без нее обойтись, и в то же время не можем в ней обосноваться.*

Лакан: – Разумеется. Это присутствие в отсутствии и отсутствие в присутствии.

Ипполит: – *То, что можно было понять, – я хотел это понять.*

Лакан: – Если Вы настаиваете на том, что Вы, в плане феноменологическом, здесь предложили, у меня возражений не будет. Просто этого, мне кажется, недостаточно.

Ипполит: – *Разумеется, и мне тоже.*

Лакан: – И по правде говоря, будучи чисто феноменологическими, эти соображения мало что нам дают.

Ипполит: – *Я и сам так думаю.*

Лакан: – Они лишь скрадывают путь, который нам предстоит проделать, заранее придавая ему соответствующую окраску. Скажите, неужели символический регистр понадобился мне лишь для того, чтобы найти какое-нибудь местечко для вашей трансценденции, которая должна же, в конце концов, как-то существовать? Неужели об этом идет речь? Не думаю. Мои намеки на совершенно иное использование понятия *машины* могли бы и навести вас на эту мысль.

Ипполит: – *Мои вопросы были всего лишь вопросами. Меня интересовало, что именно позволяло вам не отвечать на вопрос Маннони, ссылаясь на то, что отвечать не на что или, во всяком случае, что попытка ответить окончательно сбила бы нас с толку.*

Лакан: – Я сказал, что не думаю, что именно в этом смысле можно сказать, что Леви-Стросс возвращается к природе.

Ипполит: – *... отказывается к ней вернуться.*

Лакан: – Я обратил внимание еще и на то, что нам нужно учитывать формальную сторону природы, то есть то, что я определил в ней как *псевдозначащую симметрию* – ведь именно эту сторону использует человек для создания своих фундаментальных символов. Важно то, что придает имеющимся в природе формам символическую ценность и функцию, что заставляет одних из них выполнять какие-то функции по отношению к другим. Именно человек вносит понятие *асимметрии*. Асимметрия в природе ни симметрична, ни асимметрична – она лишь то, что она есть.

В следующий раз я собирался говорить с вами о собственном Я как функции и как символе. Вот здесь-то и выступает на свет двусмысленность. Собственное Я, функция воображаемая, участвует в психической жизни исключительно в качестве символа. Своим Я мы пользуемся точно так же, как туземцы Бороро пользуются попугаем. Там, где Бороро говорят *Я – попугай*, мы говорим *Я – это я сам*. Все это совершенно неважно само по себе. Важно, какую это выполняет функцию.

Маннони: – *Создается впечатление, что после Леви-Стросса поль-*

зоваться понятиями культуры и природы больше нельзя. Он разрушает их. Это же относится и к идее адаптации, о которой мы столько все время говорим. Быть адаптированным *означает, просто-напросто, быть живым.*

Лакан: – Сказано справедливо. Это замечание того же порядка, что только что было сделано мной, когда я говорил, что Фрейд любой ценой старался отстоять определенного рода дуализм. В результате стремительной эволюции аналитической теории и техники Фрейд стал свидетелем резкого падения напряжения, аналогичного тому, которое обнаружили Вы в мысли Леви-Стросса. Ну, а что касается Леви-Стросса, будем надеяться, что это еще не последнее его слово.

1 декабря 1954 года.

IV
МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЕНОМЕНА СОЗНАНИЯ

Пережитое и судьба.
“Сердцевина нашего бытия”.
Собственное Я – это объект.
Зачарованность, соперничество, признание.

Indem er alles schaft, was schaftet der Höchste? – Sich.
Was schaft er aber vor er alles schaftet? – Mich.

Это двустишие Даниэля фон Чепко – мы к нему скоро вернемся, если мне удастся сегодня подвести вас к тому, к чему бы хотел я вас подвести.

Смысл читаемого здесь курса отражается и в самих правилах, по которым он строится. Все, что я хочу, – это подготовить вас к чтению работ Фрейда. Тем, кто не желает себя этому занятию посвятить, мне предложить нечего. Усвойте себе хорошенько, что та форма, которую я пытаюсь придать здесь учению Фрейда, будет оценена по достоинству лишь теми, кто сможет, опираясь на тексты, сопоставить мои соображения с теми трудностями, которые могут в них встретиться.

Тексты эти действительно порою трудны, вбирая в себя спорную проблематику, которая заявляет о себе в многочисленных противоречиях. Это организованные противоречия, но именно противоречия, а не простые антиномии. Фрейду случается порою, развивая свою мысль, прийти к позициям, которые представляются ему противоречивыми, и отступить поэтому к другим, более надежным – что не означает, будто он не считал первые в свое время вполне оправданными. Короче говоря, само движение мысли Фрейда, незавершенной, так никогда и ни в каком издании окончательным образом, догматически не сформулированной – вот что вы должны научиться воспринимать сами. Чтобы это восприятие вам облегчить, я и пытаюсь перевести вам здесь то, что сумел извлечь из размышлений над работами Фрейда сам – извлечь в свете опыта, в котором я, *по крайней мере, в вопросах принципиальных*, их чтением

руководствовался. Я говорю: по крайней мере, в вопросах принципиальных, поскольку ставлю нередко под сомнение, что мысль его была правильно понята и что в развитии аналитической техники ей достаточно строго следовали.

Я хочу показать вам, что Фрейд впервые обнаружил в человеке ось и бремя той субъективности, которая выходит за границы индивидуальной организации как результирующей индивидуального опыта и даже как линии индивидуального развития. Я даю вам возможную формулу субъективности, определяя ее как организованную систему символов, претендующую на то, чтобы охватить всю совокупность опыта, одушевить ее, дать ей смысл. Что, если не субъективность, пытаемся мы здесь понять? Направления и мысленные ходы, которые я здесь, опираясь на наш опыт и нашу практику, предлагаю вам, призваны вдохновить вас на применение их в конкретной деятельности.

1

В этом обучении, как и в анализе, мы имеем дело с сопротивлениями.

Анализ учит нас, что сопротивления эти всегда гнездятся в собственном Я. Ему соответствует то, что я называю порою суммой предрассудков, которые привносит с собой каждое знание и чей груз каждый из нас, индивидуально, на себе тащит. Речь идет о чем-то, включающем то, что мы знаем или полагаем, будто знаем, – ведь с какой-то точки зрения знать – это всегда и есть верить, будто знаешь.

Поэтому всякий раз, когда перед вами открывается новая перспектива, горизонт которой оказывается по отношению к прежнему вашему опыту несколько смещенным, вы невольно совершаете какие-то движения, чтобы восстановить равновесие, вернуть вашему кругозору его привычный центр, – они-то и являются признаками того, о чем я толкую вам и что именуется сопротивлением. На самом же деле следовало бы, напротив, подойти к понятиям, коренящимся в ином опыте, непредвзято и употребить их себе на пользу.

Вот пример. Клод Леви-Стросс открыл недавно перед нами новую перспективу – перспективу, в которой реальность семьи подверглась предельной релятивизации и ко-

торая позволяла нам, казалось бы, пересмотреть то, что так поглощало нас и было для нас так притягательно, – ту реальность, с которой ежедневно приходится нам иметь дело. И как же один из наших общих спутников на это реагирует? В конце концов, говорит он, чем беспокоиться по поводу условности системы семьи, не лучше ли вспомнить, что кроме родителей в семье есть еще и дети. С точки зрения ребенка реальность семьи восстанавливается. А мы, аналитики, как раз и имеем дело с отношением детей к родителям. Что как раз и не позволяет путающему все карты релятивизму сбить нас с толку.

Поставить таким образом вопрос о семье на солидную почву реальности детского опыта, разумеется, имело смысл – это значило поставить в центр аналитического опыта тот факт, что каждый индивид есть не что иное, как ребенок. Но предложение это свидетельствовало в то же время о стремлении центрировать наш психоаналитический опыт вокруг опыта индивидуального, психологического.

Вот этого-то как раз делать не стоит, что я и проиллюстрирую сейчас, рассказав о том, свидетелем чему мне довелось стать не далее как вчера, в групповой работе, которую мы называем контролем.

Субъекту снился ребенок, грудной ребенок, беспомощно, как черепаха, лежавший на спинке и сучивший ручками и ножками. Ребенок этот предстал ему во сне как изолированный образ. Имея на то причины, я сразу же сказал человеку, который мне этот сон пересказывал: "*Ребенок – это субъект, тут нет никакого сомнения*".

Рассказывали мне и другой сон, подтверждающий, что в такого рода образах предстает нам именно субъект. Человеку снится, будто он купается в море, причем в море совершенно особом – чтобы сразу дать вам понятие о возникавших как в образном, так и в вербальном контексте ассоциациях, скажем, что оно объединяло в себе диван аналитика, мягкие сидения в его машине и, разумеется, мать. На море этом написаны цифры, явно связанные с датой рождения субъекта и его возрастом.

На каком фоне возник этот сон? Субъект чрезвычайно озабочен вот-вот должным родиться ребенком, за которо-

го он чувствует себя ответственным и отцом которого он, похоже, себя воображает. Эта жизненная ситуация представляется чрезвычайно двусмысленной – поневоле приходит в голову, что у человека были серьезные мотивы себе такое вообразить, тем более что в реальности вопрос остается нерешенным. На самом же деле субъект, охваченный полубредовой тревогой по поводу своей ответственности за оплодотворение, воспроизводит другой, действительно существенный для него вопрос: является ли законным ребенком он сам?

Видеть и рассказывать такой сон субъект мог лишь при условии, что уже слышал из уст аналитика формулировку: "*В этой истории речь идет о тебе самом*". И подразумевает этот сон вот что: "*Разве, в конце концов, я не ваш ребенок, господин аналитик?*"

Как видите, то, что выступает здесь столь рельефно, не сводится, как обычно стремятся это представить, к конкретной, аффективной зависимости ребенка по отношению к тем взрослым, которые являются, с большей или меньшей степенью вероятности, его родителями. Если субъект и задается вопросом о том, кто он такой, выступая при этом в качестве ребенка, то интересует его не степень зависимости и не то, признан он или нет. Субъект вопрошает о себе лишь постольку, поскольку сами отношения, в которых он пребывает, возведены в степень Символического. Проблема ставится для него, таким образом, именно во второй степени, в плане символического усвоения себе собственной судьбы, в регистре автобиографии.

Я не стану утверждать, что в аналитическом диалоге все всегда происходит на этом уровне, но помните, что именно этот уровень является в собственном смысле аналитическим. Множество детей воображает, что они имеют другую семью, что те, кто о них заботится, не настоящие их родители. Я бы даже сказал, что это типичная, нормальная фаза в развитии ребенка – фаза, которая дает в нашем опыте множество ростков и игнорировать которую, даже за пределами аналитического опыта, ни в коем случае не позволено.

Так вот – к чему я все как раз и клоню – что же такое анализ сопротивлений?

Анализировать сопротивления вовсе не значит (как это пытаются если не сформулировать – а ведь и формулируют, я вам приведу не один пример, – то осуществить на практике), – вовсе не значит воздействовать на субъект, заставляя его осознать, каким образом его привязанности, его предрассудки, его попытки поддержать Я в равновесии мешают ему видеть. Это вовсе не уговоры, от которых до внушения всего один шаг. Это не значит усиливать, как иногда говорят, собственное Я субъекта или пытаться превратить его здоровую часть в союзника. Это не значит убеждать. Это значит лишь понимать, на каком именно уровне следует ожидать ответа в каждый момент аналитического контакта. Вполне вероятно, что ответ этот может порою быть получен и на уровне Я субъекта. Но в случае, о котором я говорю, дело обстоит не так. Вопрос субъекта не подразумевает какого-то разрыва, разлуки, органического недостатка любви и привязанности, он касается лишь истории субъекта, поскольку тот не хочет ее знать, что и выражается невольно во всем его поведении по мере того, как он пытается все же, как бы на ощупь, в ней разобраться. Ориентиры его жизни заданы проблематикой, которая определяется не жизненным его опытом, а его судьбой: что его история означает?

Речь представляет собой матрицу той части субъекта, которую он игнорирует: именно это и есть уровень аналитического симптома как такового – уровень, эксцентричный по отношению к индивидуальному опыту, ибо это уровень того исторического текста, в который субъект вписывается. Ясно поэтому, что устранить симптомы может лишь вмешательство именно на этом, смещенном по отношению к центру, уровне. И заведомо обречено на неудачу любое вмешательство, которое вдохновлялось бы предвзятой, сфабрикованной исходя из нашего представления о нормальном развитии индивида, реконструкцией, ставящей себе целью возвращение его к норме: вот, мол, то, чего ему не хватало, вот что ему предстоит усвоить, чтобы, скажем, справиться с фрустрацией. Важно твердо знать, разрешается данный симптом в том регистре или же в другом – середины здесь не дано.

Решение, однако, всегда проблематично, поскольку диалог на уровне *эго* всегда отзывается откликами, в

том числе – почему бы и нет? – психотерапевтическими. Психотерапевты привыкли действовать, плохо отдавая себе отчет в том, что именно они делают, но функция речи была, разумеется, у них на вооружении. И касательно этой функции нам, в анализе, важно понять, действует ли она, ставя на место Я субъекта авторитет аналитика, или же она субъективна. Установленный Фрейдом порядок доказывает, что осевая реальность субъекта лежит вне его Я. Вмешательство, подменяющее Я субъекта самим аналитиком, в определенной практике анализа сопротивлений повседневно принятое, представляет собой не анализ, а обыкновенное внушение.

Симптом, каков бы он ни был, не получает своего разрешения до тех пор, пока анализ не исходит в своей практике из знания того, на что действие аналитика направлено, на какую, так сказать, точку в субъекте должен он нацелиться.

Я продвигаюсь постепенно, шаг за шагом. Мне кажется, что за предыдущие месяцы – да что там, годы – я достаточно ясно дал вам понять, что бессознательное и есть тот неизвестный "мне", игнорируемый "мною", *моим Я*, субъект, *der Kern unseres Wesens*, как пишет Фрейд в посвященной процессу сновидения главе *Traumdeutung*, с которой я предлагал вам познакомиться. Рассматривая первичный процесс, Фрейд стремится говорить о чем-то таком, что имеет онтологический смысл и что он называет "*ядром нашего бытия*".

Ядро нашего бытия не совпадает с нашим Я. В этом и есть смысл аналитического опыта, именно вокруг этого он постепенно наслаивался, отлагая те пласты знания, которые сегодня вам и преподаются. Не думаете ли вы, однако, будто достаточно держаться этого, говоря: Да, *я* бессознательного субъекта – это не Я сам? Нет, этого недостаточно, ибо покуда вы мыслите спонтанно, непосредственно, ничто не подсказывает вам, что верно, может статься, и обратное. В результате вы, как правило, приходите к мысли, что бессознательное *я* ваше истинное Я и есть. Вы начинаете воображать, будто ваше настоящее Я представляет собой лишь неполную, обусловленную заблуждением форму *я* бессознательного. Тем самым, едва произведя то смещение центра, которого Фрейдово открытие требует, вы тут же вновь

свели его на нет. Это напоминает хорошо известный окулистам эффект диплопии. Если поместить два изображения очень близко друг к другу – так, что они друг на друга почти накладываются, – то в силу свойственной нам привычки косить глазами изображения эти, если дистанция между ними достаточно мала, сольются в целое. Вновь вводя ваше Я в *я*, открытое Фрейдом, вы делаете то же самое – вы восстанавливаете единство.

Именно это и успело произойти в анализе с тех пор, как, обнаружив – по причинам, которые нам задним числом еще предстоит себе уяснить, – что первоначальная плодотворность аналитического открытия начала на практике исчерпываться, аналитики вернулись к так называемому анализу собственного Я, надеясь найти там точную изнанку того, что им предстояло субъекту продемонстрировать. Ибо в плане демонстрации дело дошло до настоящей головоломки. Сложилось мнение, будто, анализируя собственное Я субъекта, мы обнаруживаем оборотную сторону того самого, что необходимо ему дать понять. Результатом оказывалась редукция того типа, о котором я говорил, – два различных образа оказываются сведены к одному-единственному.

Да, подлинное *я* не является, разумеется, моим Я. Но этого еще мало – ведь у меня всегда остается возможность убедить себя, что Я является всего лишь заблуждением со стороны *я*, своего рода частной точкой зрения, уже одно осознание которой раздвигает горизонты достаточно, чтобы в них обнаружилась реальность, которую в психоаналитическом опыте предстоит достичь. Важно и другое, обратное, что никогда не следует упускать из виду: *мое Я* – это вовсе не *я*, не заблуждение в смысле частичной истины, как представляет ее классическая доктрина. Это нечто совсем другое – это особый объект, внутри опыта данного субъекта присутствующий. Да, буквально так: *мое Я* представляет собой объект – объект, выполняющий определенную функцию, которую мы назовем здесь *функцией воображаемой* (fonction imaginaire).

Для техники это положение более чем существенно. И попробуйте, вслед за мной, не выводить эту концепцию из

чтения метапсихологических сочинений Фрейда, написанных после 1920 года. Исследования Фрейда в русле второй его топики были предприняты с целью вновь указать Я на его место, с которого оно уже начало было потихоньку возвращаться восвояси. Те же, кто пытался за ходом его мысли следовать, впадали, по сути дела, в классическую иллюзию – я не говорю "в заблуждение", ибо речь идет именно об иллюзии. Все, что пишет Фрейд, имеет в виду одну цель: восстановить точную картину эксцентричности субъекта по отношению к Я.

Я утверждаю, что в этом вся суть и что именно вокруг этого все должно строиться. Почему? Я начну свои объяснения с азбучных истин – больше того, я начну их с уровня того, что называется или ошибочно почитается очевидностью.

2

Ваша очевидность, очевидность того психологического опыта, который вы считаете своим, обусловлена понятийной путаницей, о которой вы ведать не ведаете. Мы живем в гораздо большей степени, чем сами думаем, на уровне понятий. Способ рефлексии на этом уровне существенно сказывается на том, каким образом воспринимает и в то же время понимает себя существо определенной культурной эры.

Сегодня, в 1954 году, для всех нас, какие мы есть, представление о сознании как явлении из ряда вон выходящем, продукте высокой организации, стало непререкаемым постулатом; я убежден, что среди присутствующих не найдется ни одного, кто не был бы в конечном счете убежден, что сколь бы неполным, зачаточным наше восприятие сознания, то есть нашего собственного Я, ни было, само существование наше дано нам именно в нем. Мы полагаем, что в факте сознания единство Я если не исследуется, то, по крайней мере, воспринимается.

Аналитический же опыт, напротив – что не перестает самого Фрейда повергать в великое смущение, – заостряет наше внимание на иллюзиях сознания.

В набросках 1895 года Фрейду не удается – хотя это довольно легко – найти явлению сознания точное место в уже разработанной им схеме психического аппарата. Гораздо

позже, в метапсихологии, пытаясь объяснить различные патологические формы – сон, бред, ложные идеи, галлюцинации – разгрузкой систем, он каждый раз, когда речь заходит о том, чтобы заставить функционировать систему сознания, оказывается перед парадоксом и говорит себе, что тут должны действовать особые законы. Система сознания в его теорию не вмещается. Концепция Фрейда о психофизической нагрузке интраорганических систем необычайно хитроумна в своих объяснениях того, что в индивиде происходит. И как бы гипотетична она ни была, все полученные нами с тех пор результаты экспериментов в области диффузии и распределения нервных потоков говорят скорее в пользу биологических построений Фрейда. Но в отношении сознания эти построения не работают.

Вы мне скажете – хорошо, это свидетельствует о том, что Фрейд в этом вопросе запутался. Но мы попробуем взглянуть на него под другим углом.

Что придает сознанию его столь очевидную, на первый взгляд, изначальность? Казалось бы, философ, исходя из прозрачности сознания для себя самого, опирается на нечто совершенно бесспорное. Ведь если налицо сознание чего-то, то невозможно – объясняют нам – чтобы это, наличное сознание не постигало бы и себя самое как таковое. Какой бы то ни было опыт может быть предпринят лишь при условии, что внутри этого опыта субъект может постичь, в своего рода непосредственной рефлексии, самого себя.

С тех пор, как Декарт сделал на этом пути решающий шаг, философы, разумеется, сумели несколько на нем продвинуться. Так, был поставлен остающийся покуда открытым вопрос о том, постигается ли я в поле сознания непосредственно. Но уже о Декарте справедливо замечено, что он проводит различие между сознанием тетическим и нететическим.

Но я не буду углубляться в метафизическое исследование проблемы сознания. Я предложу вам не то чтобы рабочую гипотезу – с моей точки зрения, речь идет вовсе не о гипотезе, – а своего рода способ выйти из положения, разрубить гордиев узел. Ибо есть проблемы, которые нужно иметь решимость бросить нерешенными.

Речь снова пойдет о зеркале.

Образ в зеркале – что это такое? Лучи, возвращаясь к поверхности зеркала, заставляют нас поместить в некоем воображаемом пространстве объект, который находится одновременно и где-то в реальности. Реальный объект – это не тот объект, что вы видите в зеркале. Перед нами, следовательно, феномен сознания как таковой. Во всяком случае, именно это я предлагаю вам допустить, чтобы иметь возможность произнести маленькую апологетическую речь, которая послужит в ваших размышлениях нитью.

Представьте себе, что люди исчезли с лица земли. Я говорю: *люди* – учитывая высокую ценность, которую вы приписываете сознанию. Мне этого, собственно, достаточно, чтобы задать мой вопрос: *Что остается в зеркале?* Но пойдем дальше и предположим, что исчезли все живые существа. Остаются лишь водопады и источники, громы и молнии. Образ в зеркале, образ на поверхности озера – они еще существуют?

Ясно, что существуют. И по очень простой причине – на достигнутой нами высокой ступени цивилизации, оставившей наши иллюзии относительно сознания далеко позади, мы придумали аппараты столь сложные, что не будет слишком смелым вообразить их способными самостоятельно проявить пленки, разложить их по коробочкам и поместить в холодильник. И даже когда все живое с земли исчезнет, камера наша с таким же успехом сделает снимок отражения горы в озере или кафе “Флор”, гибнущего в мерзости запустения.

У философов найдется, конечно, на это множество хитроумных возражений. Но я прошу, тем не менее, внимательно меня выслушать.

Итак, люди неожиданно возвращаются. Таково произволение Бога Мальбранша – если в каждый момент времени существование наше обусловлено Его волей, то что удивительного, если Он, временно упразднив человеческий род, вновь пустит его в обращение несколько веков спустя?

Многому люди должны будут научиться заново, и в особенности чтению образа. Но это не так важно. Ясно другое – увидев на пленке образ горы, они увидят и ее отражение в

озере. Увидят они и те изменения, что имели место как в самой горе, так и в ее отражении. Мы можем даже пойти еще дальше. Представим себе машину более сложную, где нацеленный на отражение в озере фотоэлемент дает командный сигнал на взрыв (когда нужно доказать эффективность чего-либо, без взрыва не обойтись), а другая машина регистрирует эхо или собирает энергию этого взрыва.

Именно это я и предлагаю вам рассматривать как пример такого феномена сознания, который никаким Я не был воспринят и ни в каком "собственном" опыте отражен не был – поскольку никакого Я или сознания Я в эту мнимую эпоху не было и в помине.

"Погодите, голубчик, – возразите вы. – Разве Я не присутствует здесь в самой камере?" Нет, в камере нет и тени собственного Я. Зато я охотно признаю, что без *я* – только не в камере – здесь не обошлось.

Я уже объяснял вам, что человек – это субъект, центр которого смещен (decéntré), и что причиной тому вовлеченность человека в игру символов, включенность его в мир символический. Но ведь именно в этой игре, в этом мире сконструирована и машина. Ведь машины, даже самые сложные, создаются не чем иным, как словами.

Слово – это прежде всего продукт обмена, с помощью которого люди опознают друг друга; так, если вы сказали пароль, вас пропустят с миром и т. д. Именно с этого начинается круговорот речи, который, ширясь, образует мир символов, допускающий алгебраические расчеты. Машина – это структура, которая от деятельности субъекта как бы оторвана. Символический мир – это мир машины.

Но тогда возникает другой вопрос: что же именно составляет в этом мире бытие субъекта?

Иные очень беспокоятся, слыша, что я ссылаюсь на Бога. Это, однако, тот Бог, которого мы получаем *ex machina*, если, конечно, наоборот, не извлекаем *machina ex Deo*.

Машина реализует непрерывность, благодаря которой люди, какое-то время отсутствовавшие, получают в свое распоряжение регистрацию того, что произошло в интервале между феноменами сознания в собственном смысле. Причем я могу говорить здесь о *феномене сознания*, не при-

бегая при этом к овеществленному представлению о какой-либо космической душе или о чем-то ином, в природе присутствующем. Ибо, находясь там, где находимся мы – может быть как раз потому, что мы связаны с изготовлением машины достаточно тесно, – нам уже ни за что не спутать символическую интерсубъективность с космической субъективностью. Я, по крайней мере, на это надеюсь.

Придумав эту аналогию, я вовсе не пытался развить некую гипотезу, я предпринял это, скорее, в качестве оздоровительной меры. Даже для того, чтобы просто поставить для начала вопрос о том, что такое Я, нужно отмежеваться от концепции сознания, которую мы назвали бы религиозной. Современный человек, не отдавая в этом себе отчета, уверен, что все, что бы ни произошло во вселенной с момента возникновения ее, существует лишь для того, чтобы сойтись в той мыслящей вещи, в том живом сознании, в том думающем и уникальном существе, вершине творения, которое и есть он сам, обладающий тем привилегированным пунктом, что именуется сознанием.

Подобная точка зрения приводит к антропоморфизму настолько бредовому, что, не очнувшись от него, вы так и не узнаете, в плену какого рода иллюзии вы находитесь. Глупость научного атеизма – это в человечестве кое-что новенькое. Обороняя свою науку против всего, что хоть отдаленно напоминает о ссылке на Верховное Существо, они сломя голову устремляются в другом направлении – чтобы сделать то же самое: пасть ниц. Понимать снова ничего не надо, все и так ясно – сознание должно явиться на свет; весь мир и вся история сходятся в этом чудесном фокусе, современном человеке, будь то я, вы или уличные прохожие.

Чисто сентиментальный и воистину непоследовательный атеизм, присущий научной мысли, косвенно подталкивает ее к тому, чтобы сделать сознание вершиной всех явлений. Насколько это в ее силах, она пытается – подобно тому, как из монарха абсолютного делают монарха конституционного, – представить это сознание как шедевр из шедевров, как то, ради чего существует все остальное, как само совершенство. Но эпифеномены эти на самом деле ничего не дают. Приступая к изучению самих явлений, обычно ве-

дут себя так, словно их вовсе не принимают в расчет.

Само старание не принимать их в расчет свидетельствует о том, что, не справившись с их влиянием, поневоле станешь кретином – не сможешь думать ни о чем другом. Я не стану распространяться о противоречивых и ребяческих формах неприязни, предрассудков, мнимых склонностей к введению особых сил или сущностей, именуемых виталистскими, и т. д. Но когда эмбриологи говорят о роли формообразующей формы в развитии эмбриона, они обязательно полагают, что с того момента, как возник некий организующий центр, в нем находится не что иное, как именно сознание. Сознание, глаза, уши – одним словом, внутри эмбриона поселился маленький демон. С этого момента они уже не пытаются организовать то, что обнаруживается в феномене на поверхности, ибо все высшее, с их точки зрения, предполагает сознание. Мы знаем, однако, что сознание связано с обстоятельствами вполне случайными, такими же случайными, как наличие в необитаемом мире поверхности озера – с существованием, например, наших глаз или наших ушей.

Конечно, есть в этом нечто немыслимое, некий тупик, в который упираются всякого рода духовные образования, по видимости, организованные противоречивым образом. Здравый смысл отреагировал на них наложением определенных табу. Это для начала. Бихевиоризм говорит: "Мы, со своей стороны, будем наблюдать лишь типы поведения в целом, не обращая внимания на сознание". Хорошо известно, однако, что эта попытка заключить сознание в скобки оказалась не столь уж плодотворной.

Сознание – вовсе не то чудовище, за которое его принимают. Исключив его или заключив в оковы, мы ничего полезного не приобретаем. Больше того, говорят, что в последнее время бихевиоризм, именуемый бихевиоризмом "коренным", тихой сапой ввел его вновь. Ведь и бихевиористы, вслед за Фрейдом, научились гибко пользоваться понятием "поля". Не считая этого, все те небольшие успехи, которыми бихевиоризм может похвастать, объясняются его согласием наблюдать ту или иную серию феноменов на их собственном уровне – на уровне, скажем, типов поведения,

взятых как целое, рассматриваемых в объекте уже сложившемся, – не ломая себе голову над тем, какие элементарные, низшие или высшие механизмы в этом участвовали. Нельзя не признать, однако, что в самом понятии поведения налицо определенная кастрация человеческой реальности. Не потому, что оно игнорирует понятие сознания, которое, по сути дела, ничему и никому еще не приносило пользы – ни тому, кто им пользуется, ни тому, кто этого предпочитает не делать, – а потому, что оно исключает интерсубъективные отношения, которые лежат в основе не просто типов поведения, но действий и страстей. С сознанием это не имеет ничего общего

В течение какого-то времени, в ходе этого введения, я прошу вас исходить из того, что сознание появляется всякий раз, когда бывает дана – а происходит это в самых неожиданных и друг от друга отдаленных местах – поверхность, способная произвести то, что именуют *образом*. Это материалистическое определение.

Образ – это значит, что отправляющиеся от данного пункта в Реальном энергетические воздействия – представьте себе, что они имеют световой характер, так как именно свет наиболее явно создает в нашем уме образ – отражаются от некоторой точки поверхности и попадают в одну и ту же соответствующую точку пространства. Вместо озерной глади в роли этой поверхности с успехом может выступать и *area striata* затылочной доли мозга, ибо *area striata* с ее слоями волокон вполне подобна зеркалу. И точно так же, как не нуждаетесь вы во всей поверхности зеркала – если только это вообще что-то значит, – чтобы увидеть, что в каком-то месте или комнате расположено, и можете с успехом добиться этого результата, манипулируя лишь маленьким его осколком, не имеет значения и то, насколько малый участок *area striata* служит этой же цели, уподобляясь зеркалу. Внутри мира можно найти множество вещей, которые ведут себя как зеркала. Достаточным условием служит то, чтобы некоторой точке реальности соответствовал определенный ответный эффект в другой точке, чтобы между двумя точками реального пространства установилась взаимнооднозначная связь.

Сказав о *реальном пространстве*, я поспешил. На самом деле, может быть два случая: ответный эффект возникает либо в реальном пространстве, либо в пространстве воображаемом. Чтобы спутать ваши привычные представления, я только что продемонстрировал вам, что происходит в точке воображаемого пространства. И это позволило вам обнаружить, что не все, относящееся к воображаемому и являющееся в собственном смысле слова иллюзорным, является в силу этого одновременно и субъективным.

Бывают иллюзорности вполне объективные, объективируемые, и нет нужды разгонять вашу честную компанию, чтобы вы это поняли.

3

Что же происходит в этой перспективе с собственным Я? *Я* – это чистой воды объект. Ваше Я, которое вы воспринимаете якобы внутри поля ясного сознания в качестве единства этого последнего, как раз и представляет собой то самое, перед лицом чего непосредственность ощущения оказывается под угрозой. Единство это вовсе не однородно с тем, что происходит на поверхности вашего поля сознания, которое само по себе нейтрально. Именно сознание как физический феномен угрозу и порождает.

Вся диалектика, развернутая мною в качестве примера под именем *стадии зеркала*, основана на соотношении между, с одной стороны, определенным уровнем устремлений, которые опробываются (сейчас нам достаточно сказать: в определенный момент жизни) в виде разрозненном, бессвязном, несогласованном (от них всегда что-нибудь в нас остается), и, с другой стороны, тем единством, с которым уровень этот сливается и как бы спаривается. Это единство представляет собой то, в чем субъект впервые познает себя как единство, но единство отчужденное, виртуальное. Ему не свойственны черты инерции, присущие феномену сознания в его примитивной форме, оно, напротив, вступает с субъектом в отношения витального, или антивитального, характера.

Похоже, что опыт такого рода является привилегией человека. Не исключено, конечно, что встречается нечто подобное и у других видов животных. Для нас это не слишком

важно. Не будем создавать скороспелых гипотез. Мы знаем, что диалектика эта налицо в опыте на всех уровнях построения человеческого Я, – с нас этого достаточно.

Чтобы лучше вам эту диалектику дать почувствовать, я хотел бы воспользоваться образом, еще не стершимися от употребления, поскольку я еще ни разу вам не предлагал его, – образом слепого и паралитика.

Субъективность на уровне Я можно сравнить с этой парочкой, столь настойчиво заявляющей о себе – и не случайно, конечно, – в изобразительном искусстве XV столетия. Субъективную половину до опыта встречи с зеркалом можно уподобить паралитику, который без посторонней помощи способен лишь на движения некоординированные и беспомощные. Господство над ним получает образ Я, который слеп и который несет его. Вопреки ложной очевидности (и в этом-то вся проблема диалектики и состоит), господин не седлает раба, подобно всаднику, как полагал Платон, а как раз наоборот. И паралитик, с точки зрения которого вся эта перспектива выстраивается, не может идентифицировать себя в собственном единстве иначе, нежели через зачарованность, застывание в фундаментальной неподвижности, сообразуясь тем самым с устремленным на него взглядом, взглядом невидящим.

Другой образ – это образ змеи и птицы, зачарованной ее взглядом. В феномене построения Я зачарованность эта играет самую существенную роль. Лишь под этими чарами нескоординированное и несвязное многообразие первоначальной разрозненности получает свое единство. Рефлексия тоже представляет собой зачарованность, торможение. Эта функция зачарованности, даже ужаса – она дает о себе знать и под пером Фрейда, причем именно там, где он пишет о построении Я.

Третий образ. Если бы то, о чем идет речь в этой диалектике, могли воплотить машины, я предложил бы следующую модель.

Возьмем одну из тех маленьких лисичек или черепашек, что мы с некоторых пор так хорошо научились делать и которые служат ученым наших дней на потеху – автоматы играли очень важную роль всегда, а в наши дни роль их вновь

возросла, – возьмем одну из этих маленьких машинок, которым мы научились теперь с помощью всякого рода промежуточных органов придавать способность к гомеостазу и некое подобие желаний. Представим себе, что машина эта сконструирована таким образом, что остается незаконченной и блокированной, не складывается в завершенный механизм до тех пор, пока не воспримет – любым путем: скажем, с помощью фотоэлемента или реле – другой механизм, подобный ей абсолютно во всем, с тем единственным исключением, что он уже успел обрести единство в ходе чего-то, что можно назвать загодя приобретенным опытом (у машин тоже может быть свой опыт). Движение каждой машины обусловлено, таким образом, восприятием определенной стадии, достигнутой другой машиной. Это как раз и есть то, что соответствует элементу зачарованности.

Теперь вы видите, какая цепная зависимость может тем самым установиться. Поскольку единство первой машины зависит от единства другой, поскольку другая представляет ей модель и саму форму ее единства, то, к чему устремится первая, всегда будет определяться тем, к чему направляется вторая.

Результатом же будет ни больше ни меньше, как тупиковая ситуация, подобная той, что наблюдаем мы и в образовании человеческого объекта. Ведь это последнее всецело обусловлено той диалектикой ревности-симпатии, которая в традиционной психологии находит свое точное выражение в идее несовместимости сознаний. Дело не в том, что одно сознание не может представить себе другое, а в том, что Я, всецело определяемое формой единства другого Я, принципиально несовместимо с ним в плане желания. Воспринимаемый и желанный объект может получить либо он, либо Я, – это обязательно должен быть либо один, либо другой. И когда им обладает другой, происходит это потому, что принадлежит он мне.

Это определяющее для познания в чистом виде соперничество представляет собой, разумеется, этап виртуальный. Познания в чистом виде не бывает, ибо возникшая в желании объекта общность меня и другого кладет начало совершенно иному, а именно *признанию*.

Признание, очевидно, предполагает третьего. Чтобы первая машина, фиксированная на образе второй, оказалась с ней согласована, чтобы в точке схождения их желания – ведь это, в конечном счете, одно и то же желание, ибо на этом уровне обе они представляют собой одно и то же существо, – не произошло поневоле их взаимного уничтожения, нужно, чтобы одна машинка могла *информировать* другую, могла сказать ей: "*Я хочу вот этого!*" Но это невозможно. Даже если мы допустим, что имеет место некое я, сообщение все равно немедленно преобразуется в форму: *ты хочешь вот этого. Я хочу вот этого* означает: *ты, другой, представляющий собой мое единство, ты хочешь вот этого.*

Можно подумать, что перед нами вновь фундаментальная форма всякого человеческого сообщения: каждый получает от другого свое собственное сообщение, в обращенной форме. Ничего подобного. То, что я вам тут рассказываю, – это миф чистой воды. Невозможно, чтобы первая машина сказала что бы то ни было, ибо она еще не имеет единства, она представляет собой непосредственное желание, она лишена слова, она никто. Она есть кто-то не в большей мере, чем, скажем, отражение горы в озере. Паралитик безгласен, ему нечего сказать. Чтобы какие-то отношения установились, нужно, чтобы был некто третий, который поместился бы внутри одной из машин – например, первой – и произнес бы пресловутое *я* (je). Но на уровне опыта это совершенно невозможно!

Этот третий и есть, однако, то самое, что мы обнаруживаем в бессознательном. Он, собственно, и есть в бессознательном – там, где и должен он находиться, чтобы весь этот балет маленьких механизмов мог быть разыгран, то есть над ними, в том совсем другом месте, где поддерживаются, по словам выступавшего здесь Леви-Стросса, системы обменов, элементарные структуры. Чтобы мог осуществиться обмен, нечто такое, что было бы признанием, а не познанием, необходимо, чтобы в действие системы, обусловленной образом собственного Я, вмешалась система символическая.

Вы видите, таким образом, что собственное Я ничем, кроме функции воображаемой, быть не может, хотя построение субъекта на каком-то уровне оно действительно оп-

ределяет. Оно не менее двусмысленно, чем может оказаться и сам объект, не только этапом, но и верным коррелятом которого оно является.

Субъект полагает себя как действующий, как человеческий, как *я*, лишь начиная с того момента, как появляется символическая система. И момент этот принципиально невыводим из любой модели индивидуальной структурной самоорганизации. Другими словами, для появления на свет человеческого субъекта необходимо, чтобы машина в выдаваемых информационных сообщениях учитывала в качестве единицы среди прочих и саму себя. А вот этого-то она как раз сделать и не может. Чтобы принять в расчет саму себя, она должна перестать быть той машиной, что она есть, ибо добиться можно всего, но чтобы машина учитывала в качестве элемента в своих расчетах саму себя – этого добиться нельзя.

В следующий раз я представлю вам вещи под углом зрения не столь абстрактным. Я не является всего лишь функцией. С того момента, как символический мир входит в свои права, оно может послужить символом и само, и именно с этим мы как раз и сталкиваемся.

Поскольку из Я хотят сделать субъекта, поскольку ему стремятся приписать в качестве функции и в качестве символа единство, мы постарались лишить его сегодня того символического, гипнотизирующего нас достоинства, благодаря которому единство это кажется столь убедительным. В следующий раз мы восстановим его в этом достоинстве вновь, и вы сами увидите, насколько непосредственное отношение имеет все это к аналитической практике.

8 декабря 1954 года.

V
ГОМЕОСТАЗ И УПОРСТВО

Идолопоклонство.
Субъект учитывает самого себя.
Гетеротопия сознания.
Анализ Я не является изнанкой анализа Бессознательного.

Пожелай я выразить те цели, которые мы здесь преследуем, в образной форме, я начал бы с выражения радости по поводу того, что, поскольку работы Фрейда для нас доступны, ничто, кроме внезапного вмешательства самого божества, не заставит меня отправиться на какой-нибудь Синай на их поиски и тем самым оставить вас прежде времени в одиночестве. Надо сказать, что даже в самой тесной близости с текстом Фрейда вновь и вновь повторяется явление, которое, не будучи прямо-таки поклонением золотому тельцу, идолопоклонством, безусловно, является. Из-под его-то власти я и пытаюсь вас теперь вырвать. И буду считать, что преуспел в этом, если наступит день, когда ваше пристрастие к слишком образным формулировкам вас, наконец, оставит.

Я не скажу, что прошлым вечером Леклер в своем докладе простерся перед золотым тельцом, но что-то в этом роде все же имело место. Вы все почувствовали, что постоянство, с которым он держится за ряд своих ключевых терминов, носит именно такой характер. Разумеется, как в научном изложении, так и в других областях потребность в образном мышлении имеет свою ценность – но не в такой степени, как обычно думают. И ни в какой области не кроется в нем больше опасностей, чем в той, где мы с вами теперь находимся, – в области субъективности. Главная трудность, когда говоришь о субъективности, состоит в том, чтобы не обратить субъект в вещь.

Я полагаю, что, задумав придать своей постройке устойчивость – именно этому замыслу мы и обязаны тем, что модель свою он представляет нам как пирамиду, которая опирается на основание, а не на острие, – Леклер сделал из субъекта своего рода идола. Ему оставалось лишь представить его нашим взорам.

Замечание это имеет непосредственное отношение к

ходу наших теперешних рассуждений, в центре которых лежит вопрос: что такое субъект? Мы задаемся этим вопросом исходя как из наивного представления о субъекте, так и из научного, или философского, о нем понятия.

Вернемся к тому, на чем мы остановились с вами в прошлый раз, – к моменту, когда субъект улавливает свое единство.

1

Расчлененное тело обретает свое единство в образе другого, представляющем собой предвосхищение своего собственного, – ситуация с двумя участниками, внутри которой вырисовываются отношения полярные, но асимметричные. Уже сама эта асимметрия указывает на то, что психоаналитическая теория Я далека от ученого понятия о Я, которое сближается, напротив, с наивным о нем представлением, свойственным, как я уже говорил, психологии современного человека, исторически легко датируемой.

Я остановился в тот момент, когда показал вам, что субъект этот, вообще говоря, никто.

Субъект – это никто. Он разложен, расчленен. И он блокируется, он вбирается в себя либо образом другого, одновременно обманчивым и уже реализованным, либо собственным образом в зеркале. Там, в этом образе, он обретает единство. Воспользовавшись для объяснения ссылкой на одно из последних достижений современной автоматики, которые играют в развитии науки и мысли столь важную роль, я представил вам этот этап развития субъекта в виде модели, имеющей ту особенность, что она ни в малейшей мере не превращает субъекта в идола.

На том этапе, где я вас оставил, субъекта не было нигде. Все, что у нас было, это две механические черепашки, одна из которых была увязана в своем поведении с образом другой. Мы предположили, собственно, что посредством имеющегося в механизме регулятора – скажем, фотоэлемента, что нам, в принципе, безразлично, так как кибернетикой, даже воображаемой, я здесь заниматься не собираюсь – первая машинка была поставлена в зависимость от второй, подчинена ее функционированию в качестве единого

целого и связана, вследствие этого, с ее поведением. Откуда и возникает круг, который, как бы обширен он ни был, смыкается воедино не чем иным, как этим воображаемым соотношением между ними двумя.

Я уже показал вам, какие последствия имеет этот круг для желания. Но поймите меня здесь правильно – какое желание может быть у машины, кроме как продолжать черпать из источника энергии? Машина только и может, что питаться – маленькие зверушки Грея-Вальтера только этим и занимаются. Что до машин, которые себя воспроизводили бы, то таких еще не сконструировали, даже не придумали – сама схема их символики до сих пор так и не установлена. Итак, единственный объект желания, который мы у машины можем заподозрить, это ее источник питания. Но если каждая из них фиксирована на точке, куда направляется другая, где-нибудь да столкновения между ними не миновать.

На этом мы как раз и остановимся.

Представим себе теперь, что у машин наших имеется некий аппарат звукозаписи, и предположим, что некий повелительный голос – допустим (почему бы и нет?), что некто, некий законодатель, за их функционированием наблюдает – вмешивается, чтобы балом этим, который до сих пор вертелся хороводом и грозил привести к результатам катастрофическим, править. Речь идет о том, чтобы ввести символическую регуляцию, схема которой дана вам в обменах внутри элементарных структур с подразумеваемой в их основе бессознательной математикой. На этом сравнение заканчивается, так как овеществлять законодателя мы не собираемся – это значило бы сотворить себе очередного идола.

Д-р Леклер: – *Извините, но я хотел бы возразить. Если у меня и была тенденция делать из субъекта идола, то лишь потому, что я считаю это необходимым, что по-другому сделать нельзя.*

Лакан: – А, так Вы идолопоклонник! Я спускаюсь с Синая и разбиваю скрижали закона.

Д-р Леклер: – *Позвольте мне закончить. У меня создается впечатление, что отказываясь от этого, вполне сознательного, овеществления субъекта, мы стремимся – и Вы стремитесь тоже – перенести наше*

идолопоклонство на другой предмет. В данный момент это больше не субъект – это другой, образ, зеркало.

Лакан: – Знаю, знаю. Вы не один такой. Ваше увлечение трансцендентализмом формирует у вас некое субстанционалистское представление о бессознательном. Есть и другие, придерживающиеся идеалистического, в смысле критического идеализма, о нем понятия, но и они убеждены, что изгнанное мною в дверь я втаскиваю через окно. Среди вас много людей, чьи представления сформированы философией, скажем так, традиционной; людей, для которых постижение сознанием самого себя является одним из тех столпов, на которых зиждется все их мировоззрение. В этом, разумеется, присутствует нечто, к чему нельзя относиться легкомысленно, недаром я в прошлый раз предупреждал вас, что отваживаюсь разрубить гордиев узел и одну из возможных точек зрения предпочту в дальнейшем полностью игнорировать. Некто из здесь присутствующих, чье имя у меня нет причин произносить вслух, после прошлой лекции сказал мне: "*Мне показалось, что сознание, с которым поначалу мы обошлись так невежливо, вновь возвращается вами в свои права в облике того голоса, который восстанавливает порядок и правит бал ваших механизмов*".

Что касается этого голоса, то как ни крути, а наша дедукция субъекта требует, чтобы в игре межчеловеческих отношений ему где-нибудь все-таки нашлось место. Однако назвать его голосом законодателя значило бы творить идола – хотя и высшего порядка, но с чертами очень характерными. Разве это, скорее, не "*голос тот, который знает, Что он теперь ничей, Как глас деревьев и вод*"?

Именно о языке говорит здесь Валери. И не пора ли, в самом деле, признать, что голос этот действительно *ничей*?

Вот почему в нашу прошлую встречу я был готов сказать вам, что мы вынуждены требовать, чтобы слово распорядителя принадлежало именно машине. И, забегая немного вперед, как это и бывает обычно в конце лекции, когда нужно одновременно подвести итог сказанному и дать затравку на то, что сказать еще предстоит, я говорил следующее: предположим, что машина может учесть себя саму. Ведь для

того, чтобы регулирующие обмены предметами, как только что я их определил, математические комбинации действительно работали, как раз и нужно, чтобы в комбинаторике этой каждая из машин могла учесть и саму себя.

Что я хочу этим сказать?

2

Где индивид в субъективном функционировании своем учитывает себя самого, если не в бессознательном? Это, собственно, один из самых очевидных среди тех фактов, которые из фрейдовского опыта явствуют.

Возьмите, к примеру, ту странную игру, которую упоминает Фрейд в *Психологии обыденной жизни* и которая состоит в том, что субъекту предлагают назвать наугад ряд чисел. Ассоциации, которые у него затем по этому поводу возникают, обнаруживают значения, его припоминанию и его судьбе столь созвучные, что, с точки зрения вероятностной, результаты его выбора никак не укладываются в то, что поддается объяснению чистой игрой случая.

И если философы предостерегают меня против материализации феномена сознания, грозя возможной утратой бесценной для усмотрения радикальной оригинальности субъекта точки опоры – имея, разумеется, в виду мир, устроенный по Канту, даже по Гегелю, ибо центральную функцию сознания даже Гегель, позволяющий нам от нее освободиться, все еще признает, – то я, со своей стороны, предостерегу философов против иллюзии, имеющей прямое отношение к той, что выявляется в очень показательном, забавном и характерном для своего времени тесте, под названием *Бине и Симон.*

Считается, что возрастной уровень умственного развития субъекта (характеристика, по правде говоря, вовсе не такая уж и условная) можно установить, предложив ему сказать, согласен ли он с несколькими абсурдными утверждениями, среди которых есть и такое: "*У меня три брата: Поль, Эрнест и я*". В самом убеждении, будто тот факт, что субъект учитывает самого себя, является операцией сознания – операцией, допущение которой связано с интуитивным представлением о сознании, прозрачном для себя са-

мого, – кроется, конечно, иллюзия вроде той, что я охарактеризовал выше. Но ведь однозначной модели сознания не существует, и далеко не все философы описывали его одинаково.

Я не собираюсь критиковать то, как делает это Декарт, ибо диалектика служит у него определенной цели: продемонстрировать бытие Божие, так что, в конечном счете, именно произвольная изоляция *cogito* и сообщает ему основополагающую экзистенциальную ценность. И наоборот, несложно было бы показать, что, с точки зрения экзистенциалистской, постижение сознанием самого себя теряет в пределе всякую связь с каким бы то ни было экзистенциальным постижением своего Я. Собственное Я оказывается лишь особым, связанным с вполне объективируемыми условиями, опытом, внутри того самонаблюдения, которое и почитают за рефлексию сознания над самим собою. В постижении такого рода феномен сознания не носит какого-либо привилегированного характера.

Речь идет о том, чтобы освободить наше представление о сознании от всего того, что препятствует постижению субъектом самого себя. Ведь сознание представляет собой явление, по отношению к нашей дедукции субъекта если и не случайное, то во всяком случае гетеротопное, – почему я и позволил себе, ради интереса, представить вам модель его, почерпнутую как раз из мира физического. В субъективных феноменах сознание – вы убедитесь в этом – проявляется крайне нерегулярно. В той обращенной перспективе, которую заставляет нас принять анализ, проявления его всегда оказываются связанными с условиями скорее физическими, материальными, нежели психическими.

Возьмем, например, феномен сновидения – разве не относится он к регистру сознания? Ведь сновидение – оно сознательно. Это воображаемое мерцание, эти движущиеся образы – все это явления совершенно того же порядка, что и та иллюзорная сторона образа, на которой мы настаиваем, говоря о формировании Я. Сновидение очень напоминает угадывание в зеркале – один из древнейших способов предсказания, который можно с успехом использовать в технике гипноза. Заворожив себя созерцанием

поверхности зеркала, предпочтительно такого, каким оно почти всегда, с незапамятных времен и до эпохи относительно недавней, и было – скорее темного, чем светлого, выполненного из полированного металла – субъекту удается порою открыть для себя многие элементы собственных воображаемых фиксаций. Хорошо, так где же здесь сознание? В каком направлении его искать, где его поместить? Во многих из своих работ Фрейд ставит проблему в терминах психического напряжения, пытаясь определить те механизмы, которые осуществляют нагрузку и разгрузку системы сознания. Размышления Фрейда – смотрите *Набросок* и *Метапсихологию* – приводят ученого к убеждению, что сама логика его рассуждений заставляет рассматривать систему сознания как исключенную из динамики систем психики. Проблема так и остается у него нерешенной, и задачу добиться в этом вопросе ясности, которой у него самого еще нет, он предоставляет будущему. Совершенно очевидно, что мысль его зашла здесь в тупик.

Вот тут-то мы и оказываемся вынуждены ввести третий полюс, который и есть то самое, о чем толковал вчера наш друг Леклер, демонстрируя нам свою треугольную схему.

Без треугольника нам и в самом деле не обойтись. Но есть тысячи разных способов с ним обращаться. Ведь треугольник – это не обязательно жесткая фигура, опирающаяся на интуицию. Это еще и система отношений. Так, в математике треугольник становится предметом рассмотрения не раньше, чем все его стороны полагаются равноценными.

Итак, мы пускаемся на поиски субъекта, который брал бы в расчет самого себя. Вопрос в том, чтобы узнать, где он. И я тешу себя надеждой, что на данный момент мне удалось убедить вас, что по крайней мере для нас, аналитиков, он располагается в бессознательном.

Лефевр-Понталис: – *Позвольте мне вставить слово, так как мне показалось, что под анонимным собеседником, упрекавшим Вас, якобы, в том, что Вы припрятываете сознание в начале лишь для того, чтобы эффектнее продемонстрировать его в конце, Вы разумеете именно меня. Я никогда не утверждал, будто* cogito *является непререкаемой истиной, а опыт всецелой прозрачности себя для себя самого может служить для субъекта определением. Я никогда не утверждал, будто*

сознанием субъективность исчерпывается до конца, что, к тому же, в свете феноменологии и психоанализа, нелегко было бы доказать. Я утверждал лишь, что cogito *представляет собой своего рода модель субъективности, то есть позволяет отчетливо уяснить, что существует некто, для кого слово* подобно *имеет смысл. А вы, похоже, эту мысль как раз и опускаете. Ибо, произнося свою речь в защиту исчезновения человека, вы забыли лишь об одном: чтобы уловить соотношение между отражением и отраженным, человек должен вернуться. В противном случае, рассматриваем ли мы объект сам по себе или его фотоснимок, – перед нами в обоих случаях всего лишь объект. Здесь нет ни свидетеля, нет ничего. Да и в вашем примере со случайно выбранными числами, чтобы субъект сообразил, что названные им случайные числа на самом деле не так уж случайны, – разве не нужно для этого явление, которое вы можете называть как хотите, но которое, по-моему, и есть сознание? Это не просто отражение того, что ему говорит кто-то другой. Я не очень хорошо понимаю, почему так важно сокрушить сознание – не для того ли, чтобы с ним покончить?*

Лакан: – Важно не сокрушить сознание – мы не собираемся устраивать здесь битье стекол. Речь идет об исключительных трудностях, с которыми встречается аналитический опыт, пытаясь охарактеризовать систему сознания в терминах порядка, который Фрейд называет *энергетическим*, пытаясь указать ее место во взаимодействии различных психических систем.

Главным предметом нашего изучения служит в этом году Я, *эго*. Нам предстоит лишить его привилегии, которой он обязан некоему подобию очевидности, которое на самом деле – я не устаю на тысячи ладов вам это повторять – возникло в истории вполне случайно. Уже само место, которое занимает Я в философских умозаключениях, служит одним из самых лучших тому подтверждений. Понятие Я представляется ныне столь очевидным благодаря определенному особому статусу, которым обладает сознание в качестве уникального, индивидуального и ни к чему не сводимого опыта. Имея в центре своем опыт сознания, интуиция собственного Я завораживает нас, и для того, чтобы нашу концепцию субъекта выстроить, от чар этих прежде необходимо освободиться. Я как раз и пытаюсь, лишив их в ваших глазах привлекательности, дать вам, наконец, возможность понять, где, по Фрейду, реальность субъекта располагается.

В бессознательном, из системы Я исключенном, субъект говорит.

3

Вопрос в том, чтобы понять, можно ли обе системы, то есть систему Я, о которой Фрейд даже высказался как-то в том духе, что к ней и сводится все, что есть в психике организованного, и систему бессознательного, считать друг другу эквивалентными. Является ли противоположность между ними противоположностью между *да* и *нет*, простой инверсией, отрицанием в чистом виде? Нет никакого сомнения, что путем запирательства, *Verneinung*, сознание действительно сообщает нам очень многое. Почему бы, на этот путь вступив, не начать нам прочитывать бессознательное, просто-напросто меняя знак у того, что нам рассказывают? До этого, конечно, еще не дошли, но нечто очень похожее место уже имело.

Предложенная Фрейдом новая топика была воспринята как возвращение доброго старого Я – об этом свидетельствуют тексты лучших аналитиков того времени, в том числе и *Механизмы защиты* Анны Фрейд, увидевшие свет десять лет спустя. То было подлинное освобождение, настоящее ликование – *Наконец-то мы сможем снова им заняться! Теперь это не только разрешается, но и поощряется!* Именно в таком роде выражается м-ль Фрейд в *Механизмах защиты*. Надо сказать, что аналитики все же отдавали себе отчет в том, что занимались они не Я, а чем-то другим, – только опыт этот самим им казался странным, словно бы заниматься Я было просто запрещено.

Совершенно очевидно, что о Я Фрейд говорит постоянно. Эта функция всегда его исключительно занимала – но занимала как внешняя по отношению к самому субъекту. Находим ли мы в анализе сопротивлений эквивалент того, что называют анализом материала? Работать над поведением Я и изучать бессознательное – действительно ли это одно и то же? Или, может быть, системы эти взаимодополняют друг друга? Не отличаются ли они только знаком? Бессознательное и то, что его откровению сопротивляется, – не соотносятся ли они друг с другом как лицо и изнанка? Если это так, то впол-

не позволительно говорить – как один аналитик, Эльдорадо, это и сделал – о бессознательной эгологии.

Я имею здесь в виду очень занятную его статью в "Psychoanalytic Quarterly", v. 8, где на первом плане оказывается, в качестве стержня этой эгологии, так называемый *принцип избавления*, *rid principle*. Принцип этот в аналитической теории новый, и вы обнаружите его во множестве личин, ибо именно он служит сейчас для многих аналитиков путеводною нитью. *To rid* означает *избавляться от чего-либо*, *to rid of* – *избегать* Согласно их представлениям, этот новый принцип определяет собой все проявления субъекта без исключения. Он лежит в основе как самых элементарных процессов на уровне стимул-реакция – когда лягушка, к примеру, удаляет нанесенную ей на лапку кислоту, повинуясь рефлексу, который является спинно-мозговым, в чем легко убедиться, отрезав ей голову, – так и реакций Я. Бесполезно говорить, что какие бы то ни было ссылки на сознание полностью отсутствуют, и рассуждая таким образом, как я это здесь делаю, я руководствуюсь соображениями исключительно эвристическими. Перед нами, разумеется, крайняя позиция, в особенности полезная уже тем, что связно и откровенно высказывает идеи, которых обычно стесняются. Однако в момент, когда Фрейд вводит свою новую топику, цель его прямо противоположная: напомнить, что между субъектом бессознательного и организацией Я налицо не просто абсолютная асимметрия, а радикальное различие.

Я прошу вас, прочтите Фрейда. У вас впереди три недели. И даже продолжая поклоняться золотому тельцу, не выпускайте из рук маленькую книжицу заповедей – прочтите *По ту сторону принципа удовольствия*, пользуясь тем ключом, который я вам даю к ней. И вы сами убедитесь, что все это либо не имеет смысла вообще, либо имеет тот самый смысл, о котором я вам толкую.

Существует принцип, из которого мы всегда до сих пор исходили, – говорит Фрейд, – принцип, гласящий, что психический аппарат как некоторым образом организованное целое помещается между принципом удовольствия и принципом реальности. К идолопоклонству Фрейд, разумеется,

не склонен. Он никогда не думал, что в принципе реальности принцип удовольствия отсутствует. Ведь если реальности следуют, то лишь потому, что принцип реальности – это тот же принцип удовольствия, но удовольствия отложенного. И наоборот, если принцип удовольствия существует, он непременно согласуется с некоей реальностью, которая и есть реальность психическая.

Если техника имеет какой-то смысл, если реальность, называемая психической, действительно существует, или, другими словами, если существуют живые существа вообще, то происходит это в силу того, что имеется внутренняя организация, противостоящая до известной степени тому свободному и беспрепятственному прохождению сил и энергетических разрядов, которые, как мы чисто теоретически вправе предположить, сплетаются друг с другом в реальности неодушевленной. Существует некое замкнутое ограждение, внутри которого поддерживается определенное равновесие, поддерживается с помощью механизма, который называют сейчас гомеостазом и который амортизирует, смягчает вторжение приходящих из внешнего мира энергетических импульсов.

Назовем эту регуляцию *восстановительной функцией психического механизма*. Как он действует на уровне очень элементарном, на уровне лягушачьей лапки, мы знаем. Налицо не только энергетическая разрядка, но и движение отдергивания, что уже свидетельствует о действии, примитивном правда, принципа восстановления, принципа, стремящегося привести машину как целое в равновесие.

Фрейд термином *гомеостаз* не пользуется, он пользуется термином *инерция*, и в этом слышны какие-то отголоски учения Фехнера. Знаете ли вы, что Фехнер двулик? С одной стороны, это психофизик, утверждавший, что символическое описание процессов психической регуляции вправе опираться лишь на принципы физические. Но есть у Фехнера и другая ипостась, удивительная и куда менее известная. Дело в том, что он заходит необычайно далеко в своего рода всеобщей субъективации и, скажем, для произнесенной мною давеча защитной речи, несомненно, предложил бы очень далекое от моих намерений реалисти-

ческое прочтение. Я не говорил вам, что отражение горы в озере – это сновидение космоса, но подобную мысль вы без труда могли бы найти у Фехнера.

Разрядка и возвращение к равновесию – этому закону подчиняются, по убеждению Фрейда, обе системы. Одновременно, однако, он спрашивает себя: а как же в таком случае эти системы между собой соотносятся? Неужто просто-напросто удовольствие в одной вызывает неудовольствие другой и наоборот? Если бы системы действительно были взаимообратны, можно было бы найти для них общий закон равновесия и мог бы, в таком случае, существовать анализ Я, который был бы своего рода анализом бессознательного наизнанку. Это, по сути дела, та же проблема, что я недавно перед вами поставил, только взятая с теоретической ее стороны.

Вот тут-то Фрейд и обнаруживает существование чего-то такого, что принципу удовольствия не подчиняется. Он обнаруживает, что на выходе одной из систем – системы бессознательного – появляется нечто, обладающее совершенно особой – я ввожу здесь новый термин – *настоятельностью.* Я говорю настоятельностью, потому что это слово хорошо и естественно передает смысл того *Wiederholungszwang*, которое во французском переводе передали как “автоматизм повторения”. В слове “автоматизм” слишком сильно отзываются унаследованные им неврологические обертоны. Между тем понимать его нужно совершенно иначе. Речь идет о принуждении к повторению – именно поэтому я и ввожу понятие “настоятельности”, способное, я надеюсь, передать смысл куда конкретнее.

Что-то в этой системе смущает нас. Что-то в ней асимметрично, что-то не сходится. Есть в ней что-то такое, что ускользает от систем уравнений и от очевидностей, позаимствованных у форм мышления, которые характерны для сложившихся к середине девятнадцатого столетия представлений об энергетике.

Прошлым вечером профессор Лагаш извлек на свет, на мой взгляд, несколько поспешно, фигуру Кондильяка. Я чрезвычайно рекомендую всем присутствующим перечесть *Трактат об ощущениях.* Во-первых, уже потому, что это

восхитительно написанная книга, где стиль эпохи просто неподражаем. Вы сразу обнаружите, что у моей идеи о первоначальном состоянии субъекта, когда он находится повсюду и представляет собой своего рода зрительный образ, есть предшественники. Запах розы служит для Кондильяка вполне солидным началом, из которого он без всяких видимых трудностей, как кролика из шляпы, извлекает все строение психики.

Кульбиты в его рассуждениях повергают нас в изумление, но современники относились к ним спокойнее – Кондильяк писал отнюдь не в бреду. Почему – вправе спросить мы – не формулирует Кондильяк принцип удовольствия? Потому что, как сказал бы г-н де Ла Палис, у него нет его формулы, потому что паровая машина изобретена была позже. Понадобилась паровая машина, ее промышленная эксплуатация, административные проекты, счета, чтобы человек, наконец, спросил себя: а что, собственно, эта машина дает?

У Кондильяка, как и у других, из нее извлекается больше, чем было в нее заложено. Это были метафизики. Как бы к ним ни относиться – речи, с которыми я обращаюсь к вам, прогрессистскими тенденциями в целом отнюдь не окрашены, – некоторые проявления символического порядка у них можно отметить. В один прекрасный момент стало ясно, что извлечь кролика из шляпы нельзя, если предварительно туда его не поместить. Перед нами здесь принцип энергетики – тот самый, благодаря которому энергетика является в то же время и метафизикой.

Именно принцип гомеостаза заставляет Фрейда формулировать все свои выводы в терминах *нагрузки*, *возбуждения*, *энергетического обмена* между различными системами. И делая это, он обнаруживает, что внутри что-то не клеится. Что-то оказывается *по ту сторону принципа удовольствия* – именно так, ни больше ни меньше.

Поначалу он обращает внимание на частный случай, хорошо известное явление повторения сновидений при травматических неврозах – случай, противоречащий закону принципа удовольствия, который на уровне сновидения выступает как принцип воображаемого удовлетворения желания. *Почему же, черт возьми, имеет здесь место*

исключение из правила? – спрашивает себя Фрейд. Однако принцип удовольствия, этот закон регуляции, позволяющий вписать функционирование конкретного человека, рассматриваемого как машина, в непротиворечивую систему символических формулировок, слишком фундаментален, чтобы единственное исключение могло поставить его под вопрос. Принцип этот не следует из теории Фрейда, он лежит в основе его мышления просто потому, что в его время таким образом мыслить было принято. Прочитав текст, о котором я говорю, вы сами увидите, что ни одно из приводимых им исключений, взятое в отдельности, не кажется ему достаточным, чтобы поставить этот принцип под сомнение. Однако взятые вместе, все они, как ему кажется, указывают на что-то одно.

Вы только что предсказывали мне крушение на подводных рифах, говоря, что идол субъекта вновь где-нибудь да нас встретит. Не играем ли мы с вами в кольцо и веревочку? Фрейд, во всяком случае, занят именно этим. Ибо явление, на котором базируется анализ, к тому, в сущности, и сводится, что, стремясь к припоминанию и независимо от того, наступает оно или нет, мы обнаруживаем воспроизведенным в форме переноса нечто такое, что с очевидностью принадлежит совершенно другой системе.

Д-р Леклер: – *Я хотел бы, не входя в подробности, Вам ответить, потому что чувствую, что в какой-то степени Ваши слова обращены именно ко мне. Мне показалось, что Вы настойчиво упрекаете меня в том, будто я извлек из шляпы кролика, которого сам туда предварительно положил. Но я не так уж и уверен на самом деле, что положил его туда именно я. Я вынул его оттуда, допустим, но спрятал его там кто-то другой. Это первое, что я хотел сказать, но это еще не все. А еще вот что. Говоря о субъекте бессознательного, Вы обвинили меня в идолопоклонстве. Так вот, я действительно сказал, что составляю о нем представление, хотя, строго говоря, он, подобно Иегове, не допускает ни изображения, ни именования. Представление о нем я, тем не менее, создавал, прекрасно отдавая себе отчет в том, что я делаю. У меня такое чувство, что идолопоклонство это вы просто переносите с субъекта на "другого".*

Лакан: – Дорогой Леклер, мне кажется, что большинство из присутствующих вовсе не отнесло сказанного мною в та-

кой степени, как это сделали Вы, на Ваш счет. Я, разумеется, признаю, что Вы действовали именно так, как Вы сказали, т. е. прекрасно отдавая себе в этом отчет, и факт этот делает вам честь. Вы действовали вчера вечером со знанием дела, отлично сознавая, что делаете, и в неискушенности Вас нельзя заподозрить. Это огромная Ваша заслуга. Что же касается предлагаемого Вами сейчас, то мы еще увидим, так ли это в действительности. Столкновения с рифом, о котором Вы нас предостерегали, избежать можно – больше того, он у нас уже позади.

Д-р Леклер: – *У меня просто такое чувство, что каждый раз, когда речь идет о субъекте, возникает это явление: мы чего-то избегаем. Каждый раз, когда речь идет о субъекте, возникает своего рода реакция.*

Лакан: – Что вы имеете в виду, говоря "избегаем"?

Д-р Леклер: – *Ту же самую* Ridence, *о которой говорили и вы.*

Лакан: – Здесь, умоляю вас, будьте внимательны. Перед нами два явления совершенно разных.

Существует функция восстановления, это и есть функция принципа удовольствия. Но есть и другая функция – функция повторения. Как соотносятся они друг с другом?

Опыт, определенные качества которого вы обнаруживаете путем припоминания, субъект может воспроизводить до бесконечности. И Бог свидетель, насколько трудно вам бывает понять, в чем именно это приносит субъекту удовлетворение. Несколько лет назад, говоря о *Человеке с волками*, я этого вопроса уже касался. Что кроется за настоятельностью, с которой субъект этот опыт воспроизводит? Что именно он воспроизводит? Кроется ли это что-то в его поведении? В его фантазмах? В его характере? А может быть, в его Я? Множество каких угодно вещей, позаимствованных в самых различных регистрах, могут служить для этого воспроизведения элементами и материалом.

Притом очевидно, что воспроизведение во время переноса, имеющего место в ходе лечения, представляет собой лишь частный случай того гораздо менее ярко очерченного явления, с которым сталкиваются все те, кто занимается так называемым анализом характера, анализом целостной личности и прочими благоглупостями.

Как, с точки зрения принципа удовольствия, объяснить неутомимость этого воспроизведения? – вот что интересует Фрейда. Происходит оно лишь потому, что действие какого-то механизма оказывается нарушено, или же потому, что повинуется какому-то иному, более фундаментальному принципу?

Вопрос о природе начала, регулирующего то, о чем мы здесь говорим, то есть субъекта, я оставляю покуда открытым. Поддается ли он ассимиляции, редукции, символизации? Является ли чем-либо вообще? А что если он, недоступный ни именованию, ни постижению, может быть все-таки структурирован?

Это и станет темой наших занятий в следующем триместре.

15 декабря 1954 года.

VI
ФРЕЙД, ГЕГЕЛЬ И МАШИНА

Инстинкт смерти.
Рационализм Фрейда.
Отчуждение господина.
Психоанализ – это не гуманизм.
Фрейд и энергия.

Вас избаловали. Ипполит сделал вам вчера вечером отличный подарок. Интересно теперь, как вы собираетесь с ним поступить.

У иных из вас сохранился еще, быть может, в памяти след того, на чем мы остановились с вами в прошлый раз. Я имею в виду *Wiederholungszwang*, который мы, вместо *автоматизма повторения*, предпочтем переводить как *принуждение к повторению. Zwang* этот был позаимствован Фрейдом из самых первых его работ, ставших достоянием публики недавно, из того самого *Наброска психологии*, на который я так часто ссылаюсь и критическим анализом которого нам предстоит в ближайшие недели заняться.

То, что Фрейд еще с тех пор определил как принцип удовольствия, представляет собой не что иное, как принцип постоянства. Существует и другой принцип, который нашим теоретикам психоанализа все равно что кость поперек горла, – принцип Нирваны. Интересно наблюдать, как под пером такого автора, как Гартман, все три принципа – удовольствия, постоянства, Нирваны – совершенно отождествляются; можно подумать, что от ментальной категории, в которой Фрейд пытался упорядочить факты, он никогда не делал и шага в сторону или что он всю жизнь повторял неустанно одно и то же. Возникает тогда вопрос: почему именно *принципом Нирваны* назвал он то, что лежит по ту сторону принципа удовольствия?

В начале работы *По ту сторону...* Фрейд представляет нам две системы, показывая, что нечто, являющееся удовольствием в одной из них, с трудом переводится в другую, и наоборот. Если бы обе системы безупречно сочетались друг с другом, если бы между ними существовала симметрия и взаимность, если бы первичный и вторичный процессы были взаимообратны, то система была бы, в сущности, всего

лишь одна, т. е. достаточно было бы воздействовать на одну из них, чтобы одновременно оказывать тем самым воздействие и на другую. Воздействуя на Я и сопротивление, можно было бы приблизиться к самой сути дела. *По ту сторону принципа удовольствия* призвана, по мысли Фрейда, объяснить нам, что на этом останавливаться нельзя.

Ведь проявление первичного процесса на уровне Я, в форме симптома, которое, бесспорно, переживается как неудовольствие, как страдание, всегда, тем не менее, возвращается вновь. Уже одного этого факта достаточно, чтобы задуматься. Почему система, которая была вытеснена, проявляет себя с такой, как я уже назвал ее, настоятельностью? Если нервная система стремится к состоянию равновесия, почему она не достигает его? Вопросы эти, если поставить их в такой форме, обойти нельзя.

Фрейд как раз и был человеком, который, раз обнаружив что-то – а смотреть он умел и замечал всегда первым, – впивался в проблему мертвой хваткой. В этом и состоит исключительная ценность его работ. Стоило ему сделать открытие, как его начинали, подобно всякой спекулятивной новинке, обгладывать и обсасывать, обращая постепенно в нечто вполне тривиальное. Вспомним, например, первое оригинальное понятие, введенное им в чисто теоретическом плане – *либидо*, и ту выпуклую, резко индивидуализирующую характеристику, которую он дал ему, заявив, что *либидо сексуально*. Говоря на доступном в наши дни языке, мысль Фрейда заключается в том, что главным двигателем прогресса, источником пафоса человеческой жизни, всего, что есть в ней конфликтного, плодотворного, творческого, является сладострастие. И вот не проходит и десяти лет, как является Юнг и объясняет нам, что либидо – это просто-напросто психические интересы. Ничего подобного: либидо – это именно либидо сексуальное. Говоря о либидо, я всегда говорю о либидо сексуальном.

То, что единодушно признается в анализе техническим переворотом и сводится, по сути дела, к установке на анализ сопротивлений, явилось в свое время шагом обоснованным и плодотворным, но подавало повод к возникновению теоретической путаницы – воздействуя на Я, аналитики пребы-

вали в уверенности, что воздействуют тем самым на одну из двух частей одного и того же механизма. В этот-то момент Фрейд и напомнил им, что бессознательное как таковое остается нам недоступно, давая знать о себе парадоксальным, мучительным, несводимым к принципу удовольствия образом. Тем самым он вновь выдвигает на первый план ту суть своего открытия, которая так легко забывается.

Прочли ли вы *По ту сторону принципа удовольствия*? Если кто-то из вас пожелает сказать, что он там вычитал, я охотно даю ему слово.

1

Маннони: – *Я хотел бы попросить разъяснений по поводу одного момента, который меня несколько смущает. Когда читаешь Фрейда, создается впечатление, что в побуждении к повторению он различает два аспекта. В одном из них речь идет о возобновлении неудачной попытки в надежде добиться успеха – это напоминает защиту от опасности, от травмирования. В другом же повторение выступает как возвращение в более удобное положение после неудачной попытки перейти в другое, с точки зрения эволюционной теории, более позднее. Мне кажется, что эти два взгляда так и остались в этой работе несогласованы – мне, по крайней мере, не удалось этой согласованности усмотреть, и вот эта-то трудность меня как раз и смущает.*

Лакан: – В термине *Wiederholungszwang* налицо – как Лефевр-Понталис это уже отмечал – некоторая двусмысленность. Имеется два регистра, которые между собой пересекаются, скрещиваются – стремление к восстановлению и стремление к повторению, – и хотя я не сказал бы, что мысль Фрейда между ними колеблется, ибо колебания ей менее всего свойственны, нас не оставляет, тем не менее, ощущение, что поиск его неизменно возвращается на круги своя. Можно подумать, что всякий раз, зайдя в одном направлении слишком далеко, он останавливается и говорит себе: постой, а может, это просто-напросто стремление к восстановлению? И всякий раз он вновь, тем не менее, вынужден констатировать, что это еще не все, и что за проявлениями стремления к восстановлению неизменно остается что-то еще, что на уровне индивидуальной психологии предстает как ничем не обусловленное, парадоксальное, та-

инственное. Оно-то как раз и воплощает собой стремление к повторению.

И в самом деле, согласно гипотезе принципа удовольствия, система как целое всегда должна возвращаться в исходное состояние, то есть вести себя, как теперь говорят, гомеостатически. Как же так получается, что находится нечто такое, что, с какого конца к нему ни подступись, принципу удовольствия не повинуется и в рамки его не укладывается? Снова и снова пытается Фрейд ввести в эти рамки обнаруженные им явления, но опыт каждый раз вновь понуждает его из них выйти. Причем факты самые парадоксальные как раз и оказываются самыми поучительными. В конечном итоге именно бесспорный факт воспроизведения в процессе переноса не оставляет ему иного выбора, как признать наличие побуждения к повторению как такового.

Маннони: – *Задавая свой вопрос, я хотел уяснить себе вот что: принуждение к повторению во втором смысле – обязывало ли оно Фрейда к пересмотру его первоначальной концепции, или же его концепции просто накладываются друг на друга, друг с другом не сливаясь? И я не очень понял, заставило ли это его вернутся к идее восстановления в чистом виде или же он, наоборот, прибавил теперь к этому восстановлению еще и принуждение...*

Лакан: – Именно это и привело его прямой дорогой к функции инстинкта смерти. Тут он голой схемой уже не ограничивается.

Ипполит: – *Почему называет он его* инстинктом смерти*? Создается впечатление чего-то ужасно таинственного, создается впечатление, что он приводит в пример явления совершенно разнородные, в рамки схемы не укладывающиеся. Какова связь между словами* инстинкт смерти *и явлениями, лежащими по ту сторону принципа удовольствия? Почему, собственно, нужно называть его* инстинктом смерти*? Ведь это неожиданно открывает перспективы, которые иным покажутся очень странными, – вроде, например, возвращения к неодушевленной материи.*

Маннонни: – *Ему следовало бы назвать его* анти-инстинктом.

Ипполит: – *Стоило ему, однако, назвать его инстинктом смерти, как это немедленно позволило ему обнаружить другие явления и открыть перспективы, отнюдь не содержащиеся имплицитно в том, что вынуждало его окрестить это явление* инстинктом смерти.

Лакан: – Совершенно справедливо.

Ипполит: – *Возвращение к материи – это поразительная тайна, причем очертания ее, по-моему, довольно расплывчаты. Создается впечатление, будто мы находимся с вами перед лицом целой серии загадок, и само имя,* инстинкт смерти *знаменует собой скачок по отношению к тем явлениям, которые он объясняет, причем скачок поразительный.*

Бежарано: – *Пытаясь постичь этот скачок, я испытываю те же трудности. Похоже, Фрейд хочет сказать, что инстинкты сохранения жизни ведут к смерти; выходит, в итоге, что для инстинктов самосохранения смерть желанна. По-моему, это все равно, что утверждать, будто огонь, то есть тепло, это холод, – и то и другое звучит претенциозно-фальшиво. И почему он называет это* инстинктом смерти, *мне непонятно.*

Ипполит: – *Нет ли за всем этим какой-то философии, несколько маловразумительной? Ведь он утверждает, в конечном счете, что либидо стремится создавать соединения все более тесно друг с другом связанные, и притом органические, в то время как инстинкт смерти стремится, напротив, к разложению на элементы.*

Лакан: – Ощущения неясности при чтении, однако, не возникает. Создается впечатление, что Фрейд неотступно преследует здесь то, что я считаю его заветной мыслью. Есть что-то такое, что не дает ему покоя. В конечном счете он и сам признает на удивление спекулятивный характер своего построения – вернее, того логического круга, в котором движется его мысль. Вновь и вновь возвращается он к своим исходным данным, делает новый круг, обнаруживает очередной раз порог выхода, переступает его, наконец, и, переступив, признает, что есть за ним что-то такое, что никак не укладывается в пределы схемы и никакой ссылкой на опыт не может быть вполне обосновано. Заканчивает он признанием, что счел нужным поделиться этими соображениями лишь потому, что обойти данную проблематику ему не представлялось возможным.

Ипполит: – *Создается впечатление, что, с его точки зрения, оба эти инстинкта, жизни и смерти, составляют в бессознательном одно целое, неприятности же начинаются тогда, когда составляющие эти отделяются друг от друга. Есть в этом что-то необыкновенно красивое, трогательное и двоящееся, словно в жесте ребенка, царапающего вас во время поцелуя, – Фрейд, кстати, так прямо и говорит. Это прав-*

да – в том, что зовется у людей любовью, действительно есть доля агрессивности, без которой любовь была бы бессильна, но которая таит в себе угрозу, порою смертельную, для партнера и долю либидо, которая неизбежно привела бы к бессилию, не приди доля агрессивности к ней на помощь. Покуда они вместе, это и есть любовь. Но стоит начаться распаду, стоит одной из составляющих выступить независимо от другой, как тут же обнаруживает себя инстинкт смерти.

Лакан: – Именно так и происходит на уровне, который можно назвать непосредственным и который дан нам в психологическом опыте индивида, – заходя далеко вперед и предвосхищая несколько мою мысль, я назову его *уровнем марионетки*. Фрейда же интересует другое, его интересуют те нити, которые марионеткой движут. Вот, о чем он, собственно, говорит, рассуждая об инстинкте смерти или инстинкте жизни.

Что и возвращает меня, собственно, к вопросу, который после нашей вчерашней встречи вечером я почел долгом своим вам задать: *психоанализ – является ли он гуманизмом*? Это тот же вопрос, который я задаю, спрашивая, отвечает ли понятие *автономного эго* смыслу сделанного Фрейдом открытия. Вопрос о том, какой долей автономии человек располагает, – это вопрос вечный, и задают его себе все. Что же нового сообщает нам на этот счет Фрейд? Произошла, в конце концов, революция или нет? И вот здесь-то встает одновременно и третий вопрос, который я вчера вечером успел затронуть, – что последует нового, если Гегель и Фрейд окажутся у нас в одном и том же регистре?

Ипполит: – *Последует очень многое.*

Лакан: – Я не дам вам сегодня, естественно, исчерпывающего ответа – к нему еще предстоит прийти, и дорога, возможно, нас ожидает долгая. Я попытаюсь лишь обозначить по-своему смысл того, что я только что назвал заветной мыслью Фрейда, – столь хорошо заметной теперь, когда он колеблется и кружит возле функции инстинкта смерти.

Просто удивительно, что люди, работающие в области экспериментальной науки, до сих пор пребывают в иллюзии, будто именно индивид, именно человеческий субъект – почему, собственно, ему отдано предпочтение? – является воистину автономным и что есть внутри него – то ли

в шишковидной железе, то ли где-то еще – какой-то стрелочник, какой-то другой, маленький человечек, который и приводит весь механизм в действие. И вот к этому-то представлению вся аналитическая мысль, за немногими исключениями, в наши дни и вернулась.

Нам твердят об автономном эго, о здоровой части собственного Я, о Я, которое необходимо усилить, о Я, недостаточно сильном для того, чтобы опереться на него при анализе, о Я, которое должно стать для аналитика союзником, т. е. союзником собственного Я аналитика, и т. д. Оба Я – субъекта и аналитика – представлены действующими рука об руку, – хотя на самом деле Я субъекта всецело подчинено в этом мнимом союзе своему партнеру. Ведь никаких, даже малейших начатков этого союза мы на опыте не находим – скорее, в опыте обнаруживается прямо противоположное, ибо как раз на уровне собственного Я все сопротивления и возникают. А откуда же еще, в самом деле, они могут взяться?

У меня нет сегодня времени отыскать в своих бумагах некоторые тексты, но однажды я это обязательно сделаю и приведу вам цитаты из недавно появившихся работ, где с самодовольным удовлетворением почившего на лаврах широковещательно заявляется, что все просто как дважды два, что в этом молодчине субъекте можно найти немало хорошего, что существует бесконфликтная сфера, где либидо нейтрализовано, "делибидинизовано" и где даже агрессивность – и та "дезагрессивизирована". Все как у Архимеда – дай ему точку опоры вне мира, и он его приподнимет. Только вот точки-то этой, как назло, и нет.

Следует ясно представить себе, куда простирается этот вопрос. А простирается он очень широко, и в другой, более общей форме – является ли психоанализ гуманизмом? – ставит под сомнение одну из основных, начиная с определенной даты в истории греческой мысли, предпосылок классической мысли вообще: человек есть мера всех вещей. Но где же взять меру для человека? Имеет ли смысл искать ее в нем самом?

Ипполит: – *Не кажется ли Вам – это почти ответ на ваш вопрос, над которым мне пришлось просидеть полночи, и ответ этот перекликается с тем, что Вы теперь говорите, – что во Фрейде жил глубокий*

внутренний конфликт между рационалистом (под рационалистом я разумею человека, полагающего, что человечество можно рационализировать – процесс, происходящий под знаком Я) и человеком совершенно другого склада, от интереса к лечению людей бесконечно далеким, жадно стремящимся к познанию совершенно иных глубин и восстающим на рационалиста при первом удобном случае. В Будущем одной иллюзии *Фрейд спрашивает себя, что произойдет, когда все иллюзии рассеются. И здесь на сцену выходит* Я *– набравшееся сил, активное человеческое Я. Перед нами картина раскрепощенного человечества. Но во Фрейде живет еще один персонаж, куда более глубокий. И не с ним ли, не находящим в рационалисте своего объяснения, связано открытие инстинкта смерти? Во Фрейде живет два человека. Время от времени он предстает как рационалист, и на первом плане оказывается тогда гуманизм, – но когда люди избавятся от всех иллюзий, что останется тогда? Но тут же возникает рядом с ним чисто спекулятивный мыслитель, раскрывающий себя под знаком инстинкта смерти.*

Лакан: – В этом-то как раз творческая авантюра Фрейда и состоит. Я вовсе не думаю, что здесь заключается для него какой-то конфликт. Утверждать это можно было бы лишь в том случае, если бы рационалистические устремления его находили воплощение в какой-нибудь рационализаторской мечте. На самом же деле, как бы далеко (например, в *Будущем одной иллюзии* или *Неудовлетворенности*) его диалог с утопизмом Эйнштейна – Эйнштейна, сошедшего с высот своей гениальной математики на уровень пошлости, – ни заходил...

Ипполит: *– Материализм Фрейда не лишен определенного величия.*

Лакан: – У пошлостей тоже есть свое величие. Я не думаю, что Фрейд опускался на этот уровень.

Ипполит: *– За то я его и люблю, что он никогда до этого уровня не снисходил. В нем есть что-то гораздо более загадочное.*

Лакан: – В *Неудовлетворенности цивилизацией* он сумел различить, где сопротивление возникает. Как бы глубоко – я не скажу: *рационализм*, но *рационализация* – ни прививалась, отторжение неизбежно где-то произойдет.

Ипполит: *– Это самое глубокое, что во Фрейде есть. Но есть в нем и рационалист.*

Лакан: – Мысль его в самой безоговорочной форме следует признать в высшей степени рационалистической – ра-

ционалистической в полном смысле слова, от начала и до конца. Труднейший для понимания текст, к которому мы теперь ищем подступ, воплотил в себе самые живые и актуальные требования разума, который не отступает ни перед чем, который никогда не скажет себе: *вот здесь лежит область непроницаемого и неизреченного*. Он входит, и хотя кажется порою, будто он блуждает в потемках, именно на разум он продолжает рассчитывать. Я не думаю, что его можно где-либо уличить в отречении, в окончательной капитуляции, в отказе от использования разума; он не возносится в эмпиреи с мыслью, что внизу, мол, и так все идет как положено.

Ипполит: – *Разумеется, он идет к свету, даже если свет этот, в полноте своей, заключает противоположности. Говоря о рационализме, я вовсе не имел в виду, будто Фрейд собирался посвятить себя какой-то новой религии. Совсем напротив:* Ausführung – *это религия, направленная против всякой религии вообще.*

Лакан: – В качестве антитезы – назовем это так – как раз и выступает здесь инстинкт смерти. Это решающий шаг в постижении реальности – реальности, за пределы того, что зовется у нас принципом реальности, далеко выходящей. Инстинкт смерти – это не признание в бессилии, не остановка перед чем-то последним, неизреченным, непреодолимым: это понятие. К нему-то мы как раз и попытаемся сейчас приблизиться.

2

Я начну, коли уж мы об этом заговорили, с того, что Вы вчера вечером высказали нам по поводу *Феноменологии духа*. Если принять Вашу точку зрения, то очевидно, что речь идет о прогрессе знания. Гегелевское *Bewusstsein* гораздо ближе к знанию, чем к сознанию. Но несмотря на все это, не будь вчерашнее собрание столь поспешным, один из вопросов которые я задал бы, заключался бы в следующем: какова у Гегеля функция незнания? В следующем семестре нам следовало попросить вас посвятить этому вопросу специальную лекцию. Не одну статью написал Фрейд о том, что же конкретно можем мы ожидать от освоения того психологического *Zuiderzee*, что зовется бессознательным. Когда

польдеры "оно" будут осушены, какой выгодой обернется это для человечества? И надо сказать, что перспектива эта отнюдь не приводила его в восторг. Ему казалось, что это грозит прорывом каких-то плотин. Все это у Фрейда написано, и говоря об этом, я просто лишний раз напоминаю вам, что мы остаемся лишь его комментаторами. Какая реализация, какой конец ждет историю в гегелевской перспективе? Я полагаю, что в конечном счете прогресс, о котором идет речь в *Феноменологии духа*, – это вы все, именно для этого вы и здесь. Говоря *для этого*, я имею в виду то, что вы делаете, даже когда вовсе об этом не думаете. Все те же нити, приводящие в движение марионетки. Одобрит ли г-н Ипполит, если я определю прогресс, о котором говорит *Феноменология духа*, как все более изощренное господство?

Ипполит: – *Это зависит от того, какой смысл вы в это слово вкладываете.*

Лакан: – Разумеется. Я попытаюсь это проиллюстрировать, не сглаживая при этом острых углов. Я не хочу сделать свой термин обтекаемым – наоборот, мне хотелось бы показать, что в каком-то отношении он может встать поперек горла.

Ипполит: – *Не принимайте меня за противника. Я не гегельянец. Может быть, даже совсем наоборот. Не принимайте меня за полномочного представителя Гегеля.*

Лакан: – Это нам облегчит дело. Просто, зная, что Вы разбираетесь в Гегеле лучше меня, я попрошу сказать мне, не захожу ли я слишком далеко, то есть: нет ли у Гегеля каких-то важных текстов, которые могли бы противоречить мне.

Как я уже не раз говорил, мне не очень нравится, когда кто-нибудь утверждает, будто Гегеля или, скажем, Декарта, уже *превзошли*. Да, мы всё превосходим и остаемся ровно на том же месте. Итак, господство все более и более изощренное. Давайте это проиллюстрируем.

Конец истории – это абсолютное знание. Из него уже нет исхода: если сознание – это знание, то окончательный итог диалектики сознания – это абсолютное знание, зафиксированное в письменной форме Гегелем.

Ипполит: – Да, но Гегеля можно толковать по-разному. Можно, *на-*

пример, задать себе такой вопрос: имеется ли в ходе опыта какой-то один определенный момент, к которому абсолютное знание позволено отнести, или же абсолютное знание предъявляется всем опытом в его целокупности? Другими словами: пребываем ли мы в абсолютном знании всегда, во всякое время? Или же абсолютное знание есть лишь момент? Говорится ли в Феноменологии *о последовательности этапов, абсолютному знанию предшествовавших, а затем о финальном этапе, на котором является Наполеон или кто-то еще и который как раз абсолютным знанием и называется? Что-то в этом роде у Гегеля есть, но его можно понять и совершенно иначе. Хайдеггер, например, толкует его тенденциозно, но, к счастью, вполне правдоподобно. Именно поэтому и нельзя сказать, будто Гегеля* превзошли. *Можно ведь понять так, что абсолютное знание является каждому этапу* Феноменологии *как бы имманентным. Вот только сознание его не ухватывает. Из истины этой, которая и является, в принципе, абсолютным знанием, оно делает очередное природное явление, которое абсолютным знанием не является. Поэтому абсолютное знание не является, в такой интерпретации, моментом истории, оно всегда налицо. Абсолютное знание есть опыт как таковой, а не отдельный момент его. Сознание, находясь внутри поля, самого поля не видит. Видеть поле – это и есть абсолютное знание.*

Лакан: – У Гегеля, однако, абсолютное знание получает свое воплощение в дискурсе.

Ипполит: – *Несомненно.*

Лакан: – Мне кажется, что для Гегеля все всегда дано прямо здесь – в каждый момент актуально, по вертикали, присутствует вся история. А иначе то была бы не история, а детская басня. Понятие об абсолютном знании, почившем на нас со времен простецов-неандертальцев, подразумевает, что дискурс замыкается на себя, что он целиком с собой согласуется, что все, что в дискурсе может быть выражено, является связанным и обоснованным.

На этом мне хотелось бы немного остановиться. Мы продвигаемся медленно, но спешка здесь неуместна. Надеюсь, мы найдем здесь, что ищем, – смысл, оригинальность того, что привнес Фрейд по отношению к Гегелю.

В гегелевской перспективе завершенный дискурс – ясно, что с момента, когда дискурс пришел к завершению, говорить больше незачем, что как раз и называют послереволюционными этапами, но они нас сейчас не интересуют,

– так вот, завершенный дискурс, воплощение абсолютного знания – это орудие власти, скипетр и держава тех, кто знает. Ниоткуда не следует, будто к этому причастны все. Когда знающим, о которых я вчера вечером говорил, – а это больше, чем миф, это направление и смысл завоеваний символа, – удается человеческий дискурс замкнуть, он становится их достоянием, а остальным, обделенным – этим славным, милым, либидинозным созданиям – остаются лишь танцы, джаз и прочие развлечения. Именно это и называю я *изощренным господством.*

В абсолютном знании остается, однако, еще одно, последнее разделение, последняя трещина, носящая у человека характер, если можно так выразиться, онтологический. Ведь если Гегель и преодолел определенного рода религиозный индивидуализм, обосновывающий существование индивида его личной, один на один, встречей с Богом, то сделал он это, лишь показав, что реальность, если можно так выразиться, каждого человеческого существа заключена в бытии другого. В конечном счете, между ними, как Вы вчера вечером это отлично нам объяснили, налицо взаимное отчуждение, носящее – на чем я настаиваю – характер непреодолимый, безвыходный. Можно ли представить себе что-нибудь более тупое и зверское, чем господин в его первобытных формах? Но подлинный господин именно таков. Уж мы-то прожили на свете достаточно, чтобы знать, что из этого выходит, когда люди начинают стремиться к господству. Во время войны мы воочию стали свидетелями политической ошибки тех, чья идеология требовала от них видеть в себе господ и верить, что достаточно протянуть руку, чтобы взять. Немцы движутся к Тулону, чтобы захватить флот, – вот типичная для господ история. Господство же оказывается на стороне раба, оно в мастерстве, которое тот изощряет, чтобы направить его против своего господина. И длиться этому взаимному отчуждению суждено до конца. Посудите сами, какое дело до изощренного дискурса тем, кто развлекается джазом в кафе на углу? Только представьте себе, как хотелось бы господам от всей души к ним присоединиться! Они же, напротив, считают себя несчастными, ничтожествами и думают: *как счастлив господин,*

наслаждаясь своим господством! – в то время как тот, разумеется, вполне отчаялся хоть в чем-то достичь удовлетворения. Именно сюда, мне кажется, к этой последней черте и приводит нас Гегель.

Гегель достиг пределов антропологии. Фрейд за эти пределы вышел. Открытие его состоит в том, что всего человека в человеке не найти. Фрейд не гуманист. И я вам попробую сейчас объяснить, почему.

3

Начнем с самого элементарного. Фрейд – врач, но родился он почти веком позже Гегеля, и за это время произошло много такого, что не могло не возыметь последствий для смысла, который слову *врач* придавался. Врачом в смысле Эскулапа, Гиппократа и Святого Луки Фрейд не был. Он был врач примерно в том же смысле, как мы все. Это был врач, который, собственно, врачом больше и не был, – ведь и мы с вами принадлежим сегодня к типу врачей, не отвечающих больше традиционному представлению о том, чем был когда-то для человека врач.

Есть что-то забавное и до странности непоследовательное в том, что мы обыкновенно говорим: у человека *есть* тело. Для нас это выражение имеет смысл, возможно даже, что оно имело смысл всегда, но для нас оно звучит более осмысленно, чем для кого-либо, ибо, вместе с Гегелем и не подозревая этого (весь мир состоит из гегельянцев, которые этого не подозревают), мы зашли чрезвычайно далеко в отождествлении человека с его знанием, представляющим собой знание накопленное. Умещаться в теле чрезвычайно странно, и, как ни хлопай крыльями ученый мир, хвастаясь, что единство человека, которое этот идиот Декарт умудрился было раскроить надвое, измышлено, наконец, заново, – затушевать эту странность не удается. Бесполезно, ссылаясь на Аристотеля и томизм, делать широковещательные заявления о возвращении к единству человеческого существа и представлению о душе как форме тела. Разделение уже совершилось. Именно поэтому врачи в наши дни совсем не те, кем они изначально были – кроме чудаков, разумеется, которые до сих пор воображают, будто конституции, темпера-

менты и тому подобные вещи действительно существуют. Врач ведет себя по отношению к телу наподобие человека, разбирающего машину. И никакие принципиальные заявления этого положения дел не изменят. Именно отсюда исходил и Фрейд, именно это было его идеалом – заниматься патологической анатомией, анатомической физиологией, узнать, чему же именно служит тот маленький сложный аппарат, что воплощен у человека в нервной системе.

В перспективе этой, разлагающей единство живого существа на составные элементы, есть, конечно, что-то неприятное и скандальное, и в науке существует целое направление, пытающееся идти ей наперекор. Я имею в виду гештальтизм и другие благонамеренные теоретические разработки, стремящиеся вернуться к идее благосклонной природы и предустановленной гармонии. Тому, что тело – это машина, доказательств, конечно, нет, и все говорит за то, что их и не будет. Но проблема не в этом. Важно другое – важно, что к вопросу подошли именно с этой стороны. Подошел, собственно, Декарт, о котором я только что говорил. Он не был, конечно, совершенно одинок, ибо для того, чтобы тело можно было рассматривать как машину, требуется предварительно очень многое, требуется, в частности, чтобы существовала машина, которая не только могла бы работать совершенно независимо, но и воплощала бы в себе более чем очевидным образом нечто исключительно человеческое.

Разумеется, когда это все происходило, никто себе в этом отчета не отдавал. Сейчас, однако, мы с этих позиций несколько отступили. Явление, о котором я говорю, имело место задолго до Гегеля. Гегель, чья роль здесь незначительна, является, пожалуй, последним представителем определенной классической антропологии, но по сравнению с Декартом он, в конечном счете, едва ли не плетется в хвосте.

Машина, которую я имею в виду, – это часы. В наше время редкого человека можно ими удивить. Разве что Луи Арагон в *Крестьянине из Парижа* находит, как только поэту дано это сделать, слова, прославляющие как чудо эту вещь, что, как говорит он, послушно следует выдвинутой человеком гипотезе, не обращая внимания на то, есть ли рядом человек или его уже нет.

Итак, в то время существовали часы. Ничего особенно чудесного в них, правда, еще не было, ибо настоящие, хорошие, с маятником – часы Гюйгенса, одним словом, – те, что я уже упоминал в одном из моих текстов, – появились много позже *Рассуждения о методе*. Но уже были тогда часы с гирями, которые тоже худо-бедно воплощали собой идею измерения времени. Понадобилось, конечно, пройти немалый отрезок истории, чтобы понять, насколько существенно для нашего, как теперь говорят, *здесь-бытия*, знать время. И напрасно говорят, что время это не настоящее: ведь в часах наших, по-взрослому самостоятельных, оно идет своим ходом.

Я очень советую почитать книжку Декарта, которая называется *О человеке*. Вы купите ее дешево, это не самая известная из его работ, и она обойдется вам дешевле столь любезного зубным врачам *Рассуждения о методе*. Полистайте ее и убедитесь сами: то, что ищет в человеке Декарт, – это часы.

Машина эта представляет собой вовсе не то, что праздные люди о ней думают. Это не просто нечто противоположное живому, лживое его подобие. Уже одно то, что оно призвано было воплотить тайну из тайн, которая именуется временем, должно было бы настораживать. Что кроется в том, что мы зовем машиной? Уже тот факт, что в ту же эпоху некто, по имени Паскаль, взялся создать машину, пусть еще скромную, для арифметических расчетов, свидетельствует о связи машины с функциями решительно человеческими. Это не простое изделие, вроде столов, стульев и других более или менее символических предметов, среди которых мы обитаем, не замечая даже, что это не что иное, как собственный наш портрет. Машины – это совсем другое дело. Они гораздо ближе к нашей реальной сути, чем мы, их создатели, об этом подозреваем.

Гегель возомнил себя некогда воплощением Духа, в то время как Наполеон представлялся ему в мечтаниях душой мира, *Weltseele*, другим, более женственным, более плотским полюсом власти. Характерно, однако, что оба они совершенно не оценили важность феномена, как раз в это время и увидевшего свет, – паровой машины. Между тем не-

долго оставалось ждать и до Ватта, да и тогда уже существовали всякие штучки, действовавшие самостоятельно, вроде взрывателей в минах.

Машина воплощает в себе символическую активность человека наиболее радикальным образом, и для того, чтобы поставить вопросы на том уровне, на котором мы их сегодня ставим, наличие ее – хотя вы, окруженные всем этим, того, возможно, не замечаете – являлось необходимым.

Есть одна вещь, которая обсуждается у Фрейда и которая никогда не обсуждается у Гегеля, – это энергия. Вот главное, что его заботит, что поглощает его и что действительно куда более важно, нежели чисто онтологическая путаница, возникшая у нас вчера вечером, когда мы рассуждали о противоположности сознания и времени у Гегеля и бессознательного и времени у Фрейда – ведь это все равно что рассуждать о противоположности Парфенона и электрогидравлики, здесь нет решительно ничего общего. Между Гегелем и Фрейдом успел наступить век машины.

Энергия, о чем я в прошлый раз вам уже напомнил, – это понятие, которое не может явиться на свет, пока нет машины. Я не хочу сказать, что было время, когда энергии не было. Просто людям, владевшим рабами, никогда не приходило в голову, что можно установить зависимость между расходами на их питание и тем, что они делали в латифундиях. Никаких попыток энергетических расчетов мы в эксплуатации рабов не находим. Производительность их никогда не пытались поставить от чего-то в зависимость. Катон этого никогда не делал. И только когда появились машины, люди заметили, что им нужно питание. Больше того – что за ними нужен уход. А почему? Да потому, что они изнашиваются. Рабы тоже, но об этом как-то не задумывались, считая старение и смерть делом вполне естественным. А спустя еще некоторое время было обнаружено – факт, о котором тоже раньше никогда не задумывались, – что живые существа содержат и поддерживают себя сами, другими словами, что они представляют собой кибернетические автоматы.

Начиная отсюда мы становимся свидетелями рождения современной биологии, для которой характерен полный отказ от использования понятий, имеющих отношение к

жизни. Виталистская мысль биологии чужда. Биша, преждевременно умерший основатель современной биологии, чья статуя украшает наш старинный факультет медицины, выразил это наиболее ясно. То был ученый, сохранивший, правда, несколько расплывчатую веру в Бога, но при том исключительно трезвый и проницательный: он знал, что человечество вступает в новый период, где отправной точкой для определения жизни будет служить смерть. Это вполне согласуется с явлением, которое я собираюсь вам объяснить, – с тем решающим характером, который приобретают для обоснования биологии сопоставления с машиной. Биологи наивно полагают, что посвящают себя изучению жизни. Непонятно, почему. До сих пор их базовые концепции не имели по происхождению своему с феноменом жизни ничего общего, и по сути своей этот последний так и остается нам недоступен. Что бы мы ни делали, вопреки настойчивым заявлениям, будто мы подходим к нему все ближе, феномен жизни по-прежнему ускользает от нас. Биологические концепции остаются ему совершенно неадекватны – не теряя, конечно, из-за этого своей ценности.

Некоторые удивлены тем, что я одобрил мысль Франсуазы, когда во время поисков нами третьего термина в межчеловеческой диалектике она предложила биологию. Вполне возможно, что биология была в ее представлении совсем не такой, какой предстанет она в моих объяснениях, – что ж, истина говорит в данном случае устами человека, высказывающего ее наивно.

Слово *биология* мы используем здесь, скорее, иносказательно. Фрейдовская биология не имеет с биологией ничего общего. Речь идет о манипуляции символами с целью решения проблем энергетического характера, о чем и свидетельствуют ссылки на гомеостаз, позволяющие охарактеризовать не только живое существо как таковое, но и функционирование важнейших его механизмов. Именно на этом вопросе мысль Фрейда и сосредоточена: что представляет собой психика энергетически? В этом и есть оригинальность того, что называют его биологизмом. Биологистом он был не больше, чем любой из нас, но энергетическая функция действительно занимала его всю жизнь.

Сумев раскрыть смысл этого энергетического мифа, мы видим то самое, что уже изначально, хотя и неосознанно, заложено было в метафоре человеческого тела как машины. Мы видим, как обнаруживается здесь нечто, лежащее по ту сторону всех объяснений, коренящихся в межчеловеческой сфере, и потустороннее это является, строго говоря, символическим. Вот что станет предметом нашего изучения, и я уверен, что мы сможем, наконец, понять тогда, что же фрейдовский опыт – эта, поистине, утренняя заря науки – собой представляет.

Фрейд исходил из того понятия о нервной системе, согласно которому она всегда стремится вернуться в состояние равновесия. Он исходил из этого, потому что для каждого врача, занимавшегося изучением человеческого тела в ту сциентистскую эпоху, иной возможности просто не виделось.

Анзье, будьте любезны, просмотрите работу *Entwurf*, о которой я говорю, и сделайте нам в следующий раз по ней сообщение. На этой основе Фрейд попытался выстроить теорию функционирования нервной системы, показав, что мозг работает как своего рода буфер между человеком и реальностью, как орган кибернетического автомата. Но камнем преткновения оказывается для него сновидение. Он убеждается, что мозг – это не что иное, как машина для сновидений. И вот здесь-то, в этой машине, он и обнаруживает то, чего никто не замечал, хотя это всегда из нее явствовало, – что именно на уровне с*а*мого органического и самого простого, с*а*мого непосредственного и с*а*мого неуправляемого, что именно на уровне с*а*мого бессознательного смысл и речь заявляют о себе и раскрывают себя во всей своей полноте.

Результатом стал полный переворот в его мышлении и выход в свет *Толкования сновидений*. Иные описывают это как переход от физиологизирующей перспективы к перспективе психологизирующей. Дело, однако, совсем не в этом. Фрейд обнаруживает функционирование символа как такового, проявления символа на диалектическом и семантическом уровне – в смысловых смещениях, каламбурах, игре слов, шутках, функционирующих в машине

для сновидений совершенно самостоятельно. Теперь ему предстояло занять по отношению к этому открытию сознательную позицию – то есть либо принять его, либо его проигнорировать, как, кстати сказать, все остальные, кто подошли к этому открытию достаточно близко, и сделали. Поворот был столь решительный, что он и сам не понимал, что, собственно, с ним происходит. И ему, в момент открытия уже зрелому ученому, понадобилось еще двадцать лет, чтобы к собственным предпосылкам вернуться и попытаться понять, что же все-таки это все значит в плане энергетическом. Именно эта задача и вынудила Фрейда обратиться к выработке таких новых для него категорий, как "та сторона принципа удовольствия" и "инстинкт смерти".

В этих новых его разработках ясно различим смысл чего-то такого, что лежит по ту сторону отношения человека к себе подобному – именно в нем так нуждались мы вчера вечером, пытаясь выстроить тот третий термин, через который как раз и проходит, начиная с Фрейда, подлинная ось реализации человеческого существа. Но что это такое – этого вам на том этапе, где мы находимся с вами сегодня, я сказать не могу.

12 января 1955 года.

VII
КОНТУР

Морис Мерло-Понти и понимание.
Сохранение, энергия, информация.
Принцип удовольствия и принцип реальности.
Ученичество Грибуйля.
Припоминание и повторение.

Давайте поговорим немного о замечательной лекции, прочитанной вчера вечером. Вам удалось что-нибудь из нее почерпнуть? Обсуждение на удивление мало отклонялось от темы, и я остался очень доволен. Видите ли вы, однако, суть проблемы и непреодолимую дистанцию, отделяющую Мерло-Понти от аналитического опыта?

1

Есть один термин, который, будь у нас больше времени, дискуссия наша могла бы затронуть. Это – гештальтизм. Я не знаю, обратили ли вы на это внимание, но в лекции Мерло-Понти он мимоходом фигурировал в качестве того, что является для него подлинной мерой, эталоном встречи с другим и встречи с реальностью. И действительно, в основе его учения лежит не что иное, как понимание. Несмотря на дистанцию, которую Мерло-Понти старается занять по отношению к тому, что он называет традиционной либеральной позицией, он, как справедливо было ему замечено, остается к ней очень близок. Потому что единственный, в конечном счете, сделанный им шаг вперед – это констатация того факта, что есть вещи, которые трудно понять, которые не лезут ни в какие ворота.

Не случайно стремится он опереться на опыт современной политики. Не секрет ведь, что разрыв диалога с коммунизмом переживается им очень серьезно. Для него это не что иное, как охватывающий весь человеческий опыт исторический кризис. Констатируя отсутствие понимания, он вновь утверждает необходимость его. Недаром одна из последних его статей, опубликованная в известном еженедельнике, носит название: *Коммунизм надо понять.*

Заглавие парадоксальное, ибо он как раз и констатирует

в ней, что, с его точки зрения, понимание невозможно.

То же повторилось и вчера вечером. Остается лишь пожалеть, что он, не будучи, очевидно, вполне осведомлен в этой области, не попытался выяснить, имеет ли место понимание в области анализа. Может ли, другими словами, поле анализа достичь однородности? Все ли в нем может быть понято? Это и есть вопрос, который ставил Жан Ипполит: является ли фрейдизм гуманизмом, да или нет? Позиция Мерло-Понти – это, по сути своей, позиция гуманистическая. И мы видим, куда она его привела.

Цепляясь за понятия целокупности (totalité) и функционирования в качестве единого целого, он всегда предполагает некое единство, доступное моментальному, теоретическому, созерцательному постижению, которому опытное восприятие *правильной формы*, в гештальтпсихологии носящей характер весьма двусмысленный, служит подобием основания. Дело не в том, что понятие это не отвечает доступным оценке фактам, не исчерпывает богатство опыта. Двусмысленность заключена в том смешивающем физику с феноменологией теоретизировании, где стремление капли воды принять сферическую форму рассматривается в той же плоскости, что и тот фактор, в силу которого мы всегда стремимся дотянуть наблюдаемую нами приблизительную форму до правильной окружности.

Здесь есть, конечно, соответствие, которое впечатляет воображение, оставляя при этом, однако, суть проблемы незатронутой. Да, действительно существует нечто такое, что стремится воспроизвести в глубине глазной сетчатки эту правильную форму; существует и в физическом мире нечто, стремящееся аналогичные формы реализовать, но поставить эти факты в соответствие – далеко не лучший способ упорядочить богатство нашего опыта. И уж во всяком случае, сделав это, нельзя больше утверждать, как точно хотелось бы это Мерло-Понти, первичность сознания. Ведь сознание, в конечном счете, само оказывается тогда механизмом. И осуществляет он, хотя Мерло-Понти этого и не замечает, ту самую функцию, которую я описываю здесь как первый такт диалектики "своего Я". Разница лишь в том, что для Мерло-Понти все находится здесь, в сознании.

Созерцательное сознание конституирует мир посредством серии синтезов, обменов, которая, располагая его каждый раз в обновленной, все более глобальной целокупности, начало свое всегда берет там же, в субъекте. (*Ипполиту*): Вы не согласны?

Ипполит: – *Я слежу за ходом вашей мысли относительно* Gestalt'*а. В конечном счете, это феноменология воображаемого, в том самом смысле, в котором мы этот термин употребляем.*

Маннони: – *И все-таки в плоскости воображаемого это не всегда укладывается. Зачатки гештальтистского мышления я вижу у Дарвина. Заменяя вариацию мутацией, он обнаруживает некую природу, которая порождает правильные формы. Но существование форм, которые не являются просто механическими, ставит перед нами проблему. И мне кажется, что* Gestalt *представляет собой попытку это проблему решить.*

Лакан: – Разумеется. То, что вы говорите, это еще один, следующий шаг, которого я сознательно не делаю, потому что не хочу выходить из той плоскости, в которой движется мысль Мерло-Понти. Фактически, однако, последовав ему, взяв слово *форма* в самом широком смысле, какое оно допускает, мы вернулись бы к витализму, к тайнам творческой силы.

Идея жизненной эволюции, представление, будто природа производит все более высокоорганизованные формы, все более цельные, развитые, совершенные организмы, вера во внутренне присущий жизни прогресс – все это чуждо Фрейду, все это откровенно его отталкивает. Будучи человеком отнюдь не склонным руководствоваться в своем выборе принципиальными соображениями, он наверняка доверялся в нем тем знаниям о человеке, которые дал ему опыт. Опыт же его был опытом врачебным. И он позволил ему выделить в человеке регистр определенного типа страдания и недуга, регистр некоего фундаментального конфликта.

Объяснение мира, опирающееся на гипотезу о заложенном в природе стремлении к производству все более высокоорганизованных форм, несовместимо с его вúдением сущностного конфликта, который, разыгрываясь в человеческом существе, выходит при этом за его границы. Логика Фрейда неумолимо направила его *по ту сторону принципа*

удовольствия, в область категорий, безусловно, метафизических; он вышел за пределы области человеческого, в органическом смысле этого слова. Что это, концепция мироздания? Нет, перед нами категория мышления, с которой любой опыт конкретного субъекта волей-неволей обязательно соотносится.

Ипполит: – *Я отнюдь не оспариваю описанного Фрейдом кризиса. Но инстинкту смерти он противопоставляет либидо, и либидо это он определяет как стремление организма соединиться с другими организмами, как если бы интеграция эта представляла собой прогресс. Таким образом, независимо от бесспорного конфликта, о котором вы говорите и который оптимизма в отношении человека Фрейду не внушает, есть у него и концепция либидо, впрочем, довольно смутная, которая настаивает на все большей интеграции живых организмов. Уже в самом тексте работы Фрейд заявляет об этом совершенно недвусмысленно.*

Лакан: – Я понимаю. Заметьте, однако, что стремление к единению – Эрос стремится объединять – обнаруживается всегда лишь в сопряжении с тенденцией противоположной, тенденцией к разрушению, разрыву, рассеиванию, причем особенно это относится к материи неодушевленной. Строго говоря, тенденции эти друг от друга неотделимы. Не существует понятия, которое являлось бы менее цельным, чем это. Проследим теперь сказанное шаг за шагом.

2

Помните тупик, в котором мы в прошлый раз оказались? Организм, который Фрейд уже представлял себе как машину, стремится вернуться в состояние равновесия – это как раз и отражено в формуле принципа удовольствия. Так вот, поначалу эту тенденцию к восстановлению трудно отличить в тексте Фрейда от той тенденции к повторению, которую он выделяет особо и которая как раз и является тем, что привносит в эту работу оригинальность. Поэтому мы и обязаны первым делом спросить себя, чем же эти тенденции различаются.

То, как в этом тексте пытается различить их Фрейд, очень любопытно, ибо диалектика его носит характер логического круга. Вновь и вновь возвращается он к понятию, которое непрерывно от него ускользает. Но сопротивле-

ние это не останавливает Фрейда, намеренного отстоять оригинальность тенденции к повторению любой ценой. Несомненно, однако, что ему не удалось найти каких-то категорий и образов, которые позволили бы нам достаточно эту оригинальность прочувствовать.

С первых и до самых последних работ Фрейда принцип удовольствия получает одно и то же объяснение: по отношению к раздражителям, аппарат живого организма стимулирующим, нервная система выступает как полномочный представитель гомеостаза, как тот главный регулятор, благодаря которому живое существо сохраняет себя и в соответствии с которым возникает стремление к сведению возбуждения до наиболее низкого уровня. Но что это такое: *наиболее низкий уровень*? В выражении этом кроется двусмысленность, поставившая авторов-психоаналитиков в весьма затруднительное положение. Полистайте их труды, и вы сами увидите, как ступают они на скользкую дорожку и куда завела их та диалектическая форма, которую Фрейд этому вопросу придал.

Фрейд действительно подал здесь еще один повод к недоразумению, и все разом в этих сетях запутались.

Все биологи согласятся, что под наиболее низким уровнем можно понимать две вещи: речь может идти либо об определенном условии равновесия системы, либо о том самом низком, в прямом смысле, уровне, который для живого существа равнозначен смерти.

И действительно, можно считать, что со смертью, с точки зрения живого существа, все напряжения оказываются сведены к нулю. С другой стороны, однако, можно принять во внимание и тот процесс разложения, который за смертью следует. В этом случае конечную цель принципа удовольствия придется определить как материальное разложение трупа. Неправдоподобие этого предположения бросается в глаза.

Я мог бы, однако, процитировать немало авторов, для которых сведение раздражения к максимально низкому уровню означает именно смерть живого существа и ничего более. Предполагая, будто проблема тем самым уже решена, они путают принцип удовольствия с тем, что, как они

полагают, Фрейд называет инстинктом смерти. Я говорю: *как они понимают*, ибо на самом деле, к счастью, Фрейд разумеет под инстинктом смерти нечто иное – менее абсурдное, менее антибиологичное и антинаучное.

Существует нечто отличное от принципа удовольствия, что стремится привести все одушевленное в неодушевленное состояние, – вот как выражает свою мысль Фрейд. Что он хочет этим сказать? Что заставляет его так думать? Это вовсе не смерть, неизбежная для живых существ. Это то, что человеком переживается, это устанавливаемые между людьми отношения обмена, это интерсубъективность. Наблюдая человека, Фрейд видит в нем нечто такое, что выталкивает его за пределы жизни.

Принцип, который возвращает либидо к смерти, действительно существует, но делает он это совершенно определенным образом. Выбирай он при этом пути самые короткие, проблема была бы благополучно решена. Все дело, однако, в том, что он выбирает для этого иной путь – путь жизни.

Позади необходимости, вынуждающей живые существа следовать путем жизни – без чего ему обойтись нельзя, – принцип, ведущий его к смерти, как раз и прослеживается. Выбрать дорогу к смерти по своему усмотрению ему не позволено.

Другими словами, машина поддерживает себя в рабочем состоянии, описывает в своем движении определенную кривую, обнаруживает определенную устойчивость. И вот в самой устойчивости этой и проявляется как раз что-то иное, чему это наличное существование служит опорой и чему предоставляет оно пути выхода.

Есть правило, которое необходимо сформулировать с самого начала: если из шляпы вынули кролика, значит, его туда предварительно посадили. Формулировка эта известна физикам под специальным названием первого принципа термодинамики, или принципа сохранения энергии: чтобы в конце что-нибудь было, нужно, чтобы по крайней мере столько же было в начале.

Второй принцип – я попробую дать его вам почувствовать в образной форме – предусматривает, что существуют

как привилегированные способы проявления этой энергии, так и другие, которые таковыми не являются. Другими словами, нельзя плыть вверх по течению. Когда производится работа, какая-то часть энергии тратится, например, в виде тепла, имеют место потери. Это называется энтропией.

Никакой тайны в энтропии нет – это символ, вещь, которая пишется на доске, и ошибкой было бы с вашей стороны полагать, что она существует. Энтропия – это большое *Э*, нашему мышлению абсолютно необходимое. Даже если на это *Э*, которое, в конце концов, и ввел-то некий судовой медик по имени Карлус Майер, вам ровным счетом наплевать, оно все равно останется всеобщим принципом – строите ли вы станцию (неважно, атомную или нет) или государство, не учитывать его вы не сможете. Карлус Майер задумался над этим принципом, занимаясь кровопусканием – пути мысли бывают загадочны, пути господни и вовсе неисповедимы. Поразительно то, что, породив на свет одно из замечательнейших проявлений человеческой мысли, Майер полностью исчерпал себя – можно подумать, что роды эти пагубно отразились на его нервной системе.

Вы ошибетесь, полагая, что, отстаивая позиции, которые обыкновенно считают антиорганицистскими, я делаю это потому, что – как один мой любимец недавно выразился – нервная система выводит меня из себя. Нет, я руководствуюсь отнюдь не сентиментальными соображениями. Действительно считая расхожий органицизм глупостью, я уверен, что есть и другой, материальные явления отнюдь не игнорирующий. Именно это заставляет меня сказать вам – совершенно чистосердечно, хотя и не с полной уверенностью в истинности сказанного, ибо последнее требовало бы опытного подтверждения, – что, по-моему, несчастному, понесшему бремя этого непонятно чего, этого, как говорил Валери, *святого языка*, тому, кем выношено и рождено на свет большое *Э*, безнаказанно это сойти с рук не могло. Жизнь Карлуса Майера, безусловно, распадается на две части: на ту, что была до, и ту, что была после и где ничего уже сделано не было, ибо все, что дано ему было сказать, он уже успел сказать раньше.

Вот с этой энтропией Фрейд как раз и сталкивается, при-

чем сталкивается уже в конце *Человека с волками*. Прекрасно понимая, что все это как-то связано с инстинктом смерти, он и здесь не в силах почувствовать себя в своей тарелке и – словно какой бес его попутал – подобно Диогену с его фонарем, кружит всю статью на одном месте в поисках человека. Чего-то явно не хватает ему. Было бы слишком просто, если бы я сказал вам – и нечто подобное я вам скажу – что к большому *Э* достаточно было бы присоединить большое *Ф* или *И*. Это, разумеется, не то, ибо все это не выяснено пока до конца.

Современная мысль уже пытается, пусть двусмысленно и часто сбивчиво, это уловить, и вы не можете не сознавать, что для нее вот-вот готово наступить время родов. Скажу больше: посещая мой семинар, вы того и гляди станете их прямыми участниками. Вы входите в то измерение, где мысль пытается обрести строй и найти свой правильный символ – то большое *Ф*, что следует за большим *Э*. При данном положении вещей это – количество информации.

Одних из вас это нисколько не удивляет. У других на лице недоверчивое изумление.

Замечательное приключение, связанное с исследованиями проблем коммуникации, началось – во всяком случае, на первый взгляд – в приличном отдалении от того, что нас непосредственно интересует. Или, лучше сказать – потому что где она началась на самом деле, Бог знает, – что один из самых знаменательных ее эпизодов разыгрался в области телефонной инженерии.

Все началось с того, что в целях экономии телефонная компания Белл задалась вопросом о том, каким образом можно передать максимальное количество информации по одному проводу. В стране столь обширной, как Соединенные Штаты, сэкономить несколько проводов и пропустить всю ту чушь, которая обычно с помощью этих аппаратов передается, по минимальному числу кабелей – является задачей немаловажной. Вот тут-то коммуникация и приобрела впервые количественные параметры. Как видите, исходным пунктом послужило тут нечто весьма далекое от того, что мы теперь называем речью. Имеет ли все то, что люди болтают друг другу по телефону, какой-то смысл,

здесь никого не интересовало. Впрочем, вы на собственном опыте знаете, что не имело и никогда не имеет. Тем не менее коммуникация налицо: мы узнаем знакомые модуляции человеческого голоса, и между нами возникает видимость понимания, основанная лишь на том, что мы вновь узнаем давно известные нам слова. Речь идет просто-напросто о том, чтобы найти наиболее экономичные условия передачи слов, которые люди могли бы распознавать. До смысла дела никому нет. И это лишний раз подчеркивает факт, на котором я так усердно настаиваю и о котором столь часто забывают: язык, тот язык, что служит речи орудием, представляет собой нечто материальное.

Было обнаружено, что большая часть того, что регистрирует маленькая мембрана аппарата, который, с тех пор немало усовершенствовавшись и успев между делом стать электронным, остался, по сути своей, тем же самым аппаратом Марея, чьи колебания воспроизводят модуляции голоса, никому не нужна. Для получения неизменного результата достаточно лишь небольшой части этой информации, что значительно – в пропорции порядка 1:10 – сокращает объем колебаний, подлежащих передаче. При этом мы не просто слышим, но и прекрасно узнаем голос своего возлюбленного или своей любимой на другом конце. Наши чувства, та убежденность, которую один индивид стремится сообщить другому, проходят без искажений.

И вот тогда количество информации начали кодировать. Это не значит, что между человеческими существами происходит что-то существенное. Речь идет о том, что бежит по проводу и что можно измерить. Только в этом случае интерес начинают вызывать такие вещи, как следующие: проходит информация или не проходит, в какой момент происходят искажения, в какой момент коммуникация прекращается. Это и есть то самое, для чего в психологии есть американское слово *jam*. Тут впервые выступает в качестве фундаментального понятия искажение как таковое – присущая коммуникации тенденция переставать ею быть, то есть ничего больше не сообщать. Вот вам и еще один, новый символ.

Если вы действительно хотите приобрести какое-то на-

чальное представление о строении этой реальности, нас с вами очень близко затрагивающей, то в эту символическую систему вас придется посвятить. Не зная, как всеми этими большими *Э* и большими *Ф* правильно оперировать, нельзя порою квалифицированно судить и о человеческих отношениях. Это, кстати, одно из возражений, которые можно было бы сделать Мерло-Понти вчера вечером. В развитии символической системы наступает момент, когда все уже не могут говорить со всеми без исключения. В ответ на замечание о замкнутой субъективности он ответил так: *Если с коммунистами говорить нельзя, сама суть языка исчезает, ибо суть языка как раз и состоит в его всеобщности.* Разумеется. Только для этого надо включиться в цепной контур языка и представить себе, о чем идет речь, когда говорят о коммуникации. И вы увидите, насколько это важно, когда дело коснется инстинкта смерти, действующего, по видимости, в направлении противоположном.

Математики, то есть люди, оперирующие символами профессионально, видят в информации то, что действует в направлении, противоположном действию энтропии. Занявшись термодинамикой и задумавшись над тем, во что машины им обойдутся, люди упустили из виду самих себя. Они взяли машины к себе на службу точно так же, как господин берет к себе на службу раба: вон она, стоит себе и работает. Забыв при этом лишь одну вещь: что добро на эту работу дали ведь он сами. И оказывается, что в области энергии факт этот имеет значение немаловажное. Ибо стоит в контур, где происходят потери энергии, включить информацию, как она начинает в нем творить чудеса. Если демон Максвелла сможет остановить атомы, движущиеся слишком медленно, и оставить лишь те, что имеют склонность к лихорадочной активности, то энергетический уровень станет повышаться и, воспользовавшись энергией, которая могла бы уйти на тепловые потери, он совершит работу, эквивалентную той, что была потеряна.

Все это кажется от нашей темы далеким. Но вы еще увидите, каким образом мы к ней вернемся. Ну, а пока начнем снова с принципа удовольствия и погрузимся в стихию двусмысленности.

3

Стоит на уровне нервной системы возникнуть раздражению, как все нервы – и ведущие из центра к периферии, и наоборот, ведущие от периферии к центру – оказываются задействованы и работают на то, чтобы живое существо вновь обрело покой. Это и есть принцип удовольствия, как его понимает Фрейд.

Не кажется ли вам, чисто интуитивно, что налицо некоторое несоответствие между принципом удовольствия, таким образом сформулированным, и тем веселым, жизнеутверждающим, что у нас со словом *удовольствие* ассоциируется? У всякого друга своя подруга – до сих пор на это всегда смотрели примерно так. У Лукреция, скажем, этот мотив звучит ясно и довольно бодро. Время от времени и сами аналитики, доведенные до отчаяния тем, что им приходится использовать категории, от непосредственного жизнеощущения столь далекие, напоминают нам о существовании удовольствия от активности, вкуса к раздражениям. Люди стремятся к развлечениям, увлекаются играми. Разве не ввел Фрейд в описание человеческого поведения функцию либидо? А ведь либидо штука довольно либидинозная. Люди ищут удовольствия. Почему же теоретически поиск этот выражается положением, гласящим, что искомое – это, в конечном счете, прекращение удовольствия? К положению этому каждый, конечно, относился скептически, так как кривая, которую описывает удовольствие, всем хорошо известна. Очевидно, что теория прямо противоречит в данном случае субъективной интуиции: согласно принципу удовольствия получается, что удовольствие по определению стремится к собственному концу. Принцип удовольствия состоит в том, что удовольствие прекращается.

Что же происходит тогда с принципом реальности?

Принцип реальности вводится обыкновенно замечанием, что того, кто стремится к удовольствиям, ожидают всякого рода неприятности: можно обжечь себе руки, подхватить инфекцию или сломать шею. Именно так описывают нам происхождение того, что называется "набраться опыта". И еще нам говорят, что принцип удовольствия противостоит

принципу реальности. В нашей перспективе это явно приобретает другой смысл. Принцип реальности состоит в том, что игра продолжается, то есть удовольствие возобновляется; что за отсутствием дерущихся битва не прекращается. Принцип реальности приберегает для нас наши удовольствия – те самые, которым свойственно стремиться к прекращению.

Не думайте, будто этим способом мыслить принцип удовольствия аналитики вполне удовлетворены. Для теории, тем не менее, он более чем существенен, от начала до конца – если вы не мыслите принципа наслаждения подобным образом, дальнейшее знакомство с Фрейдом будет для вас бесполезно.

Представление о существовании особого рода удовольствия, присущего активности – например, удовольствия от игры, – буквально опрокидывает основы нашего мышления. Куда нам деваться тогда с нашей техникой? Остается разве заняться преподаванием гимнастики, музыки или чего-нибудь еще в этом роде. Педагогические процедуры располагаются в регистре, психоаналитическому опыту абсолютно чуждом. Это не значит, конечно, что они лишены всякой цены и что в республике для них не найдется подобающего места, – полистайте Платона, и вы в этом убедитесь.

Ввести человека в рамки благоприятного для него естественного функционирования, помочь ему развиваться последовательно от этапа к этапу, дать свободно расцвести в его организме тому, чему суждено в свое время достичь зрелости, обеспечить на каждом из этих этапов время, необходимое для его становления, адаптации, стабилизации, вплоть до возникновения новых проявлений жизни, – все это желания вполне понятные. На этой основе можно выстроить целую антропологическую систему. Но та ли это система, которая оправдывает психоанализ – процедуру, когда их укладывают на диван, чтобы они вешали нам лапшу на уши? Что общего у всего этого с гимнастикой или музыкой? Понял бы Платон, что такое психоанализ? Нет, все-таки не понял бы, потому что здесь пролегает пропасть, здесь чего-то не хватает, и вот на поиски этого мы и пускаемся, взяв *По ту сторону принципа удовольствия* в качестве путеводной нити.

Я не утверждаю, что анализируемые неспособны к обсуждению. Человека можно обучить игре на фортепиано – лишь бы оно было, – причем нетрудно будет убедиться, что, научившись играть на фортепиано с большими клавишами, он свободно играет и на фортепиано с маленькими, на клавесине и т. д. Однако речь в таких случаях идет о каких-то определенных сегментах человеческого поведения, в то время как в анализе встает вопрос о судьбе человека, о том, как он поведет себя, когда урок музыки окончится и он пойдет на свидание со своей подругой. И тут его ученичество напоминает историю Грибуйля.

История эта вам знакома. Приходит Грибуйль на похороны и говорит: *Поздравляю с праздником!* Его осыпают бранью, задают хорошую трепку, а когда он возвращается домой, там ему объясняют: *Послушай, на похоронах с праздником не поздравляют, на похоронах говорят: "Царствие ему небесное!"*. Он выходит из дома, встречает свадебную процессию: *Царствие вам небесное!* И опять у него неприятности.

Так вот, обучение, с которым имеет дело анализ, именно такого рода, и, начиная с первых же открытий в области анализа, мы имеем дело именно с этим: травма, фиксация, воспроизведение, перенос. То, что в аналитическом опыте называют вторжением прошлого в настоящее, – явление именно этого порядка. Это всегда обучение кого-то, кто в следующий раз поступит лучше. И если я говорю, что в следующий раз он поступит лучше, то все дело в том, что в следующий раз ему следует поступить совсем иначе.

Когда, используя понятие в переносном смысле, говорят, что анализ – это обучение свободе, сознайтесь, что это звучит забавно. И все-таки в нашу историческую эпоху следует, как говорил вчера вечером Мерло-Понти, ухо держать востро.

На что же иное раскрывает нам анализ глаза, как не на радикальную, неизбывную несогласованность присущих человеку способов поведения по отношению ко всему, с чем он в жизни имеет дело? Обнаруженное анализом измерение являет собой противоположность всего того, что развивается путем адаптации, приближения, совершен-

ствования. Ибо в анализе движение происходит прыжками, скачками, а применение к нему определенных всеобщих символических отношений всегда оказывается, строго говоря, неадекватным, окрашиваясь подспудно в различные тональности, обусловленные, например, проникновением Воображаемого в Символическое или наоборот.

Между любым исследованием человеческого существа, даже на уровне лаборатории, с одной стороны, и тем, что происходит на уровне животного организма, с другой, имеется коренное различие. В отношении животного налицо принципиальная двусмысленность, вынуждающая тех, кто хотел бы присмотреться к фактам поближе, как это сейчас делаем мы, колебаться в объяснении его поведения между обучением и инстинктом. Дело в том, что у животного врожденная инстинктивная организация отнюдь не исключает дальнейшего обучения. Больше того, возможности обучения непрерывно продолжают обнаруживаться и в рамках самого инстинкта. В довершение, наконец, выясняется, что проявления инстинкта были бы невозможны без определенного рода вызова со стороны окружающей среды, стимулирующей и провоцирующей кристаллизацию форм, поступков, способов поведения.

Здесь налицо схождение, некая кристаллизация, которая даже у нас, завзятых скептиков, создает ощущение предустановленной гармонии, пусть и способной время от времени давать сбой. Понятие обучения в каком-то смысле от созревания инстинкта неотличимо. Именно в этой области и возникают, естественно, в качестве ориентиров, гештальтистские категории. Животное узнает своего собрата, себе подобного, своего сексуального партнера. Оно находит себе в раю, в своей среде, готовое местечко, но и само при этом формирует и обустраивает его, само оставляет на нем свой отпечаток. Так, отверстия, которые проделывает корюшка, на первый взгляд, произвольны, но чувствуется при этом, что размечены они ее прыжками – прыжками, в которых мобилизовано все ее тело. Животное подгоняется к своей среде. Адаптация здесь налицо, но адаптация эта имеет свои пределы, свои границы, свою цель. Поэтому обучение носит у животного характер организованного и

ограниченного совершенствования. Насколько иная картина, по сравнению с той, что мы такими же методами – так полагают, по крайней мере, – обнаруживаем у человека! Здесь налицо функция желания к возвращению, налицо предпочтение, которым пользуются задачи, еще не выполненные. Хорошенько не понимая, о чем идет речь, ссылаются на Зейгарника, говоря, что задача запоминается особенно хорошо, если не удалось выполнить ее в определенных условиях. Вы сами видите, насколько коренным образом противоречит все это не только психологии животного, но и нашему представлению о памяти как о нагромождении энграмм, напечатлений, в которых существо получает свое оформление. И вот оказывается, что у человека преимущество получает форма неудачная. Субъект возвращается к задаче тем вернее, чем более она незавершена, помнит неудачу тем лучше, чем острее была она пережита.

Мы не обсуждаем сейчас вопрос на уровне бытия и судьбы – речь идет о данных измерений, проделанных не выходя из лаборатории. Но измерить мало, нужно постараться понять.

Я прекрасно знаю, что способов понимания уму занимать не надо. И аналитикам, которые проходят у меня контроль, всегда говорю: будьте осторожны – не пытайтесь понять больного, именно это быстрее всего собьет вас с толку. Больной говорит какую-то несуразицу, а они, приходя, сообщают мне, что, мол, поняли: он хотел сказать то-то и то-то. Другими словами, во имя понимания они упускают из виду нечто такое, что должно было бы их внимание остановить и что пониманию недоступно.

Эффект Зейгарника – мучительная неудача или незавершение дела – это всем понятно. Вспоминают Моцарта, который проглотил чашку шоколада и вернулся, чтобы взять последний аккорд. Но не понимают, что это не объяснение. А если это объяснение, то выходит, что мы не животные. Мою собаку, которая впадает в мечтательное настроение, когда я ставлю определенные пластинки, музыкантом не назовешь. Музыкант – это всегда музыкант, у которого своя собственная музыка. И кроме тех, кто сочиняет музыку сам, то есть сохраняет от этой музыки определенную дистан-

цию, мало кто возвращается, чтобы взять свой последний аккорд.

Я хотел бы теперь объяснить вам, на каком уровне потребность повторения заложена. И в поисках нам в очередной раз предстоит сделать небольшое отступление.

4

Керкегор, который был, как вы сами знаете, юмористом, неплохо объяснял разницу между миром языческим и миром благодати, пришедшим к нам с христианством. От явной у животного способности узнавать свой природный объект в человеке тоже кое-что есть. Есть плененность формой, увлеченность игрой, есть погружение в мираж, именуемый жизнью. Именно на этой основе зиждется мысль теоретическая, она же *теориальная*, созерцательная, платоновская; и не случайно в центре платоновской теории познания оказывается не что иное, как припоминание. Если природный объект, этот гармонический спутник жизни, узнаваем, то лишь потому, что контуры его фигуры уже вырисовываются заранее. А чтобы они вырисовывались, нужно, чтобы в том, кто соединится с ним, они уже были. Эти отношения образуют диаду, двоицу. Вся платоновская теория сознания – Жан Ипполит не даст мне соврать – двоична.

Но вот, по определенным причинам, совершился переворот. С этих пор появляется третий термин: грех, – и человек следует отныне уже не путем припоминания, а путем повторения. Именно это и позволило Керкегору предвосхитить наши фрейдовские интуиции в небольшой книжке, которая так и называется: *Повторение*. И тем, кто в нашем деле не новичок, я советую ее прочесть. У кого не хватает времени, пусть прочтут хотя бы первую часть.

Пытаясь избежать проблем, связанных с переходом к новому устроению жизни, Керкегор обнаруживает, что на пути у него встают его собственные воспоминания, встает то, что он собой, по его мнению, представляет и чем он, как и сам он прекрасно знает, стать никогда не сможет. Вот тогда-то и делает он попытку на опыте пережить повторение. Для этого он повторно едет в Берлин, где в предыдущий раз ему довелось испытать блаженство, и следует, шаг за шагом,

по своим собственным следам. Вы сами увидите, чем эта погоня за тенью собственного блаженства для него кончилась. Опыт полностью провалился. В результате, однако, он подводит нас вплотную к собственной нашей проблеме: как и почему любое сколь-нибудь существенное для человеческого существа достижение возможно лишь на пути упрямого повторения!?

В заключение я предложу вам модель, которая некоторое представление о том, что значит для человека потребность к повторению, вам, вероятно, даст. Все дело во вторжении символического регистра. Я просто вам это продемонстрирую.

Модели – дело очень существенное. Не то чтобы они что-то значили – ничего они не значат. Но, будучи животными, разделяем мы и их слабости – нам не обойтись без образов. И когда образов не оказывается, не являются порою на свет и символы. Вообще говоря, именно символические изъяны и бывают, пожалуй, наиболее серьезными. И здесь на память приходит образ творения, символического по преимуществу – машины; более того, машины самой современной и куда более опасной для человечества, нежели атомная бомба, – машины вычислительной.

Вам говорят, вы слышите, но не верите: у вычислительной машины есть память. Вам это кажется забавным, но невероятным. Вы ошибаетесь. У нее память есть, и такая, что любое образное представление о памяти, сложившееся у нас до сих пор, окажется перед ней посрамлено. Лучшее, что мы смогли покуда придумать, чтобы вообразить себе феномены памяти, это вавилонская восковая печать – такая штучка с рельефными изображениями и чертами, прокатывая которую по восковой дощечке вы получаете так называемую энграмму. Такая печать тоже машина, только этого обычно не замечают

Чтобы машина могла, как это зачастую бывает необходимо, о каждом вопросе, который ей ранее задавался, вспомнить, люди измыслили нечто еще более хитроумное: первый опыт машины циркулирует в ней в виде сообщения.

Представьте себе, что я отправляю отсюда телеграмму в Манс с указанием немедленно отправить ее оттуда в Тур, а из Тура, через Санс и Фонтенбло, снова в Париж, и так далее

до бесконечности. Нужно только, чтобы когда я дойду до конца сообщения, начало еще ко мне не вернулось. Нужно время, чтобы сообщение успевало крутиться. Оно крутится быстро, оно крутится непрерывно, оно крутится по замкнутой траектории.

Эта машина, которая вечно возвращается на круги своя, – забавная штука. Это называется *feed-back* и имеет что-то общее с гомеостатом. Именно так, вы знаете, регулируют, например, поступление пара в паровую машину. Если процесс идет слишком быстро, то клапан это регистрирует, створки под действием центробежной силы раздвигаются, и поступление пара оказывается отрегулированным. Таким образом обеспечивается гомеостатическое действие паровой машины. Происходят колебания вокруг некоей точки равновесия.

Здесь дело обстоит сложнее. Называется это сообщением. Звучит это очень двусмысленно. Что такое сообщение внутри машины? Это нечто такое, что передается путем отвора и затвора, наподобие того как "да" или "нет" передается электронной лампой. Это нечто артикулированное, нечто вполне того же порядка, что и фундаментальные оппозиции символического регистра. В один прекрасный момент то, что крутится, должно прийти или не прийти в действие. Оно всегда готово предоставить ответ и самим этим актом восполнить себя, чтобы ответить: готово; другими словами, прекратить функционировать в качестве изолированного и замкнутого контура, вновь вступить в общую игру. Вот что действительно близко подходит к нашему представлению о том, что представляет собой *Zwang*, принуждение к повторению.

Теперь, когда в нашем распоряжении имеется эта маленькая модель, мы замечаем, что уже в самой анатомии мозгового аппарата имеется нечто, движущееся по кругу. Благодаря Риге, посоветовавшему мне обратиться к работе одного английского невролога, я очень заинтересовался одним видом осьминогов. Похоже, что его нервная система весьма невелика и включает изолированный нерв, управляющий тем, что называют струей, то есть механизмом выталкивания жидкости, обеспечивающим осьминогу его

необычный способ передвижения. Есть также основание полагать, что почти весь аппарат его памяти к этому сообщению, циркулирующему по крохотным узлам его нервной системы из Парижа в Париж, и сводится.

Вспомните обсуждавшиеся нами в предыдущие годы поразительные совпадения, отнесенные Фрейдом к разряду того, что он называл телепатией. Очень серьезные, имеющие характер переноса явления наблюдались в определенной связи друг с другом у двух пациентов, независимо от того, проходил ли анализ лишь один из них почти без участия второго, или они проходили анализ оба. В свое время я показал вам, что именно будучи совместными агентами, носителями, звеньями, кольцами в одной и той же цепи общего дискурса, могут субъекты обнаружить в себе одновременное проявление того или иного симптоматического акта или приход того или иного воспоминания.

Теперь, учитывая все, что на данный момент было сказано, я рекомендую вам в дальнейшем рассматривать потребность повторения – в ее конкретном проявлении у субъекта, во время анализа, например, – как форму поведения, сформированную в прошлом и воспроизведенную в настоящем в виде, мало совместимом с задачей жизненной адаптации.

Мы вновь оказываемся перед тем, на что я уже не раз обращал ваше внимание: бессознательное – это дискурс другого. Но дискурс другого – это не дискурс абстрактного другого, другого члена двоицы, со мною связанного или даже мною порабощенного, это дискурс контура цепи, в который я оказался включенным. Я лишь одно из его звеньев. Это дискурс моего отца, например, совершившего ошибки, которые я обречен воспроизвести – именно это и называется *супер-эго*. Я обречен воспроизводить их, потому что волей-неволей должен принять завещанный мне дискурс – то есть не просто потому, что я его сын, а потому что цепочку дискурса не остановить, и мне-то как раз и предстоит передать его во мной воспринятой искаженной форме кому-то следующему. Кому-то другому обязан я передать проблему жизненной ситуации, в решении которой и его ждет верная неудача; дискурс бежит, таким образом, по замкнутому контуру, который с равным успехом может включать се-

мью, кружок, лагерь, нацию или полмира. Замкнутый круг, образуемый речью, балансирующей на границе смысла и бессмыслицы, речью проблематичной.

Вот что представляет собой потребность в повторении в том виде, в котором возникает она на наших глазах по ту сторону принципа удовольствия. Ее-то мерцание и наблюдаем мы по ту сторону любых механизмов, служащих достижению равновесия, гармонии и согласия в плане биологическом. И вводится она лишь регистром языка, функцией символа, проблематикой вопрошания в человеческом плане.

Каким же образом проецируется это Фрейдом на плоскость, принадлежащую, на первый взгляд, к категории биологического? Нам еще не раз предстоит к этому вопросу вернуться. Жизнь вбирается в символическое лишь расчлененной, в состоянии разложения. В какой-то части своей человеческое существование находится вне жизни, оно причастно инстинкту смерти. И для подхода к регистру жизни именно это должно послужить нам исходным пунктом.

19 января 1955 года.

ФРЕЙДОВСКИЕ СХЕМЫ ПСИХИЧЕСКОГО АППАРАТА

VIII
ВВЕДЕНИЕ В *ENTWURF*

Об уровне психосоматических реакций.
В реальном нет трещин.
Объект открывается заново.

Профессор Лагаш совершенно законно взывал вчера вечером к эмпиризму, но то, как он это делал, не могло не насторожить. Ибо без развитой концептуализации эмпиризм просто немыслим, и работы Фрейда являются тому лучшим свидетельством. Откройте статью *Влечения и их судьба.*

Часто приходится слышать мнение, будто наука должна основываться на ясных и четко определенных базовых положениях. На самом деле никакая наука, даже из самых точных, не начинается с подобных определений. Подлинное начало научной работы состоит, скорее, в описании явлений, которые затем группируются, классифицируются и объединяются в некоторые совокупности. Однако уже на первом этапе, когда ни о чем, кроме описания, речь не идет, мы волей-неволей применяем к нашему материалу абстрактные идеи, позаимствованные где-то на стороне, а не извлеченные исключительно из нового опыта. Идеи эти, базовые понятия науки, оказываются тем более необходимы, когда работа над материалом идет дальше. Поначалу дело не обходится без некоторой доли неопределенности, и о том, чтобы сколь-нибудь четко ограничить их содержание, не может быть и речи. Пока они в этом состоянии находятся, относительно значения их удается достичь согласия лишь путем постоянного возвращения к материалу, из которого они представляются нам извлеченными, хотя на самом деле материал этот сформирован ими самими. Таким образом, они носят, собственного говоря, характер весьма условный, и очень важно, чтобы выбор их не был произволен, а определялся их фактической связью с эмпирическим материалом, существование которого приходится постулировать еще до того, как оно получает подтверждение и признание. И лишь дальнейшее, более глубокое изучение совокупности рассматриваемых явлений позволяет лучше уяснить себе базовые научные концепции и постепенно изменить их таким образом, чтобы возможно было использовать их в широком масштабе, не впадая при этом в противоречия.

Говорят, что Фрейд философом не был. Допустим, но другого текста, где процесс научного исследования освещался бы с подобной философской глубиной, я не знаю.

И вот тогда и наступает время заключить их в определения. Но развитие знания не дает этим определениям застыть в неподвижности. Как блестяще демонстрирует пример физики...

Это написано в 1915!

Маннони: – *После Галилея, однако.*

Лакан: – Да, но прежде Эйнштейна. Итак, постоянная переплавка понятий, способная взорвать то, что именуют рамками рационального.

... содержание зафиксированных определениями базовых понятий тоже постоянно меняется. Именно о таком базовом и условном понятии, покуда еще смутном, но в психологии необходимом – о понятии инстинкта, *другими словами:* влечения – *и пойдет здесь у нас речь.*

Обратите внимание, что слово *инстинкт* принадлежит здесь французской переводчице, г-же Анне Берман. В тексте Фрейда речь идет исключительно о влечении.

1

Я не думаю, что со стороны Перье было такой уж ошибкой вчера вечером, в конце доклада, заострить внимание на психологических нарушениях и отношениях к объекту.

Отношение к объекту давно превратилось в пустую формулу, позволяющую избежать множества проблем. Но ведь объект – в техническом смысле, который мы придаем этому слову теперь, при изучении различных регистров, в которых распределяются субъектные отношения, представляет собой нечто совсем другое. Чтобы отношение к объекту имело место, необходимо, чтобы налицо уже было отношение меня к другому. Это и есть, собственно, начальное условие любой объективации внешнего мира – как наивной, спонтанной, так и научной.

Перье счел нужным провести среди органических функций различие между теми из них, что представляют рациональный элемент, и теми, что представляют нечто, относящееся к первым как внутреннее к внешнему, – полагая тем самым вернуться к постоянно выдвигаемой во фрейдовской теории на первый план теме психической экономии. И мне представляется, что в основе этого лежит мысль совершенно правильная, которую он не сумел, однако, надлежащим

образом выразить. Различие, о котором идет речь при рассмотрении психосоматической реакции органов, лежит в совершенно иной плоскости.

Речь идет о том, чтобы узнать, какие же именно органы принимают участие в том нарциссическом, воображаемом отношении к другому, где себя формирует, *bildet*, собственное Я человека. Воображаемое собирание этого Я совершается вокруг зеркального образа собственного тела, образа другого. Но отношение между собственным взглядом и взглядом, направленным на тебя, касается в первую очередь одного органа – глаза. И произойти здесь могут вещи поистине удивительные. Но как найти к ним подход в условиях, когда в вопросах психосоматики царит подобная неразбериха?

(*Входит д-р Перье*).

Дорогой Перье, я только что говорил, что от Вашего взгляда ускользнуло фундаментальное различие, проведя которое Вы, возможно, оказались бы для критических замечаний Валабрега куда менее уязвимы.

Вы ищете различие, которое позволило бы разобраться в работе органов, вовлеченных в психосоматический процесс в том виде, в котором Вы пытаетесь его определить. По этому поводу я хочу заметить, что процесс этот далеко не охватывает всего того, о чем говорите Вы, – тот факт, что у больного эпилепсией, помещенного в более упорядоченные условия, кризисы происходят реже, не имеет с психосоматикой ничего общего. Вы говорили, с одной стороны, об органах отношения, то есть тех, что вступают в отношения с внешним миром. Другие же органы, по-Вашему, ближе к тому неисчерпаемому запасу возбуждений, представление о которых Фрейд создает у нас, говоря о внутренних влечениях. И надо сказать, что деление это не представляется мне слишком удачным.

Важно другое – важно, что определенные органы оказываются вовлечены в нарциссическое отношение, которым и определяется как структура связей между собственным Я и другим, с одной стороны, так и строение предметного мира, с другой. За нарциссизмом же кроется аутоэротизм,

то есть заложенная внутри организма масса либидо, отношения внутри которой, как и энтропия, остаются для нас, как я смею полагать, недоступны.

Позволю себе между делом заметить, что в *Три очерка о сексуальности* отрывок о либидо был добавлен Фрейдом позднее – если не ошибаюсь, где-то ближе к началу 20-х годов. А потому мнение, будто теория либидо была разработана им одновременно с теорией инстинктуальных фаз, представляет собой заблуждение, основанное лишь на том, что *Очерки* выдержали целый ряд переизданий. Теория либидо, которой Фрейд посвящает зрелые годы творчества, была вполне разработана им лишь после того, как он ввел функцию нарциссизма и обнаружил, насколько непосредственное участие принимает она в либидинальной экономии.

Возвращаюсь к своему сравнению с энтропией, чтобы вы лучше почувствовали его значение. Энтропийные эквивалентности, наблюдаемые нами в живом организме, сводятся, в конечном счете, к метаболизму – своего рода приходно-расходной книге. Налицо определенное количество энергии, которое организм теми или иными путями усваивает, с одной стороны, и то, что с учетом всего – мускульных затрат, усилий, испражнений – из механизма выходит, с другой. Законы термодинамики при этом, естественно, соблюдаются – уровень энергии понижается. Но о том, что происходит внутри, мы не знаем совершенно ничего. И по очень простой причине – мы не можем, как это происходит в мире физическом, измерить здесь взаимодействие между близлежащими элементами, поскольку особенность организма состоит в том, что любое событие, происходящее в одной из его точек, отзывается тут же и во всех остальных.

И вот в либидинальной экономии мы имеем дело с чем-то если не вполне эквивалентным, то аналогичным. Внутриорганическим нагрузкам, которые называют в анализе аутоэротическими, принадлежит, безусловно, в явлениях психосоматики очень важная роль. *Эротизация* того или иного органа – это метафора, источником которой являются чаще всего чувства, возбуждаемые в нас явлениями, к разряду которых относятся и явления психосоматические. Предлагаемое вами различие между неврозом, с одной

стороны, и соматическим явлением, с другой, как раз и проходит по линии раздела, образуемой нарциссизмом.

Разумеется, в неврозе действуют механизмы защиты. И не следует затемнять дело, говоря о них так, словно они вполне однородны тем механизмам защиты или реакциям, о которых идет речь при определенном, экономическом, подходе к описанию заболевания. Те механизмы, о которых говорим мы и которые Анна Фрейд перечисляет как первоначальные составляющие защиты Я, всегда связаны с нарциссическим отношением, которое строго выстраивается вокруг связи с другим, возможной идентификации с другим, строгого соответствия между Я и другим. В любом нарциссическом отношении Я действительно выступает как другое, а другое – как Я.

Невроз всегда протекает в рамках нарциссической структуры. Но лежит он при этом по ту сторону, в совершенно иной плоскости.

И эта другая плоскость – вовсе не плоскость отношения к объекту, как это утверждали Вы, или как утверждал это, явив прискорбное небрежение концептуальной строгостью, доктор Паш – упрек мой тем более справедлив, что человек этот подавал одно время куда большие надежды. Если психосоматические реакции как таковые о чем-то говорят – так это о том, что к регистру невротических конструкций они отношения не имеют. Это не отношение к объекту. Это отношение к чему-то такому, что всегда лежит на самой границе наших мысленных построений, о чем мы всегда думаем, иногда говорим, что мы, собственно говоря, уловить не способны, но что пребывает, тем не менее, всегда с нами – я говорил вам о Воображаемом, о Символическом, но не забывайте: есть еще и Реальное. Психосоматические отношения располагаются на уровне Реального.

Д-р Перье: – *Это именно то, что я хотел сказать.*

Лакан: – Но Вы же этого не сказали. Вы процитировали слова Паша об отношении к объекту. Если Вы будете рассматривать проблему в этой плоскости, Вы затеряетесь в отношениях с первоначальным, материнским объектом, вы придете в состояние своего рода клинического *пата*. Из него нет вы-

хода. А вот обращение к термину реального действительно может обнаружить в данном случае его плодотворность.

Д-р Перье: – *Насколько мне помнится, процитировав Паша, я особо обратил внимание на тот факт, что психосоматический больной находится в непосредственном отношении не к объекту, а к Реальному, к миру и что терапевтическое отношение, в которое он вступает с врачом, как бы мало дифференцировано оно ни было, вновь вводит в него регистр нарциссизма. Именно по мере того, как этот тампон позволяет ему вернуться в более человеческое измерение, и излечивается он постепенно от своего психосоматического цикла.*

Лакан: – Я вовсе не утверждаю, будто вы говорили какие-то глупости. Я просто хочу сказать, что, с точки зрения строгости терминологии, Вы не дали бы Валабрега повод для критики, используй вы вместо термина “объект” термин “реальное”.

Валабрега: – *Ссылка на нарциссизм имеет здесь основополагающее значение. Но нарциссизм ведет нас, тем не менее, к объектному отношению, где объект – это собственное тело.*

Лакан: – Вот об этом-то я и твержу.

Я только что говорил вам о вуайеризме – эксгибиционизме, а также о влечении, источник которого лежит в определенном органе – глазе. Но объектом его глаз не является. Точно так же, хотя то, что относится к регистру садизма-мазохизма, имеет своим источником организм, мускулатуру, все говорит о том, что объект влечения, хотя и имеющий к этой мускульной структуре некоторое отношение, представляет собой, однако, нечто совсем другое. И наоборот, когда речь идет о нагрузках, которые именуются аутоэротическими, отличить источник влечения от его объекта мы неспособны. Нам об этом ничего неизвестно, но, похоже, можно себе представить, что мы имеем здесь дело с нагрузкой на сам орган как таковой.

Вы видите разницу. Налицо здесь и то, что имеется в аутоэротизме таинственного, непроницаемого. Это не значит, что мы не продвигаемся в дальнейшем хотя бы на несколько шагов вперед. И если после уже сделанного им замечательного усилия д-р Перье не пожелает впасть в диктуемое принципом удовольствия естественное состояние сонного умиротворения, то я бы просил его, не успокаива-

ясь на достигнутом, приготовить к следующему разу сообщение об этой маленькой работе под названием *Влечения и их судьба.*

По поводу же внешнего и внутреннего запомните хорошенько – на уровне Реального говорить о разнице между ними не имеет смысла. Реальное не дает трещин. И я уверяю вас – Фрейд выступает здесь полным единомышленником того, что именуем мы философией науки, – что нам не дано приблизиться к Реальному иначе (в любой плоскости, не только в плоскости познавательной), нежели посредством Символического.

В Реальном нет ни единой трещины. Не будем закрывать глаза на порок, присущий столь, на первый взгляд, привлекательным и даже плодотворным построениям, как теория фон Фриша. Обоюдный холизм *Innenwelt*'а и *Umwelt*'а, их симметричное друг другу расположение, представляют собой положенное в основу биологического исследования *petitio principii.* В качестве гипотезы это, может быть, и интересно, но мыслить таким образом нас ничто не обязывает. Понятие об отношениях взаимоотражения между живым существом и окружающей средой и гипотеза предустановленной адаптации, даже в самом широком ее толковании, не имеют для своей надежности в качестве предпосылок ни малейших гарантий. И если исследования в таких направлениях, как анатомизм, ассоциативизм и т. д. являются, несмотря на все критические замечания, которые мы в их адрес могли бы сделать, сравнительно плодотворными, то объясняется это именно тем, что они отходят от этой гипотезы; что, сами того не замечая, они выдвигают символизм на первый план. Они проецируют его в Реальное, воображая при этом, что именно элементы Реального принимаются ими, таким образом, в расчет. На самом же деле это всего-навсего тот символизм, который они заставляют в Реальном функционировать – не в качестве проекции или рамок для мышления, а в качестве инструмента исследования. В Реальном нет трещин. И что, собственно, имеют в виду, когда о субъекте в том гипотетическом состоянии самозамкнутости, которое фрейдовская теория предполагает у него в качестве исходного, утверждают, что он есть все?

Валабрега: – *Вопрос ставится не о Реальном, а о различии между аппаратами, которые устанавливают с ним связь, функционирующими безотносительно к нему.*

Лакан: – Граница лежит между тем, что включено в нарциссическое отношение, и тем, что в него не включено. Место сопряжения Воображаемого и Реального – вот где проходит различие.

2

В прошлый раз я впервые приоткрыл перед вами смысл интересующего нас вопроса – что же происходит по ту сторону принципа удовольствия? Мой большой друг Жан Ипполит, здесь сегодня отсутствующий, так как он находится сейчас в Германии, сказал мне, что он *По ту сторону принципа удовольствия* уже перечел. Я уверен, что человек он, по меньшей мере, столь же занятый, как и большинство из вас. Не пора ли взяться за это дело и вам? Через две недели нам предстоит разбирать эту работу с текстом в руках.

Последний раз я уже говорил вам, что символизм играет важнейшую роль во всех основных проявлениях аналитического опыта, и прежде всего в повторении, которое немыслимо иначе, как связанное с циркулярным процессом речевого обмена. Имеется некий внешний по отношению к субъекту и связанный с определенной группой носителей, человеческих агентов, замкнутый символический контур, в который субъект, или то маленькое колечко, что зовется его судьбой, навсегда остается включенным.

Я говорю образно, я видоизменяю несколько мою мысль, вы прекрасно чувствуете, конечно, что понимать меня слишком уж буквально не следует.

Имеют место отношения обмена, внешнего и внутреннего, представлять себе которые следует как декламацию затверженной наизусть речи. Имея соответствующий регистрирующий аппарат, речь эту можно было бы выделить и собрать вместе. От самого субъекта – у которого подобный аппарат отсутствует – она по большей части ускользает, продолжаясь и вновь возвращаясь, всегда готовая заново включиться в ритм внутреннего дискурса.

Субъект, естественно, может прожить всю жизнь, так и

не услышав, о чем, собственно, идет речь. Именно это как раз обычно и происходит. Анализ для того и создан, чтобы помочь ему ее услышать, чтобы он понял, в каком дискурсивном круге он оказался пленником и в какой другой круг ему предстоит вступить.

Обратимся к одной работе, которая представляет собой не опубликованную самим Фрейдом и найденную впоследствии рукопись. Относится она к сентябрю 1895 г., то есть ко времени, когда Фрейд занимался не самоанализом, а анализом как таковым, то есть стоял на пороге своего открытия (*Толкование сновидений* еще не было написано). Из этой работы мы узнаем, как Фрейд представлял себе психический аппарат. Текст этот неотделим от истории мысли Фрейда, и в свете смысловых акцентов, которые мы в нем расставим, обнаружит значение позднейших разработок – той теории, которую находим мы в *Traumdeutung*. Из него становится ясно, как пересматривает Фрейд свои первоначальные представления. Читая его, вы сопоставите машину сновидений с другой машиной, схему которой я недавно напоминал вам, говоря о дискурсе другого, и не с ним одним.

Сегодня мы прослушаем доклад Анзьё, посвященный анализу того, на что в этом тексте следует особо обратить внимание.

Замечания по ходу доклада Анзьё.

В 1895 г. теории нейрона не было и в помине. Идеи Фрейда о синапсе являются абсолютно новыми. Он предполагает наличие синапса как такового, то есть разрыва между включенными в непрерывную цепь соседними нервными клетками.

....

Согласно простейшей схеме вида "стимул-реакция", виталистическая система безусловного рефлекса, похоже, целиком повинуется закону разрядки. Налицо простая инерция в чистом ее виде. Цепь замыкается кратчайшим путем. И вот к этой системе Фрейд подключает другую – систему-тампон, ту самую систему внутри системы, которая и ло-

жится в основу системы Я. Принцип реальности вводится здесь, будучи увязан с системой ψ, обращенной вовнутрь. Позднее термины пересекутся.

....

Система ω уже предвосхищает систему “оно”. Нужно объяснить, что делает ее изобретение необходимым. Ибо до сих пор все, в конечном счете, идет отлично. Никакого сознания. Но ввести его все же нужно, и Фрейд делает это с помощью системы, по законам своим совершенно исключительной. Период должен протекать в ней с минимальной, почти нулевой, затратой энергии – сказать, что с абсолютно нулевой – он не решается.

Тут мы впервые встречаемся с трудностью, которая будет и в дальнейшем возникать у Фрейда на каждом шагу: непонятно, что делать с системой сознания. Ей приходится приписывать совершенно особые законы, а законы энергетической эквивалентности, реализующие любые количественные процессы, на нее не распространяются. Почему не может он позволить себе от ее вмешательства отказаться? Что он с ней собирается делать? Зачем она ему нужна?

....

Что касается состояний желания, то Фрейд задействует здесь взаимоотношения между предстоящим объектом и уже сложившимися внутри Я структурами. При этом он особо обращает внимание на следующее: либо предстоящий объект отвечает ожиданиям, и это вовсе не интересно, либо он приходится не к месту, и это уже интересно, ибо предметный мир любого рода всегда складывается в результате усилия заново открыть, *wiederzufinden*, объект. Фрейд различает в человеческом опыте два не имеющих друг с другом ничего общего структурных образования: с одной стороны, припоминание, которое я, следуя Керкегору, назвал *античным* и которое предполагает наличие между человеком и миром его объектов гармонии, благодаря которой он узнает их, ибо в каком-то смысле знает их изначально; с другой же стороны – завоевание, оформление мира трудовым усилием, путем повторения. По мере того, как предсто-

ящее субъекту совпадает с тем, что некогда уже принесло ему удовлетворение, лишь частично, субъект пускается на поиски и повторяет свои попытки до тех пор, пока не обретет искомый объект вновь.

Объект встречается и выстраивается на пути повторения – вновь обрести объект, повторить объект. Беда лишь в том, что объект, который субъект встречает, никогда не оказывается тем же самым. Другими словами, субъект непрерывно порождает объекты-заместители.

В теории этой, которой Фрейд, похоже, придерживается и в дальнейшем, уже содержится, таким образом, на материалистическом уровне, начатки представления о функции повторения как процессе, выстраивающем мир объектов.

Перед нами набросок того плодотворного, что ложится впоследствии в основу психологии конфликта и перебрасывает мост между либидинальным опытом как таковым, с одной стороны, и миром человеческого познания, с другой, – миром, который характеризуется тем, что значительная часть его для силового поля желания остается недосягаемой. Человеческий мир не выстраивается как заключенный внутри *Innenwelt*'а потребностей *Umwelt*, он отнюдь не закрыт – наоборот, он открыт для великого множества самых разнообразных нейтральных объектов, среди которых есть и такие, которые, выполняя радикальную функцию символов, уже не имеют с объектами ничего общего.

....

Мое Я испытывает реальность, не просто переживая ее, но ее, насколько это возможно, нейтрализуя. Нейтрализация же эта осуществляется по мере действия системы отвода. Вы не уделили достаточно внимания тому факту, что именно в соединении нейронов усматривает Фрейд тот механизм отвода, под действием которого приток энергии, рассредоточенный и распределенный им, далее не проходит. И именно постольку, поскольку он не проходит, допустимым становится сравнение с информацией, которую дает нам в периодическом плане система *Q*: в обоих случаях энергия сокращается – если не в потенциале своем, то, во всяком случае, по интенсивности.

....

В этом первом наброске Я уже заложено начальное представление о том, что окажется впоследствии структурным условием выстраивания внутри человека объектного мира – об обретении утраченного было объекта. Однако отсылка к другому, который играет в выстраивании объекта роль не менее существенную, здесь еще полностью отсутствует. Другими словами, создается впечатление, что объективированная организация мира происходит, как в случае со статуей Кондильяка, сама собой. Открытие нарциссизма именно потому и кажется нам столь важным, что в этот момент Фрейд ни о чем подобном даже не подозревает.

Следуя философам восемнадцатого столетия, Фрейд, как и все его современники, реконструирует абсолютно все – память, суждение и т. п. – исходя из ощущения, лишь на мгновение задерживаясь на поиске объекта как такового. Однако интерес к сну и сновидениям заставляет его вернуться к первичному процессу. В результате чего эта механическая реконструкция реальности приводит, тем не менее, к сновидению.

На этом мы сегодня и остановимся. Не возьмется ли Валабрега увязать сказанное сегодня с полной теорией первичного и вторичного процессов в *Traumdeutung*?

26 января 1955 года.

IX
ИГРА ЗАПИСЕЙ

Безумие не является сновидением.
Четыре схемы.
Противопоставление и опосредование.
Первичный процесс.
Опредмечивание системы
восприятие-сознание.

Прошлым вечером, после доклада Ланга, Лефевр-Понталис обратился к вам с призывом пользоваться понятием зеркала более дисциплинированно.

Со своей стороны я к этому призыву присоединяюсь, ибо согласен, что злоупотреблять этой идеей не стоит. Ведь стадия зеркала не магическое заклинание. Она уже немного и устарела. С тех пор, как я в 1936 г. эту идею сформулировал, прошло уже добрых двадцать лет. Уже начинает зудеть желание чего-то нового – которое, впрочем, не всегда лучше старого, ибо чтобы идти вперед, нужно уметь возвращаться. А раздражает не столько возврат к этой идее, сколько неумение ею пользоваться. И с этой точки зрения Ланг заслуживает хорошей оценки.

1

(*Приходит Лефевр-Понталис*)

А, вот и наш бунтовщик! Я уверяю вас, что существует нечто такое, о чем Вы, Лефевр-Понталис, не имеете, возможно, ни малейшего понятия, – то, до какой степени спорна и действительно оспаривается диагностика психоза у ребенка. Некоторым образом непонятно даже, правильно ли мы поступаем, используя для обозначения психозов взрослых и детских одно и то же слово. В течение десятков лет в возможность у ребенка настоящих психозов просто не верили, пытаясь увязать соответствующие явления с какими-нибудь органическими условиями. У взрослого и у ребенка психоз выстраивается далеко не одинаково. И если мы вправе говорить о наличии у ребенка психоза, то лишь потому, что, будучи аналитиками, мы продвинулись в понимании психоза несколько далее других.

Поскольку на этот счет никакой установившейся доктрины – даже внутри нашей собственной группы – пока не сложилось, Ланг оказался в нелегком положении.

В отношении психоза у взрослых, *a forteriori* и у детей, в умах царит до сих пор полная неразбериха. И работа Ланга показалась мне весьма уместной именно потому, что он попытался сделать нечто в деле аналитического понимания, а особенно в деле расширения его границ, абсолютно необходимое – отступить немного назад.

Во всем, что касается восприятия нами нашей клинической области, нам грозят две опасности.

Первая из них – это не проявить достаточно любопытства. Детям внушают, что любопытство – ужасный порок, и в целом это правда; мы не любопытны, так что спровоцировать это чувство автоматически оказывается не так уж легко.

Вторая – это понимать. Мы вечно понимаем слишком много, особенно в анализе. И по большей части обманываемся. Обычно считается, что если человек одарен, обладает хорошей интуицией, легко вступает в контакт, умеет использовать природные способности к межличностному общению, имеющиеся у каждого, то из него получится хороший терапевт-аналитик. Как только аналитик перестает предъявлять к себе требования исключительной концептуальной строгости, способ понимания тут же находится. Но он оказывается при этом чем-то вроде моряка без буссоли и теряет всякое представление о том, откуда и куда направляется.

А не поможет ли нам психоз ребенка заключить, как бы от противного, о том, что следует нам думать о психозе взрослого? Вот что пытался сделать Ланг, и получилось у него это совсем неплохо. С очень большим тактом отметил он все непоследовательности, ошибки и лакуны в системе Мелани Кляйн и Анны Фрейд, склоняясь, в конечном счете, в пользу Мелани Кляйн, ибо с аналитической точки зрения система Анны Фрейд приводит в тупик.

Мне очень понравилось то, что он сказал о регрессии. Он отметил, что это вовсе не механизм, действие которого разворачивается в реальности, а символ. Вы сами знаете,

что я не любитель козырять термином "логическое мышление" по поводу и без повода, но здесь перед нами как раз явление, очень похожее на мышление колдуна. Вы видели когда-нибудь взрослого, который бы действительно регрессировал, вернулся к состоянию малого ребенка, впал в детский лепет? Регрессии не существует. Как замечает Ланг, это симптом, который именно как таковой и должен интерпретироваться. Регрессия существует в плане значения, а не в плане реальности. И это убедительно доказывается в отношении ребенка тем простым соображением, что ему некуда особенно регрессировать.

Я вновь перечитывал в *Толковании сновидений* то примечание относительно процесса и механизмов психологии сновидения, где Фрейд цитирует Джексона: *Исследуйте природу сновидения и вы откроете все, что можно узнать о сумасшествии и безумии.*

Вот это как раз и неверно. Между тем и другим нет ничего общего. Хорошенько это запомните. Да, задействуются те же элементы, те же символы, можно найти много аналогичного. Но это иная перспектива – не наша. В этом-то все и дело: почему сновидение – это не безумие? И наоборот, говоря о безумии, для нас важнее всего определить то самое, что рознит обусловливающий ее механизм с тем, что происходит в сновидении каждую ночь.

Не думайте, пожалуйста, что все это целиком лежит на совести самого Фрейда. Французское издание неполно и не дает понять, что перед нами здесь своего рода "хорошая оценка", выставленная Эрнесту Джонсу, который еще ранее счел подобное сближение удачным и подумывал, несомненно, о том, как связать анализ с тем, что ему уже приходилось наблюдать в Англии. Оставим же Джонсу Джонсово, а Фрейду Фрейдово. И станем исходить из того, что проблема сновидения оставляет все экономические проблемы психоза полностью открытыми.

Сегодня я не буду распространяться на эту тему дальше. Оставим ее как задачу на будущее. Возможно, что мы займемся психозами уже в этом году. А уж в следующем году мы займемся ими в любом случае.

2

Вернемся же к тексту Фрейда.

Я просил Валабрега продолжить комментарий, но сначала я нарисую на доске схему, к которой вы сможете обращаться, чтобы улавливать ход мысли, который мы здесь прослеживаем. Схем этих, собственно, у меня четыре: по структуре они сходны, а различия между ними отмечают этапы в разработке Фрейдом своей идеи.

Первая из них относится к тому, что было намечено им на уровне первоначальных, общепсихологических взглядов, осталось неизданным, но содержало множество наблюдений, обращение к которым оказалось для него впоследствии плодотворным. Вторая иллюстрирует то, что мы находим в *Толковании сновидений*, – теорию психического аппарата, призванную объяснить феномен сновидения. Причем обратите внимание: после того, как все элементы интерпретации сновидений были рассмотрены, ему предстояло еще найти сновидению место в качестве психической функции. Третья соответствует уровню теории либидо, гораздо более поздней. И появляется она отнюдь не одновременно с *Тремя очерками...* – скорее она соотносится по времени с появлением на фрейдовском горизонте функции нарциссизма. Наконец, четвертая схема – *По ту сторону принципа удовольствия*.

Хотя схемы эти и относятся к функциям совершенно различным, по форме своей они в чем-то сходны. Ведь, на самом деле, в каждом случае речь идет об одном – о схеме аналитического поля. Поначалу Фрейд называет это "психическим аппаратом", но вы увидите, какой шаг вперед он сделает – шаг в понимании того, что может именоваться человеческим существом.

Вот о чем здесь, собственно, идет речь. В основе ваших законных требований в теоретическом плане, в основе, например, прозвучавшего вчера в устах Лефевра-Понталиса призыва, лежит представление о том, что вы находитесь перед лицом чего-то индивидуального, если не вообще уникального, что все лежит здесь, сосредоточенное в фигуре, которая находится перед вами, и что в этом-то и состоит

единство объекта в психоанализе, и уж во всяком случае, в психологии, законы и пределы которой считаются для познания вполне доступными.

Вы все полагаете, будто находитесь в области психологии, где душа представляет собой некое подобие двойника, или свойства, того, что вы видите.

И очень любопытно, что вы не обращаете внимания на один простой факт: любой научный прогресс ведет к исчезновению объекта как такового. В физике, например, – чем дальше вы идете, тем менее объект вам доступен. То, что наблюдаем мы в чувственном облике, интересует физика лишь в аспекте энергообмена, на атомно-молекулярном уровне, который реализуется в чувственной видимости лишь случайным и преходящим образом.

Это не значит, однако, что человеческое существо для нас исчезает.

Вы изучали философию, и знаете, что бытие (l'être) и объект – это совсем не одно и то же. Что касается бытия, то, с научной точки зрения, мы его, разумеется, постичь не можем, потому что оно принадлежит иному порядку. Психоанализ, однако, является опытом, позволяющим обозначить на нашем горизонте ту точку, где оно исчезает. Он специально подчеркивает, что человек – это не объект, а существо, которое стремится себя реализовать, нечто метафизическое. Может быть, это и есть наш научный объект? Разумеется, нет, но не является этим объектом и тот индивид, который по видимости это бытие в себе воплощает.

Во сне, говорит Фрейд, всегда имеется некий абсолютно неуловимый пункт, принадлежащий области неизвестного, – он называет его "пуповиной сновидения". Обычно на такого рода места в его текстах внимания не обращают, полагая, видимо, что это беллетристика. Но это не так. Слова эти говорят о том, что имеется точка, которая в феномене неуловима, – точка, где возникает связь субъекта и символического порядка. То, что я называю бытием, или существом, – лишь последнее слово, за которым кроется то, что с позиций науки остается для нас недоступно, но в направлении чего феномены, с которыми мы в нашем опыте имеем дело, неизменно указывают.

Что нам действительно важно, так это уяснить себе, какую позицию следует нам занять по отношению к тому, что мы называем нашим партнером. В любом случае очевидно одно: в уникальном явлении, которое представляют собой человеческие отношения, налицо два различных, хотя и сплетающихся то и дело друг с другом, измерения – измерение Воображаемого и измерение Символического. Измерения эти каким-то образом пересекаются, и нам всегда важно знать, какую функцию мы выполняем, в каком измерении мы по отношению к субъекту располагаемся – независимо от того, реализует ли наша позиция противопоставление или опосредование. И полагать, будто оба эти измерения образуют, смешиваясь между собой в явлении, одно-единственное, было бы самообманом. Результатом становится своего рода магическое общение, универсальная аналогия, которой многие действительно пользуются для теоретического осмысления своего опыта. В конкретном и частном случае подобный метод часто дает чрезвычайно богатые, но совершенно не поддающиеся обработке данные, и он, вдобавок, чреват многочисленными техническими ошибками.

Все это, я, конечно, излагаю в очень общем виде, но уточнить и наглядно представить себе сказанное позволит вам четвертая схема, соответствующая четвертому этапу мысли Фрейда, этапу работы *По ту сторону принципа удовольствия.*

3

Выступления по ходу доклада Валабрега

Что называет Фрейд системой ϕ? Исходит он из той схемы безусловного рефлекса в простейшей ее форме, которая казалась для познания отношений живого существа с окружающей средой столь многообещающей. Этой схемой представлено фундаментальное свойство отношений, в которые живое существо вступает: оно что-то получает в виде возбуждения и каким-то образом на это возбуждение отвечает.

Не забывайте, однако: понятие ответа всегда предполагает, что мы имеем дело с существом уже адаптированным. Схема условного рефлекса была выведена первоначально

на опытах, например, с лягушкой – в то время, когда электричество (которое, как вы убедитесь, в качестве модели хорошо нам послужит) как раз начинало входить в нашу жизнь. Итак, на лягушку воздействуют электричеством или капают ей на лапку кислотой. Она потирает этой лапкой о другую – это и называют ответом. Но здесь перед нами не просто афферентно-эфферентная пара. Необходимо предположить, что ответ для чего-то служит, то есть что живое существо является существом адаптированным.

Все это и положено Фрейдом в основу его конструкции. Похоже также, что он с самого начала заложил в нее понятие равновесия – другими словами, принцип инерции. Что на самом деле вовсе не законно. Стимул, который Валабрега преждевременно именует информацией, представляет собой всего-навсего *in-put*, вложение. Подобный подход к проблеме является донаучным и характерен для времени, когда отсутствовало еще понятие энергетики, задолго даже до статуи Кондильяка. Энергия в этой базовой схеме в расчет никак не принимается. Понятие притока энергии появляется лишь тогда, когда Фрейд начинает учитывать, что происходящее в системе ϕ, обязательно должно оказывать воздействие в системе ψ. И только на этом этапе он уточняет, что система ψ имеет дело с внутренними побуждениями, т. е. потребностями.

Что же они представляют собой, эти потребности? Это нечто такое, что относится, собственно говоря, к организму и от желания заметно отличается. Ланг жаловался вчера вечером, что желание с потребностью всегда путают – это и вправду совсем не одно и то же. Слово *need* выражает собой то, в чем система эта, являющаяся одной из частных систем организма, участвует в целостном его гомеостазе. Тут-то и возникает необходимость в понятии *энергетического постоянства*, вторгающегося в работы Фрейда уже здесь, где он усматривает наличие энергетической эквивалентности между ψ, которая чувствует нечто изнутри организма, и ϕ, которая производит нечто, имеющее отношение к его потребностям. И это становится абсолютно загадочным – совершенно непонятно, что может означать энергетическая эквивалентность связанного с равновесием организма внутреннего давления,

с одной стороны, и его результата, с другой. Но тогда какой же в ней смысл? Это просто x, который, сослужив службу в качестве отправной точки, немедленно был оставлен.

In-put, то, что привнесено из внешнего мира, Фрейда не удовлетворяет, ему нужно импровизировать. И тогда он вводит дополнительный механизм, ω. Последний раз уже говорилось о том, что перед нами всего лишь эффекты записи.

Речь идет о том, чтобы сконструировать все из энергетических представлений, то есть из того соображения, что нельзя вынуть из шляпы кролика, его туда предварительно не посадив. Чтобы что-то вышло, нужно, чтобы что-то прежде вошло. Исходя из этого мы все и построим. Речь идет, скорее всего, о системе восприятия. Не будем преждевременно называть ее сознанием. Впоследствии Фрейд действительно смешивает ее с системой сознания, но для этого ему приходится вводить дополнительную гипотезу. Почему? Потому что ему нужны не только те стимуляции, что от внешнего мира исходят, ему нужен сам внешний мир. Ему нужен внутренний аппарат, который отражал бы не только исходящие от внешнего мира возбуждения, но его, если хотите, структуру.

Фрейд не гештальтист – нельзя приписывать ему все достоинства сразу – но он прекрасно чувствует теоретические требования, которые гештальтистскую конструкцию породили. И в самом деле, чтобы живое существо при первом же столкновении с миром не погибло, оно должно располагать неким адекватным его отражением. А это и означает, что схема эта опирается на самом деле как раз на то, что получит впоследствии наименование гомеостаза. Представление о нем уже присутствует здесь в понятиях подлежащего сохранению равновесия и зоны-тампона, поддерживающей возбуждение на одном уровне и служащей, следовательно, тому, чтобы регистрировать плохо, а то и чтобы не регистрировать вовсе. То есть регистрироваться-то оно регистрируется, но при этом фильтруется. Понятие гомеостаза, таким образом, уже присутствует здесь, предполагая на входе и выходе нечто, именуемое энергией.

Оказывается, однако, что схема эта неудовлетворительна. Если нервная система действительно осуществляет филь-

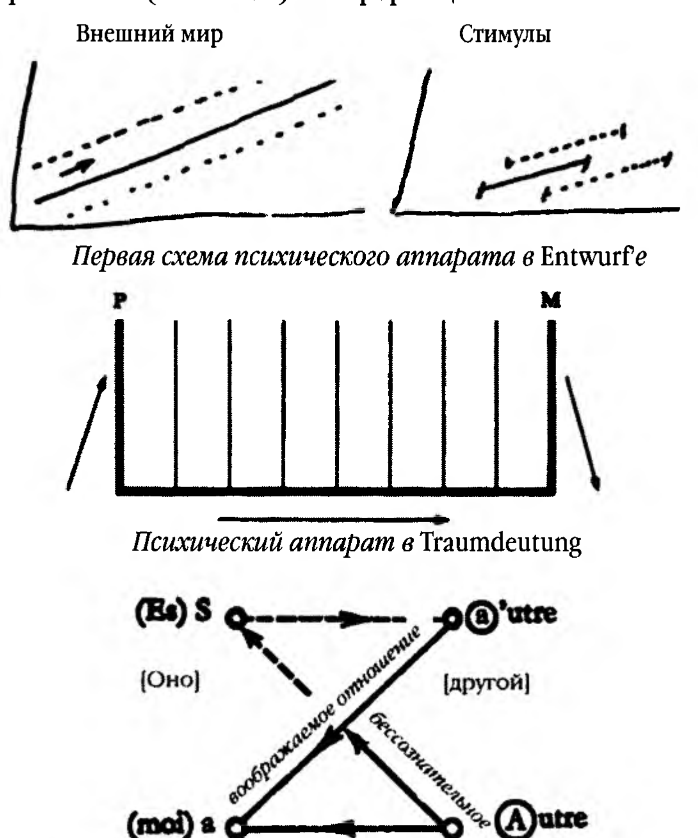
трацию, то фильтрация эта организованная, прогрессивная и предполагает наличие определенных каналов. Ничто, однако, не дает повода думать, что каналы эти всегда идут в функционально полезном направлении. Совокупность всех этих каналов, всех событий, всех произошедших в ходе развития индивида инцидентов образует ту модель, которая и задает собой меру Реального. Это и есть Воображаемое? Да, это должно быть именно оно. Однако как таковое оно предполагает наличие гештальтов, предрасполагающих живой субъект к определенного рода связи с типичной, именно ему отвечающей формой, предполагает биологическое сопряжение индивида с образом его собственных видовых черт, с образами того, что в определенной среде может, с биологической точки зрения, быть для него полезно. Всего этого здесь нет и следа. Есть лишь зона опыта и зона, где происходит его канализация.

По сути дела, память рассматривается здесь как последовательность энграмм, как совокупность серий проложенных каналов, и представление это оказывается неудовлетворительным, пока мы не введем в него понятие образа. Если мы предположим, что серия таких каналов, серия опытов вызывает в психическом аппарате, устроенном наподобие чувствительной фотопластины, некий образ, то само собой разумеется, что стоит какому-нибудь возбуждению, давлению, потребности эту серию реактивировать, как тот же самый образ немедленно возникнет вновь. Другими словами, любая стимуляция ведет к возникновению галлюцинации. Принцип функционирования аппарата ϕ – это галлюцинация. Вот что, собственно говоря, имеется в виду под *первичным процессом*.

Вся проблема заключается тогда в том, какая связь существует между галлюцинацией и реальностью. Фрейд оказывается вынужден восстановить систему сознания и ее парадоксальную, с энергетической точки зрения, автономию. Если увязывание одного опыта с другим производит галлюцинаторные эффекты, необходим корректирующий аппарат, проба на реальность. Эта проба на реальность предполагает сравнение галлюцинации с чем-то таким, что было получено в опыте и сохранено затем в памяти психического аппарата. В итоге Фрейд, пожелав систему сознания

полностью исключить, оказался вынужден восстановить ее с еще более ярко выраженной автономией.

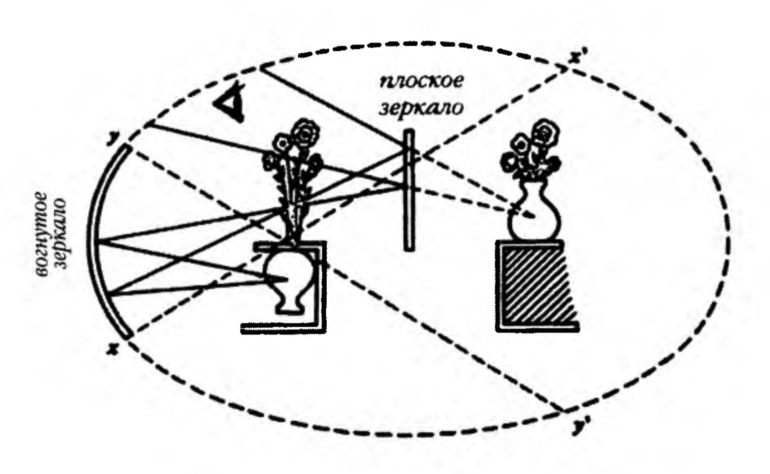
Я не утверждаю, что делать это он был не вправе. Но вы сами увидите, куда это его приведет. Какие же окольные пути придется ему искать, чтобы представить себе, как происходит опорное сравнение того, что дано в системе – системе-тампоне, умеряющей стимуляцию системе гомеостаза – с регистрацией этих стимулов? К каким дополнительным гипотезам он вынужден будет прибегнуть? Именно дополнительные гипотезы и позволяют нам оценить трудности, перед лицом которых он оказался. Трудности можно, как это и сделал Валабрега, распределить по двум рубрикам: торможение (inhibition) и информация.



Первая схема психического аппарата в Entwurf*e*

Психический аппарат в Traumdeutung

Воображаемая функция Я и дискурс бессознательного



Оптическая схема теории нарциссизма

Система ω состоит из дифференцированных органов, которые не регистрируют приходящие из внешнего мира большие массивы энергии. Массивы эти – изменения температуры, давления и т. д. – могут оказаться столь значительны, что само сохранение живого существа окажется под угрозой. Если тампон больше не помогает, остается спасаться бегством. Но подобные случаи далеки от того, что нас с вами интересует. У нас речь идет об отношениях психэ с тонкими влияниями внешнего мира. Возьмем солнечную энергию – специализированный аппарат улавливает лишь определенную часть этого феномена. Он выбирает определенный уровень частоты, настраиваясь не на энергию как таковую – что было бы с нами, работай мы в режиме трансформаторов или фотоэлектрических датчиков? – а на период. Глаз, когда он воспринимает свет, улавливает куда меньше энергии, чем зеленый лист, который чего только с этим светом не делает!

Для идентификации качества Фрейду приходится, таким образом, допустить специализированный аппарат, что предполагает почти полное устранение притока энергии.

Вы прекрасно понимаете, что понятие исключительно перцептивной по своему характеру разрядки отвечает, на уровне этого аппарата, элементарному требованию симметрии. Фрейду приходится допустить, что тут налицо из-

вестное постоянство энергии и что привнесенное должно где-то найтись.

Особый акцент ставится, однако, на том, что между возбуждением и разрядкой перемещение энергии минимально. А почему? Да потому, что система должна быть от перемещений энергии максимально независима. Ведь задача системы как раз в том, чтобы отстраниться от этой энергии, выделить в ней чистое качество, то есть внешний мир, взятый в качестве простого отражения.

Чтобы между внутренним миром, где образ обусловлен содержанием памяти, где он, по природе своей, галлюцинаторен, и миром внешним могло иметь место какое-либо сравнение, чтобы существовал какой-то общий для них масштаб, необходимо, чтобы Я, потенцируя выполняемую им в качестве тампона функцию регуляции, создавало максимальные помехи для прохода энергии внутрь этой системы. То, что приходит в качестве стимула, уже в значительной степени отфильтрованного, должно быть отфильтровано вновь, чтобы можно было сравнить его с особыми образами, возникновение которых обусловлено той или иной потребностью. Вопрос в том, каков уровень давления этой потребности: навязывает ли она себя вопреки всякой очевидности, или же Я оказывается способно отфильтровать, отцедить количество перемещенной энергии настолько, чтобы очевидно стало, что образ неосуществим.

Другими словами, полагая вполне традиционно, что, исходя из рефлекса, он сможет постепенно вывести логическим путем всю последующую лесенку: восприятие, память, мысль, идеи, – Фрейд оказывается вынужден овеществить сознание-восприятие в определенной системе. Что вовсе не так уж абсурдно. То, что подобная дифференцированная система существует – чистая правда; мы уже имеем о ней некоторое представление и можем даже приблизительно указать ее место. В психическом аппарате Фрейд различает две зоны – зона воображения, памяти, или, точнее говоря, зона обусловленной памятью галлюцинации связана в нем со специализированной системой восприятия как таковой. Сознание есть отражение реальности.

Валабрега: – *Да, но это становится очевидным гораздо позже. На этом этапе у Фрейда еще отсутствует то ясное представление о психическом аппарате, которое предложит он впоследствии вместе с системой восприятие-сознание.*

Лакан: – Элементы – это и есть *ω*.

Валабрега: – *Но это совсем не похоже по замыслу своему на то, что он впоследствии назовет психическими аппаратами.*

Лакан: – Я полагаю, напротив, что аппараты эти, как таковые, здесь уже налицо. Разве стал бы он присваивать им буквенные обозначения *ψ*, *φ*, *ω*, если бы уже тогда не различал их в качестве аппаратов?

Валабрега: – *Впоследствии он выделит уже в самой системе два базовых элемента; они-то и дадут нам пресловутый психический аппарат.*

Лакан: – Но в прошлый раз я как раз и пытался вам показать, что для того, о чем идет речь в *Traumdeutung*, термин "пси/хический аппарат" уже неудовлетворителен, ибо в этой работе дает уже о себе знать иное, временное измерение

Валабрега: – *Говоря об* эго *и реальности, следует различать три случая. В первом из них, когда в момент появления показателя реальности Я находится в состоянии желания, происходит разрядка энергии в том или ином специфическом действии. Этот первый случай соответствует просто-напросто удовлетворению желания. Во-вторых, появление призрака реальности совпадает с ростом неудовольствия. Система ω порождает защитную реакцию, находящую выражение в побочной нагрузке.*

Лакан: – Это означает, что количество энергии, проходящей через несколько нейтронных фильтров, достигает минимальной интенсивности на уровне синапсов – это не что иное, как электрическая схема. Если ток у вас идет по трем или четырем проводникам вместо одного, то сопротивление в каждом из них потребуется меньшее, пропорционально количеству проводников. И, наконец, в третьих, если ни один из первых двух случаев не имеет места, нагрузка может происходить без помех, в соответствии с преобладающей в данный момент тенденцией.

4

Суждение, мысль и т. д. представляют собой столкнувшиеся с запретом энергетические разрядки. Этой конструк-

ции Фрейд всегда и придерживается, когда называет мысль действием, сохраняемым на уровне минимальной нагрузки. Это своего рода симуляция действия. Что отражение мира тут имеет место, это надо признать, поскольку опыт обязывает нас признать наличие нейтрального восприятия – я имею в виду *нейтрального* с точки зрения нагрузки, то есть восприятия с минимальной нагрузкой.

Психология животных обязана своими успехами тому, что в мире животного, его *Umwelt*'е, ей удалось выделить силовые линии и конфигурации того, что является для этого животного изначально притягательным, что отвечает его потребностям, то есть тому, что называют еще его *Innenwelt*'ом – структуре, связанной с сохранением его формы.

Ссылок на энергетический гомеостаз здесь недостаточно. Потребности краба иные, чем потребности кролика, и интересы у них тоже совсем разные.

Попробуйте, однако, исследовать поле восприятия кролика, краба или птицы. Предложите крысе или утке что-нибудь чрезвычайно для нее желанное – пищу или любой другой объект, который служил бы удовлетворению одной из ее потребностей, – и поставьте этот объект в систематическое соответствие с той или иной формой или цветом. Вас поразит, какое количество самых разных вещей утка или даже краб способны воспринять, пользуясь при этом не только чувствами, подобными нашим собственным: слухом, зрением и т. д., – но и другими аппаратами чувственного восприятия, антропоморфного аналога которым найти невозможно, как, например, у кузнечиков. В любом случае вы сразу отметите, что находящееся в распоряжении такого животного поле чувственного восприятия исключительно обширно по сравнению с тем, что выборочным образом принимает участие в образовании его *Umwelt*'а. Другими словами, дело здесь не в простой коаптации *Innenwelt*'а с *Umwelt*'ом, не в том, что во внешний мир заранее привносится некоторая соответствующая потребностям структура. Зона сознания, которой обладает каждое животное – мы говорим *сознание*, имея в виду факт восприятия внешнего мира посредством системы чувств, – гораздо обширнее,

нежели то, что может быть выстроено в качестве заранее сформированных ответов на его основные потребности.

В определенном смысле это соответствует тому, что представляет нам эта схема в качестве обобщенного чувственного слоя. Человек располагает о реальности куда большей информацией, нежели может он получить из непосредственной пульсации собственного чувственного опыта. Но ему того, что я называю заранее проложенными путями, как раз не хватает. Человек начинает с пустого места. Тому, что дерево горит и что кидаться с высоты не следует, он должен научиться сам.

Неправда, конечно, что ему приходится учиться абсолютно всему. Но что знает он от рождения? Это не очень ясно. Вполне возможно, что он чему-то обучается, но совсем не так, как делает это животное. У него уже имеются определенные ориентиры, определенное знакомство, *connaissance*, с реальностью – то самое знакомство, которое именует Клодель сорождением, *co-naissance*, и которое представляет собой не что иное, как *Gestalten*, ряд заранее сформированных образов. Признания такого знакомства требует не только теория Фрейда, но и соображения из области общей психологии животного – аппарат нейтральной регистрации, выстраивающий определенное отражение мира, действительно существует, и не имеет значения, будем ли мы, следуя Фрейду, называть его сознательным, или нет.

Дело лишь в том, что у человека явление это приобретает те особые черты, которые мы называем сознанием, и происходит это по мере того, как вступает в игру воображаемая функция его Я. Человек видит это отражение с точки зрения другого. Для себя самого он – другой. Именно это и создает у вас иллюзию, будто сознание прозрачно для себя самого. В нем, в этом отражении, нас нет, а находимся мы в сознании другого, чтобы оттуда это отражение наблюдать.

Как вы убедились, предложенная Фрейдом рациональная схема психического аппарата до конца не разработана, что и делает наш сегодняшний разбор ее занятием неблагодарным. Фрейд здесь всего лишь расправляет крылья. Все, что он говорит здесь, носит характер предварительный,

двусмысленный, порою избыточный, но многое из этого окажется тем не менее плодотворным.

Понятие эквивалентности, например, здесь выглядит совершенно чужеродным. Существуют потребности, говорит Фрейд, и потребности эти вызывают у человеческих существ реакции, призванные их удовлетворить. Понятие это, вовсе не виталистическое и вовсе не введенное в психо-механистическую систему насильственно, является, по сути дела, энергетическим. Предполагается наличие в самом начале определенного количества нейронной энергии. Увязанная с опытом сновидения, концепция эта приведет, как вы убедитесь, к поразительному развитию этой схемы.

Все это кажется вам, конечно, стерильным и архаичным. Но для нас важно уловить в этой схеме то, что содержит в ней зерна будущего, что позволит Фрейду развивать свою схему дальше. Дело совсем не в том, что Фрейд, как пытается убедить нас Крис, заменил механистический подход подходом психологическим – это грубое представление, которое ровным счетом ничего нам не говорит. Схему свою Фрейд оставил; в своей теории сновидения он, сам не отметив и даже не почувствовав разницы, развил ее далее, сделав тем самым тот решительный шаг, который и открыл для нас психоаналитическое поле как таковое. Никакого обращения Фрейда к органо-психологическому способу мышления не было – мысль его следует все тем же путем. Метафизика его, если можно так выразиться, остается неизменной, а вот схему свою он дополняет, вводя туда нечто новое – понятие информации.

Не бойтесь мысленно задержаться на этих неблагодарных моментах, памятуя о том, что перед нами лишь первые моменты творческой мысли, развитие которой откроет нам куда более широкие горизонты.

2 февраля 1955 года.

X
ОТ *ENTWURF* К *TRAUMDEUTUNG*

Энтропия в буквальном смысле.
Парадоксы омеги.
Все всегда налицо.
Сновидение и симптом.
Разговор с Флиссом.

Применение к оценке того или иного труда именно тех принципов, которыми автор в своем построении руководствуется, – вот основное правило всякой здравой критики. Так, например, Спинозу нужно постараться понять исходя из тех принципов, которые сам он выдвигает как наиболее пригодные для мышления и преобразования интеллектуальных способностей.

Другой пример – Маймонид, еще один мыслитель, подобравший для понимания мира кое-какие ключи. В трудах его мы находим прямые указания на то, каким образом следует вести исследования. Применяя эти указания к работам самого Маймонида, нам удается понять, что именно он хотел в них сказать.

Таким образом, мы лишь следуем самому общему правилу, когда, читая Фрейда, пытаемся применить к его трудам те принципы понимания и осмысления, которые в них самих же и сформулированы.

1

Уже за три занятия до сегодняшнего я начал подводить вас к пониманию того, что означает в *По ту сторону принципа удовольствия* тот *x*, который именуется в ней, в зависимости от ситуации, то *автоматизмом повторения*, то *принципом Нирваны*, то *инстинктом смерти*. Вы помните, что я заводил речь об энтропии. Это не случайно. Фрейд и сам отмечал, что то, о чем он говорит, наверняка является чем-то именно в этом роде. Понимать его при этом буквально вовсе не нужно. Тем не менее ряд аналитиков, и не из последних, в этом деле опростоволосились.

Оказался среди них и Бернфельд – прекрасный аналитик, сумевший разглядеть подлинное детское воспоминание Фрейда за тем экраном анонимности, на который тот

в своем рассказе о нем это воспоминание проецировал. Фрейд представил это воспоминание в закамуфлированном виде, приписав его одному из своих пациентов, но сам текст его – не совпадение с фактами биографии, а именно структура самого текста – позволили Бернфельду продемонстрировать, что о реальном диалоге с реальным пациентом речь в данном случае идти не могла, что имело место перемещение и что пример, как наглядно показывает сопоставление его с двумя или тремя сновидениями, описанными в *Толковании...*, наверняка заимствован Фрейдом из собственной жизни. Те, кто были свидетелями моего комментария к *Человеку с крысами*, с этим местом знакомы.

И вот этот самый Бернфельд, лет десять спустя после появления того важного для нас текста, который мы собираемся комментировать, публикует совместно с Фейтельбергом в *International Journal of Psycho-analysis* за 1931 год сообщение о чем-то таком, имени чему ни в одном языке подобрать нельзя. Подано это было, однако, в форме научного исследования. Сообщение было озаглавлено *The Principle of Enthropy and the Death Instinct*. Авторы его попытались изучить парадоксальную пульсацию энтропии внутри живого существа, точнее – на уровне нервной системы человека, сравнивая температуру церебральную с температурой ректальной. Им показалось, что они сумели при этом засвидетельствовать наличие парадоксальных вариаций, то есть не подчиняющихся принципу энтропии в том виде, в котором он действует, согласно физическим представлениям, в системах неодушевленных.

Читать об этом очень забавно – хотя бы потому, что перед нами наглядный пример заблуждения, в которое может ввести буквальное понимание теоретической метафоры.

Для Фрейда речь идет о том, чтобы постичь человеческое поведение. Задавшись этой целью, он спрашивает себя, нельзя ли воспользоваться для этого категорией, аналогичной тем, что применяются в физике. Вот здесь-то и вводит он измерение энтропии, реализующейся в том своеобразном акте коммуникации, который представляет собой аналитическая ситуация. И все эти измерения нужно сохранить, если мы хотим к соображениям Фрейда прислушаться –

ведь соображения эти относятся не только к живому существу, поддающемуся объективации в психическом плане, но и к значению его поведения, и притом именно в той мере, в которой это последнее оказывается вовлеченным в тот особый ряд отношений, который являют собой отношения аналитические, иначе как разновидность коммуникации просто немыслимые. Вот те рамки, в которых сравнение инстинкта смерти с энтропией имеет определенный смысл. Понимать же эту аналогию буквально, переводить ее в точные термины, имеющие хождение в физике, – напротив, совершенная бессмыслица, не менее абсурдная, чем действия обезьян-дактилографов у Бореля. К сожалению, подобные действия нам не раз еще придется наблюдать и со стороны аналитиков.

На протяжении четырех пройденных мыслью Фрейда этапов, о которых я вам уже говорил, – отмеченных, соответственно, неизданной рукописью, которую мы с вами заканчиваем комментировать – *Толкованием сновидений*, формированием теории нарциссизма и, наконец, работой *По ту сторону принципа удовольствия*, – одни и те же трудности и тупики воспроизводятся каждым заново, но уже в другой, видоизмененной конфигурации. Перед нами своего рода негативная диалектика, где в преобразованных формах настойчиво заявляют о себе все те же антиномии, – ей-то и предстоит нам последовать, чтобы предстал, наконец, перед нами в собственном своем облике тот независимый строй, который Фрейд, столкнувшись с ним, как раз и пытается формализовать.

После полутора лет занятий моего семинара вы прекрасно понимаете, что речь идет о строе символическом – с присущим ему строением, с его динамикой, с теми формами, в которых выступает он, навязывая человеческому существу и переживаемому им свой собственный порядок, свою, независимую, экономию. Именно в этом видится мне оригинальность фрейдовского открытия. Для тех, кто ничего не понимает, попытаемся выразить это в образной форме, определив символический строй как то высшее в человеке, что лежит не в нем самом, а вовне. И Фрейд, в процессе осуществляемого им синтеза, вновь и вновь оказывается перед

необходимостью этот внешний, эксцентрический пункт выправить, восстановить. Этапы этого процесса мы и попытаемся сейчас проследить в его тексте.

2

Совсем недавно я уже указал вам на систему *ϕ*, которая представляет, грубо говоря, рефлекторную дугу и основана на понятиях количества и разрядки, при минимуме содержания. Фрейд, чье мышление было сформировано неврологическими, анатомо-физиологическими и клиническими дисциплинами, не удовлетворяется схемой, которую позитивистская физиология ему на тот момент предлагала, – схемой, которая представляла собой своего рода архитектуру рефлексов, куда входили рефлексы высшие, рефлексы рефлексов и т. д. вплоть до рефлекса единства, помещенного на уровень высших функций. Следовало бы поместить сюда и кое-что еще, что наш друг Леклер назвал бы, в лучшие свои времена, субъектом. Я надеюсь, что со временем он избавится и от этого, ибо представлять субъект никогда и нигде не следует.

От Фейда требуется совершенно другое. Он нуждается в тампоне, а не в архитектуре.

Здесь Фрейд уже предвосхищает нейронную теорию, на два года опережая Фостера и Шеррингтона. Гениальность его дает о себе знать даже в деталях – так, в отношении определенных свойств проводимости он сумел более или менее точно угадать то, что известно нам на сегодняшний день. Конечно же, в экспериментальных исследованиях были достигнуты значительные результаты, подтвердившие функционирование синапсов в качестве контактных барьеров, и почти в тех же самых выражениях говорит об этом и Фрейд. Но самое главное, что в процесс акта разрядки он вводит систему-тампон, систему уравновешивающую, фильтрующую, амортизирующую – систему *ψ*. И с чем же, кстати говоря, он ее сравнивает? Посмотрите: на схеме, внутри позвоночной дуги, имеется что-то комкообразное – это узел. Так вот, психика для него – это узел; мозг представляет собой получивший особое развитие узел, наподобие симпатического узла или нервной цепочки у насекомых.

В последний раз вы были свидетелями некоторых колебаний в моем диалоге с Валабрега, высказавшим кое-какие небезосновательные соображения относительно системы ω. Выйти из положения без вмешательства этой системы сознания Фрейд не может – ведь именно она отсылает нас к той реальности, из которой, как ни крути, ни за что не удается извлечь кролика, предварительно туда его не поместив. У Фрейда, по крайней мере, вас не стараются заставить поверить в то, что достаточно свалить много всего в одну кучу, чтобы оказавшееся наверху ее стало гораздо красивее, чем прежде, когда оно лежало внизу.

Опыт Фрейда вынуждает его пересмотреть структуру человеческого субъекта, децентрализуя этот субъект по отношению к Я и отодвигая сознание на место, хотя и существенное, но проблематичное. Я сказал бы, что неуловимый, несводимый к жизненному функционированию характер сознания играет в его работах роль не менее принципиальную, нежели то новое, что он говорит в них о бессознательном.

Обусловленные этой системой сознания затруднения вновь и вновь возникают на каждом из уровней фрейдовской теоретизации. Предложить непротиворечивую модель его Фрейду так и не удается, и к существованию бессознательного неудача эта никакого отношения не имеет. В то время как в отношении большинства других элементов психического аппарата его представления оказываются последовательными и сбалансированными, каждый раз, когда заходит речь о сознании, он оказывается перед взаимонесовместимыми условиями.

Сейчас я приведу вам пример. В одном из своих текстов, который называется *Метапсихологические дополнения к теории сновидений* (он вышел на французском языке в сборнике под названием *Метапсихология*), почти все, что происходит при раннем слабоумии, паранойе и сновидениях, Фрейд объясняет в терминах нагрузки и и разгрузки – терминах, о значении которых в его теории нам еще предстоит с вами поговорить. Казалось бы, отладить теоретическую конструкцию так, чтобы она работала, можно всегда. Ан нет. Аппарат сознания обладает свойствами совершенно особыми, и сама логичность его системы, необходимость, с

которой она выводится, ставят Фрейда в тупик. Непонятно, говорит он, почему этот аппарат, в отличие от всех других, способен функционировать даже в разгруженном состоянии. Система сознания ставит нас перед парадоксом.

Почему же Фрейд вынужден здесь отступить? Дело не в том, что он не знает, с какой стороны к этой проблеме подойти – времени у него было предостаточно. Если он терпит неудачу, на то есть причина.

Здесь впервые предстает перед нами парадокс системы сознания – необходимо одновременно, чтобы она была налицо и чтобы ее в наличии не было. Если вы введете ее в энергетическую систему в том виде, в котором она складывается на уровне ψ, то там окажется лишь часть ее, и играть свою роль посредника по отношению к реальности она окажется неспособна. Какая-то энергия, тем не менее, туда проникать должна. Но непосредственно связанной с мощным притоком из внешнего мира, предполагаемого первой системой, то есть системой разрядки с ее элементарным рефлексом типа стимул-реакция, система сознания быть не может. Напротив, она должна быть полностью от этого притока отгорожена, получая лишь те слабые порции энергетической нагрузки, которые дали бы ей возможность функционировать так, что циркуляция осуществлялась бы при этом между ϕ и ψ. И только из ϕ должна поступать в ω та минимальная энергия, благодаря которой и она, со своей стороны, получает соответствующие вибрации.

С другой стороны, как заметил немного преждевременно, на мой взгляд, но в принципе вполне справедливо, Валабрега, система ψ, исходя из того, что происходит на уровне ω, нуждается в информации. Получить же эту информацию она может лишь на уровне разрядки перцептивной системы.

Испытание на реальность происходит, таким образом, на уровне психики. Возьмем, к примеру, двигательную разрядку чисто перцептивного характера. Настройка зрения, фиксация взгляда на объекте, предполагают определенные движения глаза. И теоретически именно это обстоятельство должно было бы внести ясность в статус происходящего по отношению к готовой возникнуть в психике галлюцинации

желания – верить ли мне своим глазам? Действительно ли передо мной то, что я вижу? На самом же деле двигательная разрядка, собственно двигательный аспект в функционировании органов восприятия как раз и является полностью бессознательным. Мы осознаем, что мы видим, и ничто не кажется нам более сродным прозрачности сознания, нежели тот факт, что мы видим то, что видим, – видение заведомо полагает собственную прозрачность для себя самого. И наоборот, мы совершенно не осознаем – разве лишь маргинальным, периферийным образом – того, что в этой ориентации, в этом ощупывании предметов на расстоянии, которое проделывают пытающиеся разглядеть глаза, принадлежит нашей собственной двигательной, деятельной активности.

Уже здесь, таким образом, намечается ряд характеризующих систему ω парадоксов. Я хотел обратить на это особенное внимание, так как нечто подобное встретится нам на любом уровне.

Перейдем теперь к следующей схеме, которую вы найдете в седьмой главе *Толкования сновидений*, озаглавленной *Процесс сновидения*.

Здесь перед нами кое-что новое. Здесь появляется нечто, расположенное между системой восприятия и системой двигательной. Здесь – различные слои, образующие уровень бессознательного. Имеются здесь также предсознательное и сознание, парадоксальному распределению которого вы свидетели – оно располагается теперь с обеих сторон.

На первой схеме Фрейд действительно рисует нам некий аппарат, работу которого он и пытается затем себе представить. Это конкретный пространственный механизм, обладающий органами восприятия, мозгом центральным и периферийным, функционирующий как самостоятельный узел и регулирующий процесс пульсации между внутренними по отношению к организму влечениями и проявлениями его поползновений вовне. Другими словами, речь здесь идет об инстинктуальной экономии живого существа в поисках того, в чем он испытывает потребность.

Теперь же, на второй схеме, перед нами больше не аппарат. Эта схема рисует нам нечто куда более нематериальное. Фрейд специально подчеркивает, что вещи, о которых он

собирается говорить, не подлежат какой-либо конкретной локализации. (В тексте он говорит нам о существовании нечто такого, о чем это несколько напоминает.) Вспомните, что я говорил вам на посвященных переносу занятиях прошлогоднего семинара по поводу оптических образов, которые нигде не находятся. Мы просто видим их в определенном месте, при условии, что сами, чтобы увидеть их, занимаем определенную позицию. Именно о чем-то подобном идет речь и здесь.

Схема Фрейда переиначила теперь свой смысл. Он располагает на доске временное измерение как таковое – это в тексте тоже специально подчеркнуто. Схема эта, в которой, как видите, общий порядок сохраняется прежним, доказывает, таким образом, что Фрейд придает теперь своим категориям новые измерения – и, в частности, измерение логическое.

Несмотря на то, что результат может быть воплощен в механической модели, на самом деле мы уже перешли от модели механической к модели логической.

Прежде чем обратиться к третьей схеме, я хотел бы напомнить вам о своем обещании поговорить о кибернетике. Чем так удивляют нас эти машины? Возможно, что с трудностями, на которые натолкнулся Фрейд, это как-то связано. Ведь кибернетика тоже началась с момента, когда люди с изумлением обнаружили, что язык функционирует почти независимо, создавая впечатление, что это мы находимся в его власти.

Некоторые полагают, будто для решения вопроса достаточно указать на то, что властью этой мы же сами его и наделили. Об этом как раз и напоминает нам Леви-Стросс, столь мудрый перед лицом нового, которое он, похоже, всегда пытается свести к старому. Я ценю, как правило, то, что пишет г-н Рюйер, но не его книгу о кибернетике.

В машинах этих язык, безусловно, налицо, он весь кипит. И вовсе не случайно дает это о себе знать в одной старой песне, удовольствием, полученным от которой, я с вами сейчас поделюсь. Произошло это на одном из заседаний Философского общества.

Как раз перед этим г-жа Фаве-Бутонье сделала очень ин-

тересное сообщение на психоаналитическую тему. Сказала она не более того, что в подобном философском собрании имело, по ее мнению, шансы быть понятым. И хотя в расчетах своих она была очень скромна, сообщение ее далеко превосходило все то, что многим из этих людей удавалось понять до тех пор. И вот после ее выступления поднимается г-н Миньковски и принимается говорить то, что говорит, на моей памяти, уже тридцать лет, всякий раз, когда обсуждается какое-либо посвященное психоанализу выступление, независимо от его содержания. Между тем, что сказала в тот раз г-жа Фаве-Бутонье, и тем, что он мог услышать тридцатью годами ранее из уст Далбье, лежала пропасть. Отвечал он, однако, почти дословно одно и то же. Я ничего не имею лично против него – в любом научном обществе так всегда и бывает. Откуда, собственно, возникло парадоксальное выражение *мыслящая машина*? Лично я, считая, что и человек-то мыслит крайне редко, говорить о мыслящей машине не собираюсь, но, в любом случае, то, что происходит внутри такой мыслящей машины, бесконечно превосходит по своему среднему уровню то, что происходит внутри научного общества. Введите в такую машину другие исходные данные, и она даст вам другой ответ.

С точки зрения языка в гуле этих машин слышится нечто новое – может быть, эхо или, скажем, приближение чего-то. И ссылка на то, что все, мол, заложено туда конструктором, дела не решает. Язык действительно внесен в нее извне, спору нет, но сказать, что вложил его человек, – явно мало. Если кто-то и мог бы внести немного ясности в этот вопрос, так это психоаналитик – человек, который ежеминутно получает свидетельства того, что вера в сидящего внутри маленького двойника, которому все действия и приписываются, ровным счетом ничего не решает.

Что такое язык? – Вот главный вопрос современных гуманитарных наук. Их интересует все: Откуда он возник? Что происходит на его геологических стадиях? Как начинаем мы выговаривать первые слова? Не лежат ли в его основе крики, которые издавали наши предки, занимаясь любовью? На самом деле, однако, следовало бы сперва поинтересоваться тем, как он функционирует сейчас. Всё всегда

налицо. Наши отношения с языком нужно рассматривать на самом конкретном, самом повседневном для нас уровне – на уровне аналитического опыта.

Именно об этом и идет речь в данной схеме, которая развивает систему далее, вводя в нее Воображаемое как таковое. Ту же самую маленькую оптическую схему, которую я демонстрировал вам в прошлом году, мы находим и на третьем этапе, на уровне теории нарциссизма. Система восприятие-сознание помещена в ней именно туда, где она и должна быть, – в ту сердцевину, где собственное Я вбирается в другого, ибо центром ориентации человеческого существа в Воображаемом всегда становится образ себе подобного.

И наконец, последняя схема позволит нам осмыслить *По ту сторону принципа удовольствия* и понять, какой необходимости эта работа отвечает. Фрейд написал ее в тот момент, когда аналитическая техника меняла курс, когда могло показаться, будто сопротивление и бессознательное значение соответствуют друг другу как лицо и изнанка, будто все то, что функционирует согласно принципу удовольствия в так называемой первичной системе предстает в качестве реальности во второй, и наоборот. А это не что иное, как чисто классический подход к собственному Я, дополненный лишь представлением о том, будто в этих синтезах многое его пониманию доступно. Фрейд же утверждает, что это не так, что вся система значений лежит вне человека, что структура его вовсе не является синтезом этих значений, а представляет собой нечто прямо противоположное.

Я привожу эту последнюю схему, чтобы подвести вас к тому, ради чего *По ту сторону принципа удовольствия* была написана. Я беру то, что имеет отношение к новейшим способам передачи в приборах, – электронно-лучевую трубку. Все, кому приходилось пользоваться радиоприемником, знают, что это такое. Это вакуумная трубка с триодом: когда катод нагревается, электроны начинают бомбардировать анод. Если между ними что-то помещено, то электроны проходят в зависимости от того, положительно или же отрицательно это что-то заряжено. При желании можно наладить механизм регулирования этого потока или просто систему его прерывания.

Так вот, сопротивление, эта воображаемая функция Я, как раз и представляет собой такую систему – именно от нее зависит, проходит или же не проходит то, что в аналитическом действии как таковом должно быть передано. Во-первых, эта схема демонстрирует, что не будь никакого вмешательства, сопротивления со стороны собственного Я – этого эффекта трения, свечения, нагрева, чего хотите, – эффекты коммуникации на уровне бессознательного проходили бы незамеченными. Но еще важнее другое: она показывает, что собственное Я вовсе не относится к дискурсу бессознательного, этому конкретному дискурсу, которым оно омывается, играя в нем роль преграды, средостения, фильтра, как позитив к негативу. У бессознательного своя динамика, свои полноводья, свои пути. Его ритм, его модуляции, его сообщения поддаются исследованию совершенно независимо от того, что служит ему преградой. И в книге *По ту сторону принципа удовольствия* Фрейд и задался как раз целью определить для воображаемой функции Я ее место.

Я даю вам лишь общее направление, в котором будет в дальнейшем шаг за шагом продвигаться наше исследование. А сейчас я попросил бы Валабрега рассмотреть второй из этих четырех этапов.

3

Валабрега излагает основные черты сновидения.

Валабрега: – *Фрейд утверждает также, что живость галлюцинации, интенсивность ее, пропорциональна количеству нагрузки, которую несет соответствующая идея. Галлюцинация обусловлена именно этим количеством. Иное дело восприятие. В восприятии, источником которого служит система φ, большая или меньшая отчетливость его определяется вниманием.*

Лакан: – Ее источником является система ω.

Валабрега: – *Нет, система φ.*

Лакан: – Давайте не будем путать. Количественные поступления из внешнего мира приходят из системы φ. Все построение текста указывает на то, что все, являющееся восприятием, а не возбуждением, происходит как таковое в системе ω.

Валабрега: – *Но источником-то всего этого служит ϕ.*

Лакан: – Потому что приходит оно из внешнего мира. Он приходит из ϕ лишь опосредованное через ψ.

Валабрега: – *Разумеется. К тому же все это не имеет прямого отношения к делу.*

....

В 1897 г. Фрейд еще не продвинулся в своем собственном анализе достаточно далеко. Я выписал для Анзье несколько его замечаний относительно границ само-анализа. Письмо 75: *"Я не могу анализировать себя лишь на основании объективных познаний, как я мог бы это сделать по отношению к чужому человеку...* Self-analyse*, строго говоря, невозможен. А иначе не было бы никакого заболевания. Лишь по мере того, как я сталкиваюсь в своих случаях с какой-то загадкой, анализ мой вынужден остановиться."* Фрейд определяет здесь границы своего собственного анализа – поймет он в себе лишь то, что обнаружит в клинических случаях своих пациентов. Стоя на пороге гениального, выводящего на новые пути открытия, Фрейд – и это исключительно точное, учитывая его скороспелость, свидетельство – сам отмечает, что само-анализ его не является процессом интуитивным, попыткой наугад обнаружить в себе некие ориентиры, что к интроспекции он никакого отношения не имеет.

Анзье: – *Еще до сновидения с Ирмой Фрейд знал, что сновидения имеют смысл. Именно потому, что пациенты рассказывали ему сновидения, смысл которых состоял в исполнении желания, как раз и попытался он истолковать в этом смысле свое собственнное. В этом и состоит применяемый им критерий верификации.*

Лакан: – Ну конечно.

Валабрега: – *В центре внимания Фрейда вовсе не смысл сновидения, а теория идентичности сновидения с невротическим симптомом.*

Лакан: – В *Traumdeutung* Фрейд настаивает не только на сродстве сновидения с невротическим симптомом, но и на их различии. Процесс сновидения является для понимания невротического симптома образцовым, но между симптомом и сновидением сохраняется фундаментальное различие в

экономическом плане. Общей для них является только грамматика. Это, конечно, метафора, и придавать ей буквальное значение не стоит. Они отличаются друг от друга не меньше, чем отличается эпическая поэма от сочинения по термодинамике. Сновидение позволяет уловить действующую в каждом случае символическую функцию и для понимания симптома имеет, благодаря этому, первостепенное значение. Однако симптом всегда включен в общее экономическое состояние субъекта, в то время как сновидение – это состояние локализованное во времени, в условиях совершенно особых. Сновидение является лишь частью активности субъекта, в то время как симптом распространяется на несколько областей. Процессы эти скорее аналогичны, чем идентичны.

....

Валабрега предлагает анализ сновидения об инъекции Ирме.

Для Фрейда вещью, организующей, поляризующей все его существование, был разговор с Флиссом. Разговор этот тянется филигранной нитью через всю его жизнь и является для нее основополагающим. В конечном счете именно в этом диалоге само-анализ Фрейда и осуществляется. Вот почему Фрейд стал Фрейдом, и нам приходится сегодня к этому диалогу возвращаться. Все остальное – ученый дискурс и дискурс повседневный, формула триметиламина, нам известное и нам неизвестное – все это чепуха, все это лежит на уровне Я и может нам служить как препятствием, так и знаком, указывая на ход того, что вот-вот должно обрести свои формы, – на ту долгую обращенную к Флиссу речь, в которую суждено затем обратиться всему его творчеству.

Разговор Фрейда с Флиссом, эта основополагающая речь, тогда еще бессознательная, является существенным динамическим элементом. Почему была она на тот момент бессознательной? – да потому, что содержит она бесконечно больше того, что оба они, как индивидуумы, могли тогда сознательно в ней расслышать. В конце концов перед нами всего лишь два ученых мужа, каких много, обменивающихся своими завиральными идеями.

Открытие бессознательного, в исторический момент

своего совершения предстающее нам в подлинных своих масштабах, состоит в том, что смысл простирается далеко за рамки тех знаков, которыми индивид манипулирует. Человек прорастает знаками в значительно большей степени, нежели он об этом подозревает. Вот о чем идет речь во фрейдовском открытии – о новом понимании человека. Вот он каков, человек после Фрейда.

9 февраля 1955 года.

XI
ЦЕНЗУРА – НЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

*Сообщение как прерванный дискурс,
настоятельно о себе заявляющий.
Король Англии мудак.
Фрейд и Фехнер.*

Traumdeutung дает нам не только теорию сновидения. Мы находим там и дальнейшую разработку Фрейдовой схемы психического аппарата. На первом, предыдущем этапе разработки Фрейд подводил итог собственным работам по неврологии. Этот же второй этап соответствует его углубленному интересу к такому частному явлению, как неврозы, и к той области, которую анализу и придется в дальнейшем осваивать.

Речь, таким образом, идет о сновидении, но одновременно, на заднем плане, и о невротическом симптоме, организация которого оказывается на поверку такой же, поскольку задействует в себе структуру языка как целого, а точнее – отношения между человеком и языком. Мой комментарий вам это продемонстрирует, засвидетельствовав тем самым, что термины, которыми мы здесь для понимания работ Фрейда пользуемся, заключены уже в них самих.

Мы собираемся применить к ходу мыслей Фрейда тот же способ истолкования, которым, имея дело с явлениями психического порядка, пользуется он сам. Нам хочется увидеть то, что скрывается за происходящим на наших глазах построением второй модели психического аппарата в действительности. По отношению к системам ϕ, ψ, ω, на чьи характеристики и парадоксы, о которых Фрейд прекрасно отдавал себе отчет, мы – я и Валабрега – обратили ваше внимание, что-то здесь смещается, происходит какой-то сдвиг.

Я предлагаю вам прочесть сон об Ирме еще раз. Уже в прошлом году, иллюстрируя явление переноса, я просил вас прочесть и объяснить некоторые его этапы. Перечитайте его на предмет того, чем мы заняты с вами теперь; попытайтесь, другими словами, понять, что такое *автоматизм повторения*, и придать этому выражению какой-то смысл, осознав предварительно, перед какой двусмысленностью в

отношениях между Символическим и Воображаемым мы с вами оказались.

Уже та схема, о которой мы говорили здесь в прошлый раз, схема лампового триода, выставляет сновидение об Ирме в совершенно новом свете. В рукописи своей Фрейд сводит его темы к четырем элементам – двум сознательным и двум бессознательным. Мы уже указывали на то, как эти два бессознательные элемента следует понимать: один из них – это откровение творческой речи в диалоге с Флиссом, другой, ему поперечный, высвечивается проходящим потоком. То, что разворачивается в этом сновидении почти бессознательным образом, – это вопрос об отношениях Фрейда с серией женских сексуальных образов, каждый из которых связан каким-то образом с напряженностью в его супружеских отношениях. Но самое поразительное в этих образах – это принципиально нарциссический их характер. Это образы пленяющие, каждый из которых находится с Фрейдом в определенных нарциссических отношениях. Когда врач выстукивает Ирму, она чувствует боль в плече, а Фрейд сам признается, что страдает ревматизмом плеча.

То, как все это рассказано, вызывает восхищение уже тем, что позволяет нам заглянуть куда глубже, нежели мог это в тот момент сделать сам Фрейд. Дело в том, что Фрейд обладал даром исключительной, поистине гениальной наблюдательности. В том, о чем он нам повествует, сам так называемый, для краткости, *материал* позволяет сориентироваться гораздо лучше, нежели концепции, в которые автор его оформляет, что в истории научной литературы является случаем исключительным.

1

Валабрега приступает к комментированию VII главы Толкования сновидений *"Психология процесса сновидения"*.

Тут есть две небольшие фразы, которые заслуживают того, чтобы в ходе нашего рассуждения на них обратить внимание. В момент, когда Фрейд вновь пересматривает все предложенные им в предыдущих главах построения касательно образования сновидений, то есть главной темы

Traumdeutung, он неожиданно замечает, что по поводу сновидений возможны любые возражения, в том числе и то, что сновидение является, возможно, лишь сновидением о сновидении.

А это значит, что с нашей стороны было бы ошибкой принимать за Священное писание то, что является, по-видимому, лишь случайной импровизацией, предпринятой в спешке с целью выйти из затруднения.

Воспользуемся на ходу этой метафорой, потому что метафоры у Фрейда поистине драгоценны – он действительно подходил к тексту как к Священному писанию. Священное же писание толкуется по совершенно особым законам, и каждому известно, что толкования эти порой удивительны. Важно здесь также и само слово *писание, текст*. Мы приближаемся здесь к тому самому, что пытается вам показать Валабрега, – говоря о процессе сновидения, Фрейд подходит к проблеме забвения.

Так вот, Фрейд утверждает, что порча, даже забвение текста сновидения значат столь мало, что пока остается у нас хоть один-единственый элемент, пусть сомнительный, лишь самый кончик сновидения, тень тени его, мы можем по-прежнему придавать ему смысл. Ибо перед нами послание.

Порча эта отнюдь не обусловлена случайностью, она вовсе не связана с угасанием, стиранием послания, с затерей его в фоновом шуме. Послание не забывается просто так. Пресловутому понятию цензуры, о котором столь часто забывают, пора вернуть его новизну и свежесть: цензура – это намерение.

Суть аргументации Фрейда в том, что она перекладывает бремя доказательства на другую сторону: *В элементах, на которые опираются ваши возражения, в явлениях забвения и порчи сновидения я продолжаю видеть смысл, более того, вижу в них новый смысл. Явление забвения, когда оно налицо, лишь стимулирует мой интерес. Я и в нем вижу часть сообщения. Эти отрицательные явления дают мне новый материал для прочтения смысла, я признаю и за ними функцию сообщения.* Причем Фрейд не просто открывает это новое измерение, он даже, не без некоторой предвзятости, изолирует его, игнорируя при этом все остальное.

Ему возражают, говоря, что речь у него идет лишь о сновидениях желания, в то время как существуют и другие их типы – сновидения тревоги, сновидения самонаказания. Одна из фаз его ответа заключается в том, что сновидения тревоги, конечно, бывают, но то, что функционирует, вызывая тревогу во сне, это то же самое, что спровоцировало бы тревогу и во время бодрствования. Его интересует не все, что есть в сновидении, а исключительно семантический элемент, передача смысла, артикулированная речь, то, что он называет мыслями, *Gedanken*, сновидения.

Что Фрейда действительно интересует – и нигде это не бросается в глаза с такой очевидностью, как в начале седьмой главы, – так это сообщение как таковое, больше того, сообщение как прерванная и настоятельно заявляющая о себе речь. Именно это и подводит нас вплотную к проблеме, которая в данный момент стоит для нас на повестке дня, – что же находится по ту сторону принципа удовольствия? Что представляет собой механизм повторения?

Придавать слову *Gedanken* психологический смысл в этом тексте нельзя. Фрейд трижды или четырежды в разных местах напоминает нам: не думайте, будто все наши объяснения принадлежат тому, что о психике хорошо известно – напротив, перед нами явления совсем не психического порядка.

Возьмем пример, который, представляя собой крайний случай, является тем более показательным, – пример с женщиной, в памяти которой осталось от сновидения лишь одно слово – *канал*. На этом примере Фрейд и показывает нам, как понимает он истолкование сновидения.

Что может представлять собой воспоминание о чем-то таком, что до такой степени стерлось, воспоминание о воспоминании? Или, ставя этот вопрос в более общей форме: действительно ли, вспоминая о сновидении, мы вспоминает о чем-то таком, о чем мы можем говорить как о мысли? Ведь не исключено, что перед нами здесь типичный случай иллюзорного воспоминания. Но Фрейда это не волнует, ему важно не это; то, что занимает его, не принадлежит к явлениям психологического порядка. Вспоминаем ли мы о сновидении как о событии, которое действительно где-то имело место? В буквальном смысле вопрос этот неразрешим.

Философов всегда это интересовало – почему пережитое во сне никогда не является столь же важным и подлинным, сколь пережитое во время бодрствования? Если человеку снится каждую ночь, что он бабочка, правильно ли будет сказать, что ему мечтается, будто он бабочка? Но Фрейду это совершенно не важно.

Этот психологический реализм, этот поиск существенной субъективности нимало не интересует его. Ему важно не то, что человеку снится, будто он бабочка, а то, что это сновидение значит, что этот человек кому-то хочет сказать. В этом для него весь вопрос.

С женщиной этой он имел беседу еще прежде, и сновидение служит лишь ее продолжением. По видимости, она со многими рассуждениями Фрейда согласна, но то, что она хочет сказать в сновидении, выясняется с помощью ассоциаций. Давайте же, мадам, давайте! И вот она рассказывает, наконец, один маленький высмеивающий англичан анекдот. *Между возвышенным и смешным всего один шаг (pas). – Знаю, Па-де-Кале.* Все ваши истории хороши, но, в сущности, нелепы, над ними вот-вот станут смеяться, – вот что она хочет сказать.

Мы не собираемся утверждать, правильно это или нет, мы комментируем Фрейда и пытаемся понять, какова же функция сновидения как бессознательного процесса. Одно из измерений желания сновидения заключается в том, чтобы чему-то позволить сказаться. Выявить это всегда кажется для Фрейда достаточным, чтобы считать свою теорию лишний раз подтвержденной. Ему нет нужды ни добираться до воспоминаний, ни задумываться о регрессии. Что вынудило Фрейда создать теорию регрессии? Следующий шаг дает ответ на этот вопрос. Теперь же нам важно усвоить вот что: Фрейд не удовлетворен, не чувствует себя на верном пути и не делает вид, будто доказать желаемое ему удалось до тех пор, пока ему не удается продемонстрировать, что главное желание сновидения состоит в том, чтобы высказать сообщение.

Валабрега: – *А следовательно, забвение сновидения – это препятствие.*

Лакан: – Это не препятствие, это часть текста. Сомнение, например, в перспективе своей представляет собой едва ли не *emphasis* – во французском нет подходящего слова: его можно перевести как *подчеркивание*. Сомнение как психологический феномен Фрейда не интересует – да и можно ли вообще говорить о сомнении в сновидении как явлении психологическом?

Феномен сомнения – говорит Фрейд – нужно истолковывать как часть сообщения. Если субъект сомневается – говорите себе вы – дело в сопротивлении. Но давайте пока забудем о сопротивлении. Сомнение представляет собой часть сообщения. Когда субъект говорит вам, что он сомневается, будьте уверены: он обращает ваше внимание на тот факт, что именно этот элемент сновидения особенно знаменателен. В нашем священном писании сомнение – особая, привилегированная коннотация. Согласны?

2

Валабрега: – *Да... Но Фрейд, однако, подчеркивает слово* сопротивление, *когда говорит, что всякое препятствие истолкованию порождается психическим сопротивлением,* Widerstand.

Лакан: – Это не совсем так. Вы обратили внимание на примечание? Если во время анализа отец пациента умирает, говорит Фрейд, и при этом не возникает, тем не менее, мысли о том, что пациент позволил ему умереть исключительно для того, чтобы анализ прервать, – это сопротивление. Все, что противостоит истолкованию, мы называем сопротивлением – это вопрос определения. И данный случай мы будем истолковывать исходя из того, насколько благоприятствует или не благоприятствует он ходу работы по истолкованию, другими словами – прохождению сообщения. Согласитесь, что подобное обобщение темы сопротивления позволяет нам предполагать, что в психологический процесс Фрейд его не включает. Сопротивление оценивается лишь по отношению к работе. Под углом зрения психических свойств субъекта оно не рассматривается вовсе.

Конечно же, сопротивление существует. Мы знаем о существовании воображаемого и психологического трения,

которое тому, что Фрейд называет течением бессознательных мыслей, препятствует. Примечание это свидетельствует в пользу того, что вам говорю я: сопротивление рассматривается Фрейдом не как нечто, присущее субъекту внутренне, в плане психологическом, а исключительно по отношению к работе истолкования.

Валабрега: – *Но* Widerstand – *это еще и цензура.*

Лакан: – Нет, это как раз не цензура.

Валабрега: – *Конечно, цензура.*

Лакан: – Нет, не цензура. Цензура располагается на ином уровне, нежели сопротивление. Она разделяет с дискурсом его прерывность.

Я чувствую, что тут между нами принципиальное разногласие, чувствую какое-то непонимание с вашей стороны, и мне придется мою мысль образно проиллюстрировать.

Сопротивление субъекта как таковое связано с регистром Я и представляет собой один из эффектов этого Я. В данной главе оно фигурирует как некоторый *X*, обозначающий все, что препятствует работе анализа, – независимо от того, имеет оно психологическую природу или нет, идет от реальности, или же от случая . Цензура не имеет с сопротивлением ничего общего, ни в первом смысле, ни – хотя и не в такой степени – во втором.

Здесь возникает вопрос о том, что носит у нас название Сверх-Я. Я уже говорил вам о прерывности дискурса. Так вот, одна из самых поразительных форм прерывного дискурса – это закон, в той мере, в какой он остается непонятым. По определению предполагается, что закон знают все, но он всегда остается непонятым, ибо никто никогда не постигает его в целом. Первобытный человек, связанный законами родства, союза, обмена женщинами, не в состоянии, сколь бы знающ он ни был, охватить взором все то, что эти законы как целое ему предписывают. То, что служит цензурой, всегда связано с тем, что соотносится – внутри дискурса – с законом, поскольку этот последний остается непонят.

Это наверняка кажется вам немного заумным, и я попытаюсь сейчас это проиллюстрировать.

Существует одна порнографическая книжка, напи-

санная человеком, в литературе известным, ныне членом Гонкуровской академии, Раймоном Кено. В книге этой, в нашей литературе одной из самых замечательных, некая юная машинистка, которая в дальнейшем оказывается замешанной в ирландской революции, а также в другие злоключения крайне скабрезного свойства, делает, будучи заперта в уборной, открытие, схожее как две капли воды с тем, что знакомо нам из уст старика Карамазова.

Как вы помните, сын Иван, заманив его на опасные тропы, которыми движется мысль человека цивилизованного, заводит речь о том, что *если Бога*, мол, *не существует* ... – *если Бога нет, подхватывает отец, тогда все позволено*. Мысль, конечно, наивная, ибо мы, аналитики, прекрасно знаем, что если Бога нет, то не позволено вообще ничего. Невротики каждый день дают тому наглядный пример.

Так вот, машинистка, сидя в уборной, делает по поводу Его Величества открытие еще более сногсшибательное. Некое событие, незадолго до того серьезно пошатнувшее общественный порядок в Дублине, навело ее на размышления, которые вылились в конце концов в следующую формулу: *Если король Англии – мудак, тогда все позволено*. И с этого момента все приключения ее – которым события только способствуют – свидетельствуют о том, что она ни в чем больше себе не отказывает. Книжка называется, кажется, *Мы вечно слишком снисходительны к женщинам*.

И это действительно так: для подданных Его Британского Величества – не подумайте только, что я хочу обидеть наших английских союзников, – действительно очень важно, чтобы их короля не называли вслух мудаком. Это может найти выражение в каком-нибудь законе типа: "Назвавший короля Англии мудаком подлежит смертной казни через отсечение головы". Следите за моей мыслью. Что из этого воспоследует?

Вам смешно, а мне хотелось бы, чтобы вы прониклись трагизмом ситуации. И я хочу показать вам, что всякий подобный закон, всякий важнейший закон, несущий в себе предписание смертной казни, одновременно, в силу частного своего характера, предполагает принципиальную возможность остаться непонятым. Человек всегда находится в

положении, которое лишает его возможности понять закон полностью, ибо ни один человек не может освоить закон дискурса в его целом.

Если запретить под страхом усечения головы называть короля Англии мудаком, то говорить, что он мудак, никто, конечно, не станет, но в силу этого факта придется умалчивать и о множестве других вещей – то есть обо всем, что способно открыть глаза на тот очевидный факт, что король Англии – мудак.

О том, что он мудак, говорит абсолютно все. У нас полно тому примеров. А тому королю Англии, который мудаком не был, очень скоро пришлось от престола отказаться. От прочих он отличался тем, что падал иногда с лошади и имел намерение жениться на женщине, которую полюбил, – то, что он не мудак, стало ясно как день, и решать свои интимные проблемы ему было предложено в другом месте. Что отсюда следует? Достаточно ли для спасения не быть мудаком? Увы, отнюдь не достаточно. Я не готов утверждать, что король Англии был прав, подписав отречение, потому что он не был мудаком. Но это к слову.

В результате, таким образом, все, что согласуется в дискурсе с тем реальном фактом, что король Англии – мудак, придерживается за зубами. Субъект оказывается вынужден извлекать, исключать из дискурса все, что имеет отношение к тому, о чем говорить законом запрещено. Так вот, запрещение это остается, как таковое, совершенно непонятым. На уровне реальности никто не способен понять, почему за то, что он эту правду выскажет, ему отрубят голову: никто не понимает даже, где именно сам факт запрета имеет место. И тогда бесполезно уже рассчитывать на то, что любой, кто выскажет то, что говориться не должно и возомнит, будто все позволено, сможет тем самым просто-напросто упразднить закон как таковой.

Я надеюсь, что дал вам почувствовать тот последний, не получающий и не имеющий объяснения приговор, на котором существование закона утверждено. Аналитический опыт сталкивает нас с тем суровым, но непреложным фактом, что закон – он есть. Как сталкивает он нас и с тем, что ни в каком законоведческом и законническом дискурсе не

может быть высказано сполна, – с тем предельным, что его существование объясняет.

Так что же из нашей гипотезы вытекает? У подданного английского короля очень много поводов пожелать высказать вещи, имеющие самое прямое отношение к тому факту, что его король – мудак. Предположим, что высказывание это реализуется в сновидении. Что же именно этому подданному снится? Ведь речь идет о чем-то, что выразить крайне трудно, – не только о том факте, что король Англии мудак, но обо всем, что имеет к этому отношение, обо всем, в силу чего он ничем иным, как мудаком, и быть-то не может, о структуре всего режима, более того – о всеобщем потворстве господствующему в английском королевстве идиотизму. И вот нашему подданому снится, что у него отрублена голова.

В данном случае ломать голову над вопросом изначального мазохизма, самоистязания, желания понести наказание и т. д. нет никакого смысла. В данном случае тот факт, что у него отрублена голова, означает, что король Англии – мудак. Вот она, цензура. Это закон, поскольку он остается непонятым.

На уровне нашего сновидения это лишь маленькая детская проблема – почему человеку снится, что у него отрублена голова? Почему вам так весело? Обратите внимание – в стране, где правят мудаки, голова у подданного никогда не сидит на плечах очень прочно. И это находит свое выражение в симптоме.

Вы можете принять то, что я говорю, за речь в свое оправдание, но я действительно знал одного субъекта, у которого спазмы руки при письме были связаны, как показал его анализ, с тем фактом, что, согласно законам ислама, в котором он вырос, вору отрубали руку. И вот этого он так и не смог переварить. Почему? Потому что отец его был обвинен в воровстве. Все детство свое он провел в состоянии глубокой отчужденности по отношению к закону Корана. Все его отношения со своей первоначальной средой, все опоры от базы до капители, все главнейшие координаты мира, где он жил – все оказалось для него перечеркнуто, ибо была во всем этом единственная вещь, которую он отказывался для

себя понять – почему у вора должна быть отрублена рука. Именно поэтому, кстати сказать, и именно потому, что он этого не понимал, у него-то как раз рука и была отрублена.

Вот что такое цензура в том виде, в котором Фрейд поначалу обнаруживает ее на уровне сна. Вот оно, Сверх-Я, действительно терроризирующее субъект, действительно конструирующее в нем эффективные, развернутые, переживаемые и мучительно повторяемые им симптомы, берущие на себя задачу представлять ту точку, где закон не понимается субъектом, а им проигрывается. Они берут на себя задачу воплотить его как таковой, и они же придают ему видимость тайны.

Это совсем не то же, что нарциссические отношения с себе подобным, это отношения между субъектом и законом в его целом в условиях, когда отношений с законом в его целом в принципе быть не может, ибо полностью закон не принимается никогда.

Цензура и Сверх-Я должны располагаться в том же регистре, что и закон. Это конкретный дискурс – не только в качестве того, кто господствует над человеком и вызывает к жизни всякого рода вспышки, неважно какие, все, что случается, все, что представляет собой дискурс, но и в качестве того, что наделяет человека его собственным миром, который мы, более или менее точно, именуем культурным. Именно в этом измерении имеет место то, что является цензурой, и вы видите теперь, чем отличается она от сопротивления. Цензура имеет место не на уровне субъекта и не на уровне индивида, а на уровне дискурса – дискурса, образующего замкнутую в себе и законченную вселенную и в то же время содержащего в любой части своей какую-то неустранимую несогласованность. И сущего пустяка, вроде того, что вас заперли в туалете или отца вашего обвинили бог знает в каком преступлении, оказывается достаточно, чтобы закон неожиданно предстал перед вами в своей яростной форме. Вот что такое цензура, и с *Widerstand* Фрейд ее никогда не путает.

Валабрега: – *В конце этого параграфа он приходит к выводу, что забвение сновидения является намеренным. Именно здесь мы находим у него психоаналитическую теорию забвения. Вместо того, чтобы объ-*

яснять образование сновидения разрядкой напряжения в том виде, в каком она предстает у него еще в Entwurf*'е, он выдвигает теперь идею, согласно которой сон ослабляет цензуру, позволяя к тому же обойти сопротивление. Между двумя этими концепциями возникает, возможно, некоторая путаница, но...*

Лакан: – Да, Вы правы, потому что речь теперь идет о том, чтобы разработать психологию сна. До сих пор Фрейд сном не занимался, теперь же приходит время обратиться к его первоначальному измерению. Между Я и сном существует принципиальная связь. Во сне Я ведет себя иначе, нежели в состоянии бодрствования. Когда теория либидо будет завершена, Фрейд выскажет предположение, что во сне происходит отступление и вбирание либидо внутрь Я. И по мере того, как это происходит, сопротивления его – я говорю о сопротивлении собственного Я, о сопротивлении, связанном с Я, которое составляет лишь малую часть сопротивления вообще, – можно миновать, через них можно проникнуть или просочиться, а сами условия, в которых возникает такой представляющийся нам непрерывным феномен, как последовательность дискурса, оказываются измененными. И о чем же еще идет речь в этих двух главах, как не о том, что дискурс сновидения согласован с дискурсом бодрствования? Фрейд постоянно поверяет их друг другом – что сказал субъект в сновидении, учитывая, что наяву он говорил то-то и то-то? Именно на этом соотношении вся диалектика этой главы и построена. Отношения, различия, все те оставшиеся незамеченными и игнорировавшиеся процессы, которым *Толкование сновидений*, собственно, посвящено, заявляют о себе именно на этом уровне

Валабрега: – *Потому-то и усматривает он динамическое соотношение между сопротивлением и притворством. Он пишет, к примеру, что под давлением цензуры – он пользуется таким выражением* сопротивление цензуры...

Лакан: – Что как раз и доказывает, что это вещи разные. А иначе говорить о сопротивлении цензуры ему бы не пришлось. Цензура действует на том же уровне, что и перенос. Есть сопротивление цензуры и есть сопротивление переноса. Речь в каждом из этих случаев идет о цензуре и переносе как препятствиях в аналитической работе. Когда два слова

эквивалентны, как, скажем, слова *цвет* и *цвет*, *цвет цвета* сказать нельзя.

3

Замечания по ходу доклада Валабрега

Фрейд испытал настоящее потрясение, познакомившись с концепцией, выдвинутой Фехнером в рамках его психо-физики. Психофизика Фехнера не имеет отношения к тому элементарному психологизирующему измерению, в которое вульгаризаторы пытаются ее втиснуть. Строгость занятой Фехнером позиции заставляет его предположить, что ввиду параллелизма между сознанием, с одной стороны, и областью, поддающейся физическим измерениям, с другой, следует – по крайней мере абстрактно, в порядке предположения – распространить возможность явлений сознания далеко за пределы одушевленных существ. А это свидетельствует о том, что идеи, даже те, что появляются поначалу в качестве правдоподобных гипотез, уводят их создателей далеко от рутинных стереотипов. Когда Фрейд упоминает о теории Фехнера, перед нами не просто удачная аналогия или прием стиля. Фрейд никогда таких вещей не допускает. Фрейд не Юнг. Он не развлекается поиском перекличек. Когда Фрейд о чем-то в своем тексте упоминает, это всегда чрезвычайно важно. И если он пишет Флиссу, что мысль Фехнера о невозможности представить себе сновидение иначе как расположенное в другом психическом месте стала для него откровением, мы должны отнестись к этому замечанию с полной серьезностью.

К этому я как раз мысль и веду: психическое место, о котором здесь идет речь, вовсе психологическим не является, это измерение просто-напросто совершенно иного порядка – измерение символическое (уже Ангелус Силезиус играет словами *Ort* и *Wort*, к чему мы еще вернемся). Говоря, что сновидение помещается в другом психическом месте, мы утверждаем, что в скобки сна оно просто не вписывается. Оно располагается и определяется в другом месте, чьим местным законам и подчинено. Я говорю о том месте символического обмена, которое отнюдь не смешивается (в

нем воплощаясь) с тем пространственно-временным измерением, где имеют для нас место все человеческие поступки. Законы структуры сновидения, как и законы языка, вписываются в другое место, и не так важно, назовем мы это место психическим, или нет.

Валабрега: – *Перейдем к схеме на страницах 442-443, важная особенность которой состоит в том, что сориентирована она наподобие рефлекторного аппарата. Фрейд поясняет, что ориентация эта идет от требования объяснять психические процессы на модели процессов рефлекторных.*

Лакан: – Погодите немного. Если Вы помните, Фрейд оправдывает введение этой ориентации, опираясь задним числом на собственную схему рефлекторного аппарата. В конце концов, говорит он, рефлекторный аппарат имеет то свойство, что движение происходит в одном-единственном направлении. Но замечательно то, что внимание на этот факт он обращает только теперь. До сих пор в его рассуждениях об аппаратах ϕ, ψ и ω речь шла о явлениях равновесия, которые предполагают обратимость процесса, – ведь положение равновесия всегда достигается возвращением, в каком бы направлении оно ни происходило. И вот Фрейд постулирует – и, к слову сказать, совершенно неожиданно, – что все происходящее совершается в определенной и необратимой последовательности. Слова *необратимой* у него нет, но понятие это недвусмысленно содержится – на мой и, надеюсь, на Ваш взгляд – в выражении *Zeitlichfolge* (временная последовательность) и в слове *Richtung*. Но это еще не все. Введя временную последовательность, Фрейд тут же вынужден, по соображениям внутренней, концептуальной связности, заговорить о прямо противоположном, о том парадоксальном явлении, которое он называет регрессией и которому суждено в дальнейшем оказать на развитие психоаналитической теории решающее влияние.

Кстати, ведь именно об этом шла речь вчера вечером при обсуждении доклада Швайха – как мы, вторгающиеся в такие неисследованные покуда области, как область психозов, должны понятие регрессии воспринимать? Что мы должны иметь в виду, говоря о факте регрессии субъекта к оральной стадии?

Далее Фрейд запутывается в серии антиномий, не самая маловажная из которых состоит в том, что чем теснее связано желание со своими биологическими корнями, с биологическим порывом, тем сильнее оказывается в нем тенденция к проявлению в форме галлюцинаторной. Согласитесь, что здесь заключен парадокс. Далее в тексте мы находим, например, мысль о том, что сновидение проливает для нас свет на первобытное состояние человечества. Получается, что первобытный человек, при том, что средств к добыванию себе пропитания у него было меньше, нежели у нас, занимался этим погруженный в грезы. Впрочем, о первобытных людях нам рассказывали и не такое – говорили, например, что мышление у них было дологическое. Такие вещи принимать за чистую монету не стоит.

Короче говоря, объяснение сновидений через регрессию приводит Фрейда к принципиальным противоречиям на всех уровнях, и возражений он встречает ровно столько же, сколько этой регрессии придает форм. Нуждаясь в том, чтобы найти своего рода первоначальный план восприятия, он заводит речь о регрессии топической, откуда и та якобы галлюцинаторная форма, которую желание, при определенных условиях, принимает. Но нейронная цепочка передает движение только в одном направлении, распространение нервного возбуждения в обратном направлении невозможно. Понятие топической регрессии приводит, следовательно, к многочисленным затруднениям. В антиномии не менее серьезные упираются и понятия о регрессии формальной и темпоральной.

Чтение этой работы указывает нам то направление, в котором мысли Фрейда суждено было пойти в дальнейшем. Теория Я, например, сформулированная в 1915 г. исходя из нарциссического либидо, как раз и разрешает проблемы, поставленные в этой схеме регрессий в различных ее формах.

Это и станет предметом нашего следующего занятия, которое состоится через две недели. Вы видите теперь те ограниченные условия, в которых мы вправе пользоваться такими терминами как *сопротивление*, *цензура* и *регрессия*.

16 февраля 1955 года.

XII
ЗАТРУДНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РЕГРЕССИЕЙ

Кто же здесь субъект?
Парадокс фрейдовских схем.
Восприятие и галлюцинация.
Функция эго.

Мы возвращаемся сегодня к комментированию седьмой части *Теории сновидений* и попробуем увязать ее с общим ходом наших рассуждений, направленных на то, чтобы понять развитие взглядов Фрейда в отношении того, что можно назвать первоосновами человеческого бытия в том виде, в котором предстает оно в аналитическом опыте, что и позволит нам, в конечном счете, найти объяснение последнему этапу его мысли, нашедшему свое выражение в работе *По ту сторон принципа удовольствия.*

Мы вплотную подошли в прошлый раз к первому параграфу *Психологии процесса сновидения*, в котором идет речь о забвении сновидения. Вследствие разногласий, которые обнаружились в ходе предложенных мной к замечаниям Валабрега поправок, мне пришлось сделать маленькое апологетическое отступление и уточнить различие между цензурой и сопротивлением, цензурой и сопротивлением цензуры. Сопротивление – это все то, что препятствует, в самом общем смысле, работе анализа. Цензура же – это особое качествование такого сопротивления.

Для нас важно знать, где находится субъект аналитического отношения. И в этом вопросе наивная позиция: *субъект? да вот же он, перед вами!* – словно пациент – это что-то однозначное, словно сам аналитик сводится к определенной группе индивидуальных характеристик, – совершенно недопустима. Кто же он, этот субъект? Вот тот вопрос, которым мы занимаемся здесь во всех его формах, во всех антиномиях, которые он выявляет. Мы прослеживаем все точки, где он отражается, преломляется, вспыхивает, надеясь тем самым дать почувствовать ту единственную, где он кроется и к которой прямо не подступиться, ибо нельзя подступиться к ней прямо, не задев при этом самих корней языка.

1

С этой точки зрения я хочу обратить ваше внимание на один из моментов, на которых, как правило, не останавливаются, – на небольшое примечание, малый кирпичик в кладке фрейдовского здания.

Другое затруднение – первое состояло в том, чтобы понять, почему предсознательное отвергло и заглушило желание, которое принадлежит бессознательному, – *гораздо более важное и глубокое, о котором непосвященные и не подозревают, заключается в следующем. Осуществление желания наверняка должно служить источником удовольствия. Но для кого?* – Как видите, вопрос этот – *для кого?* – принадлежит не нам. Это не Леклер, мой ученик, его выдумал. – *Естественно, для того, кому это желание принадлежит. Но ведь мы знаем, что отношение того, кто видит сновидение, к своим желаниям носит совершенно особый характер. Он отталкивает их, подвергает цензуре – короче, не хочет о них ничего знать. Осуществление их, следовательно, не только не принесет ему никакого удовольствия, а как раз обратное. И опыт показывает, что это обратное, которое нуждается еще в объяснении, проявляется в форме страха. Таким образом, по отношению к желаниям своего сновидения видящий его предстает как состоящий из двух личностей, связанных, однако, тесной общностью.*

Вот небольшой текст, который предпосылаю я для вашего размышления, так как идея расцентровки субъекта ясно в нем высказана. Конечно, это лишь пропедевтическая формула, это еще не решение. Говорить о существовании другой личности было бы опредмечиванием нашей проблемы. К тому же для появления подобной формулировки Фрейда ждать не пришлось – уже господин по имени Жане, весьма достойный ученый, хотя и оставленный открытием Фрейда несколько в тени, уверен был, что наблюдал в ряде случаев происходящее у субъекта явление раздвоения личности, на чем, правда, будучи психологом, и остановился. Для него это было лишь психологическим курьезом или фактом психологического наблюдения – одной из *historiolae*, маленьких историй, как называл их Спиноза.

Что же касается Фрейда, то он не преподносит нам такие вещи как анекдот, его интересует в вопросе самая суть дела: что такое смысл? Говоря о *мыслях*, он не имеет в виду ничего иного.

Вопрос нужно уточнить: каков смысл поведения нашего ближнего, когда мы вступаем с ним в те совершенно особые отношения, начало которым положено было Фрейдом, когда он начал заниматься неврозами? Может быть, ответ нужно искать в каких-то исключительных, ненормальных, патологических особенностях этого поведения? Фрейд этого не делает. Он ищет этот ответ, ставя вопрос там, где сам субъект поставить его себе не может, – он анализирует собственные сновидения. И вот как раз потому, что он говорит о себе самом, и выясняется, что в сновидениях говорит за него кто-то другой. Именно этой мыслью и делится он с читателем в замечании, которое мы только что процитировали. Очевидно становится, что некто другой, некий второй персонаж вступает с бытием субъекта в какие-то отношения. Вот вопрос, который занимал Фрейда от начала и до конца его творческого пути.

Вспомним ранний его *Entwurf*. Мы уже видели, что на каждом шагу Фрейд, стараясь придерживаться атомистического языка, непрерывно с него соскальзывает, ибо ставит проблему отношений между субъектом и объектом, и притом ставит ее в терминах замечательно оригинальных. В чем заключается оригинальность его схемы психического аппарата у человека? Да в том, что речь, по сути дела, идет о субъекте.

Что отличает Фрейда от всех авторов, писавших на этот предмет, и даже от великого Фехнера, на которого он без конца ссылается, так это мысль о том, что объект человеческих поисков – это вовсе не тот объект, который находят посредством припоминания. Войти вновь в заранее проложенную колею естественных отношений с внешним миром субъект не может. Объект человека образуется лишь посредством первоначальной утраты. Ничто плодотворное не дается человеку иначе, нежели путем утраты объекта.

Я думаю, что эта походя отмеченная нами черта от вашего внимания не ускользнула, но вам могло показаться, что

это лишь маловажная деталь. На самом деле, субъект всегда вынужден заниматься воссозданием объекта. Целостность его субъект пытается восстановить исходя из бог знает какого изначально утраченного единства. Эта теоретическая конструкция символического характера – подсказанная Фрейду первыми открытиями в области нервной системы в той мере, в какой они оказались к его классическому опыту применимыми, – содержит начаток того, что мы вправе назвать метафизическим содержанием его творчества. Именно это доказывает нам, что мы стоим на верном пути, когда, вслед за Фрейдом, вновь и вновь задаем себе все тот же вопрос: что такое субъект?

То, что субъект делает, имеет смысл: он говорит – говорит своим поведением, своими симпатиями, всеми маргинальными функциями своей психической деятельности. Вы знаете, что для психологии того времени понятия сознания и психики были эквивалентны, в то время как для Фрейда именно это оказывается каждый раз под вопросом. Свидетельством тому как раз и служит тот краткий набросок психического аппарата, рассмотрение которого мы с вами почти закончили. Не следует – предупреждает нас Фрейд, приступая к психологическому разбору процесса сновидения, – путать первичный процесс и бессознательное. В первичном процессе на уровне сознания появляются самые разные вещи. Важно понять, почему появляются именно эти. Идею сновидения, мысль его, мы, конечно, осознаем – в противном случае мы ничего не знали бы о самом существовании его. Теория требует, чтобы определенное количество интереса было направлено на то, что является бессознательным. Однако то, что это количество определяет и мотивирует, находится в ином месте, которое мы не осознаем. И этот объект нам тоже предстоит реконструировать.

Во всем этом мы успели уже убедиться, обсуждая сновидение об инъекции Ирме и ту первую маленькую схему его, которую Фрейд дает нам в своем *Наброске*. Уже там он демонстрирует нам, что при изучении структуры и зависимости ассоциаций наиболее нагруженным количественно оказывается в сновидении то, к чему сходится наибольшее

число значимых элементов. Обнаруживается в результате та точка, где фокусируется максимум психической заинтересованности

На поверхности сновидение об Ирме детерминировано двояко: речью диалога, который Фрейд ведет с Флиссом, с одной стороны, и сексуальными основаниями, с другой. Сексуальные основания также двойственны. В речи Фрейд заинтересован, ибо само представление о существовании ее и детерминирует здесь сновидение – ведь это сновидение того, кто задался целью установить, что же сновидение собой представляет. В то же время Фрейд оказывается в сновидении в сложных отношениях не только со своей больной, но и с целой серией женских образов, очень контрастных, которые за ней просматриваются. То, что находится в бессознательном, может быть в лучшем случае реконструировано, – вот направление, в котором Фрейд подталкивает нашу мысль. Именно этим вопросом мы и займемся теперь, рассматривая вторую часть седьмой главы, посвященной регрессии.

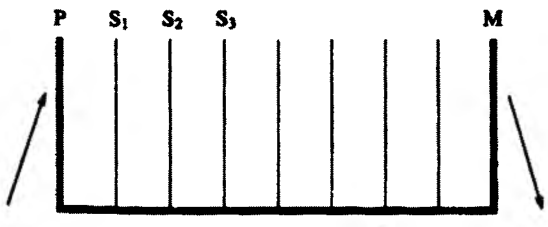
Для образования любой симптоматической формации необходимо схождение, по меньшей мере, двух мотивационных рядов. Один из них – это ряд сексуальный, а другой – согласно имени, которое мы ему здесь даем, – ряд символический, фактор речи в том виде, в котором субъект себе эту речь усваивает. Но при этом вновь возникает тот же самый вопрос – кто же именно? Какой субъект?

2

Валабрега: – *Впервые Фрейд выдвигает свою концепцию психического аппарата в связи с изучением регрессии. Поэтому для того, чтобы найти первоначальное объяснение регрессии, которое впоследствии займет в теории Фрейда очень важное место, нужно обратиться к* Traumdeutung. *Фрейд начинает с того, что напоминает о трех важнейших чертах сновидений, которые ему в процессе их изучения удалось выявить. Во-первых, сновидение, осуществляя желание, переносит мысль в настоящее время. Это своего рода актуализация, и желание, или мысль и желание, при этом, как правило, объективируется, проигрывается, переживается. Во-вторых – черта не менее важная, чем первая, и почти от нее независимая – мысль сновидения преобразуется в зрительные образы и речь* (Bildetrede).

Лакан: – *Rede* – означает здесь речь, дискурс. Бессознательное – это дискурс другого, и не мною это придумано. *Bildet* значит "воображаемый".

Валабрега: – *Третье представление, идущее от Фехнера, состоит в том, что психическое место сновидения не совпадает с местом репрезентации во время бодрствования. Из него и вытекает конструкция психического аппарата. Аппарат этот состоит из нескольких систем, которые, говорит Фрейд, не обязательно представлять себе расположенными в определенном пространственном порядке – мыслить их нужно во временной последовательности. Пространственному характеру схемы доверяться не стоит. Перед нами особая, временная топика. Вот первая схема этого аппарата. В нем задано направление: психический процесс всегда протекает от воспринимающего конца,* P, *к моторному,* M. *Возникает первая дифференциация. Передающиеся субъекту перцептивные возбуждения должны оставить в нем след, воспоминание. Система* P, *т. е. система восприятия, никакой памятью не обладает. Нужно, следовательно, выделить систему памяти,* S, *отличную от системы* P. *Когда имеет место одновременность восприятий, происходит одновременно соединение их следов – это явление называется ассоциацией. Но существуют, помимо ассоциативных, и другие связи. Необходимо поэтому допустить наличие нескольких систем* S – S_1, S_2, S_3 *и т. д. Пытаться определить их число и даже пожелать этого было бы, по мнению Фрейда, делом напрасным. Вот эта схема:*



Это место в тексте и вправду очень занимательно: *Первая из этих систем* S *будет фиксировать ассоциацию по одновременности, в системах же более удаленных тот же самый материал раздражения будет расположен по другим видам совпадения, так что эти последние системы представят, например, отношения подобия или какие-либо иные.* Мы вступаем здесь в диалектику того же и иного, единого и многого. Можно было бы включить в этот текст всего Парменида. И тут же Фрейд добавляет: *Желание сформулировать словами психическое значение подобной системы*

было бы, очевидно, праздным делом. Фрейд видит, насколько тщетной была бы попытка воссоздать все категории языка путем схематизации различных способов, которыми организуются атомистически понятые элементы реальности. Пространственная схема концептуальных связей могла бы стать лишь оборотной стороной той игры, в самом широком смысле этого слова, которую ведет мысль. Как видим, Фрейд оставляет свои позиции, и единственная польза его схемы заключается теперь в указании на то, что везде, где налицо *языковые отношения*, обязательно имеется и субстрат в виде определенного нейронного аппарата. Фрейд обнаруживает, что ему вполне достаточно указать на наличие ряда систем, не уточняя их взаимного расположения. Само спокойствие, с которым он оставляет эту задачу, над которой люди наивные продолжают ломать себе голову, содержит в себе хороший урок.

Перейдем к следующей фразе: *Характеристика ее заключается в ее тесной связи с элементами сырого материала воспоминаний; иначе говоря, согласно теории более исчерпывающей, в понижениях сопротивления по отношению к этим элементам. Понижения сопротивления* – перевод не точный. Что-то задерживает здесь наше внимание. Что означает на этом уровне понятие сопротивления? Где его место на этой схеме?

Валабрега: – *Как явствует из отрывка, который г-н Лакан только что прокомментировал, перед нами критика в адрес ассоцианизма. Для Фрейда ассоциация – лишь один из множества видов связи, отсюда и множество систем.*

Лакан: – Именно так. Потому и понадобились Фрейду все эти этажи, что он имплицитно переходит от ассоцианизма к тому, что к нему уже несводимо: ведь категория подобия – это и есть первая категория диалектики.

Валабрега: – *Воспоминания* S_1, S_2 *и т. д. по природе своей бессознательны. Они могут сознательными стать. Надо, однако, отметить, что чувственных качеств, сравнимых с восприятиями, они полностью лишены и сохраняют отличие от этих последних. До сих пор о сновидении и его психологии речь в схеме не шла. Образование сновидения не может быть объяснено иначе как с помощью двух базовых инстанций – критикующей и критикуемой. Критикующая инстанция воспреща-*

ет доступ в сознание, вступая тем самым с этим сознанием в самые тесные отношения. Помещая обе эти инстанции, критикующую и критикуемую, в свою схему, Фрейд как раз и получает схему следующую. Предсознательное следует рассматривать как последнюю из систем, расположенную на моторном конце. Может быть, я не прав, но мне кажется, что схема станет понятней, если придать ей форму не параллелепипеда, а круга, что позволило бы, учитывая переход бессознательных явлений в сознательные, присоединить М *к* Р.

Лакан: – Вы поднимаете здесь вопрос, которым давно уже, я полагаю, задаются все добросовестные читатели. Фрейд признает здесь, что система восприятие—сознание, *Wahrnehmung–Bewusstsein*, которая в последней топике Фрейда и в определенные моменты его рассуждений предстает как сердцевина собственного Я, предполагает некоторое единство. Я упоминаю об этом по ходу дела, поскольку этот последний этап мысли Фрейда, этап, получивший всеобщее признание, – нас не удовлетворяет.

Замечание Валабрега ценно уже само по себе, независимо от предложенной им попытки решения. Фрейд представляет нам в качестве топического единства нечто разорванное, о двух концах. Оставим покуда вопрос открытым. Чтобы объяснить само функционирование своей схемы, Фрейд напоминает нам, что процессы переработки, идущие от бессознательного к предсознательному, должны в конечном счете привести к сознанию, – уже само название этих систем предполагает такую ориентацию на сознание. То, что находится в бессознательном, от сознания отделено, но может достичь его, пройдя предварительную стадию предсознательного. Сама логика такой схемы заставляет Фрейда расположить систему сознания как раз перед возможностью действия, перед моторным исходом – другими словами, на линии *М*. В то же время все предпосылки, которыми диктовалось построение его неврологической схемы, вынуждали его признать, что восприятие возникает на уровне контакта с внешним миром, с *Umwelt*, – другими словами, на противоположном конце схемы. Получается, что построение схемы обладает одной замечательной особенностью: оно представляет разъединенными, расположенными на двух крайних границах ориентированной циркуляции психи-

ческого процесса лицевую и оборотную стороны одной и той же функции – восприятие и сознание.

Система восприятия представляет собой своего рода чувствительный слой – чувствительный наподобие фоточувствительного. В другом тексте Фрейд иллюстрирует это с помощью хорошо известного приспособления – особой клейкой грифельной доски, на которую накладывается прозрачная бумага. Карандашом служит здесь простой стержень, который, прочерчивая знаки на листе прозрачной бумаги, заставляет ее склеиваться в местах соприкосновения с лежащей под ней грифельной основой. В результате след выступает на поверхности, темное на светлом фоне или светлое на темном, и остается на ней, пока вы не отделяете листок от основы, вызывая тем самым исчезновение рисунка: каждый раз, отклеиваясь от доски, бумага остается чистой. Как раз нечто в этом роде и требуется Фрейду от его первого, воспринимающего слоя. Приходится предположить, что воспринимающий нейрон, будучи чувствительной материей, всегда может то или иное восприятие прервать. Однако в данном случае на грифельной доске от однажды написанного остается некий след, даже если след этот становится невидим. Именно этот след и сохраняет то, что некогда было воспринято, в то время как поверхность вновь и вновь становится девственно чистой.

Такова логическая схема, и все говорит за то, что она основана на конкретном функционировании психического аппарата. Необходимо, таким образом, чтобы система восприятия была дана с самого начала.

В итоге мы как раз и приходим к этой удивительной пространственной диссоциации восприятия и памяти. С точки зрения нервного аппарата, следует отличать уровень мнезической аккумуляции от уровня перцептивного восприятия, что в отношении воображаемого механизма будет совершенно корректно. Но тут мы сталкиваемся с той второй трудностью, на которую мы с Валабрега хотели бы ваше внимание обратить.

Весь наш опыт свидетельствует в пользу того, что сознание должно располагаться на полюсе, прямо противоположном той последовательности слоев, без постулирова-

ния которой создать себе эффективное представление о деятельности психического аппарата просто невозможно. У нас вновь рождается подозрение, что тут что-то не так, что перед нами встает та же самая трудность, которая на первой схеме проявлялась в том, что система ψ, с одной стороны, и восполняющая цепь стимул-реакция система ϕ, с другой, лежали в ней в двух различных плоскостях. Что касается функционирующей на иных энергетических принципах системы ω, то она представляла систему восприятия и обеспечивала функцию осознавания. Тем самым субъект получал в свое распоряжение сведения качественного характера, которые система ψ, отвечающая за регулирование нагрузки нервной системы, доставить ему не могла. Таким образом, первая схема представляет нам восприятие и сознание расположенными на одном и том же конце аппарата, связанными между собою, какими предстают они и в эксперименте. Вторая схема умножает трудности, связанные с первой, отделяя место системы сознания от места системы восприятия.

Валабрега: – *Необходимо, чтобы можно было установить между ними какую-то связь, но как это сделать, я не знаю.*

Лакан: – Вы же предложили решение.

Валабрега: – *Нет, это не решение. В одном маленьком примечании, где* P *уподобляется* S, *Фрейд говорит именно о линейном разворачивании схемы. Если бы он хотел сделать ее циркулярной, он ее такой бы и сделал. Поэтому давайте забудем об этом и вернемся к бессознательному – системе, которая расположена позади и не может получить доступ в сознание, не пройдя через предсознательное. Сознание – это система, следующая за предсознательным. Мы вновь оказываемся перед парадоксом, который состоит в том, что система сознания открыта одновременно со стороны моторной, где наиболее близкой к ней системой оказывается система предсознания. В случае сновидения внутреннее возбуждение стремится пройти через инстанцию бессознательного, чтобы стать осознанным, но сделать этого не может, так как во время бодрствования путь ей перекрывает цензура. Как объяснить галлюцинацию, галлюцинаторное сновидение? Согласно Фрейду, единственный выход из положения состоит в признании того, что возбуждение, вместо того, чтобы передаваться, как положено, к моторному краю, движется обратным путем. В этом регрессия и состоит.*

Лакан: – Сегодня, насколько я вижу, внимание вашей аудитории к вещам вообще-то простым, периодически ослабевает. Мы оказались перед лицом того удивительного противоречия – уж не знаю, вправе ли мы назвать его диалектическим, – что чем лучше вы слушаете, тем меньше вы понимаете. Я часто говорю вам о вещах очень сложных и вижу, что вы глядите мне в рот, а потом убеждаюсь задним числом, что вы ничего не поняли. С другой стороны, когда вам говорят о вещах простых, едва ли не общеизвестных, вы расслабляетесь. Я это говорю между прочим – как всякое конкретное наблюдение оно не лишено интереса. Предоставляю вам самим об этом поразмыслить.

3

Итак, пора вернуться к нашей теме.

При первом своем появлении понятие регрессии строго связано с особенностями схемы, парадоксальность которой я вам только что продемонстрировал.

Если бы нам удалось придумать схему менее противоречивую, нежели та, что у нас перед глазами сейчас, схему, где система восприятие-сознание не занимала бы по отношению к аппарату в целом и однонаправленности его функционирования позицию столь парадоксальную, никакой нужды в понятии регрессии у нас не было бы. Не что иное, как само построение его схемы вынуждает Фрейда для объяснения галлюцинаторного характера опыта сновидения допустить не столько даже регрессию как таковую, сколько регрессивное направление количественной циркуляции, находящей выражение в процессе возбуждение-разрядка. Направление это названо *регрессивным* в противоположность поступательному направлению нормального функционирования психического аппарата в процессе бодрствования.

Все это, однако, звучит для нас несколько подозрительно, ибо опирается на строение схемы, которая сама по себе уже носит характер парадоксальный. Обратите, пожалуйста, на это внимание – не исключено, что это поможет в дальнейшем пролить некоторый свет на то, как используется в дальнейшем термин *регрессия*, неоднозначность которого не может не привести к некоторой двусмысленности.

Поначалу она предстает как регрессия топическая – так, в ряде случаев происходящее в нервной системе разворачивается в обратном направлении, то есть не в направлении разрядки, а в направлении мобилизации той системы воспоминаний, на основе которой система бессознательного складывется. В объяснении нуждается ряд аспектов сновидения, – которые, кстати сказать, лишь метафорически можно назвать чувственными, – его образность, особенно визуальная, его галлюцинаторный характер.

Таким образом, первое же появление в системе Фрейда термина регрессия нерасторжимо связано с наиболее необъяснимыми особенностями его первой схемы. Посмотрим теперь, не удастся ли нам найти лучшее объяснение, которое на этом уровне сделало бы понятие регрессии совершенно излишним

Ипполит: – *А нельзя ли предположить, что идея регрессии появилась у Фрейда еще до схемы? Что именно эта идея и составляет ее подоплеку?*

Лакан: – Весь интерес хода наших рассуждений состоит в памятовании о том, что схема, которую мы теперь изучаем, состоит в прямой преемственности с другой, тоже построенной на основе особого опыта Фрейда схемой – той схемой неврозов, которая вдохновляет его теоретические построения с самого начала, и в которой понятия регрессии нет и в помине. В той, другой схеме, для объяснения сновидения, его галлюцинаторного характера, и лежащего в его основе желания ни малейшей нужды в регрессии не возникает.

Форма схемы из *Traumdeutung* обусловлена исключительно схемой из *Entwurf*'а – той самой, что я неоднократно воспроизводил для вас на доске. Именно форма схемы и побуждает говорить Фрейда о возвращении назад в плане топики, об обращении вспять потока нервных сигналов.

Есть вещи, которые происходят в направлении, противоположном тому, что задано схемой. Чтобы объяснить это, Фрейд, ввиду того, как схема его была построена, вынужден возводить дополнительные конструкции. Ему приходится, например, признать, что происходящее в сновидении

сопряжено с приостановкой поступательного потока, ибо если бы этот последний не менял своей скорости, движение в обратном направлении было бы невозможным. Понятие регрессии влечет за собой настолько много трудностей, что становится очевидным: Фрейд вынужден признать его исключительно потому, что ему нужно объяснить, откуда берутся вещи, которые по отношению к направлению, предусмотренному его схемой, движутся вспять.

Исходным пунктом регрессия для него отнюдь не является. Он принужден ввести ее лишь потому, что функцию восприятия в психической экономии рассматривает не как составную, а как первичную, элементарную. Организм является для него в первую очередь приёмником впечатлений, впечатление же элементарно и именно в этом качестве участвует в том, что происходит на симптоматическом уровне.

В этом-то весь вопрос и заключается: может ли то, что происходит на уровне феноменов сознания, быть хоть в какой-то мере уподоблено элементарным феноменам восприятия в чистом виде? В пользу Фрейда говорит, по крайней мере, то, что и на этом наивном уровне – не будем забывать, что все эти схемы создавались пятьдесят лет назад, – он не уходит от трудности, связанной с самим существованием сознания.

С прошествием времени, то есть с распространением бихевиористских воззрений, схемы Фрейда в значительной мере потеряли для нас свой интерес. Хочу заметить, кстати, что по сравнению с тем, что пытается сделать Фрейд, бихевиоризм – это чистой воды жульничество. Да, соглашаются бихевиористы, сознание ставит перед нами проблемы. Чтобы справиться с ними, давайте описывать явления, не обращая на его существование никакого внимания. Когда действие его очевидно – перед нами лишь этап, говорить о котором не стоит. Фрейду же, которому и в голову не приходит избегать трудностей, связанных с включением сознания в общий процесс в качестве особой инстанции, удается, в конечном счете, с задачей справиться, не овеществляя при этом сознания, не опредмечивая его.

Вернемся к первой схеме Фрейда. Исходным пунктом

служит для него первая система, состоящая из связанных между собой нейронов, – аппарат, представляющий собой, в невраксе, совокупность соединительных волокон. Каким образом устанавливается циркуляция, представляющая собой сумму всего, что ими передается? Каким образом преодолевается синаптический барьер? Каким образом изменяется рисунок путей, проложенных ранее? На этом этапе циркуляция в нейронных волокнах интересует Фрейда лишь с количественной ее стороны. Прокладка путей зависит от энергетического уровня системы. Существует гомеостатическая регуляция, допускающая вариации, которые связаны с тем, что, в зависимости от того, находится ли система в состоянии бодрствования, сна и т. д., возможны несколько различных порогов гомеостаза, несколько порядков его. Так что же все-таки происходит в этой системе? А происходит то, что Фрейд называет *галлюцинацией*.

Нервная система получает возбуждения, идущие от организма, от заявляющих о себе потребностей. Возникает, таким образом, определенный опыт. В соответствии с обычным представлением об обучении, первоначальный опыт определяет собой опыт последующий. Каждый раз, когда то же влечение возникает снова, цепочки, связанные с ранее пережитым и зарегистрированным опытом, вновь оживают. Внутренние сигналы, нейроны, возбужденные под действием влечения, когда организм приведен был в движение в первый раз, возбуждаются вновь. В этой чисто галлюцинаторной концепции функционирования потребностей, из которой идея первичного процесса как раз и исходит, оказывается совершенно естественным, что психический организм, получив в первых, связанных с первой же потребностью и смутных еще опытах известное удовлетворение, галлюцинирует удовлетворение последующее.

Обратите внимание, что физический процесс, имеющий место в нейронах, молчаливо идентифицируется при этом с тем, что являет собой его эпифеноменальную изнанку, то есть с тем, что субъект воспринимает. Это что-то вроде психо-физического параллелизма. Вещи нужно называть своими именами. Если Фрейд называет это *галлюцинацией*, значит *подлинное восприятие* занимает у него какое-то дру-

гое место. Галлюцинация эта, согласно господствовавшему в тогдашней науке мнению, представляет собой простонапросто ложное восприятие; с тем же успехом и восприятие в то время можно было называть *правдивой галлюцинацией.*

Возвращение потребности влечет за собой галлюцинацию удовлетворения – вся конструкция первой схемы построена именно на этом. Как же, однако, получается, что живое существо не попадает при этом в опасные биологические ловушки? Приходится предположить наличие механизма регулировки, адаптации к реальности, который позволил бы организму соотнести спонтанно возникающую из первичного функционирования системы галлюцинацию с тем, что происходит на уровне органов восприятия. В ходе опыта должно постепенно сложиться нечто такое, что уменьшало бы количественную нагрузку в той чувствительной точке, где дает о себе знать потребность. Располагая это нечто в аппарате ψ, Фрейд дает ему имя *эго.*

Каким образом эта регулировка происходит? Фрейд объясняет его процессом отвода. Все, что носит количественный характер, поддается рассеянию. Вначале имеется некий намеченный, проложенный первоначальным опытом путь, который соответствует определенному количеству нервной энергии. И вот тут-то и вмешивается *эго*, распределяя это количество энергии по нескольким различным каналам вместо одного. Уровень энергии, прошедшей по заранее проложенному пути, окажется достаточно низким, чтобы можно было успешно сравнивать его с тем процессом, что происходит параллельно на уровне восприятия.

Теперь вы видите гипотетические предпосылки, на которые все это опирается – их немало, и многие из них не могут рассчитывать на подтверждение. В этом несколько обманчивый характер подобных конструкций. Но мы здесь не для того, чтобы разбирать их достоинства, – ценность их состоит в тех выводах, к которым они Фрейда впоследствии подтолкнули.

Эго представляет собой в этой схеме не что иное, как аппарат, регулирующий все действия по сравнению галлюцинаций системы ψ с теми уже адаптированными к реальности процессами, что происходят на уровне системы

ω. Возбуждение задействованного нейронного канала он опускает на исключительно низкий энергетический уровень, чтобы посредством системы ω, где энергетическая нагрузка очень слаба, различия могли быть уловлены. Я обращаю ваше внимание на то, что *эго* отнюдь не находится на уровне аппарата восприятия. Оно находится в самой системе ψ, в сердце психического аппарата, в тех же самых местах, где протекают первичный и вторичный процессы. По сути дела, *эго* и аппарат ψ – одно и то же; *эго*, по объяснению Фрейда, представляет собой *ядро* этого аппарата.

Это как раз и говорит против Вашей гипотезы. Вовсе не предвзятое мнение побуждает Фрейда делить систему *эго* на восприятие и сознание, чье расположение на схеме в *Traumdeutung* столь парадоксально, – на первой схеме они расположены удобнее. Почему же на второй схеме понадобилось расположить их именно так? Дело в том, что вторая схема не вполне соответствует первой. Эта схема времен*ная*, где сделана попытка наглядно представить порядок, в котором вещи происходят. И замечательно, что Фрейд сталкивается с этой трудностью как раз тогда, когда временн*ое* измерение вводит.

Я оставляю этот вопрос открытым. Завершайте, Валабрега, то, что Вам осталось сказать.

Валабрега: – *Регрессия остается для Фрейда явлением с топической точки зрения необъяснимым. На этом выводе, я думаю, и можно остановиться.*

Лакан: – Пожалуй. Даже если бы все, что мы сегодня сделали, сводилось к тому выводу, что регрессия вызывает у Фрейда не меньшее недоумение, чем у рыбы зонтик, мы зря времени не потеряли бы. Для объяснения принципиально галлюцинаторного характера первичного процесса он в ней не нуждался, поскольку уже провел, на уровне первой схемы, различие между процессом первичным и процессом вторичным. Фрейд вводит регрессию лишь с того момента, как акцент у него переносится на временн*ые* факторы. Одновременно он вынужден признать ее и в топическом, пространственном плане, где она повисает в воздухе, оставаясь явлением парадоксальным, в определенной степени

антиномичным и необъяснимым. Что, собственно, нам и предстояло здесь выяснить.

Мы увидим в дальнейшем, как следует подходить к понятию регрессии в случае, когда Фрейд использует его в генетическом регистре, в применении к развитию организма.

2 марта 1955 года.

XIII
СНОВИДЕНИЕ ОБ ИНЪЕКЦИИ ИРМЕ

Итак, мы по-прежнему размышляем над тем, каков смысл предложенных Фрейдом концепций психического аппарата. Работа над ними, не прекращавшаяся в течение всего его творчества, обусловлена была требованием внутренней последовательности. Он был первым и долгое время единственным, кто пытался выработать в этом вопросе свою точку зрения и прилагал к этому все усилия, невзирая на все модификации, которые предлагали внести в теорию и технику его последователи, так называемое аналитическое сообщество.

Неоспоримым является тот факт, что трудный вопрос о регрессии, с которым мы в прошлый раз столкнулись, порожден был, в первую очередь, внутренними закономерностями самой схемы. Надо прочесть письма Флиссу, чтобы понять, насколько трудно давалась Фрейду эта работа. Добиться строгости в своих схемах было для него глубочайшей потребностью. Но когда вы строите гипотезы относительно количества, это не может не отозваться и на понятии качества. И я не думаю, что та и другая схемы так уж безупречно совместимы. Ради удобства формулировок Фрейд оказал одной из них предпочтение, но именно относительной упрощенностью первой схемы обусловлены оказались трудности, возникшие во второй, — то отделение восприятия от сознания, которое вынудило его выдвинуть гипотезу о регрессии, чтобы объяснить изобразительный, то есть воображаемый характер того, что происходит в сновидении.

Очевидно, что термин "воображаемый", будь у Фрейда тогда возможность им оперировать, помог бы немало противоречий снять. Но этот изобразительный характер рассматривается здесь как причастный восприятию, а визуальное выступает у Фрейда как эквивалент перцептивного. Совершенно ясно, что схема в том виде, в котором представлена она в *Traumdeutung*, с необходимостью вынужда-

ет, уже начиная с топического уровня, выдвинуть гипотезу о том, что именно состояние сновидения, не позволяя процессу развиваться нормально в направлении моторной разрядки, обращает вспять нервные импульсы, вызывая появление образной их картины. Процессы могут протекать в обратном направлении — вот к чему сводится, на данный момент, смысл термина "регрессия".

Вот первая более или менее твердая формулировка этого понятия, которая будет впоследствии, по аналогии, перенесена как в план формальный, так и в план генетический. Идея регрессии индивида к разным стадиям своего развития во многом определяет, как вы знаете, наши представления о неврозе и его лечении. Однако введение в обиход этого столь привычного теперь понятия не было, как вы успели убедиться, таким уж бесспорным.

Теперь, чтобы облегчить переход от этой схемы психического аппарата к той, что подразумевается дальнейшим ходом мысли Фрейда, то есть к схеме, сфокусированной на теории нарциссизма, я хочу предложить вам сегодня одно маленькое испытание.

1

Сновидением, которое было в начале, сновидением, впервые поддавшимся расшифровке, поистине сновидением из сновидений стало для Фрейда сновидение об инъекции Ирме. Он не просто анализирует его с исчерпывающей полнотой, но уже в самом *Traumdeutung* неоднократно возвращается к нему, делая это всякий раз, когда ему нужно на что-то опереться и, в частности — притом надолго — когда вводит понятие о сгущении.

Вот это сновидение мы и попробуем рассмотреть с нашей сегодняшней точки зрения. В этом наше право, при условии, что мы не собираемся приписывать Фрейду, находившемуся тогда на первом этапе своего творческого пути, то, что было высказано им лишь на последнем; при условии, что мы не попытаемся согласовать одни этапы с другими по собственному усмотрению.

Из-под пера Гартмана вырвалось однажды довольно ис-

креннее признание того факта, что концепции Фрейда согласованы между собой не так уж и хорошо и что они нуждаются в синхронизации. Именно последствия такой вот синхронизации Фрейдовой мысли и делают возврат к текстам обязательным делом. Честно говоря, в призыве к этой синхронизации мне слышится досадный менторский тон. Наша задача не в том, чтобы синхронизировать различные этапы мысли Фрейда, а тем паче их согласовывать, для нас важно разглядеть ту единственную и постоянную проблему, на которую размышления Фрейда, идущие этап за этапом от одного противоречия к другому, пытаются дать ответ. Речь идет о том, чтобы пройдя последовательность антиномий, которые мысль Фрейда внутри каждого из этих этапов и между ними нам предъявляет, встретиться лицом к лицу с тем, что и является подлинным предметом нашего опыта.

Среди тех, кто занимается преподаванием анализа и формированием аналитиков, я не единственный, кому пришло в голову вновь обратиться к сновидению об Ирме. Это, в частности, произошло и с человеком по имени Эриксон, причисляющим себя к культуралистской школе. Что ж, в добрый час! Культурализм этот отличается тем, что основное внимание уделяет в анализе тому, что обусловлено в каждом случае тем культурным контекстом, в который субъект погружен. Аспект этот, разумеется, принимался в расчет и прежде — насколько я знаю, ни сам Фрейд, ни те, кто может рассматриваться как его прямые последователи, никогда им не пренебрегали. Вопрос состоит лишь в том, действительно ли элемент этот имеет для формирования субъекта решающее значение. Отложим покуда теоретическую дискуссию, к которой эта проблема подает повод, и посмотрим лишь, к чему все это сводится.

В отношении сновидения об инъекции Ирме это сводится к некоторым замечаниям, на которые я буду обращать ваше внимание по мере того, как в процессе нового анализа, который я попытаюсь сегодня проделать, нам с ними придется сталкиваться. Вы убедитесь, к своему удивлению, что культурализм довольно неожиданно смыкается с психологизмом, суть которого состоит в стремлении рассматривать весь аналитический текст как функцию различ-

ных этапов развития *эго*. Как видите, я упомянул Гартмана не просто для того, чтобы поглумиться лишний раз над его синхронизацией.

Итак, сновидение об инъекции Ирме пытаются понять как этап развития *эго* Фрейда, *эго*, имеющего право на особое уважение как принадлежащее великому творцу в момент высшего расцвета его творческой мощи. По правде говоря, идеал этот ложным не назовешь. Психология творца, несомненно, нуждается в изучении. Неужто, однако, к этому и сводится тот урок, что можем мы извлечь из фрейдовского опыта и, в частности, из того, что происходит в сновидении об инъекции Ирме, если рассмотреть это сновидение как бы сквозь увеличительное стекло?

Если эта точка зрения справедлива, то нам с вами придется расстаться с идеей, в которой я вижу суть фрейдовского открытия, с идеей смещения субъекта по отношению к *эго*, и вернуться к представлению, по которому типичное развитие *эго* занимает центральное место. Здесь перед нами альтернатива, в которой компромисс невозможен: если это истинно, то все, что вам говорю я, — ложно.

Беда лишь в том, что если это ложно, то исключительно сложно становится прочесть малейший текст Фрейда, хоть что-нибудь взяв в нем в толк. Сейчас, на примере сновидения об инъекции Ирме, мы попробуем в этом убедиться.

Почему Фрейд придает этому сновидению столь большое значение? Поначалу это может вызвать удивление. Что, собственно, анализ этого сновидения Фрейду дает? А дает он ту истину, которую Фрейд и ставит во главу угла: сновидение всегда представляет собой осуществление желания, пожелания.

Я прочту вам содержание сновидения, надеясь, что это освежит в вашей памяти связанный с ним анализ.

> *Большая зала — много приглашенных, мы принимаем гостей. Среди них Ирма: я тут же отвожу ее в сторону и точно хочу ответить на ее письмо, упрекаю ее в том, что она не приняла моего "решения". Говорю ей: "Если у тебя до сих пор есть боли, то ты сама виновата". Она отвечает: "Если бы ты знал, какие у меня боли в горле, в желудке и в животе, мне все прямо стягивает". Я пугаюсь и смотрю на нее. У нее бледное, опухшее лицо. Мне приходит в голову, что мог*

не заметить какого-нибудь органического заболевания. Я подвожу ее к окну, рассматриваю ее горло. Она слегка противится, как все женщины, у которых вставные зубы. Я говорю себе, что ведь ей это не нужно. Она открывает рот, и я обнаруживаю справа большое пятно, а немного поодаль странный нарост, похожий на носовую раковину, покрытый большими сероватыми струпьями. Я подзываю сейчас же доктора М., который, в свою очередь, осматривает больную и подтверждает мои наблюдения. Доктор М., совершенно не похож на себя: он бледен, хромает, почему-то без бороды... Мой друг Отто тоже здесь, стоит подле меня, а мой друг Леопольд выстукивает ее поверх корсета и говорит: "У нее притупление слева снизу". Он указывает также на инфильтрацию на участке кожи в районе левого плеча (несмотря на платье я тоже ощущаю ее, как и он). Доктор М. говорит: "Несомненно, это инфекция. Но ничего, у нее будет дизентерия и инфекция выйдет". Мы почему-то сразу же понимаем, откуда эта инфекция. Отто недавно, когда она почувствовала себя нездоровой, ввел ей препарат пропила, пропилен... пропиленовую кислоту... триметиламин (его напечатанная жирными буквами формула стоит у меня ясно перед глазами)... Такой инъекции нельзя делать легкомысленно... По всей вероятности, и шприц был не совсем стерилен.

2

Ирма — больная, у которой с семьей Фрейда были дружеские отношения. Фрейд находился, таким образом, в деликатной и всегда нежелательной ситуации аналитика, чьим пациентом оказывается кто-то из круга его знакомых. Теперь мы гораздо лучше, чем мог это сделать в ту далекую, доисторическую для психоанализа эпоху Фрейд, отдаем себе отчет в трудностях, связанных с возникающим в подобных случаях встречным переносом.

Именно так все и происходит. Фрейд испытывает в случае с Ирмой серьезные трудности. Как свидетельствует он сам, говоря о связанных со сновидением ассоциациях, он склонялся тогда к мысли, что когда бессознательный смысл базового невротического конфликта становится ясен, остается лишь предложить его самому субъекту, который либо примет это объяснение, либо не примет. Если не примет — что ж, значит он виноват сам, значит он негодяй, дрянь,

никуда не годный пациент. Если он, напротив, хороший пациент, то он объяснение примет и дальше все пойдет хорошо. Я не преувеличиваю — пациенты бывают хорошие и плохие.

Воззрения эти Фрейд излагает с юмором, очень близким той несколько поспешной иронии, которую позволяю себе на этот предмет я. Он признается, что благодарит небо, внушившее ему тогда подобные мысли, так как именно они позволили ему выжить.

Итак, в случае Ирмы Фрейд испытывает серьезные трудности: несмотря на общее улучшение, некоторые симптомы и, в частности, позывы к тошноте, продолжают сохраняться. Он недавно прекратил лечение, и все новости о бывшей пациентке узнает от своего друга Отто. Отто — тот, о котором я сказал однажды как о близком Фрейду человеке. Однако к ближайшим друзьям — из тех, кому мэтр поверяет свои заветные мысли, — Отто не принадлежал. Он славный малый, этот Отто — он пользует всю семью Фрейда от простуды, что получается у него неважно, и играет при ней роль симпатичного, милого, щедрого на подарки холостяка, к которому сам Фрейд относится с долей благодушной иронии.

И вот этот Отто, к которому Фрейд питает искреннее, но не выходящее за рамки обычного уважение, сообщает ему новости об Ирме, рассказывая, что все в целом идет нормально, но все-таки не так хорошо, как хотелось бы. Интонации любезного друга заставляют Фрейда заподозрить, что Отто его действия не вполне одобряет, более того, что Отто солидарен с теми, кто подсмеивался над ним и даже возражал против курса лечения, неосторожно предпринятого на той почве, где в действиях своих он не настолько свободен, насколько ему хотелось бы.

На самом деле Фрейд уверен, что предложил Ирме хорошее решение — *Lösung*. Слово это в немецком двусмысленно и означать может как вводимый больному шприцем раствор, так и разрешение конфликта. Уже одно это придает сновидению об инъекции Ирме символический смысл.

Поначалу Фрейд своим другом сильно недоволен. Беда, однако, в том, что собой недоволен он еще больше. Дело до-

ходит до того, что у него появляются сомнения — и не только в обоснованности предлагаемого им решения, но, возможно, и в самих принципах, на которых построен его способ лечения неврозов.

В 1895 г. Фрейд находился на той экспериментальной стадии, где и были сделаны важнейшие его открытия, среди которых анализ этого сновидения всегда будет казаться ему столь значительным, что в 1900 г. в письме к Флиссу, написанном сразу же после появления книги, где оно фигурирует, Фрейд в шутку — а просто так он, заметьте, не шутил никогда — предлагает другу вообразить, что однажды стену деревенского дома в Бельвю, где сон этот имел место, украсит табличка, гласящая: *Здесь 24 июля 1895 г. Зигмундом Фрейдом впервые раскрыта была тайна сновидения.*

Таким образом, несмотря на не оставляющее его чувство недовольства, Фрейд в это время вполне уверен в себе. Причем происходит это, заметьте, до того кризиса 1897 г., следы которого мы находим в письме Флиссу, – когда в какой-то момент ему могло показаться, что теория причиненной совращением травмы, сыгравшая в происхождении его концепции решающую роль, никуда не годится, а все построения его рушатся на глазах. В 1895 г. он, напротив, переживает период творческий, открытый как сомнениям, так и уверенности, без которых прогресс в науке никогда не обходится.

Это неодобрение, расслышанное им в голосе Отто, и послужило в данном случае толчком, запустившим механизм сновидения.

Я хочу обратить ваше внимание на то, что уже в 1882 г. Фрейд в письме к невесте замечает, что в сновидениях являются нам не столько события, представлявшиеся нам злободневными, сколько темы, едва затронутые и внезапно прерванные, — ситуации, когда вы лишаетесь дара речи. Такого рода ситуации были Фрейду хорошо знакомы, и в анализах *Психопатологии обыденной жизни* мы встречаемся с ними неоднократно. Я уже упоминал об эпизоде, когда он не может вспомнить автора фрески в Орвьето. Там тоже речь шла о чем-то таком, что ранее, днем, осталось не до конца высказанным.

В данном случае это, однако, далеко не так. Вечером, после обеда, Фрейд садится за работу и пишет по делу Ирмы настоящий отчет, где пытается расставить все на свои места и оправдать, по мере необходимости, выбранный им ход лечения.

И вот наступает ночь и он видит сон.

Я начинаю сразу с подведения итогов. Фрейд считает огромным успехом то, что все сновидение, вплоть до малейших его деталей, ему удалось объяснить желанием снять с себя ответственность за неудачу в лечении Ирмы. Причем оправдывается Фрейд в сновидении — как непосредственный создатель его — способами столь разнообразными, что, как сам он со свойственным ему юмором замечает, это очень напоминает историю о человеке, который на упрек в том, что котел, который ему одолжили, он вернул треснутым, ответил, что, во-первых, он вернул его целым, во-вторых, котел уже был с трещиной, когда он его брал, и, в-третьих, никакого котла он не брал вообще. Каждое из этих объяснений само по себе, может быть, и неплохо, но вместе взятые они явно никого не устроят.

Именно так сновидение и устроено, объясняет нам Фрейд. И общий сюжет того, что в сновидении происходит, именно таков. Но вопрос, на мой взгляд, состоит скорее в другом: как получается, что Фрейд, который будет в дальнейшем говорить о функции бессознательного желания, здесь, в качестве первого шага своего доказательства, ограничивается тем, что преподносит нам сновидение, которое исчерпывающе объясняется удовлетворением желания, которое иначе как предсознательным, а то и вовсе сознательным, не назовешь? Ведь накануне Фрейд как раз целый вечер и посвятил именно тому, чтобы черным по белому оправдать себя как в том, что произойдет, так и в том, что произойти не может. Для объяснения формулы, согласно которой сновидение всегда представляет собой удовлетворение желания, Фрейду, похоже, требуется поначалу лишь самое общее понятие о желании, — что оно представляет собой и где находится его источник, в бессознательном или предсознательном, его пока не волнует.

К этому вопросу он приходит в примечании, которое я в

прошлый раз зачитывал: кто оно, это бессознательное желание, которого субъект ужасается и которое он отталкивает? Когда мы говорим о бессознательном желании — что мы этим хотим сказать? Для кого это желание существует?

Именно на этом уровне сможем мы найти объяснение тому глубочайшему удовлетворению, которое приносит Фрейду решение загадки этого сновидения. Чтобы должным образом оценить тот факт, что сновидение это играет в рассуждениях Фрейда решающую роль, нужно отдавать себе отчет в том значении, которое Фрейд — что очень показательно, хотя и парадоксально — ему приписывает. На первый взгляд, казалось бы, решающий шаг здесь не сделан, ибо речь идет, в конечном счете, разве что о предсознательном желании. Но если Фрейд, тем не менее, считает это сновидение главным, основополагающим, типичным, то он, по-видимому, полагает, что этот шаг им сделан, что дальнейшее изложение более чем доказывает. Если он сам чувствует, что он этот шаг сделал, значит это действительно так и есть.

После анализа, который дал этому сновидению Фрейд, я не собираюсь анализировать его вновь. Это было бы абсурдно. Точно так же, как не может быть речи о том, чтобы анализировать авторов уже покойных, не может быть речи и о том, чтобы анализировать сновидение Фрейда лучше, чем это сделал он сам. Когда Фрейд ход своих ассоциаций прерывает, у него на то есть причины. Он может сказать: *Об этом я больше говорить не буду, я не хочу больше рыться в белье и копаться в ночных горшках* — или, например: *У меня нет больше желания продолжать ассоциации.* И нам нужно не заниматься экзегезой там, где сам Фрейд предпочитает умолкнуть, а рассматривать сновидение и его толкование Фрейдом в совокупности, как единое целое. И в этом случае мы окажемся по сравнению с Фрейдом в совершенно иной позиции.

Существуют две различные процедуры — видеть сон и его толковать. Толкование — это процедура, которой мы, аналитики, причастны. Не будем, однако, забывать, что в большинстве случаев мы причастны и первой из этих операций. Ведь мы участвуем в анализе не только поскольку мы

сновидение субъекта толкуем — если мы его толкуем вообще — но и постольку, поскольку в качестве аналитиков мы заведомо занимаем в жизни субъекта, а значит, и в его сновидении, какое-то место.

Вспомните, что говорил я вам на учредительном заседании этого общества относительно Символического, Воображаемого и Реального. Речь шла тогда об использовании этих категорий в форме больших и маленьких букв.

iS — обратить символ в образ, отлить символический дискурс в изобразительные формы, то есть в формы сновидения.

sI — обратить образ в символ, то есть истолковать сновидение .

Для этого нужно только, чтобы произошло обратное превращение, чтобы символ оказался символизирован. То, что лежит посредине, как раз и позволяет понять, каким образом эта двойная трансформация происходит. Именно это мы и попробуем сделать — взяв совокупность сновидения и предлагаемого Фрейдом толкования его, мы посмотрим, что значит это в порядке Символического и в порядке Воображаемого.

Нам повезло в том, что то знаменитое сновидение, к которому мы, как все вы тому свидетели, подходим с великой деликатностью, не находится, будучи сновидением, во времени. Заметить это несложно, ибо в этом-то оригинальность сновидения как явления и состоит — сновидение не находится во времени.

Как это ни поразительно, но ни один из затрагивавших данную тему авторов не указывает на этот факт достаточно прямо. Эриксон, правда, подходит к нему очень близко, но культурализм его, к сожалению, не служит для этого инструментом слишком удобным. Культурализм этот вынуждает его в первую очередь заняться мнимой проблемой изучения явного содержания сновидения. Именно явное содержание сновидения, говорит он, заслуживает того, чтобы поместить его на первый план. За утверждением этим следует довольно запутанная аргументация, опирающаяся на то самое противопоставление поверхностного и глубин-

ного, от которого я всегда умолял вас избавиться. Как говорит в *Фальшивомонетчиках* Андре Жид, *нет ничего более глубокого, чем лежащее на поверхности,* потому что глубокого нет вообще. Но дело сейчас не в этом.

Исходить надо из текста, причем, следуя совету и примеру самого Фрейда, относиться к нему надо так, словно перед нами Священное писание. Автор, из-под пера которого он выходит, — всего лишь писец, бумагомаратель, и роль его второстепенна. С момента, когда читатели заинтересовались психологией Иеремии, Исайи, даже самого Иисуса Христа, комментарии к Писанию стали для них навеки заказаны. Неслучайно, когда речь идет о пациентах, я требую от вас внимания к тексту, а не к психологии автора — все мое преподавание ориентировано именно на это.

Обратимся же к тексту. Эриксон придает большое значение тому, что Фрейд с самого начала говорит: *мы принимаем.* Персонаж его тем самым удваивается — он принимает вместе с женой. Речь идет о маленьком домашнем празднике, на который, будучи другом семьи, должна явиться и Ирма. Я готов согласиться, что слова *мы принимаем* действительно выставляют Фрейда в роли главы семейства, но вовсе не уверен, что они подразумевают сколь-нибудь заметную двойственность его социальной функции, так как *Frau Doktor* не появляется в сновидении ни на минуту.

С момента, когда Фрейд вступает в разговор, визуальное поле сужается. Он берет Ирму за руку и начинает делать ей упреки, обвинять ее: *Это ты виновата, если бы ты меня слушала, все бы шло хорошо.* Ирма, со своей стороны, отвечает ему: *Ты представления не имеешь, как мне больно здесь, и тут, и еще вот здесь — в горле, в животе, в желудке.* А потом она жалуется, что ей все прямо стягивает, *zusammenschnüre.* Это *zusammenschnüren* кажется мне особенно выразительным.

М-м X: — *В те времена, чтобы стянуть корсет туже, за шнуры нередко тянули три или четыре человека сразу.*

Лакан: – Фрейд взволнован ее словами и начинает проявлять некоторое беспокойство. Он подводит ее к окну и просит открыть рот.

Все происходит, таким образом, на фоне спора и сопротивления — сопротивления не только тому, что Фрейд предлагает, но и осмотру.

Речь идет о сопротивлении, свойственном женщинам. Авторы, как правило, благополучно минуют этот момент, ссылаясь на пресловутую "викторианскую" женскую психологию. Ясно ведь, что женщины нам больше не сопротивляются — женщины, которые сопротивляются, нас больше не возбуждают, и когда речь заходит о женском сопротивлении, все шишки сыплются на бедных викторианок. Это действительно забавно. Перед нами следствие культурализма, который в данном случае не открывает м-ру Эриксону глаза на происходящее.

Тем не менее именно вокруг этого сопротивления ассоциации Фрейда и строятся. Благодаря им становится ясно, что хотя в сновидении появляется только Ирма, дело далеко не в ней одной. Между теми, кто за ней вырисовывается, находятся, в частности, две фигуры, симметричность которых не делает их менее проблематичными, — это жена Фрейда, на тот момент, как известно, в положении, и другая больная.

Хорошо известно, насколько важную роль играла в жизни Фрейда его жена. Он питал к ней привязанность не просто семейную, а именно супружескую, в высшей степени идеализированную. Однако некоторые нюансы их отношений говорят, похоже, о том, что в плане непосредственных чувств дело не обошлось с его стороны без некоторого разочарования. Что касается другой больной, то это, если можно так выразиться, больная идеальная, так как она пациенткой Фрейда не является, хороша собой и к тому же заведомо умнее Ирмы, о чьих умственных способностях принято отзываться неблагоприятно. Привлекает в ней и то, что она не обращается к Фрейду за помощью, так как это позволяет ему лелеять надежду, что рано или поздно она с такой просьбой обратится. Особенно сильно он, однако, на это не рассчитывает. Короче говоря, женщина, а вместе с тем и отношения Фрейда с Ирмой, раскрываются здесь подобно вееру — от чисто профессиональных интересов до всевозможных форм воображаемого миража.

В самом сновидении Фрейд демонстрирует себя таким, каков он есть, и *эго* его находится вполне на уровне *эго* бодрствующего. В качестве психотерапевта он открыто обсуждает с Ирмой ее симптомы — претерпевшие, правда, в сновидении некоторые изменения, но изменения совсем незначительные. То, что можно у нее найти, можно было бы найти и осмотрев ее внимательно наяву. Если бы Фрейд всякий раз, говоря с Ирмой наяву, анализировал ее поведение, ответы, эмоции, эффекты переноса, он тоже пришел бы к выводу, что за Ирмой стоят как его собственная жена, бывшая Ирме близкой подругой, так и другая молодая соблазнительная женщина в его окружении, в качестве пациентки, по сравнению с Ирмой, куда более интересная.

Мы находимся здесь на нижнем уровне, где диалог остается полностью подчинен условиям реальных отношений. Отношения эти, однако, увязли без остатка в отношениях воображаемых, которые их ограничивают и представляют для Фрейда, на данный момент, главную трудность.

Все это имеет далеко идущие последствия. Добившись у пациентки согласия открыть рот — в реальности речь идет именно об этом, то есть что она не открывает рот, — он видит в глубине его отвратительное зрелище: наросты в форме носовой раковины, покрытые белесой пленкой. К этому рту применимы с равным успехом все эквивалентные значения, любые смысловые сгущения по вашему вкусу. В этом образе смешивается и ассоциируется друг с другом все — начиная от рта и кончая половым органом женщины, в том числе и нос (как раз после этого сна или незадолго до него Флисс или кто-то другой прооперировал у Фрейда носовые раковины). Здесь открывается перед нами самое ужасное — плоть, которая всегда скрыта от взоров, основание вещей, изнанка личины, лица, выделения во всей их красе, плоть, откуда исходит все, последняя основа всякой тайны, плоть страдающая, бесформенная, сама форма которой вызывает безотчетный страх. Видение страха, познание страха, последнее разоблачение: *ты еси вот это — то, что от тебя дальше всего, что всего бесформеннее.* Перед лицом этого откровения, этого *Мене, Текел, Фарес*, и оказывается Фрейд, когда его потребность видеть и знать, выражавшаяся до тех

пор в диалоге *эго* с объектом, достигает своей вершины.

Здесь Эриксон делает одно замечание, которое, надо отдать ему должное, превосходно: как правило, сновидение, которое дошло до этой точки, провоцирует пробуждение. Почему Фрейд не просыпается? Потому что он упрямец.

Да, я согласен — он действительно упрямец. Тогда, продолжает Эриксон, *эго* Фрейда, потрясенное этим зрелищем, регрессирует — именно этому посвящено все продолжение его статьи, где Эриксон развивает целую теорию различных стадий *эго,* о которых я вкратце вам расскажу. Сами по себе эти психологические штучки очень поучительны, но мне, по правде говоря, кажется, что они противоречат самому духу фрейдовской теории. Ведь если *эго,* в конечном счете, и есть не что иное, как этот последовательный ряд образований и форм, если двойная личина добра и зла, реализаций и модусов ирреализации действительно для него типична, то непонятно остается, с какой стати Фрейд в своих работах тысячи раз твердит нам, что Я представляет собой сумму идентификаций субъекта, со всем принципиально случайным, что таким образом в него привносится. Если вы позволите мне выразить это образно, собственное Я можно уподобить нескольким надетым одно на другое пальто, позаимствованным из захламленного реквизита.

Положа руку на сердце, можете ли вы, аналитики, засвидетельствовать передо мной случаи, где это типичное развитие *эго* имело место? Все это просто байки. Мы наслышаны рассказов о том, как пышно разрастается это огромное дерево — человек, который триумфально выдерживает в течение жизни ряд последовательных испытаний, благодаря чему и достигает поистине чудесного равновесия. На самом деле человеческая жизнь — это нечто совсем другое. Однажды, размышляя о психогенезе, мне уже приходилось писать об этом.

3

Действительно ли происходящее в тот момент, когда Фрейд избегает пробуждения, можно описать как регрессию *эго*? Насколько мы видим, начиная с этого момента о

Фрейде более нет и речи. Он зовет на помощь доктора М., потому что зашел в тупик. Что вовсе не значит, будто ему помогут из этого тупика выйти.

Доктор М. — в своем кругу, как выражается Фрейд, личность авторитетная (кто это именно, мне установить не удалось) — в практической жизни пользуется достойным уважением. Большого зла он Фрейду никогда не делал, но взгляды его разделяет далеко не всегда, а Фрейд не из тех, кто с этим легко мирится.

Тут же фигурируют Отто и его коллега Леопольд, успешно утирающий нос своему коллеге Отто. Это поднимает его в глазах Фрейда, который сравнивает эту пару с инспектором Брэзигом и его другом Карлом. Инспектор Брэзиг — мужичок себе на уме, но всегда ошибается, потому что на многие вещи не обращает внимания. Коллега инспектора Карл, работающий в паре с ним, их замечает, и инспектору только и остается, что за ним следовать.

С появлением этого клоунского трио вокруг бедняжки Ирмы завязывается бессвязная беседа, напоминающая скорее не то игру в абракадабру, не то и вовсе диалог глухих.

Все это исключительно насыщено содержанием, и я даю лишь краткое резюме. Здесь возникают ассоциации, демонстрирующие нам действительное значение сна. Фрейд замечает, что оказывается чист от всякой вины — по логике треснувшего котла. Вся троица настолько смехотворна, что по сравнению с подобными машинами по производству абсурда любой покажется просто небожителем. Знаменательны же эти персонажи тем, что воплощают собой ту идентификацию, в которой и заключается формирование *эго*.

Доктор М. соответствует функции, сыгравшей в жизни Фрейда важнейшую роль — функции его сводного брата Филиппа, о котором я по другому поводу уже рассказывал вам, упоминая о нем как о лице, существенном для понимания эдипова комплекса в жизни самого Фрейда. Если Фрейду удалось познакомиться с эдиповым комплексом столь знаменательным для истории человечества способом, то дело здесь, очевидно, в том, что к моменту его рождения у отца уже было от первого брака два сына, Эммануил и Филипп, разница

между которыми была всего три года, но каждый из которых по возрасту вполне годился в отцы маленькому Зигмунду, чья мать была упомянутому Эммануэлю ровесницей. Эммануэль этот был для Фрейда предметом ни с чем не сравнимого ужаса. Многие впоследствии думали, что средоточием всех ужасов был именно он — и напрасно, так как Филипп тоже был им причастен. Это он засадил в тюрьму старую кормилицу Фрейда, влиянию которой придают зачастую преувеличенное значение, – так, именно с ее помощью культуралисты пытались представить Фрейда добрым католиком.

И все же персонажи промежуточного поколения сыграли значительную роль. Они замечательны тем, что позволяют сосредоточить всю агрессию на отце, не слишком задевая при этом отца символического, который поистине находится на небесах — от святости хотя и далеких, но свое исключительное значение от этого не теряющих. Символический же отец остается, благодаря этому разделению функций, в неприкосновенности.

Доктор М. воплощает собой отца воображаемого — идеальный персонаж, сформированный на основе отцовского псевдо-образа. Отто соответствует другому персонажу, который занимал в жизни Фрейда постоянное место, — близкому знакомому, выступавшему одновременно в роли врага и друга и из друга на глазах превращавшемуся во врага. Леопольд же выступает как персонаж, нужный для того, чтобы его этому другу-врагу, этому любезному врагу противопоставить.

Вот вам и еще одна триада — совсем не похожая на предыдущую, но в сновидении тоже присутствующая. Истолкование Фрейда помогает нам понять ее смысл. Но какова ее роль в сновидении? Роль эта состоит в игре с речью, со словами суда и приговора, с законом, со всем тем, что мучает Фрейда вопросами вроде: *Прав я или нет? Где истина? Каково решение этой проблемы? Где я нахожусь?*

В первый раз, сопровождая эго Ирмы, мы встретились с тремя женскими персонажами. Фрейд отмечает, что все они скрещены между собою настолько, что сплетаются в конце концов в узел, и мы оказываемся перед лицом бог весть какой тайны.

Анализируя этот текст, следует брать его в расчет весь, вместе с примечаниями. В данном случае Фрейд упоминает о наличии в ассоциациях места, где сновидение погружается в непознанное, — места, которое он называет *пупом сновидения.*

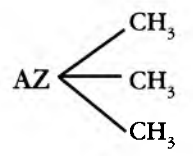
Мы приходим, наконец, к тому, что скрывается за этим мистическим трио. Я говорю мистическим, потому что теперь смысл его нам известен. Три женщины, три сестры, три ларца — смысл их Фрейд успел с тех пор нам поведать: в конечном счете за ними стоит смерть, вот и все.

Именно об этом идет здесь речь. Появление смерти различаем мы даже сквозь шум и гам второй части. История дифтеритной пленки прямо связана с угрозой, очень далекой, под которой оказалась двумя годами ранее жизнь одной из дочерей Фрейда. Угрозу эту он пережил как наказание за терапевтическую неосторожность, которую некогда совершил, когда прописал одной из своих пациенток слишком большую дозу сульфонала, не зная, что продолжительное использование его может иметь нежелательные последствия. Ему казалось, что это цена, которую уплатил он за допущенную им профессиональную ошибку.

Во второй части три персонажа, словно издеваясь, перебрасываются как мячом самыми животрепещущими для Фрейда вопросами: *Каков смысл невроза? Каково направление лечения? Насколько моя терапия неврозов хорошо обоснована?* И за всем этим стоит Фрейд, который сновидение видит, оставаясь при этом Фрейдом, который ищет к сновидениям ключ. Вот почему ключ к разгадке сновидения является одновременно ключом к разгадке невроза и ключом к правильному лечению.

И как имеет в апокалиптическом откровении того, что там, внутри, свою кульминацию часть первая, не лишена своей вершины и часть вторая. Вначале у них непосредственно, *unmittelbar,* как происходит это в случае маниакального убеждения, когда вы вдруг, ни с того ни с сего знаете, что на вас точит зуб именно тот-то, появляется идея, что виноват Отто. Это он сделал инъекцию. Следуют попытки вспомнить, какую именно?... пропил... пропилен... Вспоминается по ассоциации смешная история с ананасовым соком, по-

даренным Отто семье Фрейда накануне. Когда его открыли, у него оказался запах сивушного масла. Возникло предложение *отдать его прислуге*. Фрейд, однако, будучи, как он говорит, *более гуманным*, мягко замечает, *что и они, пожалуй, могут отравиться*. И тут, словно поверх всего этого словесного гама, возникает, подобно библейским *Мене, Текел, Фарес*, жирным шрифтом выведенная формула триметиламина. Я вам эту формулу сейчас напишу.



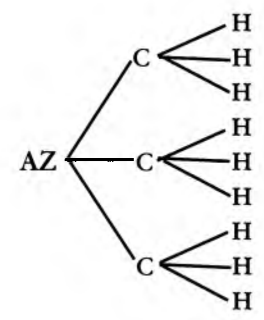
Этот *триметиламин*, он все объясняет. Смысл сновидения связан не только с тем фактом, что Фрейд пытается этот смысл обнаружить. И если Фрейд способен задаваться этим вопросом и дальше, то происходит это в силу рождающегося у него подозрения, что во всем этом налицо общение с Флиссом, согласно хитроумным домыслам которого триметиламин играет определенную роль, связанную с продуктами сексуального обмена веществ. Триметиламин и на самом деле — я навел справки — является продуктом разложения спермы, чем и объясняется свойственный ей при разложении на открытом воздухе аммиачный запах. Сновидение, чьей кульминацией в первый раз, когда *эго* еще было в наличии, стал образ кошмара, который я только что описал, во второй раз, в конце своем, венчается начертанной на стене – по ту сторону всего того, в чем нельзя не признать речь, всеобщую говорильню, – подобной библейскому *Мене, Текел, Фарес,* формулой.

Будучи своего рода оракулом, формула сама по себе не сообщает ответа на что бы то ни было. И лишь сама форма, в которой она преподносится, сам загадочный, герметичный характер ее дают на вопрос о смысле сновидения настоящий ответ. Сформулировать же его можно по образцу известной исламской формулы: *Нет Бога, кроме Бога*. Нет другого слова, другого решения вашей проблемы, кроме самого слова.

Присмотримся же к структуре этого слова, предстающе-

го здесь в форме в высшей степени символической, ибо составлена она из священных знаков.

В этих-то вновь и вновь возникающих перед нами триадах и является в сновидении бессознательное — потустороннее по отношению к любому субъекту. Структура сновидения достаточно ясно свидетельствует, что бессознательное не совпадает с *эго* того, кому сновидение принадлежит, что оно тождественно не тому Фрейду, который продолжает в это время свой разговор с Ирмой, а тому, который прошел через тот момент ужаса, когда собственное Я его идентифицировало себя со всем в наиболее хаотичной, неупорядоченной его форме. Он буквально исчез из виду, апеллируя, как сам он пишет, к совету знающих. Он словно устранился, упразднился, скрылся за их спинами. И вот тут-то и берет слово совсем другой голос. Можно было бы шутки ради порассуждать о кроющихся здесь альфе и омеге, но будь даже здесь вместо A и Z просто N, суть этой белиберды осталась бы прежней, позволив нам, к тому же, наречь именем *Nemo* тот субъект вне субъекта, который демонстрирует нам структуру сна.



Итак, урок, который это сновидение нам преподносит, заключается в следующем: в функционировании сновидения замешано нечто такое, что лежит по ту сторону *эго;* это *нечто* внутри субъекта, которое одновременно причастно субъекту и субъекту не принадлежит, и есть бессознательное.

Инъекция, которую сделал Отто грязным шприцем, теперь мало что для нас значит. Можно было бы придумать немало забавного, играя на повседневном употреблении этого слова, которое окрашено в немецком оттенками,

свойственными у нас, скажем, выражению “пустить струю”. Судя по множеству мелких признаков, уретральный эротизм играл в жизни Фрейда очень важную роль. Когда-нибудь, когда у меня будет подходящее настроение, я докажу вам, что вплоть до самого солидного возраста у Фрейда отчетливо усматриваются признаки чего-то такого, что явно служит откликом воспоминания о том, как он мочился у родителей в комнате, — воспоминания, которому такое большое значение придает Эриксон. Нужно заметить, что там наверняка имелся ночной горшок и навряд ли он писал на пол; сам Фрейд никогда не уточняет, куда именно он писал — в горшок или, скажем, на паркет или ковер. Но это дело десятое.

Действительно же важно другое: сновидение это показывает нам, что аналитические симптомы возникают в потоке речи, стремящемся проложить себе путь. На пути этом она всегда сталкивается с двойным сопротивлением: как со стороны того, что мы сегодня, ввиду недостатка времени, назовем собственным *эго* субъекта, так и со стороны его образа. И пока оба эти препятствия оказывают потоку достаточное сопротивление, они как бы высвечиваются внутри него, искрятся, фосфоресцируют.

Именно это и происходит в первой фазе сновидения, когда Фрейд, готовый вступить со своей пациенткой в своего рода игру, находится в плоскости сопротивления. В один прекрасный момент, когда ему приходится зайти слишком далеко, этому наступает конец. Эриксон здесь не столь уж неправ — Фрейд идет дальше именно потому, что испытывает страстное желание знать.

Какие бы отголоски детства и жизненной предыстории в этом сновидении ни возникали, подлинная бессознательная ценность его состоит в поисках слова, в непосредственном столкновении с потаенной реальностью сновидения, в поисках значения как такового. И лишь в среде своих собратьев по профессии, этого согласия, царящего в республике тех, кто знает, — ибо существует закон, одновременно парадоксальный и обнадеживающий, который состоит в том, что если никто не прав, правы все, — лишь посреди этого хаоса открывается Фрейду, в тот самый первый момент,

когда учение его появилось на свет, смысл сновидения.

Что касается природы Символического, то, чтобы у вас было о ней некоторое представление, ориентир я вам предложу следующий: у символов не бывает иной ценности, кроме ценности символической.

Итак, рубеж перейден. После первой части сновидения, наиболее нагруженной, полной воображаемого материала, Фрейд вступает в конце сновидения в то, что я назвал бы словом *толпа*. Но это не простая толпа — это толпа структурированная, толпа фрейдовская. И потому я предпочел бы здесь ввести еще один термин, который, со всеми присущими ему двусмысленностями, и представляю покуда на ваше рассмотрение — *вмешательство субъектов*.

Субъекты входят и вмешиваются в вещи — это первый смысл. Другой состоит вот в чем: бессознательный феномен, разворачивающийся в символической плоскости и потому по отношению к *эго* обязательно смещенный, всегда протекает между двумя субъектами. И в момент, когда истинная речь, речь-посредница, наконец возникает, она делает эти субъекты неузнаваемо отличными от тех, какими были они до нее. Это означает, что складываться как субъекты речи они начинают лишь с того момента, как эта речь существует, и никакого "до того" у них нет.

9 марта 1955 года

XIV
СНОВИДЕНИЕ ОБ ИНЪЕКЦИИ ИРМЕ
(ОКОНЧАНИЕ)

Воображаемое, Реальное и Символическое.

Что почерпнули вы вчера вечером из доклада Гриоля? Какое он имеет отношение к предметам, которые мы обычно здесь обсуждаем? Кто из вас попытался сделать из него выводы? Каковы ваши впечатления?

Марсель Гриоль вскользь упомянул об исламизации значительной части населения Судана и о том, что в символическом регистре оно функционирует по прежнему, исповедуя в то же время религиозные убеждения, с прежней системой явно не согласованные. Требования их в этом плане принимают очень конкретную форму: они требуют, например, чтобы их обучили арабскому языку, потому что это язык Корана. Перед нами живая, издалека идущая традиция, которая культивируется, похоже, самыми разнообразными средствами. К сожалению, однако, ответов на свои вопросы мы в данном случае не получили.

Не надо думать, будто суданская цивилизация имени цивилизации не заслуживает. Ее творческие достижения и ее метафизика засвидетельствованы достаточно, чтобы усомниться в применимости той единой шкалы, с помощью которой мы столь самонадеянно сравниваем достоинства различных цивилизаций.

Кто из вас прочел последнюю статью Леви-Стросса? Он как раз и дает там понять, что определенные искажения перспективы объясняются тем, что для оценки качества цивилизации, ее своеобразного характера мы всегда пользуемся такой единой шкалой. Условия, в которых эти люди живут, действительно могут показаться, с точки зрения цивилизованности и комфорта, несколько суровыми и опасными, зато в отдельно взятой символической функции они, судя по всему, находят себе твердую опору.

На то, чтобы войти в общение с ними, понадобилось много времени. Здесь можно провести аналогию с нашим собственным положением по отношению к субъекту.

1

Вернемся, однако, к сновидению об инъекции Ирме.

Интересно, хорошо ли вы поняли то, что я говорил в прошлый раз. Что я хотел сказать? Кто-нибудь хочет выступить?

Так вот, насколько мне представляется, я обратил внимание на драматический характер открытия смысла сновидения — открытия, сделанного Фрейдом где-то между 1895 и 1900 гг., т.е. в годы работы над *Толкованием сновидений*. Настаивая на его драматическом характере, я хотел бы в подтверждение привести отрывок из письма Фрейда Флиссу, написанного сразу же после того знаменитого письма №137, в котором он в несколько шутейном тоне, хотя на самом деле это необычайно серьезно, предлагает на память о своем сновидении водрузить на доме табличку, гласящую: *Здесь 24 июля 1895 г. доктор Зигмунд Фрейд разгадал тайну сновидения.*

В письме №138 мы читаем: — *Что касается главных проблем, то все они остаются нерешенными. Все смутно, все плывет, какой-то интеллектуальный ад, присыпанный пеплом, а в темной глубине маячит силуэт Амора-Люцифера.* Перед нами образ волнения, качки, словно весь мир зыблется воображаемыми колебаниями, и в то же время образ огня, где появляется силуэт Люцифера, словно воплощающий собой мучительную сторону всего, испытанного Фрейдом. Вот что пришлось пережить ему в годы, близкие сорокалетию — в тот решающий момент, когда была обнаружена им функция бессознательного.

Опыт этого фундаментального открытия означал для Фрейда мучительное переосмысление самых основ мироздания. Нам нет нужды в дальнейших указаниях на его само-анализ, тем более что в письмах Флиссу он говорит о нем, скорее, намеками, нежели открыто. Он живет в томительной атмосфере, чувствуя опасность, которую несет в себе сделанное им открытие.

Весь смысл сновидения об инъекции Ирме с глубиной этого переживания непосредственно связан. Сновидение включено в это переживание, оно является его этапом. Оно органически входит, именно в качестве сновидения, в сам

процесс фрейдовского открытия, получая, таким образом, двойной смысл. На второй смысловой ступени сновидение это — не просто объект, который Фрейд расшифровывает, это его, Фрейда, речь. Именно это обстоятельство и придает данному сновидению парадигматическую ценность — в противном случае оно навряд ли было бы доказательнее многих других. Основоположная ценность первого расшифрованного сновидения, которую приписывает ему Фрейд, оставалась бы сомнительной, не умей мы прочесть в нем то, что позволило ему дать ответ на вопрос, перед ним стоявший; она оставалась бы далеко по ту сторону всего того, что сам Фрейд способен был на тот момент нам о нем рассказать.

Собственные его оценки, итоговый смысл, который он в этом сновидении обнаруживает, несопоставимы с исторической ценностью, которую он признает за ним, судя по тому месту, которое оно занимает в *Traumdeutung*. Для понимания данного сновидения это очень существенно. Это как раз и позволило нам — я искал тому подтверждения в ваших ответах и не знаю, как мне истолковать ваше молчание, — предложить интерпретацию достаточно убедительную, чтобы к ней не было, надеюсь, нужды возвращаться.

Я все же вернусь к ней, но в несколько иной плоскости.

Мне хочется подчеркнуть, собственно говоря, что я не ограничился рассмотрением самого сновидения, повторно обратившись к предложенному Фрейдом истолкованию, а рассмотрел сновидение и толкование в совокупности, учитывая при этом особую функцию, которую выполняет это истолкование в том, что представляет собой не что иное, как диалог, который Фрейд ведет с нами.

Вот где заключается главный момент — мы не можем отделить от истолкования тот факт, что именно это сновидение Фрейд представляет нам как первый шаг к разгадке тайны сновидения вообще. Именно к нам обращается Фрейд, предлагая это истолкование.

Внимательное изучение этого сновидения способно прояснить тот скользкий вопрос относительно регрессии, который был нами поставлен на позапрошлом занятии.

Мы пользуемся этим понятием все более привычно, хотя мимо нашего внимания не может пройти тот факт, что вся-

кий раз мы как бы накладываем друг на друга в высшей степени различные между собой функции. На самом же деле далеко не все в регрессии обязательно принадлежит одному и тому же регистру, на что указывает нам уже эта, открывающая данную тему глава, говоря о топическом различии (которое, безусловно, сохраняется) регрессии временной и регрессий формальных. На уровне топической регрессии галлюцинаторный характер сновидения вынудил Фрейда артикулировать его, в соответствии с предложенной им схемой, в виде регрессивного процесса, который позволил бы свести определенные психические нужды к самому примитивному, лежащему на уровне восприятия способу выражения. Способ выражения, имеющий место в сновидении, оказался бы тем самым отчасти подчинен требованию использования элементов изобразительных — элементов, которые все более сближались бы с уровнем восприятия. Но почему процесс, который протекает обычно в направлении поступательном, должен непременно упереться в мнезические рубежи, которые представляют собой образы? От качественной плоскости, где восприятие имеет место, образы эти все более и более удаляются; все более скудные, они принимают характер все более и более ассоциативный; все туже сплетаясь в символический узел сходства, тождества и различия, они оказываются по ту сторону того, что принадлежит уровню ассоциаций.

Действительно ли наш анализ изобразительного (figuratif) содержания сновидения об Ирме обязывает нас интерпретировать его в подобном духе? Действительно ли мы должны согласиться с тем, что все происходящее на уровне ассоциативных систем S_1, S_2, S_3 и т. д. вновь возвращается к порогу исходного восприятия? Действительно ли перед нами нечто такое, что вынуждает нас все-таки принять эту схему со всей ее — как правильно заметил Валабрега — парадоксальностью? Ведь говоря о переходе бессознательных процессов в сознательные, мы обязаны помещать сознание на выходе, в то время как восприятие, от сознания в принципе неотделимое, оказывается на входе.

Феноменологическое исследование сновидения об инъекции Ирме позволило выделить в нем две части. Первая

из них завершается появлением кошмарного, внушающего безотчетный страх образа, поистине головы Медузы, откровением чего-то воистину неизреченного, глубин этого горла, чья сложная, не поддающаяся описанию форма делает из него и пучину женского органа, этого первоначального объекта по преимуществу, этого источника всякой жизни, и прорву рта, поглощающего все живое, и образ смерти, где все находит себе конец, — образ, возникающий в связи с болезнью, едва не оказавшейся смертельной, его дочери и со смертью одной из его больных, случившейся вскоре после этой болезни и воспринятой Фрейдом как некая расплата за профессиональную недобросовестность (*одна Матильда вместо другой*, — пишет он). Перед нами, таким образом, явление образа, который внушает ужас, воплощая и соединяя в себе все то, что по праву можно назвать откровением Реального в самом непроницаемом его существе, Реального, не допускающего ни малейшего опосредования, Реального окончательного — того объекта, который, собственно, больше и не объект уже, а нечто такое, перед лицом чего все слова замирают, а понятия бессильны: объект страха по преимуществу.

В первой фазе сна мы, таким образом, наблюдаем Фрейда за выговором, который он делает Ирме, упрекая ее в невнимании к тому, что хочет он ей дать понять. Он рассуждает здесь точь-в-точь в стиле отношений, сложившихся у него в реальной жизни, в стиле страстной — мы бы сказали даже, слишком страстной — исследовательской заинтересованности, и, если судить формально, один из смыслов этого сновидения здесь налицо — шприц был грязный, страсть аналитика, его желание успеха, были слишком навязчивыми, встречный перенос выступал как главное препятствие.

Что же происходит, когда сновидение достигает этой первой своей вершины? Вправе ли мы объяснять глубокое разложение, которому подвергается структура пережитого наяву опыта, ссылаясь на процесс регрессии? Отношения субъекта полностью меняются. Он становится чем-то совершенно другим — Фрейда больше нет, нет больше никого, кто мог бы сказать *я*. Это и есть тот момент, который я назвал входом шута, потому что субъекты, к которым апелли-

рует Фрейд, играют именно эту роль. *Апеллирует* — именно так в тексте. Латинский корень его указывает на юридический смысл этого контекста — Фрейд апеллирует к консенсусу себе подобных, равных себе, своих старших коллег. И это решающий момент.

Так можем ли мы безоговорочно говорить здесь о регрессии, а тем более о регрессии *эго*? Это понятие сильно отличается, кстати говоря, от понятия регрессии инстинктуальной. Понятие регрессии *эго* введено Фрейдом в лекциях, известных под названием *Введение в психоанализ*. В связи с ним и возникает вопрос о том, насколько безоговорочно можем мы пользоваться понятием о типичных этапах *эго* с его фазами, развитием и характеризующими это развитие нормами.

Вопрос этот мы сегодня не решим, но всем вам прекрасно известна работа, которая по этому вопросу может считаться фундаментальной, — я имею в виду труд Анны Фрейд *Я и механизмы защиты*. Надо признать, что при настоящем положении дел мы категорически не вправе вводить понятие о типичном, стилизованном развитии Я. Ведь тогда нужно было бы, чтобы любой механизм защиты, с которым связан некий симптом, уже по самой природе своей указывал бы нам, на каком этапе психического развития Я он фигурирует. Но никакой таблицы — вроде тех, что составляются, и, пожалуй, слишком часто, для характеристики развития отношений инстинктуальных, — мы на сей предмет представить не можем. На данным момент мы решительно неспособны предложить для перечисляемых Анной Фрейд механизмов защиты какой-либо генетической схемы, хотя бы отдаленно напоминающей ту, что может быть получена для развития отношений инстинктуальных.

Именно эту неспособность и пытаются многие авторы как-то компенсировать. Не растерялся в этом смысле и Эриксон. Но действительно ли для объяснения происходящего в сновидении перелома, перехода от одной его фазы к другой, без понятия о регрессии нельзя обойтись? Ведь речь идет не о предшествовавшем состоянии Я, а в буквальном смысле о спектральном разложении функции Я. Этих Я появляется на наших глазах целый ряд. Дело в том, что Я как раз и представляет собой ряд идентификаций, каждая

из которых послужила для субъекта в соответствующий исторический момент его жизни ориентиром — вы найдете это в написанной после *По ту сторону принципа удовольствия* работе *Я и Оно*, в этом поворотном пункте, к изучению которого мы и перейдем, когда завершится наш длинный экскурс в творчество Фрейда на раннем его этапе.

Очевидно, что это спектральное разложение является разложением воображаемым. Именно на это обстоятельство мне хотелось бы теперь обратить ваше внимание.

2

Вслед за *Traumdeutung* в творчестве Фрейда наступает новый этап, на котором он пишет перекликающуюся с *Работами по технике*, которыми мы занимались в прошлом году, статью *Zur Einführung des Narzissmus*, где развивает теорию нарциссизма, — статью, на которую мы не могли не сослаться.

Если теория Фрейда, показывающая, как структурирует нарциссизм все отношения человека с высшим миром, имеет смысл, если мы действительно хотим выяснить ее логические последствия, нам волей-неволей придется столкнуться на этом пути со всем тем, что дало нам за последние годы в исследовании восприятия живыми существами внешнего мира направление, именуемое гештальт-психологией.

В структуризации животного мира господствующая роль принадлежит некоторому числу фундаментальных образов, которыми и задаются его главные силовые линии. Иное дело человеческий мир, структуризация которого, на первый взгляд, чрезвычайно нейтрализована, в высшей степени отрешена от его потребностей. Так вот, фрейдовское понятие нарциссизма дает нам категорию, позволяющую-таки усмотреть определенную связь между структуризацией мира человеческого и животного.

Что пытался я объяснить, говоря о стадии зеркала? А то, что все отрешенное, расчлененное, анархичное в человеке увязывается с его восприятиями в некоей плоскости, где создается совершенно своеобразное напряжение. Началом любого единства, которое усматривает он в объектах, явля-

ется образ его собственного тела. Однако единство этого образа само усматривается им как бы со стороны, и притом в порядке предвосхищения. В результате этой двойственности человека в отношении к самому себе все объекты его мира неизбежно выстраиваются вокруг блуждающей тени его собственного Я. В результате все они приобретают характер принципиально антропоморфный, я бы даже сказал — *эгоморфный*. И лишь в этом усмотрении представляется человеку миг за мигом то идеальное его единство, которое никогда не достигается им и каждое мгновение ускользает от него. Никогда, кроме самых исключительных случаев, объект не является для него последним, окончательным. Но даже и в этих случаях объект предстоит ему как бесповоротно от него отделенный и демонстрирующий ему образ его же собственного, внутри этого мира происходящего распада, как объект, по самой сути своей для него разрушительный, ужасающий, недоступный, не позволяющий ему действительно примириться с миром, соединиться с ним, найти в нем в плане желания свое идеальное восполнение. Желание носит характер принципиально разорванный. Уже сам образ человека привносит в него опосредование, всегда воображаемое, вечно проблематичное и никогда до конца не завершенное. Осуществляется это опосредование серией моментальных переживаний, каждое из которых либо отчуждает человека от себя самого, либо приводит к разрушению и отрицанию объекта.

Если собственным единством обладает воспринимаемый во внешнем мире объект, то единство это создает в человеке состояние напряженности, поскольку себя он начинает воспринимать как желание, и притом желание неудовлетворенное. И наоборот, когда человек усматривает единство в себе, внешний мир разлагается для него, теряет смысл, предстает в виде враждебном и отчужденном. Именно это воображаемое колебание и придает всякому человеческому восприятию тот драматический подтекст, на фоне которого переживается человеком все, в чем субъект действительно заинтересован.

Не обязательно поэтому именно в регрессии искать причину возникающих обыкновенно во сне воображаемых яв-

лений. Лишь по мере того, как сновидение заходит в порядке нарастания страха так далеко, как это только возможно, лишь по мере того, как пережито сближение с Реальным последним и окончательным, становимся мы свидетелями этого воображаемого разложения, являющего собой не что иное, как обнаружение обычных составляющих восприятия. Ибо восприятие — это целостное соотношение с представляющейся человеку картиной, в одной из уголков которой — а то и в нескольких сразу — он обязательно обнаруживает самого себя. Если картина соотношения с миром вообще связывается субъектом с реальностью, то лишь потому, что она включает в себя элементы, представляющие собой различные образы его Я и служащие, таким образом, для него точками привязки, стабилизации, инерции. Именно в этом духе и учу я вас толковать сновидения на контрольных сеансах: самое важное — это разглядеть, где находится Я субъекта.

Именно с этим и сталкиваемся мы уже в *Traumdeutung*, где Фрейд не раз признает, что за тем-то и тем-то скрывается он сам. Так, анализируя в главе, к изучению которой мы приступили, сновидение о замке и испано-американской войне, он замечает: – *Я в этом сновидении совсем не там, где можно было бы предположить. Персонаж, который только что умер, тот комендант, что сопутствует мне, — вот кто я на самом деле.* В момент, когда что-то реальное во всей бесприютности его оказывается, наконец, достигнутым, вторая часть сновидения об Ирме и обнаруживает как раз те фундаментальные составляющие воспринимаемого мира, из которых складываются нарциссические отношения. Объект всегда организован в той или иной степени как образ тела субъекта. В картине восприятия всегда скрывается отражение субъекта, его зеркальный образ — именно он и придает этой картине ее особое качество, ее инерцию. Образ этот замаскирован порой до неузнаваемости. В сновидении, однако, в силу раскрепощения воображаемых отношений, он достаточно легко обнаруживает себя, в особенности когда оказывается достигнута та степень страха, которая рождает в субъекте переживание своей растерзанности, своей изолированности от мира. Отношения человека с

миром поражены глубочайшим, изначальным, в самом основании их лежащим пороком.

Вот что следует из выдвинутой Фрейдом теории нарциссизма — теории, в рамках которой все отношения субъекта, а в особенности отношения либидинальные, окрашиваются в тона некой безысходности. Влюбленность, *Verliebtheit*, в принципе нарциссична. В либидинальном плане любой объект воспринимается исключительно через сетку нарциссических отношений.

Что же происходит, когда на наших глазах субъект подменяется многоглавым субъектом, субъектом-поликефалом — толпой, о которой я вам говорил в прошлый раз, той фрейдовской толпой, о которой читаем мы в *Massenpsychologie und Ich-Analyse*, толпой, возникшей в результате умножения субъекта путем раскрытия, развертывания различных идентификаций *эго*? Первым делом нам представляется, что мы являемся свидетелями упразднения разрушения субъекта как такового. Субъект, преображенный в поликефала, приобретает черты акефала, субъекта обезглавленного. Если существует образ, который мог бы воплотить в себе фрейдовское представление о бессознательном, то это, разумеется, и есть образ субъекта-акефала — субъекта, у которого нет больше *эго*, субъекта за пределами *эго*, субъекта, смещенного по отношению к *эго*, не имеющего в нем части, но при всем том субъекта говорящего, ибо именно он внушает действующим во сне персонажам те лишенные смысла речи, в бессмысленном характере которых и кроется как раз источник их смысла.

Посмотрите: в момент, когда какофония речей многочисленных *эго* достигает апогея, предметом, который в препирательствах этих Фрейда интересует, является его собственная виновность, в данном случае по отношению к Ирме. Когда объект, так сказать, разрушается, виновность, о которой идет речь, упраздняется вместе с ним. Здесь, как в истории с прохудившимся котелком, преступления не было, потому что, во-первых, жертва— о чем сновидение говорит на все лады — была уже мертвой, то есть больной органическим заболеванием, лечение которого было не в компетенции Фрейда; во-вторых, убийца, Фрейд, неповинен был

в каком-либо намерении причинить ей зло; и, в-третьих, преступление, о котором идет речь, пошло больной лишь на пользу, так как дизентерия (здесь налицо игра слов дифтерия–дизентерия) пойдет ей только на пользу: все болезненное, все дурные соки в организме уйдут вместе с ней.

Все это ассоциируется у Фрейда с потешным случаем, о котором услышал он за несколько дней до этого сна. Одному врачу, отличавшемуся категоричностью и безапелляционностью суждений, и в то же время необыкновенно рассеянному — доктора, дающие советы больному, как были, так и остались персонажами комедийными, — в ответ на высказанное им мнение возразили, что у пациента в моче был обнаружен альбумин. *Отлично* — не растерялся тот, — *с ней он и выйдет.*

Именно к такому результату сновидение, по сути дела, и приходит. Введение в действие символической системы и радикальное, абсолютное ее использование аннулировали действия индивида настолько коренным образом, что устранены, упразднены оказались тем самым и его трагические отношения с миром. Формула *все реальное рационально* получает здесь свой абсурдный и парадоксальный эквивалент.

Чисто философский подход к миру и вправду может привести нас к своего рода атараксии, где каждый индивид находит оправдание в побудивших его к действию мотивах, которые рассматриваются при этом как фактор, подчиняющий его поведение без остатка. Любое действие, будучи хитростью разума, не хуже любого другого. Как видим, предельное использование принципиально символического характера всякой истины делает бессмысленной саму нашу связь с ней. Включенный в ход вещей и работу разума, субъект с самого начала оказывается заключенной внутри этой системы пешкой, лишенной всякой возможности драматического — а значит и трагического — участия в реализации истины.

Перед нами здесь нечто предельное, нечто лежащее у последних границ сновидения. Именно в обретении полной невинности и усматривает Фрейд тайную пружину своего сновидения, цель, преследуемую тем, что назвал он структурирующим желанием. Что, в свою очередь, и понуждает нас задаться вопросом о том, как соединяются между собою Воображаемое и Символическое.

3

Что касается опосредующей функции Символического, то я уже обращал на нее ваше внимание, когда, пытаясь построить механическую модель отношений между людьми, обратился за помощью к последним достижениям кибернетики. Я предположил тогда, что существует некоторое количество искусственных субъектов, каждый из которых пленен образом себе подобного. Чтобы система не обратилась в огромную концентрическую галлюцинацию все более и более сильного парализующего воздействия, чтобы она работала безостановочно, необходимо было вмешательство третьей, регулирующей стороны, которая создала бы между субъектами некую дистанцию приказного порядка.

Теперь, глядя под другим углом зрения, мы обнаруживаем то же самое: любая воображаемая связь неизбежно подчиняет субъект и объект отношениям типа *ты или я*. То есть: *если это ты, то меня нет*. Или: *если это я, то нет тебя*. Вот здесь-то и вмешивается символический элемент. В воображаемом плане объекты всегда предстают человеку в отношениях взаимной утраты. Человек узнает в них свое единство, но лишь вне себя самого. И по мере того, как он это единство узнает, он чувствует себя по отношению к нему потерянным.

Эта потерянность, эта расчлененность, эта фундаментальная рассогласованность, эта принципиальная неадаптированность, эта анархия, открывающая любую возможность смещения, то есть ошибки, для человеческой жизни на уровне инстинктов как раз и характерна— уже сам опыт психоанализа нам об этом свидетельствует. Более того, если любой объект постигается исключительно как призрак, призрак единства, которое в воображаемом плане удержано быть не может, то объектное отношение неизбежно несет на себе печать принципиальной недостоверности. Именно это обнаруживаем мы на опыте во множестве переживаний, называть которые психопатологическими навряд ли имеет смысл, поскольку они вплотную примыкают к другим, которые обыкновенно признаются нормальными.

Вот здесь-то символические отношения и вступают в

игру. Способность именовать объекты дает восприятию определенную структуру. Человеческое *percipi* обретает устойчивость лишь внутри зоны именования. Лишь посредством именования способен человек сохранять объекты в некотором постоянстве. Если бы его связь с ними была исключительно нарциссической, длительность восприятия их была бы мгновенной. Слово, именующее слово — вот залог идентичности. И отвечает оно не пространственной определенности объекта, всегда готового раствориться в идентификации с субъектом, а его временному измерению. Объект, возникший в какой-то миг как подобие человеческого субъекта, двойник его, сохраняет, тем не менее, во времени некоторое постоянство облика, которое, однако, ввиду бренности всех вещей, не в состоянии длиться до бесконечности. Эта пребывающая некоторое время без изменения видимость иначе, как посредством имени, не узнаваема. Имя — это время объекта. Именование есть заключение договора, по которому два субъекта одновременно соглашаются признать один и тот же объект. Пока субъект не наречет имена — как сделал он это, согласно книге Бытия, в земном Раю — хотя бы главным видам, пока субъекты в этом акте признания не достигнут согласия, ни о каком мире, даже чувственном, который продержался бы дольше мгновения, не может идти и речи. Именно здесь происходит возникновение символического измерения по отношению к измерению воображаемому, его согласие с ним.

Что касается сновидения об инъекции Ирме, то как раз в тот момент его, когда мир сновидца до конца погружается в воображаемый хаос, и наступает черед речи, речи как таковой, независимо от ее смысла, потому что речь эта абсолютно бессмысленна. И оказывается тогда, что субъекта нет больше — он разлагается, исчезает. В сновидении этом налицо признание того, что за неким пределом субъект неизбежно выступает как акефальный, обезглавленный. На этот предел и указывают нам буквы *AZ* в формуле триметиламина. Именно здесь и находится в этот момент *я* субъекта. И почти в шутку, не без колебания, едва ли не в качестве *Witz* (остроты), предложил я рассматривать этот момент как окончательную разгадку, последнее слово этого сна. В момент, когда гидра поте-

ряла все свои головы, голос, *который теперь ничей*, выводит формулу триметиламина как окончательное, всему подводящее итог слово. И все, что слово это хочет сказать, сводится к тому, что оно не что иное, как слово.

Все это по характеру своему напоминает бред и, в сущности, бред и есть. Точнее, это было бы бредом, если бы субъект по имени Фрейд, один, сам по себе, анализируя свое сновидение, попытался бы, уподобившись мастеру оккультных наук, найти в нем тайные указания на некое место, где скрыта разгадка тайны субъекта и мира в целом. Но он вовсе не одинок. Сообщая нам разгадку этой люциферовской тайны, Фрейд не находится со своим сновидением наедине. И подобно тому, как сновидение, увиденное в период анализа, адресуется аналитику, Фрейд в этом сновидении обращается уже ко всем нам.

Да, для всего сообщества психологов и антропологов видит он этот сон. Именно к нам обращается он с его толкованием. И если, видя в последнем, абсурдном слове сновидения слово-разгадку, мы не сводим его тем самым к чистой воды бреду, то лишь потому, что это Фрейд позволяет нам посредством этого сновидения себя расслышать, нас направляет он на верный путь к предмету своих стремлений, к пониманию сновидения. Не для себя одного обнаруживает он это *Nemo*, эту альфу и омегу субъекта-акефала, представляющего собой его бессознательное. Зато говорит посредством этого сновидения именно он, обнаруживая при этом, что сообщает нам — того не желая, о том поначалу даже не подозревая и узнавая об этом лишь во время анализа сновидения, то есть в процессе обращенной к нам речи — нечто такое, что одновременно и есть и больше не есть он сам: — *Я тот, кто просит прощения за дерзость, с которой первым осмелился взяться за лечение больных, которых до меня не желали понять и не позволяли себе лечить. Я тот, кому нужно за это прощение. Я тот, кто не хочет нести за это вину, ибо вина неминуемо ложится на того, кто первым переступает пределы, прежде положенные человеческой деятельности. Я не хочу быть этим виновным. В таком же положении, что и я, находятся все остальные. Я лишь представитель того широкого, неопределенного движения, что именуется поисками исти-*

ны — движения, где я исчезаю бесследно. Теперь я ничто. Мои амбиции были больше меня. Шприц, конечно же, был грязный. Именно поскольку я этого слишком желал, поскольку в этом деле участвовал, поскольку хотел выступить в роли творца и создателя, я как раз творцом не являюсь. Творец — это больший меня. Это мое бессознательное, та речь, которая во мне, по ту сторону моего Я, сказывается.

Вот смысл этого сновидения.

Анализ, который мы сейчас проделали, позволит нам пойти дальше и составить себе правильное представление об инстинкте смерти и отношении его к символу — к той речи, которая имеет в субъекте место, не будучи при этом собственной его речью. Вот вопрос, которым предстоит заниматься нам до тех пор, пока он не примет в наших делах более определенные очертания и мы не сможем, в свою очередь, попытаться представить себе ту схему, по которой инстинкт смерти функционирует. Уже сейчас начинаем мы понимать, почему по ту сторону принципа удовольствия, который постулирует Фрейд в качестве начала, регулирующего меру Я и устанавливающую отношения сознания с внешним миром, где это Я пребывает, не может не существовать инстинкт смерти. По ту сторону гомеостазов Я существует другое измерение, другое течение, другая необходимость, рассматривать которую нужно в иной, ее собственной плоскости. Это навязчивое стремление к возвращению со стороны чего-то такого, что было исключено из субъекта или никогда не входило в него, это *Verdrängt*, вытесненное — вместить его в рамки принципа удовольствия мы не в силах. Если Я как таковое вообще обнаруживает и узнает себя, то происходит это лишь потому, что по ту сторону *эго* есть и нечто другое — бессознательное, говорящий субъект, субъекту неведомый. А это значит, что необходимо предположить еще одно, иное начало.

Почему Фрейд назвал это начало инстинктом смерти?

Именно это и попытаемся мы выяснить при следующих наших встречах.

16 марта 1955 года.

ПО ТУ СТОРОНУ ВООБРАЖАЕМОГО – СИМВОЛИЧЕСКОЕ, ИЛИ ОТ МАЛЕНЬКОГО ДРУГОГО К БОЛЬШОМУ

XV
ЧЕТ ИЛИ НЕЧЕТ? ПО ТУ СТОРОНУ ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОСТИ

Последнее quod.
Играющая машина.
Память и припоминание.
Введение в Украденное письмо.

Я сожалею, что наш друг Риге сегодня не с нами, ибо мы затронем вопросы, на которые ему удалось бы, возможно, пролить некоторый свет. Мы вновь собираемся коснуться предмета, невразумительно именуемого кибернетикой, но в высшей степени интересного для нас в связи с маленькой проблемой, над которой мы бьемся вот уже два семинара: *что такое субъект*? Субъект в техническом, фрейдовском смысле этого слова, то есть субъект бессознательного – субъект, к сути которого принадлежит то, что он говорит.

Так вот, чем дальше, тем яснее становится, что субъект, который говорит, находится по ту сторону *эго*.

1

Начнем с кульминации нашего образцового сновидения об инъекции Ирме. Поиск, который ведет сновидение, будучи продолжением поиска, который велся наяву, обрывается перед зияющей пропастью открытого рта, в глубине которого встречает Фрейда тот сложный и внушающий ужас образ, который уже сравнили мы с головой Медузы.

Пример этого сновидения не единственный. Находящимся здесь участникам моего прошлогоднего семинара наверняка придет здесь на память особый характер сновидения “человека с волками”, который в анализе этого случая, взятом как целое, занимает место вполне аналогичное той кульминационной точке, которую обнаружили мы в сновидении об инъекции Ирме. Ведь возникает оно у “человека с волками” после долгого периода анализа, который сам Фрейд характеризует как чрезвычайно интеллектуализированный (слово, отсутствующее у него в тексте, но отлично передающее его мысль), как своего рода аналитическую игру, которая, являя собой искреннюю попытку субъекта

найти ответ, остается долгое время поверхностной и как бы бездейственной. Анализ стоит на месте и кажется уже бесконечным, как вдруг является это, возобновленное в связи с определенным событием в жизни субъекта, сновидение – сновидение, приобретшее особое значение в связи тем, что начиная с определенного периода детства оно повторялось неоднократно.

Что же это сновидение собой представляет? За неожиданно распахивающимся окном открывается зрелище дерева, на ветвях которого сидят волки. В сновидении, как и на сделанном субъектом и воспроизведенном Фрейдом рисунке, волки эти выглядят настолько загадочно, что мы вправе усомниться в том, волки ли это, так как хвосты у них, на чем мы ранее уже останавливались, удивительно похожи на лисьи. Вы уже знаете, что сновидение это исключительно богато по содержанию и что вызванные им ассоциации позволят Фрейду и его пациенту ни больше и не меньше, как восстановить, путем чистого предположения и реконструкции, первоначальную сцену.

Первоначальная сцена восстанавливается исходя из возникающих в ходе анализа сопоставлений, она не переживается вновь. В памяти субъекта (относительно термина «память» разговор у нас еще впереди) ничего, что позволило бы говорить о воскрешении этой сцены, не возникает, но буквально все вселяет в нас убеждение, что именно так она и разыгрывалась. И с этой точки зрения провал между этой сценой, с одной стороны, и тем, что переживает субъект в сновидении, с другой, куда более многозначителен, нежели нормальная дистанция, отделяющая латентное содержание сновидения от содержания явного. В обоих случаях, тем не менее, мы имеем дело с видением, которое приводит субъекта в оцепенение, на какое-то время пленяя его, сводя его на нет.

В видении этом предстоит субъекту, по мнению Фрейда, его собственый оцепеневший взгляд. Во взгляде волков, внушающих рассказчику сновидения, судя по словам его, такой страх, Фрейд видит эквивалент детского взгляда, оцепеневшего при виде сцены, которая запечатлелась в воображении ребенка необычайно глубоко и на уровне инс-

тинктов вызвала в его жизни серьезные сдвиги. Перед нами своего рода откровение субъекта, откровение уникальное и решающее — откровение, в котором сосредоточено нечто неизреченное, в котором субъект на какое-то мгновение лопается, исчезает из вида. Как и в сновидении об инъекции Ирме, субъект здесь разлагается, растворяется, распадается на несколько самостоятельных *я*. После сновидения "человека с волками" мы становимся к тому же свидетелями первых шагов анализа, позволяющего разложить внутри субъекта на составные элемент личность настолько сложную, что даже на стиль описания она накладывает в данном случае оригинальный свой отпечаток. Как вы знаете, проблемы, сопряженные с этим анализом, окажутся столь серьезными, что впоследствии личности этой суждено будет стать жертвой психоза. Как я уже говорил вам, здесь законно встает вопрос о том, не связан ли этот последний с той тактикой, которая в анализе применялась.

В обоих сновидениях перед нами своего рода предельное переживание, трепетное предвосхищение последнего, окончательного Реального. Все то, что в жизни Фрейда, его отношениях с женщинами, его отношениях со смертью служило для него источником наибольшей тревоги, оказалось в центральном видении этого сна спрессовано воедино и в принципе, путем ассоциативного анализа, могло бы быть из него выведено. Это и есть тот загадочный образ, в связи с которым Фрейд упоминает о пупе сновидения, о той глубинной связи с неведомым, которой всякое привилегированное, исключительное переживание оказывается отмечено, где некое Реальное воспринимается помимо всякого, будь то воображаемого или символического, опосредования. Можно сказать, одним словом, что исключительные переживания подобного рода (в особенности, похоже, это касается сновидений) характеризуются тем, что в них устанавливаются отношения с абсолютным другим – с другим, какой бы то ни было интерсубъективности совершенно потусторонним.

То, что является для межсубъектных отношений потусторонним, достигается преимущественно в плане воображаемого. Речь идет о чем-то лишенном всякого подобия

в принципе, что, не являясь ни дополнением подобного, ни его восполнением, представляет собой образ субъекта по самому существу своему вывихнутого, растерзанного. Субъект уходит теперь по ту сторону того стекла, в котором является ему, среди других, его собственный образ. Исчезает все, что выступает посредником между субъектом и миром. Возникает чувство, что налицо переход в нечто а-логическое, но тут-то как раз проблема и возникает, ибо мы видим, что нас-то самих там нет. *Логос*, между тем, окончательно своих прав не теряет — ведь именно в этот момент и проявляется главное значение сна, его высвобождающая роль, именно после этого находит Фрейд способ избавиться от подспудного чувства вины. То же происходит и с пациентом Фрейда: лишь оставив кошмарное переживание сновидения с волками позади, наконец, ему удается найти ключ к своим проблемам.

Это и есть тот самый вопрос, с которым столкнулись мы в нашем маленьком ученом собрании вчера вечером – в какой мере символическая связь, связь языковая, сохраняет свое значение по ту сторону субъекта, о котором справедливо было бы сказать, что в центре его самим же *ego* поставлено *ego,* предназначенное для *alter-ego*?

Человеческое познание, а тем самым и вся сфера связей сознания, определяется опредмеченными отношениями с той структурой, которую мы называем *эго* — структурой, вокруг которой строятся наши воображаемые отношения. Эти последние научили нас тому, что просто субъектом *эго* никогда не является, что по существу своему оно представляет собой соотношение с *другим*, что именно в *другом* берет оно свое начало и получает точку опоры. Именно из этого *эго* все объекты рассматриваются.

Но лишь субъекту, субъекту изначально рассогласованному с этим *эго*, им расчлененному, бывают объекты желанны. Субъект не может желать, не претерпев при этом распада и не видя тем самым, как в череде бесконечных смещений – я имею здесь в виду то, что можно кратко назвать фундаментальной неупорядоченностью человеческих инстинктов, — объект этот от него ускользает. Именно в напряженных взаимоотношениях между субъектом – кото-

рый не мог бы желать, не будучи принципиально со своим объектом в разлуке, – и *эго*, откуда на объект этот направлен взгляд, берет свое начало диалектика сознания.

Я попытался сейчас создать на ваших глазах миф о сознании без *эго* — того *эго*, определить которое можно как отражение горы в озере. Ведь появляется оно, *эго*, в мире объектов – в качестве, конечно, объекта привилегированного. Человеческое сознание и есть по сути дела не что иное, как напряжение между двумя полюсами: отчужденным от субъекта *эго*, с одной стороны, и восприятием, которое принципиально от него ускользает, чистым *percipi*, с другой. Если бы не *эго*, которое словно из самого восприятия этого вызывает субъекта к жизни в напряженном ему противостоянии, субъект был бы этому восприятию строго тождествен. При определенных условиях воображаемое противостояние это достигает того предела, за которым *эго* испаряется, растворяется, распадается, разлагается. Субъект оказывается вынужден столкнуться лицом к лицу с тем, что с повседневным опытом восприятия несопоставимо, что мы могли бы назвать словом *id*, но будем, во избежание путаницы, именовать просто *quod*, или *что это такое?* Вопрос, которым мы займемся сегодня, как раз и касается встречи субъекта по ту сторону *эго* с тем *quod*, которое в анализе стремится выйти на свет.

Но законно ли вообще задаваться вопросом о *quod* окончательном, о *quod* опыта бессознательного субъекта как такового — субъекта, о котором мы понятия не имеем, что он собой представляет? Сама эволюция анализа ставит нас здесь в положение крайне затруднительное, поскольку те самые тенденции субъекта, которые рассматриваются анализом как последние, ни к чему не сводимые данные, предстают вместе с тем как проницаемые, преодолимые и структурированные в качестве означающих в той игре, которую по ту сторону Реального, в регистре смысла, используя эквивалентность означающего и означаемого в его наиболее материальном аспекте, игру слов, шутки, каламбуры, тот же анализ ведет — итогом чего становится, в конечном счете, упразднение гуманитарных наук, ибо последнее слово игры слов состоит в том, чтобы продемонстрировать верховную

власть субъекта над самим означающим, проделывая с ним что угодно, играя с ним с единственной целью уничтожить его.

Существует одна очень поучительная для нас сфера опыта, на которую мне хотелось бы обратить ваше внимание и которая станет для нас первым шагом в выяснении того, о чем именно вопрошает непонятный нам *quis* в той потусторонней для воображаемых отношений области, где другой отсутствует, а интерсубъективность исчезает бесследно.

2

Вы прекрасно знаете, какое значение придается в кибернетике вычислительным машинам. Дело дошло до того, что их назвали машинами мыслящими, поскольку иные из них действительно способны решать некоторые проблемы логики. Надо сказать, впрочем, что проблемы эти специально сформулированы так, чтобы сбить человеческий разум на какое-то мгновение с толку, так что неудивительно, если машины эти справляются с ними ловчее нас.

Но сегодня мы в эти арканы углубляться не станем. Напролом здесь идти бесполезно, и чтобы вы с самого начала не почувствовали к этому занятию отвращения, я попытаюсь ввести вас в эту область, придумав что-нибудь занимательное. К занимательной физике и математике мы всегда относились с уважением – они способны нам дать очень многое.

Наряду с машинами думающими и вычислительными люди придумали еще один, заманчивый своей оригинальностью тип – это машины играющие, поведение которых вписано в рамки определенной стратегии.

Уже сам факт, что машина может следовать некоей стратегии, ставит нас напрямую перед нашей проблемой. Ведь что, собственно, такое стратегия? Каким образом может машина принимать в ней участие? Я попытаюсь сегодня помочь вам ощутить некоторые элементарные вещи, которые отсюда следуют.

Насколько я слышал, создана уже машина, которая играет в чет и нечет. Поручиться за это я не могу, так как своими

глазами ее не видел, но обещаю, что когда наши семинары закончатся, непременно пойду на нее посмотреть – мой друг Риге заверил меня, что он нашу встречу устроит. О таких вещах нужно знать на собственном опыте – нельзя говорить о машинах, не присмотревшись к ним, не увидев, что они дают, не сделав для себя несколько, пусть наивных, открытий. Самое удивительное, что машине, о которой я рассказываю, удается выигрывать! В чем состоит игра, вы знаете, если школьные годы не выветрились еще из вашей памяти. Зажав в кулаке два или три шарика, вы протягиваете его противнику со словами: *чет или нечет?* Если у вас, скажем, два шарика, а он говорит *нечет*, то он должен вам один шарик отдать, после чего игра продолжается.

Попробуем на минутку представить себе, что означает способность машины играть в чет и нечет. Мы не можем из собственной головы все с самого начала воспроизвести – это было бы в данных обстоятельствах праздным занятием. На помощь нам, однако, придет один текст Эдгара По, некоторый интерес к которому кибернетики, насколько я заметил, уже проявляли. Текст этот можно найти в рассказе *Украденное письмо* – вещи, бесспорно, сенсационной, а для психоаналитика, можно сказать, основополагающей.

Поисками украденного письма, к которому я вскоре вернусь, занимаются в рассказе два героя. Один из них префект полиции – то есть, как и положено по литературным канонам, полный тупица. Другой никакой должности не занимает – это сыщик-любитель, по имени Дюпен, человек поразительного ума, прообраз Шерлока Холмса и других подобных ему героев, с которыми вы и по сей день коротаете ваш досуг. Рассуждает этот герой следующим образом:

«Мне знаком восьмилетний мальчуган, чья способность верно угадывать в игре "чет и нечет" снискала ему всеобщее восхищение. Это очень простая игра: один из играющих зажимает в кулаке несколько камешков и спрашивает у другого, четное ли их количество он держит или нечетное. Если второй играющий угадает правильно, то он выигрывает камешек, если же неправильно, то проигрывает. Мальчик, о котором я упомянул, обыграл всех своих школьных товарищей. Разумеется, он строил свои догадки на каких-то принципах, и эти последние заключались лишь в том, что

он внимательно следил за своим противником и правильно оценивал степень его хитрости. Например, его заведомо глупый противник поднимает кулак и спрашивает: "Чет или нечет?" Наш школьник отвечает "нечет" и проигрывает. Однако в следующей попытке он выигрывает, потому что говорит себе: "Этот дурак взял в прошлый раз четное количество камешков и, конечно, думает, что отлично схитрит, если теперь возьмет нечетное количество. Поэтому опять скажу – нечет!" Он говорит "нечет!" и выигрывает. С противником чуть поумнее он рассуждал бы так: "Этот мальчик заметил, что я сейчас сказал "нечет", и теперь он сначала захочет изменить четное количество камешков на нечетное, но тут же спохватится, что это слишком просто, и оставит их количество прежним. Поэтому я скажу – "чет!"" Он говорит "чет" и выигрывает. Вот ход логических рассуждений маленького мальчика, которого его товарищи окрестили "счастливчиком". Но, в сущности говоря, что это такое?

– *Всего только, – ответил я, – уменье полностью отождествить свой интеллект с интеллектом противника.*

– *Вот именно, – сказал Дюпен. – А когда я спросил у мальчика, каким способом он достигает столь полного отождествления, которому он и обязан своим успехом, , тот ответил следующее: "Когда я хочу узнать, насколько умен, или глуп, или добр, или зол вот этот мальчик или о чем он сейчас думает, я стараюсь придать своему лицу точно такое же выражение, которое вижу на его лице, а потом жду, чтобы узнать, какие мысли или чувства у меня в соответствии с этим выражением возникнут." Этот ответ маленького школьника заключает в себе все, что скрывается под мнимой глубиной, которую усматривали у Ларошфуко, Лабрюйера, Макиавелли и Кампанеллы.*

– *А отождествление интеллекта того, кто рассуждает, с интеллектом его противника, – сказал я, – зависит, если я правильно Вас понял, от точности, с какой оценен интеллект этого последнего».*

Такой способ рассуждать ставит перед нами целый ряд проблем.

На первый взгляд, речь идет о простом психологическом проникновении, своего рода мимесисе со стороны эго. Субъект занимает в зеркале определенное положение, позволяющее ему угадывать поведение своего противника. Тем не менее сам метод этот предполагает наличие еще одного измерения — измерения интерсубъективности: субъ-

ект должен знать, что перед ним находится другой субъект, в принципе однородный ему. Вариативные особенности, носителем, субъектом которых он может оказаться, куда менее важны здесь по сравнению с временн*ы*ми тактами, в которых позиция другого может меняться. Другой опоры для психологической аргументации найти нельзя.

Каковы же эти такты? В первом из них я предполагаю, что другой субъект находится точно в том же положении, что и я, думая то же, что думаю я в тот самый момент, когда я об этом думаю. Допустим, мне показалось, что другому было бы естественнее изменить выбор – перейти, скажем, от чета к нечету. В первом такте я предполагаю, что он именно так и поступит. Важно, однако, что может иметь место и второй такт, в котором субъективность обнаруживается в куда более чистом виде. Субъект способен здесь, поставив себя на место другого, сообразить, что тот, будучи его другим я, думает как и он сам и что ему необходимо занять какую-то третью позицию, выйти из этого другого, являющего собой лишь его собственное зеркальное отражение. В качестве третьего я обнаруживаю, что если этот другой от перемены выбора воздержится, то противник окажется обманут. И тогда я опережаю его, делая ставку на позицию противоположную той, которая казалась мне на протяжении первого такта наиболее естественной.

Можно, однако, предположить, что за вторым тактом следует третий, делающий продолжение такого рода рассуждения по аналогии чрезвычайно трудным. В конце концов какой-нибудь умник всегда может сообразить, что вся хитрость в том и состоит, чтобы делая умный вид, играть как дурачок, возвращаясь, таким образом, к первой формуле. Что это означает? А вот что. Пока игра в чет и нечет идет на уровне пары играющих, эквивалентных друг другу как *ego* и его *alter ego*, легко убедиться, что на вторую ступень игру вывести невозможно, поскольку стоит вам подумать о третьей, как вы тут же колебательным движением отбрасываетесь на первую. Это не исключает возможности того, что в самой технике игры найдется нечто такое, что мифической идентификации с противником будет способствовать. Но отсюда ведут два принципиально различных пути.

Можно, конечно, допустить, что имеет место нечто вроде угадывания (что, кстати, весьма проблематично) субъектом намерений своего противника путем своего рода симпатической связи с ним. Не исключено, что мальчишка наш, выигрывавший чаще, чем по статистике полагалось, – что, кстати, и является единственным подходящим в данном случае определением слова «выигрывать» – действительно существовал. Суть проблемы следует, однако, искать не в воображаемой интерсубъективности, а в совершенно ином регистре.

То, что субъект представляет себе другого себе подобным и рассуждает именно так, как, по его мнению, должен рассуждать тот – в первом такте так, во втором эдак, – является исходным положением, обойтись без которого просто нельзя. Положения этого, тем не менее, совершенно не достаточно, чтобы дать нам хоть какой-то ключ к пониманию того, где может таиться залог успеха. Значение психологического опыта я в этом случае не исключаю, но опыт этот, ограниченный хрупкими рамками воображаемых взаимоотношений с другим, заведомо недостоверен. Внутри этих рамок любой опыт безнадежно от нас ускользает. Никакому логическому анализу он не поддается. Вспомните диалектику игры с черными и белыми кругами на спинах трех персонажей, каждый из которых должен, видя круги на спинах товарищей, угадать цвет своего собственного – вы легко убедитесь, что здесь перед нами явление того же порядка.

Мы пойдем другим путем – путем, поддающимся логическому расчету и словесному обоснованию. Если партнером вашим является машина, то без него вам, очевидно, не обойтись.

Совершенно ясно, что интересоваться тем, является ли машина умной или глупой, повинуется ли первому импульсу или второму, совершенно бессмысленно Что касается машины, то и она, в свою очередь, не реагирует на поведение своего человеческого партнера.

Что значит играть с машиной? Внешний облик ее, сколь бы привлекательным он ни был, мало что нам подскажет. Выйти из положения, попытавшись с ней идентифицироваться, мы не можем. В результате нам с самого начала оста-

ется лишь путь языка, путь расчета возможной для машины комбинаторики. Как известно, благодаря удивительным, работающим на принципах электроники, реле, а также транзисторам, о которых (в коммерческих, разумеется, целях, но не ставя ни под малейшее сомнение качество этих изделий) прожужжали нам все уши журналы, машина способна осуществить целую серию соединений с исключительной быстротой.

Но прежде чем угадывать, что станет делать машина, спросим себя, в чем же именно проигрыш или выигрыш в чет и нечет состоит.

В отношении одной-единственной партии рассуждать об этом просто нет смысла. Если ответ ваш действительно соответствует тому, что находится у вашего противника в руке, то это ничуть не более удивительно, чем если бы дело обстояло наоборот. Относительно одной попытки говорить о проигрыше и выигрыше – дело чисто условное. *Чет, нечет* – все это на самом деле здесь совершенно не важно. Вспомните, хотя бы, что лучшим воплощением нечетного номера служит номер второй, который радуется тому, что он нечетный, и не напрасно, так если бы повода для радости это не давало, он не был бы и четным тоже. Стоит, таким образом, преобразовать эту игру в другую, типа «проигравший выигрывает», чтобы эквивалентность проигрыша и выигрыша стала здесь очевидной.

Что более удивительно, так это проиграть или выиграть два раза подряд. Ибо если в первой попытке вероятность того и другого составляет 50%, то вероятность повторить результат во второй попытке составляет лишь 25%.

+ +
– –
+ –
– +

Что же касается третьей попытки, то здесь вероятность очередного подряд выигрыша или проигрыша падает до 12,5%.

Все это, впрочем, чистая теория, так как, обратите внимание, мы вовсе не находимся теперь в области реального – мы находимся в регистре символического значения, ко-

торое сами же посредством этих минусов-плюсов и задали. С точки зрения Реального шансы выиграть и проиграть в каждой очередной попытке одни и те же. Само понятие вероятности и шанса предполагает введение в Реальное некоторого символа. В Реальном каждая очередная попытка дает вам те же шансы выигрыша и проигрыша, что и предыдущая. Вполне может оказаться, что вы по чистой случайности выиграете десять раз подряд. Смысл во всем этом появляется не раньше, чем вы пишете некий знак, и пока некому его написать, ни о каком выигрыше нечего говорить. Чтобы практика игры, которую мы стремимся осуществить, стала реальностью, необходимо соглашение об ее условиях.

Посмотрим теперь, как будет обстоять дело с машиной.

Забавно, что вы волей-неволей прибегаете в этой ситуации к тем же жестам, что и в общении с живым партнером. Нажимая кнопку, вы задаете ей вопрос относительно того *quod*, что зажато в вашей руке и что ей предстоит отгадать. Уже одно это наводит на мысль, что *quod* это является отнюдь не реальностью, а символом. Именно о символе вы и задаете вопрос этой машине, структура которой определенно должна быть символическому порядку родственна – недаром является она играющей машиной, машиной стратегической. Впрочем, в детали мы теперь углубляться не станем.

Машина сконструирована таким образом, что она выдает вам ответ. Допустим, в руке у вас *плюс*. Машина отвечает *минус*. Она проиграла. Факт ее проигрыша состоит исключительно в различии *плюса* и *минуса*.

Далее вы должны сообщить машине, что она проиграла, введя в нее этот *минус*. Я не знаю точно, так ли именно эта машина работает, но мне это, в сущности, все равно – по-другому она работать не может; даже если она и работает другим способом, он будет вышеописанному равнозначен.

В принципе машина эта призвана меня обыграть – как она этого добивается? Полагается на случай? Это бессмыслица. Может случиться, к примеру, что она отвечает одно и то же на первые три вопроса подряд – дело не в этом. Последовательность ее ответов – вот на чем, в первую очередь, этот феномен основан.

Предположим, что поначалу машина ведет себя исключительно глупо – умная она или глупая, не имеет значения, так как верх ума в том и состоит, чтобы быть глупцом. Допустим, для начала, что машина все время отвечает одно и то же. Представим себе далее, что я, как умница, говорю *плюс*. Когда она дважды отвечает мне *минус*, это наводит меня на верный путь. Я говорю себе, что машина, должно быть, несколько инертна – с таким же успехом я мог бы сказать себе и нечто прямо противоположное, – и в результате машина, допустим, проигрывает в третий раз.

И вот здесь машина обязательно должна как-то отреагировать на тот факт, что несколько конов нами уже сыграно В этот момент должен прийти в действие какой-то внутренний механизм, зарегистрировавший в ней три проигрыша подряд – я не уверен, что она устроена именно так, но я вправе это предположить. С другой стороны, будучи чрезвычайно (но все же не настолько) умен, я могу предположить, что машина меняет ответы просто наобум и решаю в этом случае не торопиться. И на этот раз выигрывает машина.

1 + –
2 + –
3 + –
4 + +

Итак, проиграв три раза подряд, машина начинает реагировать. Что же теперь делать мне? Я говорю себе, что теперь она, должно быть, зациклится на новом ответе, и ввожу, наоборот, *минус*. Допустим, я снова выиграл.

5 – +

Рассуждения эти проделывать вовсе не обязательно, я просто хочу показать вам, что с ними далеко не уедешь. Я могу предположить, например, что теперь, раз выиграв, машина будет дожидаться третьего кона, чтобы изменить тактику. Другими словами, ожидая, что она еще один раз выдаст *плюс*, я ввожу *минус*. Представим себе, однако, что когда три *минуса* уже было, в машине запускается другая программа. На сей раз она выдает минус и выигрывает.

6 – –

Обратите внимание, что машина выиграла дважды с минимальным интервалом. Это не значит, что она будет

выигрывать и в дальнейшем. Однако по мере усложнения ее механизма и последовательности внутренних команд, увязанных с данными о чередовании в игре *плюсов* и *минусов*, программные преобразования, в свою очередь, друг с другом скоординированные, смогут придать ее действиям гибкость, аналогичную той, что проявляют в подобных случаях два живых игрока. Если машина окажется достаточно сложна, чтобы обладать богатой иерархией команд, учитывающих не два, а, скажем, восемь или десять предшествующих ходов, возможности ее выйдут далеко за пределы моего разумения. Однако за пределы того, что может быть воспроизведено на бумаге, она никогда не выйдет; другими словами, я могу легко испытать ее, при условии, что прежде, чем до нее дотронуться, я сам переберу все возможные комбинации. Получается, таким образом, что я вступаю с ней в своего рода соперничество.

Хочу обратить ваше внимание, что при таких условиях у машины ничуть не больше шансов на выигрыш, чем у меня – разве что за счет моей усталости. Пытаясь определить число заложенных в машину команд и количество учитываемых ею каждый раз предшествующих ступеней, я могу встретиться с математическими проблемами такой сложности, что для решения мне придется прибегнуть к помощи – оцените юмор ситуации – вычислительной машины.

В данный момент, однако, я играю вовсе не в чет и нечет. Я играю лишь для того, чтобы угадать, как играет машина. Сейчас я начну игру и посмотрю, что у меня получится.

Представить себе машину, способную дать своему противнику психологическую оценку, в принципе возможно. Но я только что заметил вам, что действовать этот противник может лишь в рамках интерсубъективности. Вся проблема для меня, следовательно, в том, чтобы понять, достаточно ли проницателен этот другой, чтобы понять, в свою очередь, что и я являюсь для него другим, способен ли он перейти границу второго такта. Предположим, что он мне идентичен – я предполагаю тем самым, что он способен подумать обо мне то же самое, что я готов подумать о нем, подумать, что я подумал, будто он собирается сделать противоположное тому, что, как он полагает, собираюсь сделать

я. Перед нами простое и никогда не затухающее колебание. Уже по одному этому все, что лежит в плоскости психологической оценки, строго исключено.

А что будет, если я стану играть наугад? Вам знакома, конечно, та глава *Психопатологии обыденной жизни*, где речь идет о выборе наугад чисел. Вот опыт, к которому уж никак не отнести известную метафору кролика, о котором всегда советуют помнить, что в шляпу его посадили заранее. Фрейд, однако, – с помощью, конечно, самого субъекта, но ведь все и происходит-то лишь постольку, поскольку субъект этот что-то Фрейду говорит, – Фрейд первый убеждается в том, что вытащенный из шляпы наугад номер очень быстро извлекает на свет вещи, возвращающие субъекта к тому моменту, когда он спал со своей маленькой сестренкой и к тому году, когда он провалил экзамен на степень бакалавра, оттого что тем утром занимался мастурбацией. Если верить этому опыту, то придется признать, что ничего случайного не бывает. Субъект и не думает об этом, но символы продолжают налезать друг на друга, совокупляться, плодиться, друг на друга набрасываться, друг друга терзать. И какой бы из них вы ни вытащили, ту речь бессознательного субъекта, о которой мы говорим, вы вполне можете на него проецировать.

Другими словами, даже если главное слово моей жизни скрыто в тексте длиной с песню *Энеиды*, вполне можно представить себе, что со временем появится машина, способная восстановить его. Но любая машина сводится к серии реле с полюсами *плюса* и *минуса*. Все содержание символического порядка может быть представлено в виде подобной последовательности.

Историю, в которую вписан субъект бессознательного, не следует путать с его *памятью* – я не стану первым, кто предупреждает вас о том, насколько неточно мы этим словом пользуемся. Именно поэтому для нас особенно важно сейчас провести четкую границу между памятью и *припоминанием*, которое лежит в плане истории.

О памяти находят возможным говорить как о признаке жизни как таковой. Тем самым имеют в виду, что проходя через определенный опыт живая субстанция претерпевает изменения, в результате которых она не станет впредь ре-

агировать на подобный опыт таким же образом, как и прежде. Это все-таки отдает двусмысленностью: в самом деле, реагировать по-другому – что это значит? В каких пределах? Может быть, эффект памяти состоит в том, чтобы не реагировать вовсе? Переживание смерти, подробным образом зарегистрированное – это тоже память? Или, может быть, память – это восстановление равновесия в рамках некоего гомеостаза? В любом случае, однако, нет ни малейших оснований отождествлять память эту, представляющую собой определенное свойство живой материи, с припоминанием, представляющим собой группировку и последовательность событий, определенных символически, чистый символ, порождающий, в свою очередь, некоторую последовательность.

То, что происходит в машине на этом уровне (о другом уровне здесь речи нет), аналогично тому припоминанию, с которым имеем мы дело в психоанализе. Память, по сути дела, является здесь результатом интегрирующих операций. Схема первого уровня, включающая первую память, представляет собой схему, которая объединяет результаты в группы по три. Результат этот, сохраненный памятью, может быть выдан в любой момент. Но уже в следующий момент он может оказаться совершенно иным. Может оказаться, что содержание его, его знак, его структура теперь изменятся. Ведь что происходит, когда по ходу дела вкрадывается ошибка? Изменению подвергается не то, что будет после, а все то, что оставлено позади. Перед нами эффект последействия, для обозначения которого Фрейд пользуется словом *nachträglich*, – эффект, специфичный именно для структуры символической памяти, для функции припоминания.

Мне кажется, что эта маленькая, пусть несколько проблематичная, аналогия приучит вас к той мысли, что для наличия субъекта, который задает вопросы, вполне достаточно, чтобы существовало то *quod,* к которому вопрос относится. Есть ли нужда исследовать, что этот субъект собою представляет и по отношению к какому другому он сориентирован? Это совершенно бесполезно. Что существенно, так это символическое *quod.* Для субъекта оно подобно образу в зеркале, но другого порядка – недаром Улисс выкалыва-

ет циклопу глаз. Субъект, поскольку он субъект говорящий, найдет свой коррелят, ответ себе, разгадку своего секрета и обнаружение своей тайны в современной машине – в этом искусственно сконструированном символе, еще более "акефальном", нежели то, что встретили мы в сновидении об инъекции Ирме.

Это и значит поставить вопрос о соотношении значения с человеком как живым существом.

3

Мы только что упомянули об *Украденном письме*. Рассказ этот как раз и построен вокруг проблем значения, смысла и общепринятого мнения, а поскольку мнение действительно общепринято, в дело оказывается замешана истина.

Сюжет рассказа вы знаете. Префект полиции получает задание найти письмо, похищенное очень высокопоставленным и лишенным всяких моральных устоев лицом. Лицо это ловко похитило письмо, лежавшее на туалетном столике королевы. Письмо было отправлено человеком, отношения с которым королева имела причины утаивать. Спрятать письмо достаточно быстро ей не удается, но по ее неловкому жесту министр – порочный и романтический распутник – догадывается о важности этой бумаги. Королева, как ни в чем ни бывало, кладет послание на видное место. Что касается короля, то он тоже здесь, но обречен, по определению, ничего не замечать, пока кто-нибудь специально не привлечет к предмету его внимание. Это позволяет министру с помощью маневра, состоящего в том, чтобы достать из кармана и положить на столик другое, слегка похожее на первое по внешнему виду, письмо, завладеть, прямо перед носом и бородой (была же там борода!) присутствующих, бумагой, которая дала бы ему в дальнейшем над королевской четой определенную власть, причем так, что никто не посмел бы сказать и слова. Королева прекрасно видит происходящее, но сами условия этой партии с тремя участниками делают ее беспомощной.

Письмо это необходимо вернуть. Следуют пространные, подхваченные нами в связи с темой игры в чет и нечет

рассуждения, которые дают понять, что игра интерсубъективности здесь настолько существенна, что любому, кто обладает знаниями, скрупулезностью и техническим мастерством, подпасть под чары Реального немудрено – именно так и подпадают под них очень умные люди, тем самым как раз в и оказываясь дураках. Дом министра обыскивают пядь за пядью, пронумеровывая каждый кубический дециметр. Вещи изучаются в микроскоп, подушки протыкаются длинными иголками, используются все научные методы. Письма нет как нет. Кроме как в доме, ему быть негде, так как в любой момент оно может понадобиться министру, чтобы предъявить его королю. С собой он его тоже не носит – чтобы убедиться в этом, было инсценировано его ограбление.

Здесь обыгрывается та соблазнительная мысль, что чем более по-полицейски ведут себя полицейские, тем меньше у них шансов что-либо найти. Им и в голову не приходит, что письмо все это время было у них прямо перед носом – висело на ленточке над камином. Похититель ограничился тем, что придал ему несколько потрепанный вид, вывернул наизнанку и поставил другую печать. Другое лицо, чрезвычайно коварное и имеющее причины министру не сочувствовать, пользуясь случаем похищает это письмо и заменяет его другим, что и кладет карьере его врага конец.

Но самое главное не в этом. Что делает эту столь малоубедительную историю такой убедительной? Ведь удивительно все-таки, что полицейские, несмотря на тщательность своих поисков, так-таки письма и не обнаружили. Чтобы объяснить это, По ссылается на интерсубъективность – человек недюжинного ума выходит за пределы того, что является мыслимым для другого и тем самым от него ускользает. Но если вы прочтете эту историю под углом зрения ее действительной ценности, то вы сразу заметите, что у нее имеется другой ключ – нечто такое, благодаря чему она и держится, что и придает ей вящую убедительность. Ведь стоит построить ее сюжет чуть-чуть иначе, и она немедленно потеряет для нас всяческий интерес.

Ключ этот – мне кажется, что вам, аналитикам, это должно бросаться в глаза, – заключается просто-напросто в тождестве символической формулы ситуации на обоих этапах

развития ее сюжета. Королева полагала, что письмо в безопасности, потому что оно лежало у всех на глазах. Министр тоже оставляет его на виду, уверенный, что именно это делает его незаметным. И выигрывает он не потому, что он стратег, а потому, что он поэт, – пока не является Дюпен, который еще в большей степени поэт, чем он.

Никакая интерсубъективность здесь ничего не решает – как только реальное отмерено, как только периметр и объем его определены, нет никаких оснований предположить, что письмо может, в конечном счете, от них ускользнуть. Если же тот факт, что оно не найдено, оказывается, тем не менее, убедительным, то объясняется это лишь тем, что область значений продолжает существовать – даже в умах считающихся такими тупицами полицейских. Если полицейские все-таки не находят письмо, то происходит это не просто потому, что положено оно в месте слишком уж доступном, а в силу значения его, говорящего о том, что письмо подобной ценности, сконцентрировавшее вокруг себя всю мощь государства и готовое обернуться вознаграждениями, на которые в подобных случаях можно рассчитывать, непременно постараются скрыть самым тщательным образом. Раб, естественно, пребывает в уверенности, что господин – это господин и когда ему, господину, попадается что-то ценное, он накладывает на это лапу. И точно так же многие уверены, будто достигнув в понимании психоанализа определенного уровня, можно, положив на него по-хозяйски руку, сказать: «Вот он. Теперь он наш». Увы, значение как таковое никогда не оказывается там, где ожидают его найти.

Урок, который из нашего рассказа можно извлечь, лежит именно в этой плоскости. Только анализ символической ценности отдельных моментов этой драматической истории позволит нас обнаружить ее связность и более того – ее психологическую мотивацию.

Это не игра на сообразительность, это вообще не психологическая игра – это игра диалектическая.

23 марта 1955 года.

Дополнение

Очередная встреча:
Участники семинара играют

Приближаются каникулы, погода хорошая – я вас сегодня долго не задержу.

В последний раз мы говорили с вами об интерсубъективности отношений между двумя партнерами и миражах, которые в этих отношениях возникают. В целом интерсубъективность миражом не является, но рассматривать своего ближнего и полагать, будто он думает именно то, что предполагаем мы, – грубейшее заблуждение. Из этого и следует исходить.

Границы того, что на этой интерсубъективности можно выстроить, я уже продемонстрировал вам с помощью известной игры в чет и нечет, которую я, чтобы не изобретать колесо заново, позаимствовал у Эдгара По – у нас нет оснований не верить, что рассказ об этой игре он действительно услышал из уст мальчишки, умевшего в нее выигрывать.

Игра не такая уж и трудная. Самым простым примером будет все время чередовать чет и нечет. Кто поумнее, станет делать наоборот. Но умнее всего перешагнуть в третий такт и поступать как дурак или тот, кого за дурака принимают. Другими словами, здесь все теряет значение. Я показал вам, таким образом, что для того, чтобы играть в эту игру разумно, нужно пытаться свести любую уловку противника на нет.

Следующий шаг – это как раз и есть фрейдовская гипотеза – состоит в допущении того, что ни в одном действии, совершенном с намерением положиться на случай, ни малейшей случайности нет.

На доске я нарисовал вам конструкцию того, что в наши дни называют машиной. Из нее вытекает формула, которая из того, что субъект говорит наугад, следует всегда и в которой находит определенное отражение автоматизм повторения — находит постольку, поскольку он представляет собой нечто, лежащее по ту сторону принципа удовольствия, связности, тех рациональных мотивов и чувств, в которых способны мы дать себе отчет. В начале психоанализа это

потустороннее выступает как бессознательное, поскольку мы не способны его достичь, и в то же время как перенос, поскольку оно-то как раз и модулирует чувства любви и ненависти, сами по себе переносом не являющиеся – ведь перенос и есть то, благодаря чему можем мы интерпретировать тот включающий все, что субъект способен нам предъявить, язык, который вне психоанализа остается в принципе неполным и непонятым. Вот что лежащее по ту сторону принципа удовольствия собой представляет.Это то же самое, что находится по ту сторону значения. Они совпадают друг с другом.

Маннони: – *Мне кажется, что Ваши попытки исключить интерсубъективность ее, несмотря ни на что, сохраняют.*

Лакан: – Я не сказал бы, что я ее исключаю. Я просто беру случай, где ее можно не учитывать. Исключить ее в принципе, разумеется, невозможно.

Маннони: – *Вполне возможно, что она все-таки учитывается – ведь в законе повторения, которому все мы, сами того не зная, повинуемся, заслуживают рассмотрения две стороны. Одна из них состоит в том, что в самом повторяющемся закон этот, вполне вероятно, разглядеть не удается. Так, арифметические числа можно изучать бесконечно и никакого закона повторения не найти, если мы не учитываем, например, ритмов. Если мы какие-то слова повторяем, то происходит это, может быть, потому, что определенное число созвучно бессознательной мысли. В подобный момент ни один математик не сможет найти последовательным появлениям данного числа никакого разумного объяснения, это будет лежать вне области машины.*

Лакан: – Мне очень нравится то, что Вы говорите.

Маннони: – *С другой стороны, если закон обнаружен, то возникает тем самым неравенство: один из противников обнаружил закон, а другой нет. Ибо закон обнаруженный больше законом не является.*

Лакан: – Конечно, друг мой, — в последний раз я, для простоты, и заставил субъекта играть с машиной.

Маннони: – *В результате два субъекта вступают между собою в борьбу.*

Лакан: – Разумеется. Но мы исходим из одного элемента. Сама возможность организовать игру субъекта с машиной достаточно поучительна. Это не означает, что машина спо-

собна найти разумное основание моего видения вещей. Я уже сказал вам, что наша личная формула может оказаться не короче песни Энеиды, но из этого еще не следует, что подобная песня откроет нам все ее значения. Найди мы какие-то рифмы или созвучия, мы были бы уверены, что перед нами пример *символической действенности*. Этот принадлежащий Клоду Леви-Строссу термин я использую здесь по отношению к машине. Можно ли считать, что символическая действенность обязана своим существованием человеку? Весь ход моих рассуждений ставит это предположение под сомнение. К тому же вопрос этот все равно решить не удастся, покуда мы не составим себе представление о том, каким образом произошел язык, – а до этого нам еще очень и очень далеко.

Перед лицом этой символической эффективности нам важно сегодня выявить некую символическую *инерцию*, субъекта – субъекта бессознательного – характеризующую.

Чтобы сделать это, я предлагаю вам сыграть в чет и нечет по определенным правилам, а результаты мы зарегистрируем. Во время каникул я их обработаю и мы посмотрим, какие выводы можно будет из них сделать.

Зависеть все будет от того, имеется ли разница между рядом чисел, выбранных умышленно, и последовательностью чисел, выбранных наугад. Присутствующему здесь математику, г-ну Риге, придется объяснить нам, что, собственно, представляет собой последовательность чисел, выбранных наугад. Вы не представляете себе, насколько это сложно. Понадобились поколения математиков, чтобы обезопасить себя со всех сторон, чтобы числа действительно оказались выбранными наугад.

Риге, вы будете записывать результаты первой партии. Давид, вы сыграете с Маннони в чет и нечет.

Маннони: – *Я буду жульничать.*

Лакан: – Валяйте!

(*Давид и Маннони играют*)

Маннони: – *Все очень просто: каждый раз, когда я говорил наугад, я выигрывал. Когда я оставлял правило, я часто проигрывал. Правило я менял. В какой-то момент я стал следовать порядку стихов Малларме,*

потом воспользовался номером телефона, машины, потом следовал чередованию гласных и согласных в том, что написано на доске.

Лакан: – Сколько попыток вы сделали, пользуясь первым правилом?

Маннони: – *Вот тогда я действительно выигрывал.*

Лакан: – Это было просто для того, чтобы вы почувствовали интерес. Теперь мне хотелось бы, чтобы каждый из вас записывал результаты – вы можете делать это совершенно спонтанно, и я думаю, что чем спонтаннее, тем лучше – представляя себе, будто играете с машиной. Только прошу вас, не делайте, как делал Маннони. Играйте наугад. Явите вашу символическую инерцию.

(*Участники семинара играют и вручают листки с результатами Жаку Лакану*)

30 марта 1955 года..

XVI
УКРАДЕННОЕ ПИСЬМО

В увлекательном докладе, который вы вчера прослушали, обрисовано было то, что можно назвать игрой образа и символа. Тот факт, что далеко не все в связи с этим может быть выражено в генетических терминах, из работ г-жи Дольто как раз и следует – именно в этом она и является нашей единомышленницей.

Этиология шизофрении интересует нас как терапевтов, с тысячи разных сторон. Да, в ней бесспорно есть измерение чисто медицинское, измерение диагностики и прогностики, но и г-жа Дольто, со своей точки зрения, живо и глубоко освещает явления, для определенного этапа индивидуального развития характерные – искусство и честность ее наблюдений заслуживают высочайших похвал. Мы не можем оперировать нашими категориями везде, но они позволяют, во всяком случае, осуществить в нозографии подлинный переворот, Перье в общих чертах уже намеченный.

Маннони: – *Меня смущает то, что рисунок, графику вы усваиваете регистру воображаемого. Мне кажется все-таки, что рисунок – это уже проработка воображаемого, пусть еще смутная.*

Лакан: – Я говорил именно о воображаемом, я не говорил, что это рисунок, который действительно представляет собой уже символ.

Маннони: – *Но не вполне – вот что меня, собственно, занимает.*

Лакан: – Вполне естественно – это будет Вас занимать до тех пор, пока мы не сделаем рисунок предметом нашего рассмотрения и не начнем все вместе разбираться в том, что он собой представляет. Но в этом году мы занимаемся другими вещами.

То, о чем говорил я в последний раз, направлено было на то, чтобы позволить вам осязаемо ощутить связь субъекта с символической функцией. Сегодня мы сделаем в этом направлении еще один шаг.

1

Символ возникает в Реальном в результате пари. Само понятие причины, поскольку оно предполагает между цепочкой символов и Реальным определенное опосредование, рождается из некоего первоначального пари – будет это вот этим, или не будет? Не случайно, как показывает нам эпистемология на нынешнем этапе своего развития, понятие вероятности располагается в центре эволюции физических наук, а теория вероятности вновь вызывает к жизни целый ряд проблем, которые в истории человеческой мысли на протяжении веков то выходили на первый план, то вновь оказывались в тени.

При всякой достаточно радикальной постановке вопроса о символическом мышлении именно пари находится в центре внимания. Все сводится к *to be or not to be*, к угадыванию того, что выпадет, а что нет, к первоначальной паре *плюса* и *минуса*. Но присутствие, как и отсутствие, говорят, соответственно, о возможности отсутствия или присутствия. Когда сам субъект является в бытии, он обязан этим определенному не-бытию, на котором он свое бытие и возводит. Если же он в бытие не является, если он не является чем-нибудь, то очевидно, что он свидетельствует тем самым о некоем отсутствии, должником которого навсегда останется – я хочу сказать, что, оказавшись не в силах явить присутствие, он навсегда обречен доказывать отсутствие.

Вот это-то и придает ценность цепочке тех маленьких плюсов и минусов, что расположили мы на листе бумаги, следуя различным условиям, которые диктуются экспериментом. Исследование собранных результатов ценно тем, что демонстрирует в кривой распределения выигрышей и проигрышей определенные отклонения.

Как мы в последний раз уже видели, играть – значит пытаться обнаружить у субъекта предположительную регулярность, которая хоть и ускользает от нас, но в результатах игры должна незначительным отклонением в кривой вероятностей себя выдать. Это и есть то, что стремится заявить о себе в фактах, доказывающих, что когда налицо диалог, пусть самый слепой, игры случая в чистом виде уже нет, а

есть соединение, сочленение одного слова с другим. Слово это предполагается уже тем фактом, что даже для субъекта, играющего в одиночку, игра его имеет смысл лишь в том случае, если он заранее объявит, что, как он думает, должно выпасть. В *орла или решку* можно играть и одному. Но если подойти к делу с точки зрения речи, то в одиночестве не играют никогда – в игре всегда налицо сочленение трех знаков, подразумевающих выигрыш, проигрыш и вырисовывающееся на их фоне смысловое значение в виде результата. Другими словами, нет игры, пока нет вопроса, и нет вопроса, пока нет структуры. Вопрос составлен структурой, организован ею.

Сама по себе, игра символов являет собой и организует, независимо от особенностей ее человеческого субстрата, то нечто, что мы и именуем субъектом. Человеческий субъект отнюдь не является в этой игре инициатором, он занимает в ней свое место, он играет в ней роль маленьких *плюсов* и маленьких *минусов*. Он представляет собой лишь элемент той цепочки, которая, будучи развернута, организуется следуя определенным законам. Субъект, таким образом, всегда располагается в нескольких плоскостях, всегда включен в несколько пересекающихся сетевых схем.

В Реальном результат всегда может выпасть какой угодно. Но как только символическая цепочка организована, как только вы ввели, в форме последовательных единиц, какую-то единицу значащую, что угодно выпасть уже не может.

Договоримся соединять выпадающие последовательно *плюсы* и *минусы* в группы по три и обозначить возможные типы последовательностей внутри групп цифрами 1, 2 и 3.

(1)	(2)	(3)
+ + +	+ + –	+ – +
– – –	– – +	– + –
	– + +	
	+ – –	

Уже одно это преобразование приведет к появлению исключительно точных законов. Группы типа (1), (2) и (3) не могут следовать друг за другом в любом порядке. За группой (3) никогда не последует группа (1), группа (1) никогда не возникнет вслед за любым нечетным количеством групп

(2). Однако после четного количества групп (2) она появиться может вполне. Между группами (1) и (3) всегда возможно неограниченное количество групп (2).

Исходя из этих закономерностей, вы можете образовать новые значащие единицы, соответствующие интервалам между группами различных типов.

Переход от 1 к 2 $\to \beta$
Переход от 2 к 2 $\to \gamma$

Переход от 1 к 1 $\Rightarrow \alpha$
Переход от 1 к 3

Переход от 2 к 1 $\Rightarrow \delta$
Переход от 2 к 3

Легко убедиться, что если впереди стоит β, то после повторения сколь угодно большого числа α на выходе может оказаться лишь δ. Перед нами пример первичной символической организации, которая позволяет выйти за пределы тех метафор, которые я однажды использовал, говоря о внутренне присущей символу памяти. Создается впечатление, будто α помнит, что не может породить из себя ничего, кроме δ, если серии α, сколь угодно длинной, предшествовала β.

Вы сами убедились теперь, какие возможности демонстрации и теорематизации вытекают из простого использования символических серий. С самого начала и совершенно не зависимо от всякой связи с какими бы то ни было причинными звеньями предположительно реального характера, символ вовсю действует, порождая собственные закономерности, структуры, формации. Это как раз и интересует нашу дисциплину, состоящую в исследовании того, насколько глубоко прорастает в мир человеческого субъекта символический порядок.

И сразу же становится в этой перспективе очевидно то, что я в свое время назвал вмешательством субъектов. Поскольку нам представляется сейчас такой случай, я проиллюстрирую вам это на той же истории об украденном письме, из которой позаимствован был мною пример игры в чет и нечет.

2

Пример этот, приводимый в рассказе героем, который является выразителем его основной мысли, призван, по замыслу автора, стать элементарной иллюстрацией отношений между субъектами – отношений, основанных на том, что один субъект предвосхищает мысли другого благодаря тому, что предполагает в нем скрытность, хитрость и стратегические способности, которые в возникающих между ними отношениях взаимного отражения так или иначе должны проявиться. Все здесь построено на предположении, будто существуют средства, позволяющие отличить восприятие, свойственное идиоту от восприятия, свойственного человеку умному.

Я уже обращал ваше внимание на то, насколько сомнительна эта точка зрения, насколько не соответствует она своему предмету – хотя бы потому, что ум порою в том и состоит, чтобы суметь прикинуться идиотом. И все же По – человек на удивление искушенный: стоит вам прочитать текст целиком и вы сразу почувствуете, что сама символическая структура этой истории куда более существенна, нежели это на первый взгляд соблазнительное, но исключительно неосновательное, на простаков рассчитанное рассуждение.

Мне хотелось бы, чтобы те, кто перечел *Украденное письмо* после того, как я начал говорить о нем, поднял руку – глядите, и половины зала не наберется!

Надеюсь, вы знаете, однако, что речь идет об истории письма, похищенного в удивительных и весьма поучительных обстоятельствах – истории, рассказанной злополучным префектом полиции, которому отведена классическая в сюжетах такого рода роль человека, который обязан найти пропажу, но вечно идет по ложному следу. Короче говоря, префект этот приходит к другому герою, по имени Дюпен, с просьбой помочь ему из этого дела выпутаться. Дюпен этот являет собой тип другого, еще более мифического персонажа – того, кто все понимает. История эта, однако, далеко не укладывается в комедийную схему, главные герои которой отвечают всем канонам детективного жанра.

Августейший персонаж, чей облик вырисовывается на заднем плане истории, является, безусловно, королевской особой. Действие рассказа происходит во Франции в эпоху Реставрации. Власть успела утратить к тому времени священный ореол, способный оградить ее от кощунственных посягательств со стороны разного рода авантюристов.

Министр, сам человек высокого звания, непринужденно чувствующий себя в любом обществе и, судя по тому, что государственные дела обсуждаются им с королем и королевой наедине, пользующийся доверием королевской четы, обращает внимание на замешательство, с которым королева пытается скрыть от своего августейшего супруга присутствие на столе чего-то такого, что оказывается не чем иным, как письмом, авторство и содержание которого министр немедленно угадывает. Речь идет, разумеется, о тайной переписке. Если письмо остается лежать небрежно брошенным на столе, то именно для того, чтобы не привлечь к нему внимания короля. Именно на его невнимательность, чтобы не сказать его ослепление, королева и рассчитывает.

Зато министр, глаз у которого поострее, немедленно смекает, в чем дело, и начинает свою игру: отвлекая внимание присутствующих разговором, он вынимает из кармана якобы случайно оказавшееся там письмо, по виду своему слегка напоминающее предмет, которому с этих пор суждено стать пререкаемым. Повертев его немного в руках, он небрежно кладет его на столик рядом с первым. После чего ему, пользуясь невнимательностью главного персонажа, остается лишь спокойно взять это последнее и положить его в карман на глазах у не упустившей в этой сцене ни единой детали королевы, которой поневоле приходится смириться с тем, как уходит от нее компрометирующий ее документ.

Дальнейшие подробности я опускаю. Королеве нужно во что бы то ни стало вернуть себе этот инструмент давления и шантажа. Она обращается за помощью к полиции. Полиция, специально для того, чтобы ничего не находить, и созданная, ничего, естественно, и не находит. Проблему решает Дюпен, который обнаруживает письмо именно там, где оно должно быть – в кабинете министра на самом видном месте, у него под рукой, едва замаскированное. Создается, разу-

меется, впечатление, что оно не должно было ускользнуть от внимания полицейских незамеченным, так как явно входило в зону их микроскопического обследования.

Чтобы завладеть им, Дюпен устраивает так, что на улице раздается выстрел. Пользуясь моментом, пока министр идет к окну, чтобы взглянуть, что случилось, Дюпен берет письмо и на место его кладет другое, где написаны им следующие слова:

... план столь зловещей мести
достоин если не Атрея, то Фиеста.

Стихи эти заимствованы из *Атрея и Фиеста* Кребильона-отца, и значение их далеко не исчерпывается тем, что они дают нам лишний повод прочесть, наконец, эту очень любопытную трагедию от начала до конца.

Эпизод это весьма интересный, особенно если учесть оттенок жестокости, с которым такой незаинтересованный и отрешенный, на первый взгляд, персонаж, как Дюпен, потирает руки от радости, предвкушая драматические события, которые за поступком его неминуемо воспоследуют. Здесь мы слышим уже не Дюпена только, но и рассказчика, представляющего собой призрак самого автора. Каково значение этого призрака, мы еще увидим в дальнейшем.

Драма же разыграется тогда, когда министру, которому отныне будет даваться отпор, придет время свою власть подтвердить. “Предъявите письмо”, – скажут ему. “Вот оно”, — ответит министр. Здесь-то и кончится для него дело посмешищем, если не трагедией.

Такова канва нашего рассказа.

В нем налицо две главных сцены (не в том смысле, в котором мы говорим о «первоначальной сцене») – сцена похищения письма и сцена обретения его вновь; кроме того, есть и несколько сцен второстепенных. Та сцена, где письмо возвращается, распадается на две, так как, обнаружив письмо, Дюпен его сразу не отбирает – ведь ему нужно организовать интригу, создать ловушку и заготовить дубликат письма. Есть еще и воображаемая сцена в конце, где мы становимся свидетелями падения министра, этого загадочного исторического персонажа, этого честолюбца. На что, од-

нако направлено его честолюбие? Может быть, это просто игрок? Играет он с азартом и цель его, похоже, – и в этом случае он истинный честолюбец – состоит в том, чтобы продемонстрировать, как далеко можно в подобной игре зайти. В каком именно направлении – ему не важно. Цель, к которой честолюбие стремится, исчезает вместе с самым главным – возможностью тешить его.

Каковы персонажи этой истории? Их можно перечислить по пальцам. Есть в ней реальные персонажи – это король, королева, министр. Дюпен, префект полиции и еще тот агент-провокатор, который делает на улице выстрел из пистолета. Есть и статисты за кулисами, которые на сцене не появляются. Вот, собственно, тот список действующих лиц, который предваряет собой, как правило, текст любой пьесы.

Не попробовать ли нам построить этот список иначе?

Персонажей, участвующих в действии, можно определить и другим способом. Их можно определить, исходя из субъекта – точнее говоря, отношений, обусловленных тем, что реальный субъект поглощается закономерностью символической последовательности.

Начнем с первой сцены. Персонажей в ней четыре: король, королева, министр — а кто, вы думаете, четвертый?

Гениншо: – *Письмо.*

Лакан: – Да, именно письмо, а вовсе не тот, кто его послал. Даже если бы имя его в конце истории было названо, значение его было бы чисто фиктивным, а вот письмо – это персонаж настоящий. В такой степени настоящий, что мы с полным правом можем отождествить его с ключевой схемой, которую сумели мы распознать, заканчивая анализ сновидения об Ирме, в формуле триметиламина.

Письмо является здесь синонимом субъекта – субъекта коренного, первоначального. Речь идет о символе, перемещающемся в чистом виде, о символе, которого невозможно коснуться, не оказавшись немедленно в его игру втянутым. Смысл рассказа об украденном письме состоит, таким образом, в том, что судьба, или причинность, не является чем-то таким, что можно было бы определить в терминах существования. Можно сказать, что когда персонажи рас-

сказа завладевают этим письмом, ими самими овладевает и увлекает за собой нечто такое, по сравнению с чем индивидуальные их особенности мало что значат. Что бы они ни представляли собой, на каждом из этапов символического преобразования письма они определяются исключительно той позицией, которую занимают они по отношению к коренному субъекту, то есть их местом в одном из CH_3 нашей формулы. Позиция эта раз и навсегда не фиксирована. Включившись в цепочку необходимости, выйдя на заданную письмом траекторию, каждый из них меняет в череде сцен свои функции по отношению к той существенной реальности, которую письмо создает. Другими словами, обобщая урок этой истории, можно сказать, что для каждого из персонажей письмо это есть не что иное, как его бессознательное. Бессознательное со всеми его последствиями: в каждом звене символической цепи каждый из персонажей становится другим человеком.

Именно это я и попробую сейчас вам показать.

3

Основу всякой человеческой драмы, и драмы театральной в частности, составляет наличие узлов, связей, определенных договорных отношений. Человеческие существа с самого начала связаны друг с другом ручательствами, заранее предопределяющими их место, имя, их путь. Затем являются иные речи, иные ручательства, иные слова. Ясно, что возникают моменты, когда приходится из положения выкручиваться. Далеко не все договоренности складываются одновременно. Иные из них друг с другом несовместимы. Когда люди воюют, они делают это именно для того, чтобы узнать, какая из договоренностей будет действительна. Слава Богу, часто обходится дело и без войны, но договоренности продолжают функционировать, колечко продолжает бегать по ниточке от одного игрока к другому в нескольких направлениях сразу, и получается порою так, что колечко из одной игры встречается с колечком из совсем другой. Происходят подразделение, реконструкция, замещение. Играющему в колечко в родном кругу придется

скрывать, что он играет одновременно и в другом.

Неслучайно появляются в нашем рассказе августейшие персонажи. Именно они символизируют фундаментальный характер изначально сложившихся договоренностей. Уважение к договору, соединяющему мужчину и женщину, имеет для всего общества величайшую ценность, и ценность эта с незапамятных времен находила верховное свое воплощение в лицах королевской четы. Чета эта является символом важнейшего договора, согласующего мужскую природу с природой женской, и традиционно играет посредническую роль между всем тем, чего мы не знаем, космосом, с одной стороны, и общественным устройством, с другой. Ничто не осуждается и не считается более кощунственным, нежели то, что на нее покушается.

Конечно, на нынешнем этапе человеческих отношений традиция эта завуалирована, а то и вовсе отошла на второй план. Вспомните слова короля Фаруха, сказавшего однажды, что королей на земле осталось всего четыре: четыре карточных, да еще король Англии.

Что, собственно, представляет собой письмо? Как может оно быть украдено? Кому оно принадлежит – отправителю или тому, для кого оно предназначено? Если вы утверждаете, что оно принадлежит отправителю, то в чем тогда дар письма, собственно, состоит? Зачем вообще письмо отправляют? А если вы думаете, что оно принадлежит адресату, то как получается, что в определенных обстоятельствах вы возвращаете письма лицу, долгие годы ими буквально вас засыпавшему?

Обратившись к любой из приписываемых *народной мудрости* – выражение, представляющее собой антифразу, – пословице, можно быть стопроцентно уверенным, что нарвешься на глупость. *Verba volant, scripta manent.* Не подумалось ли вам, что письмо и есть то слово, которое поистине летает?! Письмо только потому и может быть похищено (volée), что оно представляет собой листок, способный летать (volante). Именно *scripta* как раз и *volant,* а вот слова – те, увы, остаются. Они остаются даже тогда, когда никто о них уже и не вспоминает. Точно так же, как даже сотни тысяч плюсов и минусов спустя появление серий α, β, γ и δ по-

прежнему будет подчиняться все тем же закономерностям.

Слова остаются. Против игры символов вы бессильны – именно поэтому за своими словами нужно следить столь внимательно. А вот письмо – оно уходит. Оно гуляет само по себе. Помнится, я настойчиво втолковывал г-ну Гиро, что на столе может находиться два килограмма языка. Не надо так много – единственного листочка веленевой бумаги достаточно, чтобы язык был уже налицо. Да, он налицо, он существует лишь в качестве языка, и представляет он собою летающий листок. Но наряду с этим он представляет собой еще кое-что, имеющее совершенно особую функцию и никакому человеческому объекту принципиально неусвояемое.

Персонажи играют, таким образом, свои роли. Есть персонаж дрожащий – это королева. Функция ее состоит в том, чтобы быть не в состоянии выходить в своем трепете за определенные рамки. Если бы она дрожала хоть чуточку сильнее, если бы воплощаемое ею отражение на глади озера (ведь она единственная, кто вполне осознает происходящее в первой сцене) помутнело бы еще немного, она не была бы уже королевой, она была бы просто смешна, и даже жестокость Дюпена в последней сцене стала бы нам казаться просто невыносимой. Но у нее не вырывается ни слова. Есть персонаж, который ничего не замечает, – это король. Есть министр. И есть письмо.

Письмо это, содержащее слова, адресованные королеве неизвестно кем, каким-нибудь герцогом С..., кому адресовано оно на самом деле? Будучи речью, оно может выполнять несколько функций. Так, оно выполняет функцию определенного договора определенной доверенности. Идет ли речь о любви герцога, о государственном заговоре, или о самых пустых вещах – совершенно неважно. Важно, что оно здесь, налицо, замаскированное не то присутствием, не то отсутствием. Оно здесь, но в то же время его здесь нет, оно налицо в своей действительной ценности лишь в связи со всем тем, чему оно таит угрозу, несет опасность, чинит насилие, бросает вызов, мешает произойти.

Истина, которая боится огласки – вот что такое это письмо, смысл которого меняется от раза к разу. Попав в карман министру, оно уже совсем не то, чем было прежде, чем бы

оно прежде ни было. Оно уже не любовное письмо, не доверительное послание, не предупреждение – теперь оно доказательство, аргумент. Представьте себе бедного короля, который, уязвленный до глубины души, обратился бы в короля поистине милостию Божией, в одного из тех не отличавшихся благодушием государей, которым, как случалось это в истории Англии – почему-то всегда в Англии, – ничего не стоило закрыть на дело глаза, а потом взять да и отдать свою достойную супругу на суд и расправу, – представьте себе это, и вы сразу увидите, что адресат письма не менее проблематичен, нежели вопрос о его принадлежности. В любом случае с того момента, как оно оказывается в руках министра, оно по сути своей стало чем-то совершенно другим.

И вот тут министр делает нечто весьма необычное. Вы скажете, что это в порядке вещей. Но почему же тогда мы, аналитики, довольствуемся грубой видимостью мотивации?

Я собирался вынуть из кармана и показать вам письмо того времени, чтобы вы увидели, как они его складывали, но, естественно, позабыл его дома. Это было время, когда письма выглядели очень интересно. Их складывали примерно вот так [*показывает*], а потом скрепляли печатью или специальной облаткой.

Хитрец-министр, желая, чтобы письма осталось незамеченным, складывает его по-другому и придает ему несколько помятый вид. Довольно несложно заново сложить его таким образом, чтобы чистая часть листа оказалась обращенной наружу – на ней можно потом написать другой адрес и поставить другую печать, черную. Вместо красной. Вместо почерка благородного сеньора с его удлиненными линиями письмо подписывается почерком женщины, адресующей письмо самому министру. Вот в таком виде и торчало письмо из бумажника для визитных карточек, где не укрылось от зоркого взгляда Дюпена, ибо и он, подобно нам, нашел время поразмыслить о том, что же представляет собой письмо.

Однако для нас, аналитиков, одного желания министра, чтобы письмо не узнали, недостаточно, чтобы объяснить превращения, которые оно претерпело. Ведь он изменяет его далеко не как попало. Письмо это, содержание которого нам

неизвестно, он как бы посылает теперь в ложном обличье самому себе, причем нам известно даже от чьего имени – от имени одной из своих младших родственниц с мелким женским почерком – скрепив его при этом собственной печатью.

Странные взаимоотношения с самим собой, не правда ли? Письмо, будучи надписано тонким женским почерком и нося его собственную печать, неожиданно феминизируется, включаясь одновременно в нарциссическое отношение министра к самому себе. Теперь это своего рода любовное письмо, самому себе адресованное. Все это очень неясно, трудно поддается определению, я не хочу делать насильственных выводов, и на самом деле, если об этом превращении говорю, то лишь потому, что оно соотносится с чем-то другим, гораздо более важным и касающимся субъективных реакций самого министра.

Остановимся на этой драме, посмотрим, вокруг чего она завязалась.

Почему тот факт, что письмом завладевает министр, переносится столь болезненно, что пружиной действия становится абсолютная необходимость срочно его королеве вернуть?

Как один из умных собеседников — повествователь, выступающий одновременно в роли свидетеля, — в рассказе замечает, происшедшее имеет значение лишь постольку, поскольку королева знает, что письмо находится в распоряжении у министра. Она знает, в то время как король не знает ничего.

Предположим, что министр ведет себя с нестерпимой бесцеремонностью. Он знает свое могущество и ведет себя соответственно. Королева же – надо полагать, что дела в государстве вершатся не без ее участия – ему подыгрывает. Предполагаемые желания всесильного временщика удовлетворяются, такого-то назначают на такое-то место, министру дают нужных ему сотрудников, ему позволяют формировать на глазах Королевской Палаты, более чем конституционной, желаемое ему большинство. Ничто, однако, не указывает на то, что министр хоть что-то сказал, хоть что-то у королевы потребовал. Наоборот – письмо у него в руках и он молчит.

Да, он молчит, хотя в руках у него письмо, которое угрожает самим основам согласия. Молчит, оставаясь немым носителем угрозы глубоких, неведомых, доселе сдерживаемых потрясений. Он мог бы занять позицию, которую мы оценили бы как высоконравственную. Он мог бы обратиться к королеве с упреками. Он мог бы, рискуя показаться лицемером, выступить защитником чести своего государя, бдительным стражем порядка. Не исключено ведь, что связанная с герцогом С... интрига опасна для политического курса, который он считает правильным. Но ничего подобного он не делает.

Автор рисует нам лицо по натуре своей романтическое, напоминающее даже в какой-то степени г-на Шатобриана, который не остался бы в нашей памяти персонажем столь благородным, не будь он еще и христианином. Не окажется ли, если вчитаться хорошенько в его *Записки*, что он заявляет о своей клятвенной верности монархии лишь для того, чтобы с тем большей откровенностью высказать затем мнение, что она погрязла в дерьме? Так что за *monstrum horrendum*, как называют министра в конце рассказа, чтобы озлобленность Дюпена как-то оправдать, он вполне сойти мог. Как явствует, таким образом, из чтения Шатобриана, для отстаивания своих принципов можно найти такой способ, что он-то их вернее всего и погубит.

Почему министра представляют нам этаким чудовищем, человеком, лишенным принципов? Присмотревшись повнимательнее, вы увидите, что он не придает тому, что находится в его власти, значения какой-либо компенсации или санкции. Зная истину относительно соглашения, он знанием этим не пользуется. Он не делает королеве упреков, не увещевает ее, выступая в роли исповедника и духовника, но и не пытается предложить письмо в обмен на что-то другое. То могущество, которое письмо может ему сообщить, – он не спешит пустить его в ход, он не придает ему никакого символического смысла, он просто-напросто пользуется тем, что между ним и королевой вырастает тот мираж, та взаимная притягательность, на которую я только что, говоря о нарциссических отношениях, вам указывал. Взаимные отношения между господином и рабом, основанные в ко-

нечном счете на неопределенной угрозе смерти, а в данном случае – на опасениях королевы.

Присмотревшись к этим опасениям внимательнее, вы убедитесь, что они сильно преувеличены. Письмо действительно представляет собой страшное оружие, но, как отмечается это в самом рассказе, достаточно пустить его в ход, чтобы немедленно тем самым его лишиться. К тому же оружие это обоюдоострое. Совершенно неизвестно, как отреагировали бы на предъявление письма не только сам король, но и весь государственный совет, вся организация, которой подобный скандал коснулся бы.

В конечном счете, поскольку гнет письма оказывается нестерпимым, министр занимает по отношению к нему ту же позицию, что и королева, – он не говорит о нем вовсе. Не говорит потому, что говорить о нем, как и она, не может. Уж одно то, что он не может о нем говорить, и приводит к тому, что он оказывается во второй сцене точь-в-точь в том же положении, что и королева, и не в состоянии похищению письма помешать. Дело здесь вовсе не в хитроумии Дюпена, а в логике самих вещей.

Письмо похищенное стало письмом сокрытым. Почему не находят его полицейские? Потому что они вообще не знают, что такое письмо. Они не знают того, потому что они полицейские. Всякая законная власть, как и всякая власть вообще, зиждется на символе. На символе, как любая другая власть, зиждется и власть полиции. Вспомните период волнений: вы бы, как ягнята, позволили арестовать себя тому, кто предъявил бы вам удостоверение полицейского, хотя в другой ситуации любому, кто стал бы заламывать вам руки, попытались бы съездить по морде. Разница между полицией и властью лишь в том, что полицию убедили, будто власть ее зиждется на силе, – но сделано это не для того, чтобы вселить в нее уверенность, а наоборот, чтобы удерживать ее в границах данных ей полномочий. Именно потому, что полиция полагает, будто осуществляет функции силой, и оказывается она такой бессильной, что дальше и желать некуда.

Когда ей внушают другую точку зрения, как в некоторых регионах мира это уже некоторое время и происходит,

результат известен. Возникает всеобщая приверженность тому, что мы для простоты назовем учением. Там, где в силу неприкрытого владычества символа какое-либо личное опосредование отсутствует, можно, поставив кого угодно в положение по отношению к системе символов более или менее безразличное, получить какие угодно признания, как можно любого заставить отождествить себя с тем или иным элементом в цепочке символов.

Полиция, которая верит в силу, и в то же время в Реальное, ищет письмо. Как они сами выразились – *мы искали везде*. И не нашли, потому что искали письмо, а письмо – оно, собственно, нигде.

Я не шучу. Подумайте, почему ни его не находят? Оно ведь здесь. И они его видели. Видели что? Письмо. У них было описание – *У него красная печать и такой-то адрес*. А здесь другая печать и адрес совсем не тот. *А текст*? – спросите вы. Но ведь о тексте-то им как раз и не сообщили. Ибо одно из двух – он либо важен, либо нет. Если он важен, то даже в том случае, если никто, кроме короля, в нем разобраться не сможет, желательно, чтобы он не стал достоянием слухов.

Теперь вы видите, что спрятать что-либо можно лишь в одном измерении – измерении истины. Сама идея скрыть что-то в Реальном является по существу бредовой – в какие бы земные глубины клад ни был зарыт, скрытым он там не останется, ибо если кто-то туда добрался, сможете туда добраться и вы.

Скрыть можно лишь то, что относится к разряду истины. Сокрыта именно истина, не письмо. Для полицейских истина значения не имеет, для них есть лишь реальность. Именно поэтому они письма не находят.

Дюпен же, напротив, наряду с замечаниями своими об игре в чет и нечет высказывает массу соображений лингвистического, математического, религиозного толка, постоянно рассуждает о символе и доходит даже до утверждения о бессмысленности математики, в чем я у вас, присутствующих математиков, прошу извинения. Попробуйте – говорит он, – сказать однажды в лицо какому-нибудь математику, что $x^2 + px$ может быть не совсем равняется q, – он вас

уложит на месте. Это неправда: я часто делился с г-ном Риге своими подозрениями на этот счет, и ничего подобного со мной не случилось. Напротив, он поощряет меня рассуждать дальше. Короче говоря, именно навык в размышлении о символе и истине позволяет Дюпену увидеть то, что находится на виду.

В описываемой читателю сцене глазам Дюпена предстает странное зрелище. Министр демонстрирует томную леность, которая ничуть не обманывает проницательного героя, прекрасно знающего, что за ней кроется исключительная настороженность и отчаянная смелость лица романтического и способного на все, – лица, для которого слово *хладнокровие* – смотрите об этом у Стендаля – словно нарочно и было придумано. *В нашу упадочную эпоху великие умы поневоле бездействуют. Что же делать, если все идет прахом*?— мечтает он вслух, лежа на диване со скучающим видом. Вот тема. Тем временем Дюпен, скрывая глаза за зелеными очками, осматривает комнату и пытается внушить нам, будто лишь собственная гениальность позволила ему письмо обнаружить. Ничего подобного.

Как в первой сцене о письме дала знать министру сама королева, так и здесь выдает Дюпену свой секрет сам министр. Разве не чувствуете вы эхо соответствия между этим томным Парисом и письмом, надписанным женским почерком? Дюпен буквально прочитывает новый облик письма в изнеженной позе этого персонажа, о котором никому не известно, чего он хочет – разве что как можно дальше зайти в исполнении взятой им на себя роли игрока ради самой игры. Он бросает теперь вызов миру, как бросил его похищением письма королевской чете. Чем это кончается? Да тем, что оказавшись по отношению к письму в том же положении, в котором была прежде королева, в положении по сути своей женском, министр становится жертвой того самого, что случилось и с ней.

Вы скажете, что здесь рядом с письмом уже нет трех персонажей. Само письмо здесь, два персонажа тоже налицо, но где король? В этой роли здесь явно выступает полиция. Министр именно потому так спокоен, что полиция участвует в обеспечении его безопасности точно так же,

как обеспечивает, со своей стороны, король безопасность королевы. Защита двусмысленная – с одной стороны, это покровительство, которое обязан он ей оказать в качестве супруга, с другой стороны, это поддержка, которой обязана она его слепоте. Достаточно, однако, сущего пустяка, легкого нарушения равновесия, чтобы прослойка письма улетучилась. Именно это с министром и произошло.

Было ошибкой с его стороны думать, что если полиция, уже несколько месяцев обшаривавшая его жилище, письмо не нашла, он может вздохнуть спокойно. Это еще не дает никаких гарантий, точно так же, как неспособность увидеть письмо короля не оказалась для королевы защитой. В чем его ошибка? В забвении того, что если полиция письмо не нашла, то не потому, что найти его нельзя, а потому что полиция искала нечто другое. Страус чувствует себя в безопасности, потому что голова у него зарыта в песок, – министр напоминает страуса усовершенствованного, который чувствует себя надежно укрытым, когда голову в песок сунул другой страус. В результате он позволяет ощипать себе хвост третьему, из его перьев делающему себе плюмаж.

Итак, министр находится в положении королевы, а полиция – в положении короля, дегенеративного короля, который верит лишь в реальное и ничего не видит. Расстановка персонажей в точности отвечает прежней. И по одному тому, что министр в ход дискурса вмешался, что маленькое письмо, речь в котором идет о пустяках, достаточных, чтобы произвести вокруг великие опустошения, оказалось в его руках, этот хитрец из хитрецов, честолюбец из честолюбцев, интриган из интриганов и дилетант из дилетантов не видит, что секрет его вытащат прямо у него из-под носа.

Достаточно пустяка (весьма явственно напоминающего о присутствии полиции), чтобы отвлечь на какое-то мгновение его внимание. Ведь случай на улице оттого и привлекает его внимание, что он уверен, что за ним наблюдает полиция. *Как может у меня перед домом что-то произойти, если у меня на каждом углу по три фараона?* Письмо не только феминизировало его, письмо (на чью связь с бессознательным я ваше внимание уже обращал) заставило его забыть самое главное. Помните историю о человеке, кото-

рого встречают на необитаемом острове, где он укрылся, чтобы забыть. – *Забыть что? – Я забыл.* Так и министр забыл, что, находясь под надзором полиции, не нужно упускать из виду, что могут найтись соглядатаи и получше.

Следующий этап очень интересен. Как ведет себя Дюпен? Обратите внимание на то, что между двумя визитами префекта полиции проходит немалое время. Завладев письмом, Дюпен, в свою очередь, не говорит о нем ни слова. Другими словами, владелец письма – в этом значение блуждающей истины как раз и состоит – обречен на то, чтобы держать язык за зубами. И в самом деле, кому он может о нем рассказать? Положение не из самых приятных.

Благодарение Богу, префект полиции появляется снова (префектам полиции вообще свойственно на места своих преступлений возвращаться) и Дюпена расспрашивает. Тот рассказывает ему абсолютно изумительную историю. О бесплатной консультации. Речь идет об английском враче, у которого попытались однажды выудить рецепт в частной беседе: *Что бы вы посоветовали сделать больному, доктор? – Обратиться к врачу.* Тем самым Дюпен намекает префекту, что гонорар будет не лишним. Тот немедленно подписывает чек, после чего Дюпен говорит: *Вот оно, в моем ящике.*

Значит ли это, что Дюпен, этот удивительный, наделенный почти сверхъестественной проницательностью персонаж, превращается вдруг в мелкого спекулянта? Я нисколько не сомневаюсь, что перед нами просто искупление тех злых чар, той "мана", которая с этим письмом связана. И действительно, получив свой гонорар, Дюпен тут же выходит из игры. Дело не просто в том, что он передал письмо кому-то другому, а в том, что теперь мотивы его абсолютно для всех ясны – он свое получил и теперь он тут не при чем. Сакральное значение гонорарного возмещения ясно просматривается на заднем плане анекдота про врача-англичанина.

Я не хочу настаивать, но потихоньку могу вам заметить, что и мы с вами, носящие с собой все украденные письма нашего пациента, тоже берем с него немалую плату. Подумайте хорошенько – ведь если бы мы этой платы не требовали, мы тут же сами оказались бы участниками трагедии Атрея и Фиеста – трагедии, жертвой которой является

каждый из тех, что приходит доверить нам свою тайну. Они рассказывают нам всякую чертовщину – и как раз поэтому сами мы в разряде священного и жертвенного отнюдь не находимся. Всем известно, что деньги служат не только для приобретения тех или иных предметов, что цены, которые в нашей цивилизации рассчитываются с великой точностью, призваны ослабить опасность куда более страшную, чем денежная расплата, – опасность быть в чем-то перед кем-то в долгу.

Вот о чем идет речь. Каждый, у кого оказывается это письмо, вступает в конус тени, отбрасываемой тем фактом, что оно принадлежит – кому? Кому, как не лицу, в нем заинтересованному – королю. И оно в конечном счете действительно попадает к нему, но совсем не так, как происходит это в воображении Дюпена, где министр, получив отпор со стороны королевы, оказывается настолько глуп, чтобы пустить письмо в ход. Оно и вправду попадает к королю – к королю, который по-прежнему ничего не знает. Разница лишь в том, что по ходу дела месть короля занял другой персонаж. Министр, который на предыдущем этапе стал было королевой, – вот кто выступает теперь в королевской роли. На третьем этапе место короля занял он, и письмо – у него.

Это, разумеется, уже не то письмо, что ушло от Дюпена в руки префекта полиции, а оттуда в секретный отдел безопасности (не надо убеждать нас, что одиссея письма в рассказе закончена), это письмо в новой, приданной ему Дюпеном форме, в гораздо большей мере служащее орудием судьбы, чем сам По дает нам это понять, – в форме провокационной, сообщающей этой истории столь милый для мидинеток язвительный и жестокий оттенок. Открыв письмо, министр прочтет эти строки, которые прозвучат для него пощечиной:

... план столь зловещей мести
достоин если не Атрея, то Фиеста.

Если министру суждено будет это письмо открыть, ему действительно ничего больше не останется, как пожать плоды собственных поступков, пожрать, подобно Фиесту, собственных детей. Именно это и происходит с нами еже-

дневно, всякий раз, когда символическая цепочка раскручивается до конца, — наши собственные поступки настигают нас. Возникает неожиданно ситуация, когда платить надо наличными и сполна. Ситуация, когда надо, как говорят, *дать отчет* в своих преступлениях – имея в виду, что если вы сумеете дать в них отчет, то наказание вас не ждет. Если министр действительно сделает глупость и пустит письмо в ход, тем более не заглянув в него предварительно, чтобы убедиться, что это именно оно и есть, ему и вправду останется лишь последовать шуточному призыву, брошенному мною в Цюрихе в споре с Леклером: Ешь свое *Dasein*! Вот пир, поистине достойный Фиеста!

Чтобы упустить письмо в ход, министру нужно довести парадокс игрока поистине до безумия. Для этого ему нужно быть человеком воистину, до конца лишенным всяческих принципов – даже того, последнего, с которым большинство из нас никогда не расстанется и который представляет собой всего лишь тень глупости. Почувствуй он страсть – он найдет королеву щедрой, достойной уважения и любви, и это спасет его, каким бы идиотским этот выход ни выглядел. Испытай он неприкрытую ненависть, он попытается правильно рассчитать свой удар. И лишь в том случае, если *Dasein* его действительно выпало из любого порядка, вплоть до интимного порядка его собственного бюро, его письменного стола, – лишь в этом случае придется ему испить до дна свою чашу.

Все это мы могли бы с успехом записать и с помощью наших маленьких *альфы*, *беты* и *гаммы*. Все то, что помогает нам описать персонажей как реальных – качества, темперамент, наследственность, происхождение, – не играет в этом деле никакой роли. В каждый момент каждый из них во всем, вплоть до сексуального своего поведения, определен тем фактом, что письмо всегда приходит по своему назначению.

5 апреля 1955 года.

XVII
ВОПРОСЫ К ПРЕПОДАЮЩЕМУ

Общий дискурс.
Осуществление желания.
Желание спать.
Глагол и потрох.
Вопрос о реализме.

Сегодня мы приблизились к гребню того порой нелегкого на подъем склона, восхождение на который мы в этом году предприняли. Мы уже у вершины. Ничто не предвещает, однако, что с этой вершины откроется нам широкая панорама уже пройденного нами.

Как я уже говорил вам в последний раз, я попытаюсь связать воедино функцию слова и функцию смерти – не смерти как таковой, потому что это пустой звук, а смерти как той силы, которая сопротивляется жизни.

То, что лежит по ту сторону принципа удовольствия, описывается термином *Wiederholungszwang*. Термин этот неудачно переведен на французский язык как *автоматизм повторения* – мне кажется, что он гораздо лучше передается предложенным мною понятием *настойчивости* (insistance), настойчивости упорной и многозначительной. А в этой-то функции как раз и укоренен язык как нечто придающее новое измерение – я не сказал бы, что миру, потому что это и есть то измерение, которое делает мир возможным, если он, мир, действительно представляет собой вселенную, послушную языку.

Так как же соотносится эта функция с понятием, к которому ведут Фрейда его, в свою очередь настойчивые, размышления – с понятием инстинкта смерти? Ибо в человеческом мире происходит соединение между речью, которая определяет собою человеческую судьбу, и смертью, места которой в мысли Фрейда мы указать не можем, не зная, располагается ли она на уровне Реального, Воображаемого или Символического.

Но связывать эти два термина так, чтобы вы смогли вновь и, надеюсь, еще лучше, прочувствовать значение фрейдовского открытия и аналитического опыта как средства, позволяющего помочь субъекту в том откровении, которое де-

лает он для себя о себе самом, я немного повременю.

Мне пришла в голову мысль, которая при всей нелицеприятности своей вовсе не является плодом разочарования. Мне подумалось, что преподавание представляет собой нечто крайне сомнительное и что не было еще ни одного случая, чтобы, заняв место за маленьким столиком, которое теперь занимаю я, человек не оказался или, по крайней мере, не казался бы для него подходящим. Другими словами, как заметил один очень достойный английский поэт, история еще не знает случая, чтобы преподаватель не знал, что сказать. Чтобы занять те минуты, в течение которых приходится выступать с позиции того, кто знает, знания всегда оказывается достаточно. Невиданное дело, чтобы человек, заняв место преподавателя, лишился вдруг дара речи.

А это, в свою очередь, наводит меня на мысль, что настоящим преподаванием может называется лишь то, которое рождает у слушателей настойчивость, то желание знать, которое возникает не раньше, чем они сами оценили меру невежества как такового – то есть насколько оно, как таковое, плодотворно – в том числе и со стороны того, кто преподает им.

Поэтому прежде чем произнести несколько слов, которые тем, которых формальные схемы нашего мышления заботят в первую очередь, покажутся заключительными, а для других ознаменуют лишь новое начало, я хотел бы, чтобы каждый из вас задал мне сегодня вопрос, который можно было бы охарактеризовать как мой собственный.

Другими словами, пусть каждый по-своему выскажет мне, к чему, по его мнению, я клоню. Пусть теперь, после всего, что я в этом году успел рассказать, каждый объяснит мне, как рисуется ему или как окончательно оформляется для него, или закрывается для него, или уже сейчас вызывает у него сопротивление вопрос в том виде, в каком я его ставлю.

Конечно, это всего лишь точка прицела, и от этой идеальной точки каждый может остаться на том расстоянии, которое предпочтет. Мне кажется, что по самой природе своей она должна быть точкой схождения всех вопросов, которые могут прийти вам в голову, но ничто не обязывает

вас метить именно в нее. И все же любой вопрос, который вам предстоит мне задать, каким бы частным, локальным, неопределенным он ни казался, должен будет с этой точкой так или иначе соотноситься.

Если у вас создалось впечатление, что я о каких-то вещах умалчиваю, вы тоже можете, высказавшись случаем, об этом сказать. Это еще раз засвидетельствует по-своему то не способное укрыться от вас постоянство, с которым мы с вами до сих пор избранным мною путем следовали.

Я настойчиво прошу вас принять в этой работе участие. Именно так — я не позволю заполнить часы этого занятия не чем иным, кроме такого вот именно эксперимента.

Начнем с добровольцев. Это испытание представляет собой то наименьшее, что я могу от вас потребовать, – обнаружить себя перед другими. Если вы, будучи аналитиками, неспособны на это – на что вы вообще способны?

Пусть те, кто чувствует, что они готовы высказать, что у них лежит на сердце или срывается с уст, незамедлительно это сделают. Это даст другим время собраться с мыслями.

1

М-ль Рамну: – *Когда я прочла главу Фрейда, у меня сложилось представление о Я как защитной функции, которую следует мыслить расположенной на поверхности, а не в глубине, и которая действует сразу на два фронта – против травм, причиняемых внешним миром, и против побуждений, идущих из мира внутреннего. После Ваших лекций мне больше не удается представлять себе вещи подобным образом. И я задаюсь вопросом о другом, лучшем определении. Я думаю, что можно было бы говорить о фрагменте общей речевой практики. Так ли это? И еще один вопрос. Мне удалось было понять, почему то, из чего возникают настойчивые симптомы, Фрейд называет инстинктом смерти. Мне удалось это понять, потому что повторение это представляет собою род инерции, а инерция – это возвращение к неорганическому состоянию, то есть к прошлому самому отдаленному. Я понимаю, таким образом, почему Фрейд мог усвоить это инстинкту смерти. Однако, обдумав Вашу последнюю лекцию, я увидела, что принуждение это исходит из своего рода бесконечного, полиморфного, беспредметного желания, желания ничего. Я очень хорошо это понимаю, но чего я тогда не понимаю, так это смерти.*

Лакан: – Совершенно ясно, что все, о чем я вам рассказываю, заставляет задуматься над справедливостью расхожего преставления о ситуации Я во фрейдовской топике. Поставить Я в фокус поля зрения, как современное направление анализа это делает, значит пойти на одно из тех очередных отступлений, которыми бывает чревата любая попытка усомниться в месте, которое человек занимает. Составить представление о том, что, собственно, каждый раз, когда способ говорить о человеке бывал пересмотрен, происходило, дело нелегкое, ибо с течением времени суть такого пересмотра неизбежно оказывалась смягченной, затушеванной, так что на сегодняшний день слово *гуманизм* по-прежнему представляет собой мешок, в котором тихо гниют сваленные друг на друга трупы сменявших друг друга революционных взглядов на человека. Что-то похожее готовится сейчас произойти и на уровне психоанализа.

Вот о чем напомнило мне этим утром журнальное сообщение об одном из тех откровенных выступлений, с которыми периодически сталкиваемся мы в наши дни всякий раз, когда возникает по поводу того или иного более или менее плохо мотивированного преступления вопрос об ответственности. Мы становимся свидетелями панического страха психиатра, его отчаянных попыток зацепиться за что-нибудь, найти защиту от опасения, что, не подтвердив ответственность совершившего преступление лица, он может открыть дорогу резне, доходящей до беспредела. Конечно, лицо это совершило что-то такое, что, несмотря на возможности, которые для подобного поступка каждую минуту предоставляются, за рамки привычного выходит — хватило, скажем, о тротуар и исполосовало ножом существо, связанное с ним самыми нежными узами. И вот психиатр, поставленный с этой пустотой, с этим зиянием лицом к лицу, оказывается вынужден занять какую-то позицию. Случилось на сей раз что-то из ряда вон выходящее, один из тех невероятных случаев, которые убеждают нас, что шанс-таки действительно может выпасть. Психиатр, которому следовало бы объяснить людям, что заключением о полной ответственности преступника вопрос не решается, от этого решения уходит. Вместо этого мы слышим поразительную

речь, произносящий которую скривив губы объясняет нам, что у преступника налицо все возможные нарушения эмотивной сферы, что он неконтактен и вообще омерзителен, но что содеянное им целиком относится, при всем том, к сфере общей речевой практики и должно караться по всей строгости закона.

Свидетелями чего-то подобного становимся мы и в психоанализе. Возвращение к Я как центру и общей мере ходом рассуждений Фрейда отнюдь не подразумевается. Напротив – чем дальше он рассуждает, чем дальше следуем мы за мыслью Фрейда на третьем этапе его творчества, тем яснее предстает у него Я в качестве миража, в качестве суммы идентификаций. Конечно, Я действительно располагается в месте того достаточно бедного синтетического образования, к которому субъект сводится в собственном о себе представлении, но оно в то же время являет собой и нечто иное, оно находится и в другом месте, оно имеет и другой источник, причем верно это именно с точки зрения принципа удовольствия, как раз и позволяющего нам задаться вопросом о том, что же именно кроется за той символической нитью, за той в основе лежащей фразой, которая настаивает на себе вопреки всему тому, что нам в мотивации субъекта может оказаться доступно?

Да, существует речевая практика, и притом, как Вы выражаетесь, общая. Говоря об *Украденном письме*, я высказал, может быть, в несколько загадочной форме, ту мысль, что письмо это на какое-то время и в границах маленькой сцены, *Schauplatz,* как сказал бы Фрейд, в границах разыгранного перед нами Эдгаром По кукольного спектакля, было бессознательным различных субъектов, поочередно сменявших друг друга в качестве его обладателя. Бессознательное – это само письмо, написанная на клочке бумаги и гуляющая на свободе фраза. Это с очевидностью вытекает из моих наблюдений над окраской, которую приобретают один за другим персонажи истории по мере того, как пробегает по их лицу и фигуре отблеск письма.

Вас это, возможно, не удовлетворяет. Не забывайте, однако, что бессознательное Эдипа как раз и представляет собой ту лежащую в основе речь, благодаря которой история

Эдипа и оказалась со времен давних, времен незапамятных, записанной, а мы теперь ее знаем, в то время как сам Эдип, с самого начала действовавший по ее сценарию, не знает о ней ничего. Все это уходит в далекое прошлое – вспомните, что оракул предостерегает его родителей, что сам он оказывается изгоем, подкидышем. События действительно разворачиваются в соответствии с оракулом и определяются тем обстоятельством, что на деле он совсем не тот, чем представляется он себе в своем мнимом прошлом – сын Лайа и Иокасты, он вступает в жизнь, оставаясь о своем происхождении в совершенном неведении. Все перипетии его драматической судьбы обусловлены от начала и до конца тем искажением речи, которое, хотя он об этом не знает, и есть реальность.

Позже, когда мы будем снова говорить о смерти, я попытаюсь объяснить вам развязку драмы Эдипа — в том виде, в котором предстает она нам у великих трагиков. Хорошо бы, если бы вы прочли к следующей лекции *Эдипа в Колоне*. Вы увидите там, что последнее слово в отношениях человека с неведомой ему речью — это смерть. И нужно обратиться к творениям поэтическим, чтобы открыть для себя, до какой напряженности может дойти в своем осуществлении идентификация между этой скрытой фигурой умолчания и смертью как таковой, в самом чудовищном ее облике. Разоблачение, которое не несет в себе навязчивой мысли о загробной жизни и заставляет любые слова умолкнуть. Как ни поучителен для нас *Эдип-царь*, должны аналитики знать и то потустороннее по отношению к любой драме, что нашло выражение в трагедии об *Эдипе в Колоне*.

Как определить место Я по отношению к общей речевой практике и тому, что лежит по ту сторону принципа удовольствия? Вот вопрос, с которого Вы начинаете, и мне кажется, что он действительно наводит на размышления. В конечном счете, между субъектом-индивидом, с одной стороны, и субъектом смещенным по отношению к центру, субъектом по ту сторону субъекта, субъектом бессознательного, с другой, устанавливаются своего рода зеркальные отношения.

Само Я является лишь одним из элементов той общей для всех речи, которая и есть речь бессознательная. Именно

в качестве самого себя, в качестве образа, включено оно в цепочку символов. Оно представляет собой необходимый элемент введения реальности символической в реальность субъекта, оно связано с зиянием, которое налицо в субъекте с самого начала. В этом, первоначальном своем смысле оно оказывается в жизни человеческого субъекта ближайшей, интимнейшей и самой доступной формой, в которой является ему смерть.

Связь между собственным Я и смертью исключительно тесна, так как собственное Я представляет собой точку пересечения между общей для всех речью, в плену у которой оказывается отчужденный субъект, с одной стороны, и психологической реальностью этого субъекта, с другой.

Воображаемые связи у человека искажены, ибо в них возникает то зияние, посредством которого обнаруживает свое присутствие смерть. Мир символа, в самой основе которого лежит явление настойчивого повторения, является для субъекта отчуждающим – точнее говоря, он служит причиной того, что реализует себя субъект лишь там, где его нет, и что истина его всегда в какой-то части от него скрыта. Я лежит на пересечении того и другого.

В почве символизма заложена склонность к образности, к чему-то, что напоминает нам о мире или природе и наводит тем самым на мысль о наличии в них чего-то архетипического. Впрочем, в приставке *архе* нужды нет – *типического* вполне достаточно. Совершенно ясно, однако, что речь вовсе не идет о чем-то таком, что, наделяя его субстанцией, преподносит нам в качестве архетипа теория Юнга. Его архетипы сами выступают не иначе, как в форме символической, они включены в то, что вы назвали общей для всех речью, они суть фрагмент этой речи. Я согласен – это прекрасное определение, и термином этим я воспользуюсь, так как к определению собственного Я все это имеет самое непосредственое отношение.

Что касается вашего второго вопроса, то я надеюсь, что в последнюю нашу встречу дал вам почувствовать ту разницу, что существует между настоятельностью и инерцией.

Чему соответствует в аналитической процедуре сопротивление? Оно соответствует инерции. Как таковая эта пос-

ледняя имеет свойство не нести в себе никакого сопротивления. Сопротивление, в смысле *Widerstand,* препятствия, препятствия усилию, следует искать лишь в нас самих и нигде более. Кто применяет силу, тот вызывает сопротивление. На уровне инерции сопротивления нет и в помине. Измерение, в котором лежит все то, что связано с переносом, принадлежит совсем иному регистру – регистру настоятельности.

Вы прекрасно поняли также, что хотел я сказать, когда упомянул в прошлый раз о желании – о том желании, которое раскрывает себя у Фрейда, на уровне бессознательного, как желание ничего.

Вчера вечером вы могли стать свидетелями того, как излагался ошибочный, нередкий среди читателей Фрейда взгляд, согласно которому всякий раз обнаруживается одно и то же означаемое, причем означаемое диапазона довольно узкого – можно подумать, что желание сновидения, на которое указывает Фрейд в *Traumdeutung*, подытоживается, в конечном счете, списком влечений, причем довольно коротким!

Ничего подобного. Прочитайте *Traumdeutung* еще разок, от корки до корки, и вы убедитесь в противоположном. Хотя Фрейд и исследует в этой книге множество эмпирических форм, которые желание может принять, в ней не найти ни одного анализа, в итоге которого то или иное желание оказалось бы сформулировано. В конечном счете, желание в ней так ни разу и не раскрыто. Все, что происходит в ней, происходит на различных ступенях, этапах, подступах к его обнаружению. В одном месте Фрейд даже посмеивается над заблуждением тех, кто, прочтя *Traumdeutung*, проникся убеждением, будто реальное содержание сновидения есть последовательность скрытых в нем помыслов. Фрейд сам говорит, что будь дело именно так, реальность эта никакого интереса не представляла бы. Что действительно интересно, так это этапы выработки сновидения, ибо именно в этом процессе обнаруживается то, что мы в истолковании этого сновидения ищем, тот *x*, который представляет собой, в конечном счете, желание ничего. Готов поспорить, что вы не найдете мне в *Traumdeutung* ни одного места, где делался бы вывод: *субъект желает вот этого.*

А детские сновидения? — возразят мне. Это единственное, вокруг чего в *Traumdeutung* возникают недоразумения. Я еще вернусь к этому и покажу вам, что коренится это недоразумение в склонности Фрейда (которая всегда была самым слабым местом в его творчестве) вставать слишком часто на генетическую точку зрения. На возражение это можно ответить. Принципиальное значение имеет то, что, когда Фрейд говорит о желании как истоке различных – начиная от сновидений, включая всевозможные факты из психопатологии обыденной жизни и кончая проявлениями остроумия – символических образований, речь у него всегда идет о моменте, когда то, что посредством символа получает существование, еще не поименовано и никоим образом поименовано быть не может.

Другими словами, если за именуемым что-то есть, то оно неименуемо. И в силу неименуемости своей (во всех оттенках смысла, которые в слове этом можно расслышать) сближается с неименуемым по преимуществу – смертью.

Перечитайте *Traumdeutung*, и вы обнаружите это на каждом шагу. Все, чему можно дать имя, обнаруживается там исключительно на уровне выработки сновидения. Выработка эта представляет собой символизацию со всеми ее закономерностями – закономерностями значения. Я говорил об этом в прошлый раз, напомнив вам о партитуре значений, многозначности, сгущении и всех терминах, которыми Фрейд пользуется. Все это относится к порядку сверхдетерминации, или, как можно еще выразиться, к порядку мотивации, обусловленной значением. Начиная с момента, когда желание в этот порядок вступает, когда оно всецело повинуется диалектике отчуждения, находя в желании признания и признании желания единственное свое выражение, как может оно настичь то, чего еще не было?

Почему, собственно, это должна быть именно смерть? Вот предельная форма вашего вопроса, свидетельствующего о верном понимании того, что было здесь мною сказано.

2

Валабрега: – *Вопрос по поводу того, что Вы только что сказали о сновидении. На самом деле верно и то, и другое. С одной стороны, Вы*

совершенно правы, придавая главное значение выработке сновидения.

Лакан: – Фрейд категорически заявляет, что это единственное, что в сновидении действительно важно.

Валабрега: – *И все же не единственное, так как он же утверждает, что в сновидении происходит реализация желания. Я полагаю, Вы правы, обращая особое внимание на выработку сновидения, потому что именно она позволяет обнаружить значение его. В противном случае, к сновидению существовал бы готовый набор ключей – идея, от которой Фрейд достаточно ясно отмежевался. Но это не значит, что реализацию желания мы должны игнорировать. Примеры ее можно найти не только в сновидениях детей, но и в галлюцинаторных явлениях.*

Лакан: – Это один и тот же вопрос. Можете ли Вы на этом и остановиться?

Валабрега: – *Конечно, нет.; когда сновидение переходит в галлюцинацию, довольствоваться этим нельзя – это отсылает нас ко всему процессу выработки сновидения и рассуждать тут приходится именно так, как Вы это и делаете. Необходимо, однако, принять в расчет и желание спать, интерес к которому в последнее время вновь оживился. Ведь это одновременно один из первых и один из последних мотивов сновидения. О вторичной переработке сновидения Фрейд не говорит – выработка имеет место в сновидении, которое налицо и о котором идет рассказ. Затем, в окончательном плане, имеется также желание спать, представляющее собой одно из окончательных значений сновидения. Вследствие этого, на одном конце мы имеем реализацию желания, на другом – желание спать. Я полагаю, что истолкования, предложенные в недавнее время, которые в* Traumdeutung *и в других, позднейших работах Фрейда оставались лишь слабо намечены, и, в частности, истолкование желания спать как желания нарциссического, идут именно в этом направлении. В сновидении налицо две реальности – реализация желания, которое у вас, похоже, потихоньку тает бесследно, и выработку означающего.*

Лакан: – Вы говорите о реализации желания спать. Я вернусь для начала к первому из этих терминов.

Что мы, говоря о реализации желания, можем иметь в виду? Похоже, Вы не вполне уяснили тот факт, что реализация предполагает реальность и что речь здесь может идти поэтому лишь о реализации метафорической, иллюзорной. Здесь, как и в случае любого галлюцинаторного удовлетворения, о месте функции желания приходится говорить в фор-

ме очень проблематичной. Что такое вообще желание, если оно представляет собой источник галлюцинации, иллюзии, то есть способа удовлетворения, который удовлетворению прямо противоположен? Если мы дадим термину *желание* функциональное определение, если станем рассматривать его как напряжение, возникающее в цикле поведенческой реализации, независимо от характера этого последнего, если мы впишем его в биологический цикл, то желание всегда стремится у нас к удовлетворению реальному. Если же оно довольствуется удовлетворением галлюцинаторным, то это свидетельствует о существовании другого регистра. Желание удовлетворяется вовсе не там, где ждет настоящее удовлетворение. Оно является истоком, фундаментальным началом фантазма как такового. Мы являемся здесь свидетелями иного, не ориентированного на какую бы то ни было объективность порядка, который со всеми вопросами, поставленными в регистре воображаемого, определяется самостоятельно.

Валабрега: – *Вот почему Фрейд пользуется понятием* маскировки*; вот почему, высказав свое первое положение,* сновидение представляет собой реализацию желания*, он тут же берет на вооружение представление о желании как реализации замаскированной. Тем не менее реализация эта вполне реальна, только реализована она в скрытой, замаскированной форме.*

Термин *маскировка* является лишь метафорой, оставляющей незатронутым вопрос о том, что же, собственно, в случае символического удовлетворения оказывается удовлетворено. Действительно, существуют желания, единственное удовлетворение которых состоит в том факте, что их признают, то есть в них сознаются. У птицы, которая в результате маневров противника уступила, наконец, ему право на своего партнера, начинают порою лосниться ухоженные перья, что является эктопией брачной игры. В этом случае позволительно говорить о подключении к другой цепи, что может вызвать цикл превращений, формирующих образ замещенного удовлетворения. Можно ли считать символическое удовлетворение явлением того же порядка? Все дело в этом. И понятие *маскировки* нисколько не помогает нам в этом разобраться.

Что касается другого термина, которого вы только что коснулись, *желания спать*, то это, разумеется, чрезвычайно важно. Неслучайно в последней главе той части своей книги, что посвящена выработке сновидения, главе, где речь идет о вмешательстве в сновидение *эго* как такового, Фрейд особо указывает на связь этого желания со вторичной обработкой.

Я полагаю, что здесь есть две вещи, которые путать не следует. Есть потребность поддерживать сон в течение какого-то времени, потребность, обеспечивающая продолжительность сна, оберегая его от всех внешних и внутренних возбуждений, которые в принципе могли бы его нарушить. Рождается ли эта потребность именно в собственном Я, имеет ли она отношение к той бдительности, которое это последнее проявляет, чтобы состояние сна защитить? Да, это действительно одно из обнаружений присутствия собственного Я в сновидении, но далеко не единственное. Вспомните хорошенько главу, на которую Вы ссылаетесь – именно там впервые появляется у Фрейда понятие о *бессознательном фантазме.* Все, что относится к регистру собственного Я как инстанции бодрствующей происходит на уровне вторичной обработки, но Фрейд не может отделить ее от фантазматической функции, в которую это Я интегрировано. Перед нами чрезвычайно нюансированная серия сопоставлений, целью которых является проведение различия между фантазмом, сновидением и грезами наяву; причем в определенный момент роли, по закону своего рода зеркального отражения, меняются. Греза наяву в том виде, в котором возникает она на уровне собственного Я, представляет собой воображаемое, иллюзорное удовлетворение желания; ее функция узко локализована, она, как только что выразилась м-ль Рамну, лежит на поверхности. Какова же связь между этой грезой Я наяву и другой, располагающейся в ином месте, подавленной? Здесь впервые появляется у Фрейда понятие *бессознательного фантазма.* Я объясняю вам, насколько сложным желание остаться спящим является в действительности.

Именно на этом уровне игра в прятки с собственным Я достигает своей кульминации, и узнать, где же именно оно

находится, необычайно трудно. В конечном итоге, только на уровне собственного Я и можем мы засвидетельствовать функцию, принадлежащую в формировании сновидения грезам наяву. И лишь отправляясь от собственного Я можем мы путем экстраполяции прийти к мысли о том, что существуют где-то и грезы без Я, что существуют бессознательные фантазмы. Как это ни парадоксально, но понятие бессознательной фантазии и фантазматической активности возникает лишь тогда, когда мы движемся по отношению к *Я* обходным путем.

3

Г-жа Одри: – *Мой вопрос очень близок к тому, о чем спрашивала Клеманс Рамну, потому что он тоже касается* Я. *Если* Я *представляет собой фрагмент общего дискурса, то происходит это именно в анализе. До анализа это всего-навсего воображение, мираж чистой воды. Анализ, следовательно, равнозначен демистификации этого предшествовавшего ему воображаемого. В результате же происходит следующее: как только мистификация завершена, мы оказываемся в присутствии смерти. Остается лишь ждать, созерцая смерть. Вопрос мой может показаться слишком позитивным, или утилитарным, но это так.*

Лакан: – Почему бы и нет? *Неужто сейчас, когда я ничто, я становлюсь человеком*, — говорит Эдип в *Эдипе в Колоне*. Это и есть конец психоанализа Эдипа – психоанализ Эдипа завершается лишь в Колоне, в момент его ослепления. Это и есть тот главный момент, который сообщает его истории смысл; с точки зрения Эдипа это не что иное, как *acting-out, отыгрывание*, что и сам он имеет в виду, говоря: *я все же был в гневе.*

Г-жа Одри: – *Путь того, что может занять место гуманизма, лежит между* я — ничто *и смертью?*

Лакан: – Именно так. Того, что принимало на протяжении веков самый разный облик и делает само слово *гуманизм* столь трудным для обращения.

4

Дюранден: – *Я тоже хотел бы задать вопрос, хотя и не совсем вправе его задавать, потому что регулярно ваших семинаров не посещал.*

Лакан: – Что касается меня, то я попросил бы у вас объяснения по поводу вчерашней *девербализации.*

Дюранден: – *В этой истории с девербализацией ничего головоломного нет. Это вписывается в какой-то степени в непосредственные данные сознания. Язык – это не просто выражение чего-то уже известного, это средство общения. Это инструмент, в соответствии с которым сознание ребенка формируется. Уже потому, что ребенок живет в обществе, он кроит мир посредством языка, откуда и проистекает вербальный реализм. Человек начинает верить, будто там, где есть слово, что-то есть и на самом деле, а если слова нет, то, по его мнению, ничего и на самом деле не существует – он даже не дает себе труда поискать.*

Лакан: – Давайте облечем в плоть то, что Вы только что сказали. Вчера Вы предложили для обсуждения такой тип вопроса: *интересно, я дал это по своей щедрости или по своей трусости?*

Дюранден: – *Такие вопросы мне часто задает мой больной. Ответить ему было бы невозможно, потому что он колеблется между вещами бессодержательными, которым никакая реальность не соответствует. Он чувствует потребность повесить этикетки на все, что он думает и испытывает, но даже если бы все это не было столь бессодержательно, сама потребность разложить вещи по полочкам и дать им названия представляет собой нечто застывающее, мертвящее. В большинстве случаев это заранее готовые мысли. И по мере того, как мы заставляем субъект вступать в контакт, по мере того, как мы отвечаем ему в уклончивой форме, чтобы поощрить его к продолжению...*

Лакан: – И вы думаете, что достаточно снять с него готовое платье, чтобы он оделся в костюм по мерке?

Дюранден: – *Конечно, нет. Но необходимо поощрить его к тому, чтобы он разглядывал свою наготу, осознал ее. Это не устраняет необходимости в речи, которая придет позже. Выражение* девербализация *было, возможно, неудачным. Мне важно было сказать, что язык является своего рода матрицей, в которой отливаются наши мысли, наши понятия, наши способы этим миром пользоваться.*

Лакан: – То, что Вы говорите, похоже, предполагает, будто существует два вида мыслей – те, что Вы называете *готовыми заранее*, и другие, таковыми не являющиеся. Причем этим последним свойственно являться не вполне мыслями, а мыслями девербализованными. Вы взяли в качестве примера случай, в нашей области распространенный, когда

субъект задается вопросом, лежащим в регистре психологии Ларошфуко: ***то хорошее, что я делаю, делаю ли я это для своей славы или для блага в потустороннем мире?***

Дюранден: – *Да, речь идет именно об этом регистре.*

Лакан: – Но почему думаете Вы, будто есть в этом что-то такое, что Вы могли бы связать с речью пустой или бессодержательной? Не кажется ли Вам, что вопрос остается вполне законным? Вы находите себе место в том же регистре, что и Ларошфуко, и не случайно Я становится в эту эпоху столь важной проблемой. Что бы Вы ни думали, в какой бы форме ни пытались мыслить (а это всегда, как бы ни пришлось это не по душе, будет форма словесная), вопрос этот всегда свое значение полностью сохранит. Ибо пока субъект остается в регистре собственного Я, он всецело находится во власти нарциссических отношений. Не это ли мы имеем в виду, говоря, например, что в любом даре есть нарциссическое измерение, исключить которое невозможно? Неужели Вы думаете, что субъект сможет найти путь, оставив этот вопрос без ответа? Если да, то как?

Дюранден: – *Осознав его и перефразировав заново.*

Лакан: – Но как? Какие у Вас соображения относительно того, как можно его переформулировать?

Дюранден: – *Если он задает себе вопрос, пользуясь понятиями* щедрость *и* трусость, *то, вероятно, оттого, что принимает эти понятия всерьез, как вещи.*

Лакан: – Но ведь можно воспринимать их всерьез, не воспринимая при этом как вещи.

Дюранден: – *Это делать неудобно.*

Лакан: – Вы совершенно правы. Склонность к овеществлению существует.

Дюранден: – *Поэтому работа с языком может стать работой по переформулированию мысли. Исходя из чего? Исходя из опытного переживания того факта, что мы попадаем в этом случае в область вещей в какой-то степени таинственных и невыразимых. Это, в какой-то степени, реальность. А осознается реальность по мере того, как ее выкраивают, артикулируют. Но ведь и до того, как стать поименованной, она что-то собой представляет.*

Лакан: – Она представляет собой неименуемое.

Дюранден: – *То, что происходит в нутре, действительно неименуемо, но в конечном счете оно оказывается поименовано.*

Лакан: – Но все, что вы, вплоть до самого нутра, как Вы справедливо выражаетесь, чувствуете, даже простых ваго-симпатических реакций не вызывало бы без той последовательности вопросов, которые Вы ставите. В этом как раз ваша принадлежность к человеческому роду и состоит. Все ваши особенности, странности, самый ритм ваших ваго-симпатических реакций зависят от того, как именно, с того момента, как появился у вас дар речи, поставлены были в вашей историографирующей и историографируемой истории эти вопросы. Все это выходит далеко за рамки воспитания путем простой дрессировки.

Поднимая часто затрагиваемую самим Фрейдом тему, можно сказать, что именно в силу значимого характера, приданного некогда тому случаю, когда вы впервые наложили себе в штаны, может случиться так, что впоследствии, в возрасте, когда это уже не делается, вы вновь возьметесь за старое. Идет ли речь о потере достоинства или об эротическом переживании, но оплошность эта была интерпретирована как знак – перечитайте-ка *Человека с волками*! Оно принимает там значение в контексте определенной фразы, значение историческое, значение символа, независимо от того, будет ли он совершать ее в дальнейшем или же нет. Но в любом случае, именно от той значимости, которую получила реакция вашего *нутра* в первый раз, будет зависеть происходящая на уровне ваших внутренностей и вашего пищеварительного тракта дифференциация, именно благодаря ей возникнут в цепочке причин и следствий необратимые изменения. И если психоанализ не научил нас этому, то он не научил нас ничему.

В конечном счете в термине *девербализация* заключена та мысль, что любые проблемы, которые речь субъекта формулирует – ложны. Невозможно и представить себе, чтобы идея эта способна была разрешить то, что кроется в вопросе, который субъект перед собой ставит. Не следует ли, напротив, помочь ему осознать то, насколько проникнуты

были в данном конкретном случае его речи диалектикой самолюбия? Помочь осознать, что вопрос он ставит правильно, поскольку его Я действительно играет в человеческих отношениях свою роль и делает это в силу своей истории, которую ему надлежит восстановить во всей ее полноте?

Так, у больного неврозом навязчивых состояний, например, все, что относится к разряду дара, оказывается включенным в нарциссическую сеть, выпутаться из которой он не способен. Чтобы он сумел найти из диалектики нарциссизма выход, не следует ли исчерпать ее до последнего термина? Что лучше – трубить отбой, не позволяя ему больше сказать ни слова, или наоборот, подталкивать его речь к ее последним пределам, подталкивать таким образом, чтобы вся история субъекта вошла в нее без остатка? Суть истории больного навязчивыми состояниями заключена в том, что он полностью отчужден в господине, чьей смерти, не зная, что тот уже мертв, ожидает, так что в результате он не может сделать ни шага. Не кажется ли вам, что надежда на разрешение подобной ситуации лежит как раз в том, чтобы помочь субъекту дать себе отчет в том, что он является рабом и пленником господина мертвого? И вовсе не заставляя его от своих речей отказаться, а, напротив, побуждая его довести их логику до высшей степени диалектической строгости, позволите вы понять ему, что он с самого начала был в своих ожиданиях жестоко обманут. Чем больше вещей он позволяет себе, тем больше позволяет он их на деле ему, этому мертвецу, навеки лишаясь тем самым всякой возможности обладания и наслаждения ими сам. И пока он этого не поймет, никакого шанса помочь ему из этой ситуации выйти у вас нет.

Вы объясняете ему, что все это просто искусная выкройка. А дальше? Неужели вы думаете, что подобная философия уже сама по себе даст эффект катарсиса? Конечно же нет. Какое бы презрение к вопросу субъекта вы ни испытывали, вы неизбежно станете свидетелями его бесконечного воспроизведения. Никакой причины лишиться вдруг своего Я у субъекта нет. Это может произойти с ним лишь в ситуации поистине крайней – вроде той, в которой под конец своей жизни оказался Эдип.

Никто никогда не изучал еще последние минуты больного

навязчивыми состояниями. А это стоило бы труда. Не исключено, что минуты эти приносят ему подлинное откровение. И если вы хотите, чтобы он получил это откровение несколько раньше, на отказ от речи надежд возлагать не стоит.

5

Лефевр-Понталис: – *Я испытываю некоторую неловкость. Здесь много говорят о символическом и воображаемом, но вот о реальном упоминают редко. И последние вопросы показывают, что реальное мы немного упустили из виду. То, что говорила здесь Колетт Одри, поразительно – хорошо, что Эдип не узнал слишком рано все то, что ему предстояло узнать в конце, ведь нужно же ему было так или иначе пройти свой жизненный путь! Увидеть, что множество вещей, которые поначалу принимали было за нечто реальное, включены в сеть, в систему с несколькими входами, где занимает свое место и собственное Я – это хорошо. Но где же находится реальность, если не в движении между всеми этими измерениями? Необходимо, другими словами, чтобы признание желания проходило через ряд опосредований, перевоплощений, воображаемых образований, через незнание или игнорирование символического порядка. Не это ли, в конечном счете, называете Вы реальностью?*

Лакан: – Разумеется. Именно это все реальностью и называют.

Лефевр-Понталис: – *И все же в реальности – если взять ее не как вещь, а как категорию, как норму – есть что-то большее, нежели в других разрядах. Реальность не есть совокупность символов.*

Лакан: – Я хочу задать Вам вопрос. Замечали ли Вы, до какой степени редко реальные качества или недостатки любимого лица оказываются для любви непреодолимой помехой?

Лефевр-Понталис: – *Я не берусь это отрицать. Я не берусь утверждать и того, что это задним числом возникающая иллюзия.*

Лакан: – Так вот, я говорю вам, что это случается редко. Но даже в случаях, когда это происходит, похоже, что речь идет о предлогах. Люди хотят верить, что реальность имела к этому какое-то отношение.

Лефевр-Понталис: – *Но из этого следуют далеко идущие выводы. Получается, что истинных представлений не бывает вовсе, что мы вечно движемся от поправки к поправке, от призрака к призраку.*

Лакан: – На самом деле я полагаю, что в регистре интерсубъективности, где весь наш опыт, собственно, и лежит,

дело обстоит именно так. Возьмите хотя бы реальное столь простое, как те пределы индивидуальных способностей, которые все психологические науки тщатся установить, – разве удалось нам хоть раз к нему прикоснуться?

Впрочем, установить их совсем не просто, так как с момента, когда индивидуальные качества рассматриваются на достаточно высоком уровне и делаются попытки определения каких-то постоянных величин – конституций, темпераментов, – с помощью которых можно было бы охарактеризовать индивидуальные различия как таковые, вопросы меры с трудом находят в области индивидуальных качеств какие-либо ориентиры. Но несмотря на все это, я не сказал бы, что наивная психология в принципе обречена на бессилие – ведь каждый человек, поскольку он психолог, дает своим современникам оценку и опыт показывает, что он вполне на это способен. Приходят же к определенным выводам, опрашивая коллектив относительно одного из его членов и прося каждого дать оценку тому или иному из его качеств или предполагаемых недостатков!

Я не хотел бы поэтому утверждать, что любые попытки приблизиться к реальному через интерсубъективность в принципе неадекватны. Дело лишь в том, что человеческая драма как таковая лежит совершенно вне сферы подобной оценки. Драма каждого – то, с чем каждый в жизни имеет дело и что служит порою причиной патологии или отчуждения – представляет собой явление иного порядка, нежели эти, по своему очень полезные, оценки реального.

Я не ставлю существование реального под сомнение. Существует множество реальных ограничений. Совершенно ясно, что я не могу поднять этот стол одной рукой, есть множество вещей, которые поддаются измерению.

Лефевр-Понталис: – *Вы рассматриваете реальное исключительно под углом его враждебности, как источник сопротивления, как помеху.*

Лакан: – Мне не помеха, что я не могу поднять этот стол, – ясное дело, мне придется его обойти, но и это мне не помеха; я не думаю, что смысл того, что я объясняю вам, различая между Символическим, Воображаемым и Реальным, заключается именно в этом.

Та важнейшая часть опыта человека, которая как раз и представляет собой, собственно говоря, опыт субъекта, та, благодаря которой субъект этот и существует, лежит в плоскости возникновения символа. Вспомним понятие, отголоски которого, бэконовские отголоски, можно найти в развитии научной мысли, понятие *инвентарной описи* – об этом никогда не думают, но ведь оно предполагает возникновение измерения, совершенно отличного от измерения Реального. Помечая что-то как наличное, вы помещаете его тем самым на фоне его возможного отсутствия. Я пытаюсь сейчас представить свою мысль в наглядной форме, потому что отвечаю на вопрос о реализме, поставленный человеком, идеалистом которого никак не назовешь. Никто не пытается утверждать, что Реальное не существовало заранее. Просто оно не порождает из себя ничего, что было бы в области субъекта действенным. Реальность субъекта, поскольку он действительно существует, поскольку он свое существование поддерживает, субъекта, с которым вы ведете в анализе диалог и которого искусством слова исцеляете, состоит по сути своей в соединении реальности с появлением инвентарной описи. Это не значит, что именно он эти описи и создает. Напротив, я только и делаю, что внушаю вам, что описи эти как раз давно готовы. Игра уже сыграна, кости уже брошены. Да, брошены, с той лишь оговоркой, что мы можем взять и бросить их снова. Партия давно началась. Все, на что я обращаю ваше внимание, успело стать частью истории, о которой можно делать любые прорицания, какие только можно вообразить. Вот почему авгуры, увидев друг друга, не могут удержаться от смеха, а вовсе не оттого, что говорят один другому – *ты, мол, шут гороховый*. Тиресий, обнаружив присутствие другого Тиресия, разражается смехом. Беда лишь в том, что обнаружить присутствие другого он не может, потому что слеп, и на то есть причины. В самом факте, что кости уже брошены, не чудится ли вам нечто комичное, смехотворное?

Лефевр-Понталис: – *Это не дает ответа на мой вопрос.*

Лакан: – Мы к нему еще вернемся. Что поразительно, так это то, в какую страшную растерянность способны поверг-

нуть нас малейшие колебания – очень заметные, но совсем не там, где вы обыкновенно их появления ожидаете, потому что порядок вещей остается, напротив, поразительно неизменным – во взаимоотношениях символа и Реального. Честно говоря, если бы меня попросили дать вам характеристику – я говорю не о вас, здесь присутствующих, но о людях вашего времени вообще – я сказал бы, что меня поражает в них то, в какое множество вещей они верят.

Я нашел специально для вас одно очень интересное постановление 1277 года. В эти времена невежества и веры приходилось подвергать наказаниям тех, кто на студенческой скамье — в Сорбонне и других университетах – открыто хулил во время Святой Мессы имена Марии и Иисуса. Вы этого уже не делаете – вам и в голову не придет хулить имена Марии и Иисуса. Что же касается меня, то я знавал еще людей, которые, будучи законченными сюрреалистами, скорее позволили бы повесить себя, чем опубликовали бы кощунственную поэму о Пресвятой Деве, ибо были уверены, что безнаказанно им это с рук не сойдет.

Самые же суровые наказания ожидали тех, кто играл на алтаре в кости во время освящения Святых Даров. Подобные вещи напоминают, мне кажется, о существовании измерения чего-то действенного, чего нашей эпохе особенно не хватает.

Я вовсе не случайно толкую вам об игральных костях и заставляю играть в чет и нечет. В игре в кости на алтаре, да еще во время Святой Мессы, действительно есть нечто скандальное. По-моему, однако, сам факт, что это было возможно, наводит нас на мысль о способности, которая в среде, к которой мы все принадлежим, утрачена гораздо безнадежнее, чем это нам представляется. И называется она просто-напросто способностью критической.

12 мая 1955 года.

XVIII
ЖЕЛАНИЕ, ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

Либидо.
Желание, сексуальное желание, инстинкт.
Сопротивление анализа.
По ту сторону Эдипа.
Жизнь мечтает лишь о том, чтобы умереть.

Сегодня нам предстоит сделать еще один небольшой шаг в вопросе об отношении между фрейдовским понятием *инстинкта смерти* и тем, что я назвал *знаменательной* (significative) *настоятельностью.*

Вопросы, которые вы мне в прошлый раз задали, показались мне сориентированными в верном направлении – все они действительно касались моментов очень чувствительных. На некоторые из них мы в дальнейшем дадим ответ, и я попытаюсь не забыть обратить на это по ходу дела ваше внимание.

Мы находимся на распутье, для фрейдовской позиции имеющем решающее значение. Это место, где можно сказать что угодно. Но это что угодно на самом деле чем угодно отнюдь не является, в том смысле, что любое высказывание получит для умеющего слышать строго определенный смысл.

Момент, к которому мы подошли – это не что иное, как желание, а с ним и все то, что можно сформулировать в связи с ним на основе нашего опыта: антропология ли, космология – подходящего слова тут не найти.

Хотя сердцевина того, что призывает нас Фрейд в явлении психического заболевания понять, находится именно здесь, вещь эта сама по себе настолько пагубная, что все только и думают, как бы ее обойти.

1

Когда речь идет о желании, на первом плане невольно оказывается понятие либидо. Соответствует ли понятие это и то, что им подразумевается, тому уровню, на котором вы действуете, – уровню речи?

Либидо позволяет говорить о желании в терминах, предполагающих относительную объективацию. Это, если хотите, вопрос единства количественной меры. Речь идет о количестве, которое вы не умеете измерить, о котором вам неизвестно, что оно такое, но наличие которого вы всегда предполагаете. Это количественное понятие дает возможность унифицировать отклонения качественных последствий и представить их последовательность в связном виде.

Качественные последствия – давайте договоримся о том, что это значит. Существуют состояния и смены состояний. Чтобы объяснить их последовательность и преобразования, которым они подвергаются, вы более или менее скрыто прибегаете к понятию порога, а одновременно к понятиям уровня и постоянства. Вы предполагаете наличие некой количественной, недифференцированной величины, способной вступать в отношения эквивалентности. В случаях, когда величина эта не может высвободиться, занять место в естественных для нас пределах, свободно распространиться, происходит выход ее из границ, в результате чего обнаруживаются другие состояния. Говорят, таким образом, о трансформации, фиксации, регрессии, сублимации либидо – одной и той же количественно оцениваемой величины.

Понятие *либидо* кристаллизовалось во фрейдовском опыте постепенно, и первоначально не предполагало столь изощренного использования. Но уже с момента своего появления в *Трех очерках* оно служит тому, чтобы унифицировать различные структуры фаз сексуальности. Обратите внимание, что если вся эта работа относится к 1905 г., то та часть ее, где речь идет о либидо, датируется 1915-м, то есть относится приблизительно к тому самому времени, когда с введением понятия о нарциссических нагрузках теория фаз усложняется до чрезвычайности.

Понятие либидо, таким образом, является формой унификации поля психоаналитических эффектов. Я хотел бы теперь обратить ваше внимание на то, что использование его лежит в традиционном русле любой теории как таковой, которая всегда стремится прийти либо к миру, этому *terminus ad quem* классической физики, либо к единому полю,

этому идолу физики Эйнштейновой. Мы не претендуем на то, чтобы сопоставлять наше маленькое поле с универсальным полем физическим, однако, идеал, которому либидо стремится удовлетворить, в принципе тот же самый.

Это единое поле не напрасно именуют *теоретическим* – ведь это единственный и идеальный предмет *теории*, интуиции, созерцания, чье исчерпывающее познание позволило бы нам, как предполагается, построить как ее прошлое, так и будущее. Ясно, что внутри ее нет места ничему, что представляло бы собой какой-то новый почин, *das Wirken*, действие как таковое.

Нет ничего, что отстояло бы от фрейдовского опыта дальше этого.

Фрейдовский опыт исходит из понятия прямо противоположного теоретической перспективе. В основу всего он, в первую очередь, полагает желание. И полагает он его до всякого опыта, до каких бы то ни было соображений по поводу мира видимостей и мира сущностей. Желание прочно утверждено внутри того фрейдовского мира, в котором протекает наш опыт, оно этот мир организует, и в любом, даже малейшем, столкновении с психоаналитическим опытом, факт этот дает о себе знать.

Фрейдовский мир не является ни миром вещей, ни миром бытия, он является миром желания как такового.

Из знаменитого объектного отношения, которым мы все сейчас упиваемся, пытаются сделать модель, *pattern* адаптации субъекта к его нормальным объектам. Но ведь сам термин этот, насколько в аналитическом опыте им можно пользоваться, получает смысл лишь в связи с такими понятиями, как *эволюция либидо*, *догенитальная стадия*, *генитальная стадия*. Можно ли говорить о том, что именно от либидо зависит структура объекта, его зрелость, его законченность? Считается, что на генитальной стадии либидо вызывает к жизни новый объект, новое образование, иной тип существования объекта, в котором тот достигает своей окончательной полноты и зрелости. И это не имеет ничего общего с тем, что в теории взаимоотношений человека и мира является традиционным – с противопоставлением бытия и видимости.

В перспективе классической, теоретической, между субъектом и объектом существуют отношения взаимоприспособления, взаимопорождения (co-naissance) – игра слов здесь вполне оправданная, так как именно теория познания (connaissance) является средоточием любого исследования, посвященного взаимоотношениям человека и мира. Субъект призван добиться своего соответствия вещи, вступив с ней в отношения одного бытия к другому: бытия субъективного, но вполне реального, бытия, знающего, что оно есть, — к бытию, о котором известно, что оно есть.

Что же касается поля фрейдовского опыта, то оно формируется отношениями, принадлежащими совсем иному регистру. Желание – это отношение бытия к нехватке. И нехватка эта как раз и есть нехватка бытия как такового. Это не просто нехватка того или иного, а нехватка бытия, посредством которого сущее существует.

Нехватка эта лежит по ту сторону всего того, что может так или иначе ее обнаруживать. Если она и обнаруживает себя, то разве что лишь в качестве тени на завесе, ее скрывающей. Либидо же – но уже не в физическом своем употреблении в качестве исчисляемого количества – это имя того, что разжигает конфликт, изначально лежащий в сердцевине любого человеческого поступка.

Мы всегда уверены почему-то, что там, в сердцевине, пребывает что-то прочное, устроенное и ожидающее признания, а конфликт разыгрывается где-то на периферии. Чему, однако, учит нас фрейдовский опыт? Чему, если не тому, что все, что в поле, именуемом полем сознания, то есть в плоскости узнавания и признания объектов, происходит, в равной степени вводит в заблуждение относительно того, что существо действительно ищет? Покуда либидо создает различные стадии объекта, об объектах никогда нельзя сказать, что это *Оно* (ça)и есть – во всяком случае до тех пор, пока не превращает их в *оно самое* то генитальное созревание либидо, опыт которого в психоанализе, надо сказать, так и остается несформулированным, поскольку любой, кто делал попытку его артикулировать, неизбежно впадал в разного рода противоречия, а то и вовсе заходил в тупик нарциссизма.

Желание, эта центральная в любом человеческом опыте функция, не есть желание чего-либо именуемого. И в то же время именно это желание лежит у истоков всего, что делает существо одушевленным. Если бы существо было лишь тем, что оно есть, не было бы самого места, позволяющего о нем говорить. В силу самой нехватки существо оказывается существующим. Именно в силу этой нехватки, именно в опыте желания приходит существо к переживанию своего Я в его отношениях с бытием. Именно в погоне за тем потусторонним, которое есть ничто, снова и снова возвращается оно к переживанию себя как существа, себя сознающего. На самом же деле это сознающее себя существо оказывается не чем иным, как своим же собственным отражением в мире вещей. Ведь там же, рядом с ним, сопутствуют ему другие существа, которые, на самом-то деле, себя не знают.

То прозрачное для себя бытие (être), которое ставит в центр человеческого опыта классическая теория, предстает в этой перспективе как способ поместить в мир объектов то бытие желания, которое иначе, нежели в собственной нехватке, увидеть себя было бы неспособно. Испытывая эту нехватку, оно замечает, что бытия недостает ему, но что бытие это есть там, во всех тех вещах, что о своем бытии не знают. И тогда, не видя другой разницы, оно воображает, будто и само оно не что иное, как еще одна такая же вещь. *Я есмь тот, кто знает, что я есмь*, – говорит оно себе. Но даже зная, что оно есть, оно ничего, к сожалению, не знает о том, что же именно оно такое. Вот что любому существу действительно не хватает.

В итоге возникает путаница между эректальной мощью фундаментальной нужды, воздвигающей существо как присутствие на фоне отсутствия, с одно стороны, и способностью сознания, а точнее осознания, представляющей собой нейтральную, абстрактную и в абстрактном виде представленную форму всех возможных миражей в совокупности, с другой.

На самом деле отношения между человеческими существами устанавливаются не достигая поля сознания. Первоначальную организацию человеческого мира осуществляет желание, желание как фактор бессознательный.

Только с этой точки зрения и можем мы оценить сделанный Фрейдом шаг.

Как видите, *коперниканская революция* – это, в конечном счете, всего лишь грубая метафора. Коперник действительно совершил революцию, но совершил он ее в мире вещей определенных и определению поддающихся. Шаг же, сделанный Фрейдом, представляет собой революцию, я бы сказал, в обратном направлении, потому что структура мира до Коперника как раз тем и определялась, что в нем заранее было очень многое от человека. И, по совести говоря, полностью все это отцедить так и не удалось, хотя многое и было в этом направлении сделано.

Шаг, сделанный Фрейдом, нельзя объяснить старой как мир необходимостью пользовать того или иного пациента, на самом деле, он является коррелятом революции, которая происходит во всей области того, что человек может о самом себе и своем опыте помыслить, – в области философии, если называть вещи своими именами.

Революция эта вводит человека в мир снова – в качестве творца. Однако творения своего он рискует в один прекрасный момент лишиться, и причиной тому послужит маленькая, всегда приберегаемая про запас классической теорией хитрость, состоящая в заявлении, будто *Бог обманщиком не является*.

Положение это настолько существенно, что Эйнштейн выступает здесь вполне единомышленником Декарта. Господь, – говорил он, – конечно, понемногу хитрит, но в нечестности Его обвинить нельзя. Для строения мира, как он себе его представлял, существенно, что Бог обманщиком не является. Но ведь как раз об этом-то мы ничего и не знаем!

Решающий момент фрейдовского опыта можно подытожить следующим образом: вспомним, что сознание не универсально. Человеческий опыт, долгое время свойством сознания зачарованный, в наши дни, наконец, пробудился и рассматривает человеческое существование в соответствии с именно ему свойственной структурой – структурой желания. Вот единственный момент, исходя из которого существование людей может получить свое объяснение. Не людей в качестве стада, а людей, владеющих речью — ре-

чью, которая вводит в мир нечто такое, что перевешивает чашу всего реального вместе взятого.

В том, как мы используем термин *желание*, заложена глубочайшая двусмысленность. Порой мы объективируем его – и делать это необходимо, хотя бы уже для того, чтобы говорить о нем. Порой же, напротив, мы рассматриваем его как то, что предшествует какой бы то ни было объективации.

И в самом деле, сексуальному желанию в нашем опыте ничего объективированного не соответствует. Это и не абстракция, и не тот чистый *x*, в который обратилось понятие силы в физике. Оно, конечно, служит нам свою службу – и это очень удобно, – чтобы описать определенный биологический цикл, или, говоря точнее, определенное количество циклов более или менее связанных с биологическими механизмами. Но ведь дело-то мы имеем с субъектом, который там налицо, с субъектом желающим, и желание, о котором идет речь, всякую концептуализацию предваряет — более того, из него любая концептуализация как раз и исходит.

Доказательством того, что анализ побуждает нас смотреть на вещи именно так, служит уже то, что большая часть вещей, в которых субъект испытывает, как ему кажется, разумную уверенность, представляется нам лишь поверхностной, рационализированной попыткой задним числом оправдать и упорядочить то, к чему подстрекает субъекта его желание, что сообщает его миру и его действию присущую им кривизну.

Если бы нам действительно приходилось работать в мире науки, если бы, действительно, достаточно было изменить внешние условия, чтобы получить иные, отличные результаты, если бы сексуальное желание действительно послушно следовало бы поддающимся объективации циклам, нам не оставалось бы ничего другого, как от анализа отказаться. Разве могло бы определенное таким образом желание испытать влияние речевого опыта – не погрузившись при этом в стихию магического мышления?

То, что именно либидо определяет собой человеческое поведение, открыто не Фрейдом. Уже Аристотель объяснял истерию теорией, которая основана на представлении, будто матка является маленьким, обитающим внутри женского

тела животным, которое жестоко бузит, когда у него внутри пусто. Причем если он взял именно этот пример, то, очевидно, лишь потому, что не пожелал прибегнуть к другому, куда более очевидному – к половому органу мужчины, который не нуждается в теоретике, чтобы своими резкими движениями о себе напомнить.

Аристотелю и в голову не приходило, однако, что дело можно уладить, если к живущему в женской утробе зверьку обратиться с речами. Другими словами, говоря словами шансонье, похабство которого оборачивалось порою священным ужасом, граничившим с пророческим даром, – *ни хлеба не ищет, ни слова не молвит, ни слова не слышит.* Но слышит голоса разума. Если опыт речи оказывается в этой области действенным, то это значит, что от Аристотеля мы ушли далеко.

И то желание, с которым имеем мы дело в анализе, с этим желанием, разумеется, как-то связано.

Почему именно в этом желании вынуждены мы воплотить желание на том уровне, где располагается оно в психоаналитическом опыте?

2

Вы утверждаете, дорогой господин Валабрега, что определенное удовлетворение желание все же в сновидении получает. Я полагаю, что Вы имеете в виду сновидения детей, равно как и всякое удовлетворение желания, носящее галлюцинаторный характер.

А что говорит нам Фрейд? Да, у ребенка желание разработки не получает: днем ему хочется вишен, ночью он их видит во сне. Но при всем том Фрейд подчеркивает, что даже на этом, детском, этапе желание, находящее выражение в сновидении или символе, есть желание сексуальное. И от этого он никогда не отступится.

Возьмите "человека с волками". У Юнга либидо растворяется в интересах души, этой великой сновидицы, этого центра мира, этого эфирного воплощения субъекта. Фрейд решительно восстает против такого взгляда, хотя сделать это ему приходится в тот деликатный момент, когда, обнаружив, что перспектива принадлежавшего субъекту про-

шлого носит, вероятнее всего, характер фантазматический, он испытывает искушение с юнговской редукцией согласиться. Переступить порог, отделяющий понятие сориентированного плененного миражами желания от понятия миража вселенского, ничего не стоит. Но вещи это совершенно разные.

Тот факт, что каждый раз, когда речь идет о желании, Фрейд упорно говорит о желании сексуальном, сполна обнаруживает свое значение в случаях, когда речь идет явно о другом – о галлюцинациях потребностей, например. Это кажется делом вполне естественным — почему, собственно, не могут потребности стать предметом галлюцинации? Поверить в это тем легче, что тут налицо своего рода мираж во второй степени – мираж миража. Поскольку опыт миража нам знаком, мы воспринимаем его здесь как что-то вполне естественное. Стоит задуматься, однако, и нам покажется удивительным не только то, что миражи являются нам, но и само существование их.

Над галлюцинациями спящего ребенка или голодающего по-настоящему внимательно не задумываются. В них остается незамеченной одна маленькая деталь: если днем ребенок хотел вишен, ночью ему снятся не только вишни. Как свидетельствует на своем детском языке, где недостает нескольких согласных, маленькая Анна Фрейд (ведь именно о ней идет речь), снятся ей кроме того пирожные и крем, как снятся истощенному голодом человеку не корка хлеба и стакан воды, которые удовлетворили бы его в действительности, а раблезианские пиршества.

Маннони: – *Это разные сновидения – с вишнями и с пирожным.*

Желание, о котором идет речь, даже то, о котором утверждают, что оно не разработано, находится уже по ту сторону сообразования с потребностью. Даже простейшее из желаний крайне проблематично.

Маннони: – *Желание уже не то, потому что она о своем сновидении рассказывает.*

Я отлично знаю, что Вы прекрасно понимаете, что я говорю. Конечно же, речь именно об этом и идет, но это еще далеко не для всех очевидно, а я пытаюсь донести эту оче-

видность до большинства. Позвольте мне остаться на том уровне, где я нахожусь сейчас.

В конечном счете, на этом экзистенциальном уровне мы не способны говорить о либидо адекватно, не прибегая к мифическому способу описания: *genitrix, hominum divumque voluptas* – вот что оно такое. То, что возвращается к нам в этом определении, находило некогда свое выражение на уровне божественном, и прежде чем сделать из этого алгебраический знак, нужно принять некоторые меры предосторожности. Они очень полезны, эти алгебраические знаки, но при условии, что мы вернем им их подлинные масштабы. Именно это я и пытаюсь сделать, толкуя вам о машинах.

Каков же был тот момент, когда Фрейд впервые заговорил о лежащем по ту сторону принципа довольствия? То был момент, когда аналитики вступали на указанный Фрейдом путь и были уверены в своем знании. Фрейд объясняет им, что желание – это желание сексуальное, и они в это верят. И верят напрасно – ведь что он действительно хочет этим сказать, им невдомек.

Почему желание по большей части представляется чем-то другим, нежели то, что есть оно на самом деле? Почему называет его Фрейд желанием сексуальным? Причина этого остается прикровеннной, как тому, кто сексуальное желание испытывает, прикровенным остается то потустороннее, что ищет он за опытом, вводящим его, как и всю природу, во всевозможные заблуждения. Если есть что-то, не только в жизненном опыте, но и в опыте экспериментальном, что обнаруживает действенную роль, принадлежащую в поведении животного заблуждению, то это опыт сексуальный. Нет ничего проще, как обмануть животное, пользуясь признаками, которые сделают из предмета или его видимости то, что привлекает его в качестве сексуального партнера. Соблазнительные *Gestalten*, системы пуска внутренних механизмов, вписываются в регистр брачного парадирования и пари.

Когда Фрейд утверждает, что сердцевиной человеческого желания является желание сексуальное, все последователи верят ему, верят так цельно, что убеждают себя, будто

бы все очень просто и остается лишь сделать из всего этого науку – науку о сексуальном желании как некоей постоянно действующей силе. Стоит убрать препятствия, и дело пойдет само собой. Достаточно объяснить пациенту, что, мол, хоть вы этого и не замечаете, но объект налицо. Это и предстает на первый взгляд как интерпретация.

Оказывается, однако, что такой подход не работает. И тогда – здесь-то и наступает поворотный момент – говорят, что субъект сопротивляется. Говорят почему? Потому что и Фрейд так говорил. Но беда в том, что значение слова *сопротивляться* понято при этом так же мало, как значение слов *сексуальное желание*. И тогда приходит в голову, что надо *нажать*. Вот тут-то аналитик и попадает в ловушку. Я уже объяснял вам, что настоятельность со стороны страдающего субъекта означает. Так вот, аналитик занимает теперь этот же уровень, он по-своему настаивает, только делает это, разумеется, гораздо глупее, потому что его настойчивость сознательна.

С той точки зрения, которую я вам только что предложил, сопротивление провоцируете вы сами. Сопротивление в том смысле, который вы слову этому придаете, то есть сопротивление, которое сопротивляется, сопротивляется лишь вашему давлению. Со стороны субъекта никакого сопротивления нет. Все дело в том, чтобы вызволить ту настойчивость, которая заявляет о себе в симптоме. То, что сам Фрейд называет в данном случае *инерцией*, сопротивлением не является – как и всякая инерция, это своего рода идеальная точка. Ее предполагаете вы сами, чтобы отдать себе в происходящем отчет. И вы правы – пока не забываете, что это всего лишь гипотеза. Это означает просто-напросто, что идет определенный процесс и что, пытаясь понять его, вы воображаете себе некую нулевую точку отсчета. Сопротивление начинается лишь с момента, когда вы пытаетесь субъект с этой нулевой точки сдвинуть.

Другими словами, сопротивление – это состояние интерпретации субъекта на данный момент. Это способ, которым субъект интерпретирует ту точку, где он в данный момент находится. Сопротивление это представляет собой пункт идеальный, абстрактный. Это вы называете этот пункт со-

противлением. Это значит просто-напросто, что он не может продвигаться быстрее, и возразить вам на это нечего. Субъект находится именно там, где он находится. Речь идет о том, чтобы понять, продвигается он вперед или нет. Ясно, что ничего похожего на тенденцию к продвижению у него нет, но сколь бы мало он ни говорил, как бы мало ценного в его словах ни было, то, что он говорит, и есть сложившаяся у него на данный момент интерпретация; продолжение же того, что он говорит, есть не что иное, как совокупность его последовательных интерпретаций. Сопротивление – это, собственно говоря, абстракция, которую вы же сами туда и внедряете, чтобы во всем этом сориентироваться. Вы вводите представление о мертвой точке, которую называете сопротивлением, и о силе, которая, приводит все это в движение. Пока все правильно. Но стоит вам сделать отсюда шаг к представлению, будто сопротивление следует, как это кричат теперь на каждом углу, *ликвидировать*, как вы немедленно впадаете в чистой воды абсурд и бессмыслицу. Создав сначала некую абстракцию, вы тут же заявляете, что она, мол, *должна исчезнуть*, что *от инерции надо избавиться*

Существует лишь одно сопротивление – это сопротивление аналитика. Аналитик сопротивляется, когда он не понимает, с чем он имеет дело. Он не понимает, с чем имеет дело, когда полагает, будто интерпретировать – значит объяснить субъекту, что предметом его желания является тот или иной сексуальный объект. Он ошибается. То, что ему представляется здесь объективным, являет собой чистой воды абстракцию. В состоянии инерции и сопротивления пребывает он сам.

Все дело, напротив, в том, чтобы научить субъекта называть, артикулировать, вводить в область существования то, что находится, буквально, в его преддверии и потому настаивает, чтобы его впустили. И если желание своего имени назвать не решается, то дело здесь в том, что субъект имя это еще не вызвал.

Субъект признает свое желание и называет его – вот результат эффективного психоаналитического воздействия. Речь, однако, идет не о признании чего-то заранее данного и готового с ним сообразоваться. Называя свое желание,

субъект говорит, рождает в мир некое новое присутствие. Но вводя присутствие как таковое, он создает тем самым и полость отсутствия. Только на этом уровне и мыслима деятельность интерпретации.

Поскольку мы с вами постоянно стараемся удержаться в позиции равновесия между текстами Фрейда, с одной стороны, и опытом, с другой, вернитесь теперь к тексту и убедитесь, что в работе *По ту сторону принципа удовольствия* желание действительно располагается *по ту сторону* любого определяемого собственными условиями цикла деятельности инстинктов.

3

Чтобы придать наглядность тому, что я попытаюсь сейчас вам объяснить, я, как раньше и обещал вам, воспользуюсь примером, который оказался у меня под рукой, – примером Эдипа, уже совершившего свое предназначение, Эдипа по ту сторону Эдипа.

То, что именно Эдип дал свое имя эдипову комплексу, произошло не случайно. Можно было бы выбрать и другого героя – все мифологические герои Греции так или иначе с этим мифом связаны, все по-своему воплощают его, являют его с разных сторон. Не без причины, однако, именно на Эдипе остановил Фрейд свой выбор.

Всей жизнью своей Эдип всецело олицетворяет именно этот миф. Да и сам он не что иное, как миф, переходящий в существование. Существовал он в действительности или нет, нам неважно, ибо существует он, в форме более или менее осознанной, в каждом из нас – он существует везде и в гораздо большей мере, чем если бы он некогда существовал реально.

О всякой вещи можно сказать, что она реально существует или не существует. И я был очень удивлен, когда обнаружил, что, рассуждая о типовом ходе лечения, один из наших коллег противопоставляет термину *психическая реальность* термин *реальность подлинная*. Я надеюсь, что все вы находитесь под моим внушением в достаточной степени, чтобы усмотреть в этом термине противоречие *in adjecto*.

Существует вещь *реально* или нет, большого значения

не имеет. Она отлично может существовать в полном смысле этого слова и в том случае, если реально не существует. Во всяком существовании уже по определению заключено столько невероятного, что задаваться вопросом о реальности его приходится постоянно.

Итак, Эдип существует, и судьбу свою он реализовал сполна. Реализовал до предела, где он может, словно поражая, кромсая, раздирая себя самого, сказать, что его больше нет, что он обратился в ничто, абсолютное ничто. Именно в этот момент и произносит он слова, которые упоминал я здесь в прошлый раз: *Неужто лишь в момент, когда я обратился в ничто, становлюсь я человеком?*

Я вырвал эту фразу из контекста, и теперь мне важно поместить ее туда вновь, дабы у вас не возникло на ее счет каких-либо иллюзий – например, будто слово *человек* имеет в данном случае какое-то определенное значение. В том-то и дело, что, строго говоря, у него никакого значения как раз и нет — нет именно постольку, поскольку сполна довелось Эдипу воплотить в жизнь слова оракулов, еще до рождения предсказавших его судьбу. Именно до рождения были сказаны его родителям вещи, следствием которых и стал поступок, отдавший его, со связанными лодыжками, на милость судьбы. Именно это деяние и положило начало исполнению им своего предназначения. Отныне уже записано и сполна совершено все, вплоть до деяния, которым Эдип смиряется со свершившимся. *Я* – говорит он, — *здесь ни при чем. Фиванский народ сам на радостях дал мне эту женщину в награду за избавление его от Сфинкса, а что касается этого типа, так я не знал, кто он такой; да, я раскроил ему башку, он был старый, ничего не сделаешь, я хватил его слишком сильно, я вообще, надо сказать, был парень здоровый.*

Он принимает свою судьбу в момент, когда калечит себя, но на самом деле принял уже давно, согласившись принять царский титул. Именно в качестве царя навлекает он на город все проклятия, именно для царя действует божественный порядок, закон возмездия и кары. Вполне естественно, что все это обрушивается именно на Эдипа, – ведь не кто иной, как он является средостением речи. Важно знать, сми-

рится он с этим или нет. Сам он полагает, что невиновен, но, вырывая себе глаза, принимает на себя все. При этом он требует, чтобы его оставили жить в Колоне, в священной ограде Эвменид. Тем самым он реализует свою судьбу до конца.

В Фивах тем временем народ продолжает судачить. Ему говорят: *Минутку! Вы немного поторопились! Эдип правильно сделал, подвергнув себя каре. А вот вы погнушались им и выставили из города. Но ведь будущее Фив как раз и зависит от этого воплощенного слова, которое вы, пока оно было с вами, в той мучительной гибели, упразднении человека, что оно несет в себе, распознать не сумели. Вы изгнали его. Горе Фивам, если вы не вернете его и не поселите хотя бы рядом, хотя бы на границах ваших, чтобы он не смог больше от вас уйти. Ведь если слово, составляющее его судьбу, отправиться гулять по свету, с ним уйдет и ваша собственная судьба. Все подлинное существование, в нем воплощенное, достанется Афинам, которым и суждено будет над вами возобладать и познать над вами полное торжество.*

За ним снаряжают погоню. И вот, узнав, что к нему должны явиться с поручением всякого рода послы, мудрецы, политики, взбешенные фиванцы, в числе которых находится его собственный сын, Эдип и произносит эти слова: – *Неужто лишь в момент, когда я обратился в ничто, стал, наконец, человеком!*

Вот здесь-то и начинается то, что лежит по другую сторону принципа удовольствия. Когда слово полностью реализовалось, когда жизнь Эдипа воплотилась в его судьбе до конца — что остается тогда от самого Эдипа? Именно это и демонстрирует нам *Эдип в Колоне* – остается драма человеческой судьбы в неприкрытом виде, полное отсутствие любви, братства, чего-то хоть как-то напоминающего то, что связывается у нас с понятием человеческих чувств.

Что подытоживает тему *Эдипа в Колоне*? Вот слова хора: *Лучше, в конечном счете, вовсе не быть рожденным, а если уж родился, умереть как можно* скорее. Эдип же призывает на потомство и город, в жертву которому был принесен, самые страшные проклятия – прочтите проклятия, адресованные им Полинику, своему сыну!

И сразу за этим следует отречение от слова — отречение, совершающееся внутри той ограды, возле которой и разворачивается все течение драмы, ограды места, где речь находится под запретом, того средоточия, где молчание должно быть строго соблюдено, ибо именно там пребывают богини-мстительницы, те, что не знают прощения и ожидают человека на каждом повороте его жизненного пути. Каждый раз, когда нужно добиться от Эдипа хоть пары слов, его приходится выводить оттуда, так как произнеси он их там, и беды уже будет не миновать.

У священного всегда есть разумные основания. Почему всегда имеется место, где речи должны умолкнуть? Может быть, для того, чтобы в этой ограде они оставались в сохранности?

Что в этот момент происходит? Эдип умирает. Смерть эта наступает в условиях крайне необычных. Тот, кто издали сопровождал было взглядом двоих людей, удалявшихся к центру святыни, видит, вновь обернувшись в их сторону, лишь одного из них, прикрывающего глаза рукой в позе человека, охваченного священным ужасом. Создается впечатление, что он наблюдал зрелище не из приятных, – словно тот, кто произнес перед этим последние свои слова, странным образом улетучился. Мне представляется, что *Эдип в Колоне* намекает здесь на что-то такое, что демонстрировалось в мистериях, которые в подтексте этой трагедии всегда незримо присутствуют. Но пожелай я это событие для нас с вами проиллюстрировать, я вновь обратился бы за помощью к Эдгару По.

Тема взаимоотношений жизни и смерти всегда была близка этому писателю и близость эта оказалась далеко не бесплодна. В качестве параллели к таянию Эдипа я напомню вам *Историю господина Вальдемара.*

Речь там идет об эксперименте по сохранению субъекта в речи тем представлявшим собой своего рода теоретизацию гипноза способом, что именовали тогда магнетизмом, – человека решили загипнотизировать *in articulo mortis* и поглядеть потом, что из этого выйдет. Для эксперимента выбрано существо, жизнь которого готова вот-вот оборваться: у него остался лишь маленький участок легкого,

все остальное уже отмирает. Ему объясняют, что он может остаться в памяти человечества героем – достаточно лишь подать знак гипнотизеру. Сделав это за несколько часов до его последнего издыхания, можно было затем посмотреть, что получится. Богатое воображение поэта идет в данном случае куда дальше робких потуг нашего собственного, медицинского, как бы мы в этом направлении ни старались.

В итоге субъект переходит-таки от жизни к смерти и труп его лежит несколько месяцев в состоянии вполне приемлемой сохранности на постели, подавая время от времени голос, чтобы произнести *я мертв*.

Благодаря всяческим уловкам гипнотизеров и желанию их в происходящем удостовериться дело так и продолжалось, пока, воспользовавшись пассами, обратными тем, что его погрузили в сон, они не принялись будить его и не услышали в ответ крик несчастного: *Скорее, или усыпите меня, или давайте быстрее, это ужасно*.

К этому моменту истекло уже шесть месяцев с тех пор, как господин Вальдемар впервые сказал, что мертв, и, разбуженный, он немедленно обращается в отвратительную массу, во что-то такое, чему ни в одном языке нет названия, в откровенное, чистое, простое и грубое явление того маячащего на заднем плане любой попытки вообразить себе человеческую участь призрака, которому нельзя посмотреть в лицо и для которого даже слова *падаль* звучит слишком хорошо, – именуемый жизнью нарыв прорывается здесь, пузырь лопается и растекается вокруг зловонной и мертвой жижей.

Но и в случае Эдипа речь идет об этом же самом. Эдип – и в этом мы убеждаемся уже с самого начала трагедии – предстает здесь как земной отброс, ошметок, остаток, как вещь, лишенная всякой видимой ценности.

Эдип в Колоне, все существо которого целиком заключено в сформулированной его судьбой речи, зримо воплощает собой сопряжение смерти и жизни. К подобной же мысли ведет нас и тот длинный текст Фрейда, где он говорит нам: *Не думайте, будто жизнь – это восхитительная богиня, явившаяся на свет, чтобы произвести в итоге прекраснейшую из всех форм, будто есть в жизни хоть малейшая способность к свершениям и прогрессу. Жизнь – это опухоль,*

плесень, и характерно для нее не что иное – о чем писали многие и до Фрейда, – *как склонность к смерти.*

Да, жизнь именно такова – это отклонение, упрямое отклонение от прямого пути, по самому характеру своему преходящее, беспомощное, лишенное всякого смысла. Почему же в тот момент проявления ее, что мы зовем человеком, возникает в ней нечто такое, что настоятельно перечит ей и именуется нами смыслом? Мы называем это *человеческим*, но так ли уж мы в этом уверены? Такой ли уж он действительно человеческий, этот смысл? Смысл – это некий порядок, другими словами, нечто внезапное. Смысл – это возникающий внезапно порядок. Отдельная жизнь делает попытку войти в него, но совершенно не исключено, что выражает он собой нечто совершенно этой жизни потустороннее, ибо пытаясь докопаться до корней этой жизни и увидеть то, что кроется *за* драмой перехода к существованию, мы находим не что иное, как жизнь в сопряжении со смертью. Вот к чему ведет нас фрейдовская диалектика.

До какого-то момента создается впечатление, что все, в том числе имеющее отношение к смерти, объясняется фрейдовской теорией строго в рамках регулируемой принципом удовольствия и возвращения к состоянию равновесия либидинальной экономии, предлагающей определенные объектные отношения. Слияние либидо с видами активности, внешне с ним несовместимыми — агрессивностью, например, — относится на счет воображаемой идентификации. Вместо того, чтобы другому, который находится перед ним, раскроить череп, субъект нежную агрессивность эту, возникшую как либидинальное объектное отношение и основанную на так называемых инстинктах Я, то есть на потребности в гармонии и порядке, идентифицирует с самим собой, обращает на самого себя. Другое дело, что есть, хочешь-не хочешь, надо – когда собственная кладовка пустеет, поедают себе подобного. Либидинальная авантюра объективирована здесь в порядке, которому подчиняется все живое; заранее предполагается, что поведение субъектов, агрессия их по отношению друг к другу обусловлены и объясняются желанием, принципиально своему объекту адекватным.

Весь смысл работы *По ту сторону принципа удовольствия* как раз в том, что подобные воззрения несостоятельны. Мазохизм не является изнанкой садизма, агрессивность не объясняется до конца в плоскости воображаемой идентификации. Урок, который дает нам Фрейд, говоря об изначальном мазохизме, состоит в том, что последним словом жизни, у которой собственная ее речь оказалась отнята, может быть лишь одно – то последнее проклятие, что находим мы в конце *Эдипа в Колоне*. Жизнь не желает исцеления. Негативная терапевтическая реакция присуща ей по природе. Да и что оно, исцеление это, собой представляет? Реализацию субъекта посредством речи, приходящей со стороны и проходящей сквозь него на своем пути.

Жизнь, пленниками которой мы оказались, жизнь по самой сути своей отчужденная, вне-существующая, жизнь-в-другом, сопряжена как таковая со смертью, она всегда возвращается к смерти, а если и кружит по все более широким и удаляющимся от нее орбитам, то лишь под действием того, что Фрейд называет *элементами внешнего мира*.

О чем грезит жизнь, как не о покое самом полном в ожидании смерти? Именно за этим занятием проходит время едва вступившего в жизнь грудного младенца, которому стрелки циферблата лишь изредка приоткрывают на краткий миг глазок времени. Для того, чтобы ввести его в ритм, посредством которого достигаем мы согласия с миром, его нужно вытаскивать из этого состояния едва ли не силой. И если именно на уровне желания сна, о котором Вы, Валабрега, в прошлый раз говорили, может появиться желание безымянное, то как раз потому, что это состояние промежуточное, – именно забытье является для живого существа состоянием наиболее естественным. Жизнь только и грезит о том, чтобы умереть – *умереть, уснуть и видеть сны, быть может*, как выразился один господин в момент, когда вопрос как раз и заключался для него в том – *to be or not to be*.

4

История этого *to be or not to be* – это в чистом виде история о словах. Один очень забавный комик попытался

однажды изобразить, как пришел Шекспиру в голову этот стих: *to be or not...* говорит он, почесывая затылок, и снова начинает: *to be or not... to be.* Если это забавно, то как раз потому, что в этот-то момент все измерение языка как раз и вырисовывается. Сновидение и острота ставятся в отношении возникновения своего на один уровень.

Возьмем, например, фразу, которая явно не слишком забавна: *лучше было бы не родиться!* Мы поражаемся, узнавая о том, что фраза эта звучит у одного из крупнейших драматургов античности в ходе религиозного церемониала. Представьте себе, что это произносят за мессой! Юмористы взялись обратить это в шутку: *Лучше было бы не родиться,* – говорит один. – *К сожалению, такое бывает от силы один раз на сто тысяч,* – отвечает другой.

Почему это является остротой?

Во-первых, потому что здесь налицо игра слов, технический элемент для остроты необходимый. *Лучше было бы не родиться!* Разумеется! Это означает, что имеется нечто немыслимое, о чем прежде, чем вступило оно в существование, сказать абсолютно нечего, но что может потом настойчиво о себе заявлять, хотя ничто не мешает представить себе, что оно так о себе и не заявляет, а всеобщий покой и, как говорит Паскаль, молчание звезд, воцаряются вновь. Это так, и в момент, когда слова *лучше бы мне не родиться* произносятся, это может быть, и вполне верно. Смешно другое – сказав это, тут же посмотреть на дело в разрезе подсчета вероятностей. Остроумие является остроумием лишь потому, что подходит к нашему существованию достаточно близко, чтобы смехом его упразднить. Именно в этой зоне такие явления как сновидения, психопатология обыденной жизни и остроты как раз и помещаются.

Очень важно, чтобы все вы прочли *Остроумие и его отношение к бессознательному.* Строгость мысли Фрейда поражает, но последнего слова он так и не договаривает – все, что относится, собственно, к остроумию, остается на том шатком уровне, где налицо речь. Не будь ее, не существовало бы ничего.

Возьмем историю самую идиотскую – историю господина, который утверждает булочнику, что ему ничего не дол-

жен. А дело было так: он протягивает руку и просит пирожное, потом возвращает его и просит рюмку ликера, а когда его просят за ликер заплатить, возражает, говоря: *Я же дал вам за него пирожное.— Но за пирожное вы ведь тоже не заплатили! – Так я его и не ел*! Имеет место обмен. Но как мог он, этот обмен, начаться? Для этого нужно было, чтобы в один прекрасный момент что-то в цикл обмена вошло. Нужно, следовательно, чтобы обмен был уже налажен. Это значит, что нам, в конечном счете, так всегда и приходится оплачивать рюмочку ликера пирожным, за которое заплачено не было.

Истории сватовства, в высшей степени изумительные, забавны по этой же самой причине. *У той, с которой вы меня познакомили, мать просто невыносима! – Послушайте, вы же на дочке женитесь, а не на матери! – Но она не слишком хороша собой и не молода вовсе! – Зато меньше будет вам изменять! – Но у нее и приданого почти нет! – А вы хотите, чтобы у нее все было!* И так далее. Тот, кто сватает, делает это вовсе не в плане реальности, потому что план взаимных обязательств, любви, с реальностью ничего общего не имеет. Сватающий, которому как раз за обман и платят, просто по определению не может на почву грубой реальности опуститься.

Только на стыках речи, на уровне ее появления, возникновения, произрастания, заявляет о себе желание. Желание возникает в момент воплощения своего в речь, возникает вместе с символическим строем.

Символизм смыкается, разумеется, с некоторым количеством тех естественных знаков, тех мест, которыми человеческое существо оказывается пленено. Имеются начатки символизма и в пленении одного животного другим на уровне инстинктов. Но создает символический строй совсем не это – его создает тот несущий символическую нагрузку *Merken*, что дает существование несуществующему. Разметьте шесть граней игральной кости, бросьте ее – и вот в этой-то перекатывающейся по столу кости и возникнет желание. Я не говорю *человеческое* желание, потому что, в конечном счете, человек, который играет в кости, является лишь пленником желания, механизм которого этой игрой

запущен. Причина его желания, перекатывающегося по столу вместе с начертанными на его шести гранях символами, остается ему неведома.

Почему одни лишь люди играют в кости? Почему планеты не говорят?

Вопросы, которые я оставляю на сегодня открытыми.

19 мая 1955 года.

XIX
ЗНАКОМСТВО С БОЛЬШИМ ДРУГИМ

Почему планеты не говорят.
Пост-аналитическая паранойя.
Схема в форме Z.
По ту сторону стены языка.
Воображаемое соединение и символическое признание.
Зачем готовят психоаналитиков.

Я закончил в последний раз на вопросе, пожалуй, несколько странном, но с ходом моих рассуждений самым непосредственным образом связанном, – почему планеты не говорят?

1

На планеты мы нисколько не похожи – убедиться в этом факте мы можем в любой момент, но это ничуть не мешает нам о нем забывать. Мы вообще склонны рассуждать о людях так, словно речь идет о лунах – только и делаем, что вычисляем их массу и гравитацию.

Иллюзия эта не является исключительным достоянием нашей ученой братии – особенно часто на удочку ее попадаются политические деятели.

Мне приходит в голову одна забытая книга, вполне читаемая, потому что подписана она, скорее всего, не именем ее настоящего автора – называется она *Mein Kampf.* Так вот, в книге этой, надписанной именем небезызвестного Адольфа Гитлера и актуальность свою во многом утратившей, об отношениях между людьми говорится точь-в-точь как об отношениях между лунами. Мы вообще всегда испытываем искушение заниматься психологией и психоанализом лунных тел, хотя стоит обратиться к непосредственному опыту, чтобы понять разницу.

Я, например, чувствую удовлетворение крайне редко. В последний же раз я не был удовлетворен вовсе, так как явно попытался взлететь слишком круто – ни за что не воспарил бы в такую высь, будь у меня все действительно хорошо подготовлено. Тем не менее несколько доброжелателей – тех,

что сопровождают обыкновенно меня к выходу, – заверяли меня, что все слушатели были довольны. Заверения, как я полагаю, очень преувеличенные. Но какая разница, если мне так сказали! Впрочем, в тот момент меня это не убедило. Какая беда! Я сразу подумал: если другие довольны – это главное. Вот в чем мое отличие от планеты.

Дело не просто в том, что я так подумал, а в том, что это правда – если вы довольны, то дело сделано. Скажу больше — получив подтверждение, что вы довольны, конечно почувствовал себя довольным и я. Несовпадение, однако, хоть и маленькое, тут было. Не то чтобы уж прямое: ты доволен – доволен и я. Между одним довольством и другим была-таки небольшая дистанция. Ведь в течение промежутка, который понадобился мне для осознания того, что главное – это чтобы был доволен другой, я оставался с собственным недовольством наедине.

В какой же именно момент являюсь я самим собой? В момент, когда я недоволен, или в момент, когда я доволен, потому что довольны другие? Когда речь идет о человеке, эта связь удовлетворения субъекта с удовлетворением другого – причем, обратите внимание, в форме самой радикальной – имеет место всегда.

Мне не хотелось бы, чтобы вас ввел в заблуждение тот факт, что в пример я привожу в данном случае себе подобных. Я воспользовался этим примером лишь потому, что пообещал себе воспользоваться первым же примером, который подвернется мне после того вопроса, на котором мы в прошлый раз с вами расстались. Сегодня я надеюсь показать вам, что вы ошиблись бы, полагая будто речь здесь идет о том самом другом, о котором я время от времени вам рассказываю, — о другом, который является на деле собственным *Я*, а точнее говоря его образом. Здесь налицо решительная разница между моим недовольством и его, другого, предполагаемым удовлетворением. Вместо образа идентичности, зеркального подобия, перед нами соотношение, основанное на глубокой инаковости.

Существует два других, по меньшей мере два, и их не надо между собой путать – это Другой с большой буквы (A = Autre) и другой с маленькой буквы (a = autre), который и

есть мое собственное Я. Именно с Другим, с большой буквы, имеет дело функция речи.

То, что я говорю, стоит показать на примере. Как обычно, сделать это я могу лишь на уровне вашего опыта. Тем из вас, кто пожелал бы проделать для повышения гибкости мыслительного аппарата небольшую интеллектуальную гимнастику, я настойчиво рекомендовал бы прочесть, ради пользы дела, платоновский *Парменид*, где проблема единого и другого рассмотрена с исключительной смелостью и последовательностью. По этой же причине, однако, *Парменид* остается работой едва ли не самой непонятой. Хотя на самом деле для понимания ее достаточно способностей средней руки любителя кроссвордов – что, кстати сказать, не так уж мало. Не забывайте, что в одном из своих текстов я самым нешуточным образом советовал вам заниматься кроссвордами. Единственное, что действительно важно – это проследить все девять гипотез, сохраняя внимание до конца. Больше тут ничего не требуется – только быть внимательным. Для среднего читателя, ввиду тех условий, в которых занятия читательским спортом обыкновенно проходят, это самое трудное и есть.

Тот из моих учеников, кто смог бы посвятить себя психоаналитическому истолкованию *Парменида*, сделал бы полезное дело, позволив всем нам лучше сориентироваться в целом ряде проблем.

Но вернемся к нашим планетам. Почему они не говорят? Кто из вас хочет что-нибудь сказать по этому поводу?

Причин, однако, более чем достаточно. Странно, впрочем, не то, что вы не называете ни одной, а то, что по вам не скажешь, будто вы прекрасно видите, какая их тут пропасть. Нужно просто набраться духу и на эту тему подумать. Какая из этих причин главная – нам неважно. Точно одно: если мы попробуем их перечислить – в момент, когда я вам свой вопрос задал, никаких предварительных соображений о том, в каком виде можно все это представить, у меня не было, – причины, которые приходит нам в голову, распределяются точно так же, как те, что действуют, как мы с вами не раз уже видели, в работах Фрейда, — те самые, которые упоминает он в анализе сновидения об инъекции Ирме

в связи с продырявленным котелком. Планеты не говорят, во-первых – потому что им нечего сказать, во-вторых – потому что у них нет на это времени, и в-третьих – потому что их вынудили молчать.

Все три утверждения истинны и в состоянии позволить нам развить ряд важных соображений на предмет так называемой планеты, то есть того, что я принял в качестве исходной модели для демонстрации того, чем мы не являемся.

Я задал этот вопрос одному выдающемуся философу – одному из тех, кто был приглашен на наш семинар с лекцией в этом году. Человек этот является крупным специалистом по истории науки – именно ему принадлежат наиболее существенные и глубокие на сегодняшний день наблюдения, касающиеся ньютоновой физики. Обращаясь к людям с репутацией знатоков, мы всегда оказываемся разочарованы, но я, как увидите, в своих ожиданиях не обманулся. Вопрос, похоже, не показался ему особенно трудным. *Потому что у них нет рта*, — ответил он.

Поначалу я действительно был немного разочарован. Но человек разочарованный всегда бывает неправ. Испытывать разочарование по поводу полученного ответа никогда не следует, ибо если вы его испытали, то именно это, как ни удивительно, и доказывает, что ответ был настоящим, то есть таким, какого вы как раз и не ожидали.

К вопросу о другом это имеет самое прямое отношение. Мы слишком склонны поддаваться гипнозу пресловутой системы лун и строить свое представление об ответе по образу того, что рисуется нашему воображению, когда мы рассуждаем о стимуле и реакции. Если мы получаем тот самый ответ, которого ожидали, можно ли это в действительности считать ответом? Вот еще одна проблема, на которую я, впрочем, в данный момент отвлекаться не буду.

В конечном счете, ответ философа меня не разочаровал. Никто не обязан входить в лабиринт вопроса через одну из причин, которые я назвал, хотя поскольку причины эти истинны, мы так или иначе на них наткнемся. Войти туда можно с равным успехом через любой ответ вообще. Тот, что я получил, оказался, если суметь к нему прислушаться, необыкновенно поучительным. А для того, чтобы прислу-

шаться к нему, у меня были все условия – ведь я психиатр.

У меня нет рта – слова эти мы слышим уже в самом начале нашей профессиональной деятельности, с первых же шагов психиатрической практики, к которой приступаем мы растерянными новичками. Среди окружающего нас причудливого мира попадаются нам очень старые дамы, очень старые девы, именно с этого заявления – *у меня нет рта* — и начинающие разговор с нами. После чего они сообщают нам, что живота у них тоже нет и, более того, что смерть им никогда не грозит. Короче говоря, к миру лун они имеют самое непосредственное отношение. Единственная разница в том, что, говоря так, эти старые дамы, эти жертвы так называемого синдрома Котара или бреда отрицания, в сущности, правы. То, с чем они идентифицировали себя, – это образ, где всякое зияние, стремление, всякая пустота желания, то есть все то, что как раз и составляет главное свойство ротового отверстия, напрочь отсутствует. По мере того как идентификация существа с собственным образом в чистом и беспримесном его виде заходит все дальше, не остается больше и места для изменения, то есть смерти. Вот в этом-то и состоит их главная тема: они одновременно мертвы и смерти более неподвластны, они бессмертны – подобно желанию. По мере того, как субъект символически отождествляет себя с воображаемым, он в каком-то смысле реализует желание.

Если же оказывается, что рта нет и у звезд и что они тоже бессмертны, то это явление другого порядка: нельзя сказать, что это истинно – это реально. О том, чтобы у звезд были рты, не может быть и речи. Да и термин *бессмертие* стал со временем, по крайней мере для нас, чисто метафорическим. Что у звезды нет рта – это, спору нет, совершенно реально, но подобное никому и во сне бы не померещилось, когда бы не было на свете существ, снабженных аппаратом для возглашения Символического, — людей, другими словами, – которые способны были бы обратить на это внимание.

Звезды реальны, всецело реальны – в принципе, в них нет ничего, что было бы другого порядка, что вносило бы в них момент инаковости, они суть то самое, что они суть. И то, что их можно неизменно найти на одном и том же мес-

те, как раз и служит одной из причин, по которой они не говорят.

Вы заметили, наверное, что я все время колеблюсь между планетами и звездами. Это неслучайно. Ведь это *неизменно на том же месте* продемонстрировали нам поначалу не планеты, а именно звезды. Идеальная регулярность суточного движения звезд было, безусловно, первым, что дало людям возможность испытать, насколько окружающий их изменчивый мир устойчив, и начать построение той диалектики Символического и Реального, что создает впечатление, будто Символическое бьет из Реального ключом – что, естественно, ничуть не доказательнее, нежели мнение, будто так называемые *неподвижные* звезды и вправду вращаются вокруг Земли. Так что думать, будто символы действительно произошли из Реального, на самом деле не стоит. Но даже зная это, не устаешь поражаться тому, насколько зачарованы оказались люди своеобразными конфигурациями звезд, сгруппированных ими, в конечном счете, самым произвольным образом. Почему разглядели они в небе Большую Медведицу? Почему столь очевидны Плеяды? Почему именно таким увидели они Орион? Мне трудно было бы дать на это ответ. Я не думаю, что эти светящиеся точки хоть когда-нибудь группировали по-другому – вы согласны? На заре человечества этот факт наверняка сыграл роль, в которой мы плохо сейчас отдаем себе отчет. Увековеченные, знаки эти стойко сохранились и до сего дня, являя собой исключительный пример цепкости, свойственной Символическому. Пресловутые свойства формы сами по себе не дают, похоже, абсолютно убедительного объяснения того, как мы сгруппировали звезды в созвездия.

Ограничившись сказанным, мы так и остались бы ни с чем, ибо в представлении о видимом постоянстве звезд, которые всегда обнаруживаются на том же месте, нет на деле ничего основательного. Зато мы сделали существенный шаг вперед, когда обнаружили, что существуют вещи, которые действительно, реально остаются на том же месте и которые явились нам поначалу в форме планет, этих блуждающих небесных тел. Мы заметили, что часть из населяющих небосвод звезд перемещается и оказывается на одном

и том же месте не вследствие нашего собственного вращения, а вполне реально.

Реальность эта и является первой причиной, по которой планеты не говорят. Заблуждением, однако, было бы считать их такими уж немыми. Немыми они являются в столь малой степени, что очень долгое время их смешивали с природными символами. Мы заставили-таки их говорить, и неправильно было бы не задаться вопросом о том, каким образом такое положение дел поддерживается. В течение очень долгого времени и до эпохи совсем недавней они сохраняли остатки своего рода субъективного существования. Даже Коперник – человек, сделавший решающий шаг к открытию в движениях звезд идеальной регулярности – держался еще того убеждения, что земное тело, оказавшись на Луне, приложило бы все возможные усилия, чтобы вернуться домой, а лунное тело, наоборот, не успокоилось бы, пока не вернулось вновь на материнскую землю. Это наглядно показывает, насколько долго эти понятия оставались живы и как трудно бывает не делать из реальностей одушевленных существ.

И вот явился, наконец, Ньютон. Явился в момент, когда все было к его явлению готово – именно история науки нагляднее всего демонстрирует, до какой степени универсальными являются присущие людям способы рассуждать. Ньютон дал в конечном итоге ту четкую формулу, вокруг которой крутилось человечество все предшествующее столетие. Именно Ньютону определенно удалось заставить небесные тела замолчать. Пугавшее Паскаля вечное молчание бесконечных пространств стало после Ньютона бесспорным фактом: звезды не говорят, планеты же немы, и немы потому, что замолчать их заставили – именно это и служит единственной настоящей причиной, так как что с той или иной реальностью может в следующий момент произойти, не знает, в конечном счете, никто.

Почему же планеты не говорят? Поистине, это вопрос. Никто и вправду не знает, что с той или иной реальностью может случиться, но лишь до тех пор, пока ее не заставят окончательно вписаться в рамки языка. Окончательная уверенность в том, что планеты не говорят, явилась лишь в

тот момент, когда им заткнули глотку, то есть когда создана была ньютоновской наукой теория единого поля – создана в форме, которая хотя и получила впоследствии дополнения, но уже с самого начала запросам человеческой мысли полность удовлетворяла. Итогом теории единого поля явился закон тяготения, суть которого состоит в том, что он предлагает формулу, выражающую всеобщую зависимость исключительно простым языком, состоящим всего-навсего из трех букв.

Ученые современники привели все возможные возражения: тяготение, воздействие на расстоянии, через пустоту – вещь немыслимая и прежде неслыханная, ведь всякое действие по самому определению своему передается отдаленному через ближайшее. Если бы вы только знали, сколь маловразумительным оказывается ньютоновское понятие о движении, если присмотреться к нему поближе! Вы воочию убедились бы тогда, что оперирование противоречивыми представлениями привилегией одного лишь психоанализа отнюдь не является. В ньютоновское понятие о движении входит время, но что представляет собой физическое время, никого не волнует, так как ни о чем, что имело бы отношение к реалиям, у Ньютона речи нет – речь идет лишь о точном языке, и рассматривать единое поле следует не иначе, как хорошо организованный язык, как синтаксис.

С этой стороны мы можем быть спокойны – все, что входит в единое поле, навеки лишается дара речи, ибо все это – реальности, целиком сведенные к языку. Я надеюсь, вы видите, что противоположность между речью и языком здесь налицо.

Не думайте, будто мы заняли по отношению к реальностям позицию, с которой они сводятся к языку без остатка. Позиция эта имеет, впрочем, свои преимущества – ведь если бы планеты и другие вещи того же порядка действительно говорили, спор бы завязался нешуточный, а страх Паскаля сменился бы, чего доброго, настоящим ужасом.

На самом деле, каждый раз, когда мы имеем дело с остатком действия — настоящего, подлинного действия, с тем новым, что берет свое начало в субъекте (причем вовсе не обязательно, чтобы это был субъект одушевленный), — пе-

ред нами оказывается нечто такое, перед чем лишь бессознательное наше может не испытывать страха. Ибо на данном этапе развития физики наивно было бы воображать, будто все предрешено заранее и рот у атома с электроном уже на замке. Ничего подобного. И совершенно ясно, что мы здесь с вами собрались не для того, чтобы заниматься бреднями о свободе, которым род человеческий с увлечением предается.

Речь идет не об этом. Совершенно очевидно, что именно со стороны языка возникают какие-то странности. Принцип Гейзенберга в этом, собственно, и заключается. Когда один из параметров системы можно указать точно, другие сформулировать не удается. Когда речь идет о месте электронов, когда мы велим им держаться там-то, оставаться все время на одном и том же месте, теряется всякое представление о том, что мы именуем обычно их скоростью. И наоборот, сказав им – *ну хорошо, согласны, вы все время перемещаетесь одинаковым образом*, – мы тут же перестаем соображать, где именно они находятся. Я не хочу сказать, что мы так навсегда в этом глупом положении и останемся. Но вплоть до того, как установится новый порядок, мы можем смело утверждать, что частицы не отвечают нам там, где мы их спрашиваем. Точнее говоря, делая им запрос в какой-то определенной точке, мы лишаемся возможности охватить их в целом.

Вопрос о том, говорят ли они, вовсе не решается окончательно тем фактом, что они отказываются нам отвечать. Нам все равно неспокойно – в один прекрасный день что-нибудь, чего доброго, преподнесет нам сюрприз. Не будем ударяться в мистику – я не собираюсь утверждать, будто атомы и электроны действительно разговаривают. Но почему бы и нет? Ведь все как раз и происходит под знаком *как бы*. В любом случае, их способность говорить немедленно обнаружилась бы, как только они принялись бы нас обманывать. Если бы атомы нас обманывали, с нами хитрили, это бы убедило нас до конца. Я осязаемо даю вам почувствовать, о чем идет речь — она идет о других как таковых, а не о тех, что отражают собой наши же априорные категории и более или менее трансцендентальные формы присущей нам интуиции.

Это вещи, о которых мы предпочитаем не думать, – если в один прекрасный день они подберутся к нам изнутри, вы увидите, чем это кончится. Мы окажемся поистине сбиты с толку — о чем и думал все время Эйнштейн, не перестававший этому удивляться и неустанно твердивший, что Всемогущий хоть и хитрит помаленьку, но на обман наверняка неспособен. Это, кстати, единственное допущение, которое позволяет, поскольку речь здесь идет о Всемогущем нефизическом, заниматься наукой, то есть, в конечном счете, заставить Его, Всемогущего, помолчать.

2

Обратившись теперь к той науке, "гуманитарной" по преимуществу, которая именуется психоанализом, можно ли сказать, что целью ее является нахождение единого поля и превращение людей в луны? Неужели мы заставляем людей так много говорить с единственной целью заставить их в конце концов замолчать?

Замечу кстати, что наиболее правильное понимание провозглашаемого Гегелем конца истории состоит в том, что это момент, когда людям ничего другого и не останется, как ее завершить. Означает ли это возврат к животной жизни? Люди, дошедшие до состояния, в котором они больше в языке не нуждаются, – не являются ли они животными? Трудный вопрос, который однозначно, мне кажется, решить нельзя. Но как бы то ни было, вопрос о конце анализа является в аналитической технике центральным. И в связи с ним люди впадают порою в заблуждения самого скандального характера.

Я впервые прочитал очень симпатичную статью о том, что принято называть "образцовым лечением". *Необходимость поддерживать нетронутыми присущие Я способности наблюдения* – эти слова набраны в ней жирным шрифтом. Говорится в ней и о зеркале, которое представляет собой аналитик, – это неплохо, но автор хотел бы, почему -то, чтобы зеркало это было живым. Живое зеркало – интересно, что это такое? Бедняга потому и говорит о живом зеркале, что чувствует: в истории его что-то хромает. В

чем суть анализа? Неужели он действительно состоит в воображаемой реализации субъекта? *Я* путают обыкновенно с субъектом и делают из этого Я реальность, нечто, как говорят, *интегративное*, то есть удерживающее всю планету вместе как единое целое.

Если эта планета не говорит, то не оттого, что она реальна, а оттого, что у нее нет времени, нет времени в совершено буквальном смысле – у нее само измерение это отсутствует. Почему? Да потому, что она круглая. Интеграция в этом и состоит – круглое тело может делать, что хочет, оно всегда остается равным себе. В качестве цели анализа нам и предлагают как раз округлить это Я, придать ему сферическую форму, куда окажутся без остатка интегрированы им все его разрозненные, фрагментарные состояния, его разбросанные члены, его прегенитальные этапы, его частичные влечения, весь пандемонизм его бесчисленных им растерзанных *эго*. Итак, курс берется на торжествующее *эго* – сколько *эго*, столько и объектов.

В термин *объектное отношение* вкладывают самое разное содержание, но рассматривая вещи под углом зрения объектного отношения и частичных вложений автор, о котором я вам рассказываю и который подавал в свое время надежды куда большие, вместо того, чтобы указать *оно* подобающее ему место в плане Воображаемого, доходит до извращения, ставящего успешный ход анализа в исключительную зависимость от воображаемых отношений субъекта с его иным (divers) — иным характера самого примитивного. К счастью, на практике до конца опыт никогда не доводят — слова расходятся с делом и результат оказывается далеким от намечаемой цели. Лечение, слава Богу, благополучно проваливают, а субъект выходит благодаря этому сухим из воды.

Развивая логику автора, о котором я только что говорил, можно самым строгим образом продемонстрировать, что предлагаемый им подход к лечению невроза навязчивых состояний ни к чему, кроме параноизации субъекта, привести не может. Возникновение психоза кажется ему пропастью, которая в лечении невроза навязчивых состояний всегда оказывается под ногами. Другими словами, для автора, о ко-

тором я говорю, больной, страдающий неврозом навязчивых состояний, на самом деле является сумасшедшим.

Расставим точки над *i* – что этот сумасшедший на самом деле собой представляет? Это сумасшедший, который держится от своего безумия, то есть от самого большого возмущения Воображаемого, какое только бывает, на расстоянии. Этот сумасшедший – параноик. Сказав, что безумие – это наибольшее возмущение Воображаемого, мы не определили все возможные формы безумия — такие, как бред или паранойя. Согласно автору, которого я читаю, все, что больной неврозом навязчивых состояний нам рассказывает, не имеет ничего общего с тем, что он переживает в действительности. Его рискованное равновесие – довольно устойчивое, впрочем, ибо кого, как не такого больного, труднее всего сбить с толку – поддерживается вербальным конформизмом, языком социума. Если же больной сопротивляется и цепляется за свое так крепко, то дело тут, если верить нашему автору, в том, что там, прямо у ног его, раскрывается бездна психоза, воображаемого разложения собственного *Я*. Не в пользу рассуждений автора говорит, однако, тот факт, что он не может продемонстрировать нам в качестве примера ни одного больного неврозом навязчивости, которого ему удалось довести до настоящего сумасшествия. Сделать это у него нет никакой возможности, и на то есть основательные причины. Однако, желая оградить субъекта от якобы угрожающего ему безумия, он действительно может подвести его к этой черте очень близко.

Вопрос о пост-аналитической паранойе после анализа несет характер далеко не мифический. Чтобы получить вполне характерную паранойю, не требуется даже заходить в курсе анализа слишком далеко. Что касается меня, то я наблюдал это в том лечебном учреждении, где мы находимся. Именно в такого рода учреждении это более всего и заметно, так как оно вынуждено постепенно направлять пациентов на путь самостоятельного лечения, откуда они, тем не менее, часто возвращаются к лечению клиническому, как бы врастая в его систему. Такое случается. Для этого вовсе не обязательно иметь хорошего психоаналитика: достаточно твердо верить в психоанализ самому. Я видел пара-

нойи, которые можно считать результатом анализа, видел и такие, которые можно назвать спонтанными. Находясь в соответствующей среде, где царит живой интерес к фактам психологии, субъект — при условии, конечно, что он имеет к этому какую-то склонность, — вполне может сформулировать для себя проблемы, которым сам же, при всей несомненной фиктивности их, сообщает некоторую весомость; он может сформулировать их на заранее имеющемся у него в распоряжении языке расхожего психоанализа. Обычно это занимает много времени; чтобы заработать себе хронический маниакальный психоз, надо постараться – как правило, на это уходит где-то треть жизни. Должен сказать, что аналитическая литература представляет собой, с определенной точки зрения, своего рода *ready-made* бред, и совсем не редко можно встретить субъектов, воспользовавшихся ею как магазином готового платья. Стиль (если можно так выразиться) представленный этими молчаливо привязанными к неизреченным тайнам психоаналитического опыта персонажами, является смягченной формой того, с чем основа его вполне однородна и что я называю в данном случае паранойей.

3

Я хотел бы предложить вам сегодня небольшую схему, призванную проиллюстрировать проблемы моего *Я* и другого, языка и речи.

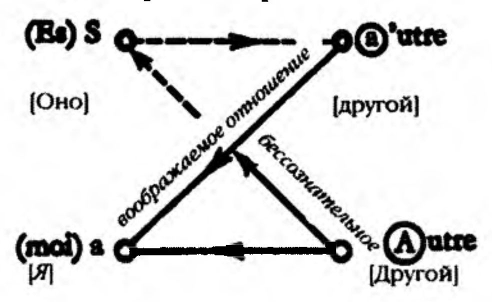
Схема эта не была бы схемой, предлагай она какое-то готовое решение. Это даже и не модель. Это просто способ зафиксировать какие-то идеи, без помощи которых нашему слабому рассудку не обойтись.

Я не стал вновь напоминать вам о том, что отличает Воображаемое от Символического, в надежде, что вы уже имеете об этом достаточно хорошее представление.

Что нам известно о *Я*? Реально ли оно, или подобно луне, или представляет собой воображаемую конструкцию? Мы исходим здесь из той мысли, которую я уже давно вам внушаю, что в диалектике психоанализа нельзя понять ровно ничего, не уяснив предварительно, что Я – это вообража-

емая конструкция. Этот факт бедное Я нисколько не умаляет – напротив, я сказал бы даже, что в этом заключается его достоинство. Не будь оно воображаемым, мы не были бы с вами людьми, мы были бы лунами. Что вовсе не означает, будто достаточно это воображаемое Я иметь, чтобы быть тем самым людьми. Можно ведь еще оказаться и тем промежуточным существом, что именуется сумасшедшим. Ведь сумасшедший как раз и есть тот, кто просто-напросто с этим воображаемым срастается.

Вот схема, о которой идет речь.



S – это буква *S*, субъект аналитический, другими словами, вовсе не субъект в его целокупности. Нам все уши успели прожужжать разговорами о том, что субъект-де берется в его целокупности. Почему он, собственно, должен быть целокупным? Нам лично об этом ничего не известно. А вы – вы когда-нибудь таких целокупных существ встречали? Это, наверное, идеал. Я их не встречал никогда. Лично я не целокупен. Да и вы тоже. Будь мы целокупны, мы и были бы каждый сам по себе, а не сидели бы здесь вместе, пытаясь, как говорят, организоваться. Это не субъект в своей целокупности, это субъект в своей открытости. Он, как и водится, сам не знает, что говорит. Знай он, что говорит, он бы здесь не был. А так вот он, здесь, внизу справа.

Ну, разумеется, видит он себя вовсе не здесь – так не бывает, даже в конце анализа. Он видит себя в (*a*), и вот почему у него есть собственное Я. И он думает, вероятно, что это Я это он и есть. Так думают все, и никуда от этого не денешься.

С другой стороны, анализ объясняет нам, что Я является формой, которой принадлежит безусловно основополагающая роль в образовании объектов. В частности, именно в

форме другого в зеркале является ему тот, кого мы, по чисто структурным соображениям, называем ему подобным. Эта форма другого находится с его Я в самой тесной связи – она накладывается на него, и мы обозначаем ее *a'*.

Имеется, таким образом, плоскость зеркала, симметричный мир *эго* и однородных других. И от этой плоскости нужно отличать другую, которую мы называем стеной языка.

Именно в порядке, установленном стеной языка, и черпает воображаемое свою ложную реальность, которая остается, тем не менее, реальностью засвидетельствованной. Собственное Я (в нашем его понимании), другой, подобный – все эти воображаемые сущности являются объектами. Разумеется, лунам они не однородны, и мы всякий раз рискуем об этом забыть. Но объектами они, безусловно, являются, будучи как таковые поименованы внутри однородной организованной системы – системы стены языка.

Говоря со своими ближними, субъект пользуется общим для всех языком, в котором воображаемые Я выступают как вещи не просто *вне-существующие* (ex-sistantes), а реальные. Будучи не в состоянии узнать, что же именно находится в поле, где конкретный диалог протекает, он имеет дело с определенным числом персонажей: *a'*, *a''*. И в той мере, в которой субъект ставит их в связь со своим собственным образом, те, с кем он говорит, становятся одновременно теми, с кем он себя отождествляет.

Говоря так, нельзя упускать из виду основное допущение, из которого мы, аналитики, исходим – мы твердо убеждены, что существуют и другие субъекты помимо нас, что существуют между субъектами отношения вполне неподдельные. У нас не было бы причин так думать, не будь наше убеждение засвидетельствовано тем фактом, который как раз субъективность и характеризует – тем фактом, что субъект способен нас обмануть. Это и есть решающее доказательство. Я вовсе не утверждаю, что это единственное основание реальности другого субъекта, – это его доказательство. Другими словами, на самом деле мы обращаемся к A_1, A_2, которые и суть то, о чем нам ничего неизвестно – настоящие Другие, истинные субъекты.

Они находятся под другую сторону стены языка – там,

где мне никогда до них не добраться. Это ведь к ним, по сути дела, обращаюсь я каждый раз, когда произношу слово истины, но достигает оно, по законам отражения, лишь *a?* да *a''*. Я всегда устремляюсь к субъектам истинным, а довольствоваться мне приходится только тенями. От Других, истинных Других, субъекта отделяет стена языка.

Если речь основывается на существовании Другого, истинного, то язык создан для того, чтобы отослать нас к другому объективированному, к другому, с которым мы вольны обращаться как нам угодно, в том числе и почитать его за объект, то есть заранее полагать, что он сам не знает, что говорит. Когда мы пользуемся языком, наше отношение к другому все время витает внутри этой двусмысленности. Другими словами, язык создан как для того, чтобы укоренить нас в Другом, так и для того, чтобы в принципе помешать нам его понять. Именно с этим имеет дело аналитический опыт.

Субъект не знает, что говорит, и на то у него есть сама уважительная причина – ведь он не знает, что такое он сам. Зато он себя видит. Вы прекрасно знаете, что видит он себя по ту сторону зеркала и притом весьма неотчетливо, что объясняется принципиально незавершенным характером его зеркального первообраза [Urbild], который является не просто воображаемым, но вдобавок и иллюзорным. Именно этим фактом и объясняется то извращенное по своему характеру отклонение, что наблюдается в последнее время в аналитической технике. Субъект, с ее точки зрения, призван соединить в одно целое все более или менее расчлененные и расчленяющие его формы того, в чем он ошибочно усматривает самого себя. Он призван собрать воедино все действительно пережитое им в прегенитальной стадии, свои разбросанные члены, свои частичные влечения, всю последовательность частичных объектов – вспомните *Святого Георгия* Карпаччо, готового обуздать дракона, с разбросанными вокруг отрубленными головами, руками и т. п. Анализ же призван способствовать тому, чтобы Я смогло набраться сил, реализовать себя, стать цельным. Бедное Я! Когда к цели идут прямо, когда ориентиром служит воображаемое и прегенитальное, в результате неизбежно приходят к ана-

лизу того типа, в котором потребление первичных объектов происходит посредством образа другого. Сами не зная почему, авторы, следующие этим путем, приходят к тому же самому выводу: Я не способно воссоединиться с собой и восстановить свою целостность иначе, как посредством себе подобного, которого субъект имеет перед собой (или позади себя – результат будет тот же).

Дело в том, что свое воображаемое Я субъект воссоздает вокруг другого центра, в форме Я аналитика. Причем Я это не остается просто воображаемым, так как речевое вмешательство аналитика мыслится не иначе, как встреча двух Я, как осуществляемая аналитиком проекция строго определенных объектов. Анализ, в перспективе этой, всегда оказывается представлен и спланирован в плоскости объективности. Задача его, как пишут сторонники этой точки зрения, состоит в том, чтобы позволить субъекту перейти от реальности психической к реальности истинной, то есть к луне, воспроизведенной в Воображаемом точь-в-точь, что от нас тоже вовсе не скрывают, по образу Я психоаналитика. При этом они оказываются достаточно последовательны, чтобы отметить, что речь вовсе не идет о попытке субъекта чему-то научить или дать ему представление о том, что должен он в мире делать: работа ведется именно в плане Воображаемого. Вот почему более всего ценится то, что считают расположенным за тем, что рассматривается как иллюзия (а вовсе не стена) языка, – неизреченное переживание.

Среди приводимых клинических примеров есть один очень забавный: пациентку мучает мысль, что аналитик знает, что лежит у нее в чемодане. Она знает это, и в то же время не знает. Все, что она по поводу этой воображаемой озабоченности может сказать, аналитиком игнорируется. И вдруг неожиданно приходит понимание того, что это как раз самое важное и есть – она боится, что аналитик похитит у нее то, что у нее в животе, то есть содержимое чемодана, символизирующее ее частичный объект.

Понятие воображаемого усвоения частичных объектов посредством фигуры аналитика ведет, если воспользоваться заглавием, которое дал Бальтазар Грасиан своему сочине-

нию о Святой Евхаристии, к своего рода *Comulgatorio*, к воображаемому потреблению самого аналитика. Хорошенькое причастие – мясной прилавок, голова с торчащей из носу петрушкой или кусочек, вырезанный из ягодицы, одним словом, как писал в *Сосцах Тиресия* Аполлинер: *Съешь ноги твоего аналитика под тем же соусом*, – вот что лежит в основе такого рода аналитической теории.

Не существует ли, однако, другой концепции анализа, концепции, которая позволяла бы заключить, что анализ представляет собой нечто иное, нежели воссоединение продуктов присущего субъекту воображаемого расчленения?

Расчленение это действительно существует. Оно является одним из тех измерений, которые позволяют аналитику действовать методом идентификации, сообщая субъекту свое собственное Я. Детали я опускаю, но нет сомнения, что, воспользовавшись определенной интерпретацией сопротивления, аналитик может, сводя целостный опыт анализа исключительно к воображаемым его элементам, проецировать на пациента те или иные характеристики своего собственного Я, Я аналитика, – насколько и в каком отношении иными могут они оказаться, в конце анализа становится очевидным! То, чему учил нас Фрейд, этому прямо противоположно.

Если аналитиков специально готовят, то делается это как раз с той целью, чтобы были субъекты, у которых собственное Я отсутствует. Это и есть идеал анализа, который, конечно же, остается чистой возможностью. Субъектов без собственного Я, субъектов полностью реализованных, никогда не бывает, но от субъекта анализа нужно всегда добиваться именно этого.

Анализ должен стремиться к тому, чтобы открыть путь истинной речи, которая соединила бы одного субъекта с другим, находящимся по другую сторону стены языка. Именно окончательная связь с подлинным Другим, с Другим, чей ответ всегда оказывается неожиданным, и определяет собой окончание анализа.

В продолжение всего анализа, при непременном условии, что собственное Я аналитика соблаговолит отсутствовать, а сам аналитик явит собой не живое зеркало, а зеркало пус-

тое, все, что происходит, происходит между собственным Я субъекта (ведь это именно оно, собственное Я субъекта, на первый взгляд, все время и говорит) и другими. Успешное продвижение анализа состоит в постепенном смещении этих отношений, которые субъект в любой момент может осознать, по ту сторону стены языка, как перенос, в котором он участвует, себя в нем при этом не узнавая. Отношения эти вовсе не следует ограничивать, как это иногда пишут; важно лишь, чтобы субъект признал их своими на собственном своем месте. Анализ состоит в том, чтобы позволить субъекту осознать свои отношения не с собственным Я аналитика, а с теми Другими, которые и являются его истинными, но не узнанными собеседниками. Субъект призван постепенно открыть для себя, к какому Другому он, о том не подозревая, обращается на самом деле, и шаг за шагом признать наличие отношений переноса там, где он в действительности находится и где не умел он узнать себя прежде.

Известной фразе Фрейда – *Wo Es war, soll Ich werden* – можно придать второй смысл. Представьте себе, что *Es* — это просто буква, буква 'S'. Оно всегда здесь, всегда налицо. Это субъект (sujet). Он или знает себя, или не знает. Но это даже не самое главное – самое главное, держит он речь или нет. В конце анализа держать речь и вступать в отношения с истинными Другими должен именно он. Там, где было *S*, должно быть *Ich*.

Вот где субъект действительно собирает свое расчлененное тело и воссоздает, усваивает себе свой опыт.

В ходе анализа и вправду возможна встреча с чем-то таким, что принимает форму объекта. Но объект этот, далекий от того, о чем идет речь, является лишь его глубочайшим образом отчужденной формой. Именно воображаемое Я лежит у него в центре и придает ему свою окраску. В нем безошибочно узнается форма отчуждения, близкая паранойе. Если субъект кончает тем, что начинает верить в собственное Я – это само по себе самое настоящее безумие. Анализу, к счастью, удается довести до этого дело довольно редко, но тому, что именно в этом направлении его подталкивают, у нас тысячи доказательств.

В этом и будет состоять наша программа на следующий

год – что такое, собственно, паранойя? И что такое шизофрения? Паранойя, в отличие от шизофрении, всегда связана с воображаемым отчуждением собственного Я.

25 мая 1955 года.

XX
ОБЪЕКТИВИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ

Критика Феаберна.
Почему во время анализа говорят?
Экономия Воображаемого и символический регистр.
Иррациональное число.

Схема, которую я дал вам в прошлый раз, предполагает, что речь, подобно свету, распространяется по прямой линии. Это говорит о том, что воспринимать ее следует лишь метафорически, как аналогию.

Со стеной языка интерферирует не что иное, как зеркальное соотношение, в силу которого то, что относится к собственному *Я*, воспринимается и усваивается не иначе, как посредством другого, который поэтому навсегда и сохраняет для субъекта свойства *Urbild'a*, прообраза собственного *Я*. Откуда и возникают эффекты неузнавания, лежащие в основе как множества недоразумений, так и основанного на этих недоразумениях повседневного общения.

Система эта обладает целым рядом свойств, что я и показал вам, научив ее трансформировать. Отметил я и тот факт, что поведение аналитика может оказаться самым разнообразным и привести в анализе к самым различным, даже противоречивым, последствиям.

Итак, мы оказались у подножия стены или, лучше сказать, на перекрестке. Что меняется в анализе в зависимости от того, кладем ли мы в его основу матрицу отношений речи или, напротив, стараемся аналитическую ситуацию объективировать? Всякая объективация превращает анализ в процесс перестройки Я по образу Я самого аналитика – интенсивность этого процесса зависит от конкретного автора или практикующего аналитика.

Значение нашей критики выясняется с пониманием того, что собственное Я носит принципиально отчужденный характер зеркального отражения. Всякое Я, предъявленное как таковое, предъявляет лишь воображаемую функцию. Это относится и к Я аналитика – ведь Я всегда Я, сколь бы совершенно оно ни было.

Конечно, основания вступить на подобный путь у анализа были. Фрейд действительно восстановил цельность *Я*. Но неужели сделал это он для того, чтобы поставить в центр анализа объект и объектные отношения?

Объектное отношение – вот что сегодня стоит на повестке дня. Я уже говорил вам, что именно вокруг него и возникают все те двусмысленности, из-за которых нам так трудно сейчас переосмыслить значение последних работ Фрейда и указать новейшим техническим исследованиям их настоящее место в свете общего смысла психоанализа, который столь часто оказывается у нас в забвении.

То, что я здесь вам втолковываю, суть лишь основополагающие понятия, своего рода алфавит, роза ветров, схема ориентирования, а вовсе не подробная картография сегодняшних проблем анализа. Предполагается, что, вооруженные этой схемой ориентирования, вы пуститесь в путешествие по этой карте самостоятельно, поверяя мои теории масштабным изучением работ Фрейда.

От того или иного слышишь порою, что, будто бы, я излагаю теории, не совпадающие с тем, что в той или иной работе Фрейда можно найти. Я мог бы легко ответить на это, сославшись на то, что прежде, чем подойти к конкретному тексту, следует понять целое. Об *эго* речь у Фрейда идет в нескольких работах. Не изучив *эго* во *Введении в нарциссизм*, нельзя понять и то, что говорит о нем Фрейд в *Das Ich und das Es*, где *эго* соотносится с системой восприятие-сознание.

Даже оставаясь внутри предложенной в *Das Ich und das Es* топической схемы, определению, приравнивающему *эго* к системе восприятие-сознание, нельзя дать правильную оценку, рассматривая это определение само по себе. Отождествление это на роль определения явно не тянет. Взятое само по себе, изолированно, оно представляет собой не более, чем условное предположение или же тавтологию.

Если все дело было в том, чтобы остаться верным схеме – я говорю о сыгравшей в анализе столь гипнотическую роль схеме яйца, где *эго* предстает как своего рода линза, точка прорастания, та дифференцированная и организованная часть бесформенного Оно, посредством которой осуществляется связь с реальностью, – то, по правде говоря,

того грандиозного обходного маневра, который в работах Фрейда оказался проделан, это не стоило. К тому же главное в этой схеме – это зависимость организации *эго* от чего-то с точки зрения организации совершенно ему инородного

Опасность всякой схемы, особенно схемы, которая грешит слишком явным овеществлением, состоит в том, что ум немедленно цепляется за нее и черпает в ней лишь самые обобщенные представления.

1

В последний раз я ссылался на работу, легко вам доступную. Сегодня я воспользуюсь статьей англичанина, точнее, шотландца, по имени Феаберн, который сделал попытку, и довольно последовательную, переформулировать всю аналитическую теорию в терминах объектного отношения. Воспользоваться ею тоже нетрудно – статья эта, под заглавием *Psychoanalytic studies of the personality*, была опубликована в *International Journal of Psycho-analysis*, том XXV.

Речь в ней идет об описании эндопсихической структуры в терминах объектного отношения. Проблема эта представляет куда больший интерес, чем если бы она была частной теорией одного автора. Вы обнаружите в ней все знакомые признаки того, как сами мы описываем сейчас наши случаи, как сами мы ссылаемся на действующие в психической реальности силы и вызываемые ими последствия, как сами мы подытоживаем результаты лечения. Схема, которую он разрабатывает, образность, к которой он прибегает, имеет непосредственное отношение к тому, с чем, под именем воображаемой экономии, имеем дело и мы. И вы сами увидите, какому риску подвергает себя анализ, оставаясь на уровне концептуализации такого рода.

Статью эту нужно прочесть целиком, прослеживая ее логику, — пусть каждый из вас проделает эту работу самостоятельно. Мое изложение даст вам для этого необходимые ориентиры и побудит вас, я надеюсь, к критическому восприятию того, о чем я вам рассказываю.

Вот схема, к которой приходит в конечном итоге автор и которая представляет собой точную кальку ролей разбираемого им в статье сновидения. Те из вас, кто посещает здесь

курс (который, кстати, сегодня вечером должен возобновиться) по психодраме, легко убедится в родственности ей этой схемы, что прямо свидетельствует об упадке, в котором находится аналитическая теория. О психодраме нельзя говорить беспристрастно – эта практика не имеет с практикой аналитической ничего общего.

По мнению нашего автора, в теории Фрейда имеются вопиющие инородные вставки и нарушения симметрии. Он утверждает, что все нужно переделать заново. *Я*, — пишет Феаберн, – *ничего в ней не понимаю:* почему вместо того, чтобы рассуждать о либидо, к которому никто не знает, с какого конца подойти и которое, в конечном счете, отождествляют с влечениями, тем самым, безусловно объективируя, нельзя говорить непосредственно об объекте? Концепция либидо как энергии, из которой исходит Фрейд, действительно породила множество недоразумений, связанных с тем, что ее отождествили со способностью любви.

Согласно Фрейду, – пишет Феаберн своим языком и на своем языке, – *либидо* is pleasure-seeking, *направлено на поиски удовольствия. Мы же всё здесь переменили, мы подметили, что либидо есть* object-seeking [направлено на поиски объекта]. Об этом, впрочем, догадывался и Фрейд: разве не пишет он, что любовь — это поиск своего объекта? Это поразительно, но автор этих строк, как и многие другие, не заметил, что Фрейд говорил это о любви в тот момент, когда убежден был в необходимости критики теории либидо уже за то (вы обратили внимание на то, как связано это с тем, что говорил я вам во время предыдущей встречи?), что она ставит саму проблему приспособления его к объектам. В дальнейшем именно это понятие о либидо как *object-seeking* и ставится нашим автором во главу угла.

Одной из главных пружин, одним из ключевых моментов теории, которую я здесь развиваю, является различение Реального, Воображаемого и Символического. Я все время стараюсь научить вас этому различению, приучить к нему. Моя концепция даст вам возможность разглядеть тайное недоразумение, которое в понятии объекта кроется. Ибо на самом деле понятие объекта как раз и держится на смешении, путанице этих трех терминов.

Коли объекты есть, объекты эти всегда представлены так, как их предъявляет субъект, – вот что следует понимать буквально. А когда вы воспринимаете их, как говорится, объективно, то есть без ведома субъекта, вы представляете их себе как объекты, однородные тем, что вам предъявляет субъект. Одному Богу известно, как вы во всем этом будете разбираться.

Феаберн различает *эго* центральное и *эго* либидинальное. *Эго* центральное – это *эго* приблизительно в том самом виде, в котором его обыкновенно представляют себе начиная с того момента, когда индивидуальное органическое единство нашло осуществление в психическом плане в понятии единства *эго*, то есть когда психический синтез индивида стал восприниматься как данность, связанная с функционированием определенных механизмов. Перед нами в данном случае объект психический и потому для всякой диалектики закрытый, эмпирическое *эго* классической науки, объект психологии. Часть этого центрального *эго* возникает в сознании и предсознании – посмотрите, как обеднена здесь функциональная ценность первоначальных ссылок на сознание и предсознание. Другая же часть этого *эго*, само собой разумеется, бессознательна – что даже самая ретроградная психология никогда и не думала отрицать.

Эта бессознательная часть вовсе не вводит нас в субъективное измерение, которое можно было бы поставить в связь с вытесненными значениями. Речь идет о другом организованном *эго*, *эго* либидинальном, ориентированном на объекты. Поскольку же отношения с этими объектами отличаются исключительной сложностью, оно раскололось, подверглось распаду, в результате которого вся структура его, оставшись структурой *эго*, оказалась в результате вытеснения в режиме автономного функционирования, которое с функционированием *эго* центрального никак более не согласовано.

Вы безошибочно узнаете в этом концепцию, которая с легкостью возникает в сознании при поверхностном знакомстве с психоаналитическим учением. Именно таким образом часть аналитиков и начинает теперь представлять себе процесс вытеснения.

Но ситуация далеко не так проста, ибо некоторое время назад в бессознательном было открыто существование чего-то другого, что либидинальным не является, а представляет собой агрессивность – открытие, которое привело к заметной реорганизации всей психоаналитической теории. Фрейд отнюдь не смешивал внутреннюю агрессивность со сверх-Я. У Феаберна мы имеем дело с понятием весьма пикантным, ибо автор, не найдя, похоже, в английском языке термина, который адекватно выражал бы, по его мнению, возмущающую, демоническую функцию сверх-Я, создал свой собственный, называв его "внутренним саботажником", *internal sabotor.*

Если этот саботажник вытесняется, то причина этому в том, что у истоков развития субъекта лежат два объекта исключительно тревожного характера. Любопытное свойство двух этих проблематичных объектов заключается в том, что поначалу они представляли собой один и тот же объект. Я не удивлю вас, если скажу, что в конечном счете, речь идет о матери. Все сводится, таким образом, к обманутым (frustration), или же не обманутым ожиданиям (non-frustration).

Я не делаю никаких натяжек. Я прошу каждого обратиться к этой статье, показательной именно потому, что позиция, непоследовательно и с оговорками разделяемая очень многими, сформулирована здесь в неприкрытом виде.

Суть всего построения состоит в первоначальном расщеплении первичного объекта, то есть матери-кормилицы, на два лица – хорошее и плохое. Все прочее сводится к развитию этой мысли и по характеру своему двусмысленно и омонимично. Комплекс Эдипа просто-напросто наложился впоследствии на эту первоначальную структуру, сообщая ей определенные мотивы – в чисто орнаментальном смысле этого слова. Впоследствии отец и мать распределяют между собой — способом, который в дальнейшем может быть уточнен – вписанные в первоначальное разделение объекта основные роли: *exciting,* возбуждение желания (либидо смешивается здесь с желанием, объективированным в своей обусловленности), с одной стороны, и отказ от него, *rejecting*, с другой.

Я не хочу слишком в этот вопрос углубляться, но совер-

шенно ясно, что *exciting* и *rejecting* принадлежат в данном случае двум различным уровням. *Rejecting* предполагает, на самом деле, субъективацию объекта. В плане чисто объективном, объект либо обманывает ожидания, либо оправдывает их. Что касается понятия *rejecting*, то оно скрытым образом вводит отношения межсубъектные, непризнание. Я говорю об этом, чтобы показать, как легко, даже в такого рода рассуждениях, стать жертвой недоразумения.

Но я здесь не для того, чтобы исправлять допущенные Феаберном ошибки. Я просто пытаюсь выяснить цели и результаты его работы. Сводя вытеснение к тенденции отталкивания и проводя различие между либидинальным *ego* и *internal sabotor*, он делает это с лучшими намерениями: ведь с двумя первичными объектами, составляющими в реальности лишь один, совладать вовсе не так уж просто.

Мы, бесспорно, знаем, что объект далеко не однозначен и что он провоцирует у субъекта как угнетенность, связанную с отказом, так и постоянно возрождающееся либидинальное возбуждение, благодаря которому угнетенность эта вновь и вновь к нему возвращается. То, что имеет место введение плохого объекта вовнутрь, оспаривать не приходится. Как замечает наш автор, если что-то действительно необходимо ввести вовнутрь, невзирая на неприятности, которые это может доставить, то лучше сделать это с плохим объектом, подчинив его, таким образом, своей власти, нежели с хорошим, который куда полезнее оставить снаружи, откуда он сможет оказывать свое благотворное влияние. Именно вслед за введением внутрь плохого объекта и возникает процесс, в ходе которого либидинальное *эго*, слишком остро оживляющее приведшее к этому введению драму, оказывается сочтено слишком опасным и центральным *эго*, в свою очередь, отвергается.

Таков объект двойного отталкивания, дополнительный, заявляющий о себе на этот раз в форме агрессии, исходящей от инстанции, которая сама находится в состоянии вытеснения, – от *internal sabotor*, находящегося с первоначально вытесненными плохими объектами в самой тесной связи.

Вот схема, к которой мы в итоге приходим, – вы сами видите, что она весьма напоминает различные феномены,

которые мы клинически констатируем в поведении субъектов-невротиков.

Схема эта иллюстрируется сновидением. “Субъекту” снится, что она является объектом агрессии со стороны персонажа, который оказывается актрисой – ее функция как актрисы имеет особое значение для этой истории. Продолжение сновидения позволяет уточнить, с одной стороны, отношения персонажа-агрессора с матерью “субъекта” и, с другой стороны, раздвоение персонажа-жертвы первой части сновидения на два других персонажа — соответственно, мужской и женский, — изменяющих свой облик примерно так, как если бы очертания объекта оставались неопределенными под действием переливов света. Жертва агрессии меняет, словно под действием некоего эффекта пульсации, женскую форму на мужскую, в которой автор и распознает без труда пресловутый, двумя другими объектами прочно вытесненный, *exciting object* — тот обнаруживающийся на дне бессознательного психизма инертный элемент, который ассоциации “субъекта” позволяют идентифицировать в качестве ее мужа, отношения с которым и в самом деле были у нее непростые.

Какие выводы о действиях психоаналитика можно из этой схемы извлечь? Индивид живет в мире стабильном и всецело определенном, с объектами, которые судьбой заранее ему предназначены. Речь, следовательно, идет о том, чтобы помочь ему вступить с этими объектами — которые уже даны, уже ожидают его — в нормальные отношения.

Вся трудность заключается в скрытом существовании объектов, которые получают с этого момента именование объектов внутренних и которые стесняют субъект, парализуют его. Первоначально они по характеру своему могли существовать с субъектом согласованно и обладали, если можно так выразиться, реальностью вполне полноправной. Если впоследствии они свою функцию изменили, то произошло это по причине проявленного субъектом в какой-то момент бессилия, то есть потому, что первоначальной встречи с объектом, оказавшимся не на высоте своей задачи, субъект не смог выдержать. Я не делаю никаких натяжек, – именно так в тексте и сказано.

Мать, объясняют нам, не выполнила положенной ей по природе функции. Действительно, существует мнение, что в соответствии со своей природной функцией мать не является ни в коем случае объектом отвергающим – по природе своей мать может быть только доброй, и лишь в особых обстоятельствах, в которые мы жизнью поставлены, может подобный случай иметь место. Субъект расстается с какой-то частью себя самого, предпочитая, подобно Иосифу, лишиться плаща, нежели дать волю побуждениям двусмысленного характера. Именно этой двусмысленностью вся драма и обусловлена – объект является одновременно плохим и хорошим.

Схемы эта имеет и свои достоинства. Можно показать, в частности, что любое заслуживающее внимания понятие об *эго* должно рассматривать его в связи с объектами. Но утверждать, будто объекты введены вовнутрь – это не более чем уловка. Ведь весь вопрос в том, чтобы узнать, что он, этот введенный вовнутрь объект, собой представляет. Вопрос этот мы и пытаемся здесь разрешить, говоря о Воображаемом, имея в виду все то, что в этом термине подразумевается. Так, функция, которая принадлежит Воображаемому в строении биологическом, соответствующей функции Реального далеко не тождественна.

Феаберн подходит к этой проблеме совершенно некритически. Объект у него – это просто объект. Он берется во всей присущей ему массивности. Позиция, выбранная для его объективации, то есть самое начало жизни субъекта, способствует смешению Воображаемого и Реального – ведь воображаемая значимость матери действительно ничуть не меньше, чем значимость ее как реального персонажа. Но как бы значимы оба эти регистра ни были, смешивать их, как это здесь происходит, вовсе не позволительно.

Либидинальное *эго* должно быть возвращено на место – другими словами, оно должно найти те объекты, которые ему предназначены. Объекты эти обладают двойной природой: реальной и воображаемой. С одной стороны, в качестве объектов желания, они являются воображаемыми – что анализ с самого начала выдвигает на первый план, так это неистощимость, с которой либидо создает объекты, со-

ответствующие этапам ее развития. С другой стороны, это объекты реальные – совершенно очевидно, что мы их дать индивиду не можем, это не в нашей власти. Речь идет о том, чтобы позволить ему проявить по отношению к объекту *exciting*'а, провоцирующему воображаемую реакцию, то либидо, вытеснение которого и образует ядро невроза.

Если мы будем придерживаться этой схемы, то путь у нас, по сути дела, останется только один. Чтобы знать, каким путем аналитик должен идти, нужно понять его место на этой схеме.

Обратите теперь внимание вот на что: выводя из сновидения множественность дифференцированных друг от друга (как он выражается) *эго*, автор нигде не видит *эго центрального*, он лишь предполагает его — это то *эго*, в котором вся сцена происходит и которому принадлежит роль наблюдателя. Переходя теперь от схемы индивида к схеме аналитической ситуации, мы видим, что аналитику уготовано в ней одно-единственное место – то самое, где располагается *эго*-наблюдатель. Достоинство этой второй интерпретации состоит в том, что она оправдывает первую. Ибо до сих пор в теории этой *эго*, в качестве наблюдателя, никакими присущими *эго* активными чертами не обладало. Напротив, если кто-то действительно наблюдает, так это аналитик – именно эту свою функцию и проецирует он в то *центральное эго*, наличие которого сам же у субъекта предполагает.

Аналитик-наблюдатель является одновременно тем самым, чье вмешательство должно обнаружить функцию коррелятивного либидинальному *эго* вытесненного объекта. По мере того, как субъект являет образы своего желания, присутствующий при этом аналитик помогает ему найти образы подходящие — образы, с которыми субъект мог бы ужиться. Поскольку же различие между реальностью психической и реальностью истинной состоит, как нас уверяют, исключительно в том, что психическая реальность определяется идентификацией, происходящей во взаимодействии с образами, то единственным критерием нормальности этих образов остается соответствие их миру, живущему в воображении аналитика.

Что же касается теории анализа, который строится вокруг объектного отношения, то сводится она, в конечном счете, к тому, чтобы поощрять перестройку воображаемого мира субъекта в соответствии с нормой, задаваемой собственным Я аналитика. Первоначальная интроекция “отвергающего объекта” (*rejecting object*), пропитавшая своим ядом его, этого объекта, *возбуждающую* (*exciting*) функцию, корректируется интроекцией “правильного” Я – Я аналитика.

2

Почему, собственно, в анализе говорят? В изложенной концепции получается, что делают это разве что для потехи. Аналитик, согласно ей, призван выследить на границах речевого поля то, что пленяет субъект, что останавливает, тормозит его. Он призван объективировать субъект, чтобы затем в воображаемом плане, то есть в плане отношений двусмысленных, его выправить – выправить, иными словами, по образу и подобию самого аналитика, за полным отсутствием какой-либо иной системы критериев.

Фрейда подобная схема никогда не удовлетворяла. Пойди он в концептуализации анализа этим путем, *по ту сторону принципа удовольствия* ему было бы искать нечего.

Экономия Воображаемого лежит не на границах нашего опыта, это не какое-то неизреченное переживание, речь не идет о том, чтобы исследовать наилучшее устроение для мира призраков. Экономия Воображаемого имеет какой-то смысл и доступна для нас лишь постольку, поскольку она вписывается в символический порядок, вводящий в двуполярное взаимодействие еще один, третий полюс. Хотя схема Феаберна представляет собой прямую кальку со сновидения, его иллюстрирующего, факт главный, важнейший, состоит в том, что сновидение это рассказывает субъект. И наш опыт свидетельствует нам, что сновидение это вовсе не явилось неизвестно когда, неизвестно как и неизвестно для кого. Сновидение это является со стороны субъекта прямым признанием. В самом факте, что субъект вам его рассказывает, в том, судит ли он о себе с трудом, неохотно, в

одном случае, или легко, в другом, видит ли он себя мужчиной или женщиной, заключается для анализа мощный рычаг, которым он обязан воспользоваться. Неслучайно способен субъект изложить свое сновидение на словах. Ведь опыт его с самого начала имеет символическую организацию. Законный порядок, в который он едва ли не с момента возникновения своего оказывается включенным, сообщает воображаемым отношениям определенное значение, обусловленное тем, что я называю бессознательным дискурсом субъекта. Всем этим субъект хочет что-то высказать, причем высказать языком, который потенциально открыт для того, чтобы стать речью, открыт для общения.

Прояснение речи и есть источник успеха. Образы получат свое значение в дискурсе более широком, включающем всю историю субъекта. История субъекта окажется в его распоряжении от начала и до конца. Именно здесь, на границе Воображаемого и Символического, вся деятельность анализа и разыгрывается.

Субъект не находится с предстоящим ему объектом в чисто двухполюсном взаимодействии – лишь в общении с другим субъектом получает его взаимодействие с этим объектом свой смысл, равно как и свою ценность. И наоборот, вступает он с этим объектом во взаимодействие лишь постольку, поскольку с ним же вступает во взаимодействие другой субъект и поскольку оба они могут, в порядке, отличном от Реального, этот объект как-то именовать. Как только он оказывается поименован, присутствие его может быть ознаменовано как иное, отличное от реальности измерение. Именование и есть знаменование присутствия и сохранение присутствия в самом отсутствии.

Таким образом, схема, которая ставит в центр аналитической теории объектное отношение, упускает из виду сам источник аналитического опыта – тот субъект, который о нем рассказывает.

Тот факт, что он о себе рассказывает, и является пружиной анализа, его движущей силой. Разрывы, позволяющие вам пойти дальше его рассказа, не возникают где-то в стороне от него: они возникают в самом его тексте. Именно тот факт, что в речах субъекта проскальзывает нечто ирраци-

ональное, и позволяет вам воспользоваться образами в качестве символических величин.

Я впервые делаю шаг вам навстречу, допуская существование чего-то иррационального. Успокойтесь, я пользуюсь этим термином в чисто арифметическом его значении. Есть числа, которые называют иррациональными, и первое из них, которое приходит вам в голову, как бы мало вы с этой областью знакомы ни были, это √2, что вновь возвращает нас к платоновскому *Менону*, к тому портику, что в этом году послужил нам входом.

У диагонали квадрата нет общей меры с его стороной. Этот факт признан уже давно. Сколь бы малую меру ни пытались вы выбрать, у вас ничего не получится. Это и называют иррациональным.

Геометрия Евклида как раз на том и основана, что когда две реальности, между собой несоизмеримые, подверглись символизации, их становится возможным использовать как равноценные. Именно несоизмеримость их и позволяет воспользоваться ими как равноценными. Это как раз и делает Сократ в своей беседе с рабом. *У тебя есть квадрат*, — говорит он, — *тебе нужно получить квадрат в два раза больший, что тебе для этого нужно сделать?* Раб отвечает, что нужно сделать сторону в два раза длиннее. И ему приходится объяснять, что сделав сторону в два раза длиннее, он получит квадрат, больший вчетверо. Квадрат же в два раза больший не получить никак.

На самом деле, перед нами вовсе не манипуляции квадратами или клеточками. Все это лишь линии – линии, которые кто-то проводит, то есть вводит в реальность. Вот этого-то Сократ рабу как раз и не говорит. Считается, что раб все уже знает и ему остается лишь постепенно убедиться в этом. Это так и есть, но при условии, что кто-то уже проделал за него работу. Работу, которая состояла в том, чтобы провести эту линию и воспользоваться ею в качестве равноценного эквивалента той, что предполагается изначально данной, реальной. Несмотря на то, что речь шла просто-напросто о большем и меньшем, о реальных клеточках и квадратиках, в дело идут целые числа. Другими словами, образы придают видимость очевидности тому, что по сути дела представляет

собой манипуляцию символами. Придти к решению проблемы, то есть к получению удвоенного квадрата, удалось лишь уничтожив для начала первый квадрат как таковой путем вычленения из него треугольника и использования его для дальнейшего построения. Все это предполагает целое множество символических допущений, скрытых за ложной очевидностью, с которой раба заставили согласиться.

Нет ничего менее очевидного, чем такое пространство, в котором самом по себе заключались бы предпосылки интуитивного о себе знания. И прежде мудрецов, беседующих на афинской агоре, понадобились целые поколения решавших практические задачи землемеров, чтобы раб перестал быть тем, чем был бы он, оставаясь по-прежнему в состоянии природном и первобытном, у речного берега, среди песчаных волн и узоров, на вечно движущейся ложноножке прибрежной отмели. Нужно было долго учиться накладывать вещи друг на друга и сопоставлять их отпечатки, чтобы мало-помалу составить себе представление об однородном во всех направлениях пространстве трех измерений. Эти три измерения – их приносите вы с вашим символическим миром.

Несоизмеримость иррационального числа дает инертным воображаемым построениям, которые сводятся к операциям, подобным тем, что влачат еще свое существование в первых книгах Евклида, новую жизнь. Вспомните, с какими предосторожностями приподнимают треугольник, чтобы затем, убедившись в его неподвижности, наложить его на себя самого. Именно эта операция вводит вас в геометрию, именно здесь виден еще след ее пуповины. На самом деле самым существенным во всех евклидовых построениях как раз и является этот факт применения к себе самому чего-то такого, что является, в конечном счете, всего лишь следом – даже не следом, а просто ничем. И вот почему так страшно, в момент, когда след этот оказывается усмотрен, заставлять его выполнять действия в пространстве, к встрече с которым он не готов. На самом деле, именно здесь заметно лучше всего, до какой степени реальность, о которой у нас идет речь, обязана своим возникновением символическому порядку.

Точно так же и образы субъекта, с которым имеем мы дело в анализе, скреплены в каких-точках своих, подробно обивочной ткани на мебели, с текстом его истории и включены в символический порядок, куда вводится субъект в тот отличающийся сколь угодно высокой степенью слитности момент первоначального взаимодействия, который нам, в качестве своего рода остатка Реального, приходится допустить. Уже в тот момент, когда возникает у человеческого существа отмеренный тактом первого крика новорожденного и его прекращения ритм противопоставления, заявляет о себе нечто такое, что является в символическом порядке действенным механизмом.

Все, кому случалось наблюдать за детьми, прекрасно знает, что любой удар, толчок или пощечина воспринимаются ими совершенно по-разному, в зависимости от того, получены они случайно или носят характер наказания. При первой, самой ранней возможности — прежде даже, чем фиксируется собственный образ субъекта, первичный образ собственного Я, его структуру определяющий, — установленной оказывается та символическая связь, которая и вводит в мир само измерение субъекта, связь, способная создать реальность иную, нежели та грубая реальность, что представлена бывает взаимодействием двух масс или столкновением двух шаров. Воображаемый опыт вписывается в регистр символического порядка раньше, чем вы можете себе представить. Все, что происходит на уровне объектного отношения, получает структуру, обусловленную собственной, особой историей данного субъекта, – именно это и делает анализ, равно как и перенос, возможным.

3

Мне остается рассказать вам о том, какова же роль собственного Я субъекта в анализе, строящемся, как и положено, вокруг речевого обмена. Именно этим я в следующий раз и займусь.

Поскольку сегодняшнее занятие, возможно, показалось вам суховатым, я обращусь к литературному произведению, чьи коннотации здесь в качестве примера просто напрашиваются. Пройдя через символизацию, собственное Я оказы-

вается лишь одним из множества имеющихся в предметном мире объектов, но в то же время обладает оно и собственной очевидностью, на что есть основательные причины. Дело в том, что между нами самими и тем, что мы называем нашим собственным Я, существует теснейшая связь. В его реальных точках крепления мы вовсе не наблюдаем его в форме какого-то одного образа.

Если есть что-то, что действительно демонстрирует нам, насколько проблематичен присущий собственному Я характер призрака, то это реальность двойника, больше того – возможность самой иллюзии двойника. Одним словом, воображаемая идентичность двух реальных объектов подвергает функционирование собственного Я серьезному испытанию, что и дает мне повод открыть следующее занятие некоторыми соображениями по поводу литературного персонажа, известного под именем Сосикл.

Персонаж этот родился не одновременно с легендой об Амфитрионе, а позднее ее. Именно Плавт впервые ввел его в качестве нарицательного комического двойника, этого великолепнейшего из рогоносцев – Амфитриона. Легенда эта продолжала развиваться веками и дала свои последние всходы у Мольера – не последние, впрочем, так как был еще один двойник, в восемнадцатом веке, немецкий, мистического характера, напоминающий своего рода Деву Марию, и была еще чудесная пьеса Жироду, чьи трогательные нотки выходят далеко за рамки виртуозности чисто литературной. Перечитайте все это к нашей следующей встрече.

Поскольку сегодня мы с успехом изучили небольшую схему механического характера, будет естественно, если для иллюстрирования теоретической разработки анализа в символическом регистре я обращусь к модели драматической. Воспользовавшись *Амфитрионом* Мольера, я попытаюсь продемонстрировать вам то, что, подражая слегка названию недавно вышедшей книги, можно было бы назвать *приключениями* – или, если хотите, *злоключениями* – *психоанализа.*

1 июня 1955 года.

XXI
ДВОЙНИК

Муж, жена и бог.
Жена как предмет обмена.
Я, указывающий тебе на дверь.
Раздвоения невротика.

Кто прочел *Амфитриона*?

Сегодня речь пойдет о Я. К вопросу о Я мы подходим в этом году с иной стороны, нежели в прошлом. В прошлом году Я интересовало нас в связи с проблемой переноса. В этом году мы пытаемся рассмотреть его по отношению к символическому порядку.

Человек живет в среде языкового мира, где имеет место явление, которое зовется речью. Мы считаем, что именно в этой среде анализ имеет место. Если среду эту не удается правильно разграничить с другими, также существующими – средой Реального, средой призраков воображения, – то анализ либо склоняется к вмешательству, посягающему на Реальное (ловушка, в которую попадаются редко), либо, наоборот, делает недолжный, по нашему мнению, акцент на Воображаемом. Рассуждая таким образом, мы и пришли, слово за слово, к мольеровскому *Амфитриону*.

1

Именно Амфитриона и имел я в виду, когда в беседе с нашим гостем Морено заметил ему, что наша жена обязательно должна время от времени обманывать нас с Господом Богом. То была одна из тех лаконичных формул, которыми в словесном турнире не грех бывает воспользоваться. И она заслуживает, безусловно, какого ни на есть комментария.

Вы догадываетесь, конечно, что если функция отца имеет в аналитической теории столь решающее значение, то происходит это в силу ее многоплановости. У нас уже была возможность на примере *Человека с волками* увидеть, в чем отличие отца символического – того, что я называю *именем отца*, – от отца воображаемого, соперничающего, ввиду телесной и душевной дебелости, которую разделяет бедняга с прочим человеческим родом, с отцом реальным.

И различие это заслуживает того, чтобы рассмотреть его в применении к супружеской паре.

На самом деле, умы проницательные и твердые – а такие действительно, являя собой в истории некие вехи, порой встречаются – отношения любви и брака не оставляли равнодушными и прежде. Обычно о предметах этих судят насмешливо, с циничным остроумием. За этим стоит добрая старая французская традиция, и это, пожалуй, и есть лучший способ в практическом, повседневном существовании таких вопросов касаться. Мы знаем, однако, что на вопросы любви и брака обратил однажды свое внимание и такой серьезный мыслитель, как Прудон, причем подошел он к ним без всякого легкомыслия.

Я очень советую вам читать Прудона – это солидный мыслитель, у которого живы еще те интонации убежденности, что были свойственны Отцам Церкви. Размышляя, с неотступностью, знавшей лишь немногие исключения, о человеческой участи, он попытался подойти к явлению одновременно более стойкому и более хрупкому, чем обычно предполагают, – супружеской верности. В результате он задался следующим вопросом: а что, собственно, кроме данного слова, может послужить ей мотивом? Ведь слово часто дается необдуманно. А не давайся оно необдуманно, оно, вполне вероятно, давалось бы куда реже, что заметно нарушило бы порядок, в человеческом обществе заведенный и благополучно поддерживаемый.

Как мы уже заметили, оно-таки дается, и это приносит свои плоды. Когда оно нарушается, это всех настораживает и возмущает, более того, хотим мы этого или нет, возникают определенные последствия. Это как раз одна из вещей, которым психоанализ и исследование того бессознательного, где речь продолжает распространять свои волны и вершить судьбы, нас учат. Какое оправдание можно найти этому слову, столь необдуманно данному, и, в чем люди серьезно мыслящие никогда не сомневались, невыполнимому?

Попробуем преодолеть романтическую иллюзию, согласно который в основе человеческого согласия лежит идеальная любовь, та идеальная ценность, которую каждый из партнеров в глазах другого приобретает. Прудон, мышление

которого в высшей степени чуждо романтическим иллюзиям, пытается, однако, на языке, который способен поначалу показаться языком мистика, придать верности в браке определенный статус. Причем решение он находит в чем-то таком, что нельзя не признать символическим соглашением.

Посмотрите на дело с точки зрения женщины. Любовь, которой одаряет женщина своего супруга, имеет предметом своим не индивида, даже идеализированного, – опасность так называемой совместной жизни в том и состоит, что она, идеализация эта, ее испытания не выдерживает, – а существо иное, потустороннее. Любовь, созидающая узы брака, в полном смысле этого слова священная, направлена у женщины на то, что звучит у Прудона как "все мужчины". И точно так же, именно "все женщины" становятся предметом верности со стороны супруга.

Это может показаться парадоксальным. Но *все* (tous les) Прудона отнюдь не означает у него немецкого *alle* – это не количество, а универсальная функция. Это своего рода "мужчина вообще", "женщина вообще", символ, воплощение партнера в человеческой чете.

Речевое соглашение, таким образом, в рамки индивидуальных отношений с их воображаемым непостоянством никак не укладывается– чтобы понять это, за опытом далеко ходить не нужно. Однако между этим символическим соглашением, с одной стороны, и спонтанно разрастающимися внутри любого либидинального общения воображаемыми отношениями, с другой, созревает конфликт, усугубляющийся вмешательством всего того, что относится к разряду влюбленности, *Verliebtheit*. Конфликт этот и лежит, безусловно, в основе огромного большинства тех конфликтов, которыми превратности судьбы буржуа неизбежно чреваты, поскольку строится эта судьба в гуманистической перспективе реализации собственного Я, а следовательно и свойственного этому Я отчуждения. В существовании этого конфликта можно убедиться простым наблюдением, но чтобы понять причину его, нужно заглянуть глубже. Мы, со своей стороны, будем опираться на антропологические данные, полученные Леви-Строссом.

Вы знаете, что *элементарные* структуры являются, естес-

твенно, и самыми запутанными, а те, если можно так сказать, сложные, в которых живем мы, внешне представляются простейшими. Мы считаем, что выбираем брачного партнера свободно, что *кто угодно может жениться на ком угодно*, но это остается глубокой иллюзией, невзирая на то, что в законах действительно так написано. На практике выбор определяется факторами хотя и скрытыми, но от того не менее действенными. Интерес элементарных структур состоит как раз в том, что они демонстрируют нам структуру этих определяющих предпочтение факторов во всей ее сложности.

Так вот, Леви-Строссу удалось показать, что в структуре брачного союза женщина, воплощающая собой, в противоположность порядку природному, порядок культурный, служит таким же предметом обмена, как речь, предмет обмена первичный. Какие бы блага, качества и статусы по материнской линии ни передавались, каким бы авторитетом матриархальный строй ни пользовался, символический порядок является, в первоначальном своем функционировании, андроцентричным. Это факт.

Факт, который, претерпев, разумеется, в ходе истории значительные коррективы, остается, тем не менее, основополагающим и позволяет, в частности, объяснить то асимметричное положение, которое занимает женщина в любовном союзе и, прежде всего, в наиболее социализированной его форме, в форме брака.

Если бы вещи эти рассматривались в соответствующей плоскости и с определенной строгостью, это позволило бы рассеять множество фантастических иллюзий.

Современное понятие брака как заключенного по взаимному согласию союза является, безусловно, новшеством, возникшим в перспективе религии спасения, озабоченной в первую очередь индивидуальной душой. Оно маскирует и заслоняет первоначальную структуру брака, свойственный ему некогда священный характер. Учреждение брака сохраняется сейчас в конденсированной форме, оказавшейся в некоторых чертах своих столь прочной и устойчивой, что никакие специальные перевороты не сумели поколебать его значение и господствующее положение. В то же время другие его черты оказались в ходе истории утрачены.

Исторически в этой области существовало два вида договоров, по природе своей очень различные. У римлян, например, брак людей, действительно имеющих имя, патрициев или нобилей — *innobiles* и означает, собственно, по-латыни *безымянные,* — носил в высшей степени символический характер, сообщавшийся ему особыми церемониями – я не хочу сейчас детально углубляться в описание того, что именовалось у них словом *confarreatio.* Для плебса тоже существовал своего рода брак, основой которого служило взаимное соглашение и который именовался у римлян конкубинатом, сожительством. По мере определенного размывания общественного устройства учреждение конкубината приобретает все большее распространение и в последнюю эпоху римской истории проникает и в верхние слои общества, где охотно прибегают к нему, чтобы сохранить независимость партнеров в отношении как социального, так, самое главное, и имущественного их положения. Другими словами, значение брака становится все менее выраженным по мере того, как женщина эмансипируется, получает право на собственность, становится независимым членом общества.

По сути дела, женщина вступает в символическое брачное соглашение в качестве предмета обмена между – я не сказал бы: мужчинами, хотя воплощается брак именно в них, – а, скорее, между потомственными линиями, линиями принципиально андроцентричными. Понять те или иные элементарные структуры как раз и значит разобраться в том, каким образом циркулируют между этими линиями предметы обмена, представляющие собой женщин. Опыт показывает, что происходить это может лишь в перспективе андроцентричной и патриархальной, даже в тех случаях, когда структура впоследствии перестраивается, ориентируясь уже на происхождение по материнской линии.

Тот факт, что женщина вовлечена в порядок обмена в качестве предмета, сообщает ее положению принципиально — я бы сказал, безвыходно — конфликтный характер: символический порядок буквально починяет ее себе, ее трансцендирует.

Прудоновские "все люди" выступают здесь как "человек вообще", человек одновременно вполне конкретный и

вполне трансцендентный – это и есть тупик, в котором оказывается женщина в силу особой своей роли в символическом строе. В том факте, что символический порядок ставит ее в положение объекта, есть для нее нечто невыносимое, неприемлемое, хотя, с другой стороны, включена она в этот порядок так же всецело, как и мужчина. Но поскольку отношение ее к этому порядку оказывается опосредованным, бог воплощается именно в мужчине, или мужчина в боге – если не возникает конфликт, а возникает он, конечно, всегда.

Другими словами, если женщина, участница брака в первоначальной его форме, отдается не богу, не чему-то трансцендентному, то основы брачных отношений деградируют, проходя постепенно все формы воображаемого распада. Что, собственно, и происходит, потому что воплощать собой бога нам, мужчинам, уже давно не по силам. Во времена более суровые у женщины был господин. И это было для них великой эпохой протеста. – *Женщина не предмет обладания. – Почему измена наказывается столь неравноценно? – Разве мы рабыни?*

В дальнейшем путь этот приводит нас к стадии соперничества, отношений воображаемого плана. Не нужно только думать, будто отношения эти стали, в результате эмансипации женщины, исключительной привилегией нашего современного общества. Прямое соперничество между мужчиной и женщиной вечно и обретает определенный стиль вместе с брачными отношениями. Никто, кроме нескольких немецких психоаналитиков, не считает борьбу между полами чем-то характерным именно для нашей эпохи. Откройте Тита Ливия – и вы прочитаете о шуме, который наделал в Риме знаменитый процесс отравительниц, на котором выяснилось, что во всех патрицианских семьях женщины регулярно отравляли своих мужей, которые гибли таким образом в массовом порядке. Женский бунт появился на повестке дня не вчера.

От господина к рабу и сопернику ведет один лишь диалектический шаг—отношения господина и раба принципиально обратимы и господин быстро убеждается, что оказывается от раба зависим. В наши дни, благодаря введению психоаналитических понятий, здесь стал заметен новый

нюанс – муж превратился в ребенка и женщин начали с некоторой поры учить тому, как следует с ним обращаться. Здесь кольцо замыкается, и мы возвращаемся в природное состояние. Именно таково представление, которое кое у кого о посредничестве психоанализа в человеческих отношениях складывается. Эти-то люди, используя средства массовой информации, и поучают нас, каким образом следует себя вести, чтобы сохранить мир у домашнего очага, внушая, что женщина должна выступать в роли матери, а мужчина – ребенка.

В свете сказанного, глубинный смысл мифа об Амфитрионе, столь многозначного, что толкований ему можно придумать тысячи, заключается вот в чем: чтобы ситуация была уравновешена, необходим треугольник. Чтобы в человеческом плане пара была устойчивой, налицо должен быть бог. Именно на человека вообще, на того сокровенного человека, идольской подменой которого любой идеал оказывается, и направлена любовь, пресловутая генитальная любовь, над которой мы так потешаемся и которой на досуге тешимся.

Перечтите, что пишет об этом Балинт, – вы увидите, что авторы сколь-нибудь в своих рассуждениях строгие и не голословные приходят к выводу, что любовь эта ничего ровным счетом собой не представляет. Генитальная любовь никак не укладывается на поверку в рамки того единства, которое считается обычно плодом инстинктуального созревания. На самом деле, по мере того, как эта генитальная любовь начинает рассматриваться как двухполюсная, по мере того, как всякое понятие третьего, будь то речи или бога, из нее устраняется, ее начинают фабриковать из двух отдельных кусков. Во-первых, тот самый половой акт, который, как известно, непродолжителен – хорошо, но мало – и на котором ничего прочного не построишь. Во-вторых, это нежность, имеющая заведомо прегенитальное происхождение. Именно таково заключение, к которому приходят все добросовестные ученые, пытающиеся обосновать норму человеческих отношений не выходя при этом за рамки двухполюсного взаимодействия.

Я напомнил вам несколько азбучных истин. Посмотрим теперь, чем оборачиваются они у Плавта и у Мольера.

2

Хорошо известно, что двойника-Сосикла ввел именно Плавт – греческие мифы вокруг Я никогда не строились. Но собственные Я существуют, и есть место, где им-то как раз и принадлежит слово. Место это – комедия. Не случайно именно комический поэт – что не означает, как многие из вас, я надеюсь, догадываются, поэт развлекательный, – вывел на сцену такой принципиально новый, неотделимый в дальнейшем от мифа об Амфитрионе персонаж, как Сосикл.

Сосикл – это собственное Я и есть. Миф же показывает нам то, как ведет себя это славное маленькое Я простого, вроде вас и меня, обывателя в повседневной жизни, и какое место занимает оно на пиру у богов – а место это совершенно особое, поскольку от причитающегося ему наслаждения оно оказывается отрезано. Неотразимо комическая сторона того, что лежит здесь в основе, не переставала служить питательной средой для театра – в конечном счет речь всегда идет о моем, твоем или еще чьем-то, другом Я.

Так как же ведет себя это пресловутое Я? Едва в этой пьесе появившись на сцене, оно сразу же, в дверях, сталкивается с собой же самим, сталкивается в форме, за которой так и осталось навеки нарицательным имя Сосикла, другого Я.

Я немного почитаю вам, так как важно, чтобы это было у вас на слуху. Как только *Я* появляется, оно встречает *Я*. Какое еще *Я*? *Я*, которое выставляет тебя за дверь. Вот о чем идет речь, и именно в этом отношении комедия об Амфитрионе особенно показательна. Достаточно почитать ее тут и там, изучить стиль и язык, и вы поймете, что люди, которые этот персонаж передумали, прекрасно знали, что они делали.

У Плавта, где он выходит на сцену впервые, это происходит в форме ночного диалога, захватывающий характер которого вы можете, прочтя текст, оценить – диалога символического (в том значении этого слова, которое следует брать в кавычки).

Персонажи эти играют согласно традиции реплик в сторону, которые так редко в игре актеров хорошо удаются: два персонажа, одновременно находящихся на сцене, говорят

сами с собой, но речь каждого из них воспринимается как отклик — верный или, словно по недоразумению, нелепый — реплик другого, которые тот произносит совершенно от первого не зависимо. Для классической комедии техника реплик в сторону очень существенна. Именно в ней она достигает высшего своего совершенства.

Я не мог не подумать об этом однажды на представлении китайского театра, где то, что доведено до высшего совершенства, выражено в искусстве жеста. Оттого, что люди эти говорят по-китайски, зрелище это захватывает вас ничуть не меньше. В течение немногим более четверти часа – хотя зрителю кажется, что это длится часами, – два персонажа перемещаются на одной сцене, создавая тем не менее полное впечатление, будто движутся они в двух разных пространствах. С поистине акробатической ловкостью они словно проходят друг через друга насквозь. Каждое мгновение они настигают друг друга жестом, который не может, казалось бы, не задеть противника, но все же минует его, ибо тот уже находится в другом месте. Это поистине удивительное представление наводит на мысль о призрачном характере пространства, напоминая нам в то же время о той характерной для символического плана истине, что никогда не бывает встречи, которая оказалась бы столкновением.

Что-то в этом роде и происходит как раз в нашей комедии, особенно в тот раз, когда, впервые в классическом театре, на сцену выступает Сосикл.

Итак, Сосикл является и встречает Сосикла.

– *Кто идет?*
– *Я.*
– *Кто это Я?*
– *Я. Мужайся, Сосикл,* – говорит он себе, потому что тот – а он, разумеется, настоящий – отнюдь не спокоен.
– *Что тебе написано на роду? Отвечай.*
– *Быть человеком. И говорить.* На моих семинарах он не присутствовал, но клеймом их явно отмечен.
– *Ты слуга или господин?*
– *Как он мне завидует.* Это взято прямо из Плавта и представляет собой замечательное определение собственно-

го Я. Позиция Я перед лицом собственного образа и есть, по сути своей, эта непосредственная взаимообратимость позиций господина и его слуги.

– *Куда ты направляешь свои стопы?*
– *Куда имею намерение идти...*

И далее это продолжается:

– *Ах, это мне не нравится.*
– *Я этим от души восхищен,* – говорит глупец, готовясь, естественно, получить трепку и начиная храбриться заранее.

Сообщаю вам заодно, что текст этот подтверждает то, что я говорил вам о термине *fides*, равнозначном выражению *данное слово*. Меркурий обещает Сосиклу, что оставит его в покое, и тот говорит ему: *Tuae fidei credo, – слову твоему верю.* Найдете вы в латинском тексте и того *innobilis*, человека без имени, о котором я вам только что говорил.

Попробуем, следуя традиции, принадлежащей практике, которую мы критикуем, изучить персонажей этой драмы как персонификации персонажей внутренних.

В пьесе Мольера Сосикл окончательно выходит на первый план – я сказал бы даже, что речь именно о нем и идет, ведь именно он открывает сцену, следующую сразу за диалогом Меркурия, который осуществляет приготовления для брачной ночи Юпитера. Он является, наш Сосикл, после победы, одержанной его хозяином. Он ставит фонарь, а затем, со словами *Вот и Алкмена*, начинает рассказывать ей о подвигах Амфитриона. Перед нами человек, воображающий, будто объект его желания, безмятежность его наслаждения зависят от собственных его достоинств. Перед нами человек сверх-Я, непрестанно желающий возвести себя в достоинство идеалов отца и господина и мнящий, будто именно на этом пути настигает он объект своего желания.

Никогда, однако, не удается Сосиклу заставить Алкмену себя услышать, ибо судьба Я, по самой природе его, состоит в том, чтобы всегда оказываться перед лицом собственного отражения, лишающего его владения всем тем, чего он стремится достичь. Эта своего рода тень – одновременно соперник, господин, порою раб – принципиально отлучает

его от того, о чем здесь идет речь, от признания желания.

В латинском тексте, в том бесценном диалоге, где Меркурий побоями заставляет Сосикла расстаться со своей идентичностью, отречься от собственного имени, мы найдем в этом отношении формулы воистину поразительные. Подобно Галилею с его *И все-таки она вертится*, Сосикл вновь и вновь повторяет: *И все-таки я Сосикл*, – говоря напоследок следующие замечательные сова: *Клянусь Поллуксом, ты меня alienabis nunquam, ты никогда не сделаешь меня другим, ты, qui noster sum, ты, кто и сам из наших.* Латинский текст блестяще демонстрирует как отчуждение собственного *Я*, так и опору, которое находит оно в *нас*, в принадлежности к порядку, где господин его является великим полководцем.

Появляется Амфитрион, реальный господин, поручитель Сосикла, тот, кто призван порядок восстановить. Замечательно, что Амфитрион и сам оказывается обманут и одурачен не меньше Сосикла. В рассказе Сосикла о встрече его с другим *Я* он так ровным счетом ничего и не понимает.

– *Как же это, каким терпением мне следует вооружиться?*
– *Но разве ты в конце концов не вошел в дом?*
– *Да, вошел. Но как?*
– *Что значит "как"?*
– *Спасаясь от палки.*

....

– *Кто же?*
– *Я.*
– *Чтобы ты дрался?*
– *Нет, не я, который тут.*
А тот, что в доме, лезет драться.
...я получил тому свидетельство
И этот чертов Я отделал меня как следует.

....

– *Я же говорю, я.*
– *Какой еще я?*
– *Я, который меня отлупил.*

И Амфитрион, услышав это, нещадно бедного Сосикла лупит. Другими словами, он анализирует его отрицательный перенос. Он учит его тому, чем его собственное Я должно быть. Он помогает ему восстановить в его собственном Я присущие ему как Я свойства.

Сцены пикантные и уморительно смешные. Я мог бы привести множество цитат, демонстрирующих все то же характерное для субъекта противоречие между планом Символического и планом Реального. Дело в том, что Сосикл действительно в собственном Я усомнился, и произошло это, когда Меркурий рассказал ему кое-что совершенно особенное — рассказал о том, чем тот занимался в то время, когда видеть его никто не мог. Удивленный тем, что Меркурий ему о собственных его действиях сообщил, Сосикл начинает его аргументам поддаваться.

– *Пожалуй, я начинаю всерьез сомневаться...*

Это замечательно сказано и в латинском тексте.

– *Поскольку я узнаю свой образ, который мне часто приходилось видеть в зеркале, in speculum.*

И далее он перечисляет символические, с собственным его прошлым связанные характеристики, призванные, как и у Мольера, засвидетельствовать его подлинность. Но противоречие, в том числе в воображаемом плане, бросается в глаза: *Equidem certo idem qui semper fuit, и все же я тот самый, чем был всегда.* И тут же идет апелляция к воображаемым элементам близкого знакомства с богами. Я же видел этот дом раньше, и он все тот же – ссылка на интуитивную очевидность, грозящую, однако, оказаться в дисгармонии с чем-то иным. Дежа вю, некогда уже виденное, узнанное, испытанное вновь и вновь вступает в конфликт с очевидностями, рождаемыми припоминанием и историей. И хотя иные усматривают в явлениях деперсонализации ранние признаки грядущей дезинтеграции, на самом деле вовсе не надо быть предрасположенным к психозу, чтобы множество раз испытать подобные ощущения, корни которых следует искать во взаимодействии Символического и Воображаемого.

В момент, когда Сосикл свое смятение и свою растерянность признает, Амфитрион оказывает ему психоте-

рапевтическую поддержку. Не будем утверждать, будто Амфитрион занимает позицию психоаналитика. Скажем лишь, что он эту позицию собою символизирует – постольку, во всяком случае, поскольку по отношению к предмету своему (а предмет его любви, его Прекрасная Дама — это, конечно, психоанализ) психоаналитик пребывает в том же положении, мягко говоря, изгнанника, в котором оказывается Амфитрион перед своей собственной дверью. Только вот жертвой этого духовного адюльтера оказывается, увы, пациент.

3

Каждому – и клянусь вам, у меня наберутся тому кое-какие свидетельства – кажется, будто последних глубин аналитического опыта он уже достиг, когда случается ему пережить фантазии *Verliebtheit*, влюбленности в то лицо, что отворяет ему в приемную его аналитика дверь, – признания в этом приходится слышать не так уж редко, хотя я имею в виду вполне конкретные случаи. Сталкиваясь с этим пресловутым аналитическим опытом, субъект в конечном итоге оказывается ни с чем, остается в дураках.

В обычной беседе, в мире устоявшегося языка, в мире всех устраивающего недоразумения, субъект сам не знает, что говорит – о том, что мы этого не знаем, сам факт, что мы говорим, свидетельствует ежеминутно. Анализ как раз на том и основан, что сказанного нами достаточно, чтобы отправить нас на плаху тысячу раз. Того, что мы говорим, мы не знаем, но говоря это, мы всегда обращаемся к кому-то призрачному и обладающему собственным Я. Ввиду того, что речь, как говорил я вам в прошлый раз, распространяется по прямой линии, у нас возникает иллюзия, будто речь эта идет оттуда, где мы располагаем наше собственное Я, которое на схеме, в прошлый раз мною так и оставленной, от всех прочих *Я* по справедливости отделено.

Как замечает Юпитер у Жироду в сцене, где он пытается узнать у Меркурия, что же люди собой представляют, *человек – это существо, которое вечно спрашивает себя, существует ли он на самом деле*. И правильно делает – единс-

твенная его ошибка заключается в том, что отвечает он на этот вопрос утвердительно. Привилегия его Я по сравнению со всеми другими состоит в том, что оно единственное, в существовании которого человек, усомнившись в нем, испытывает уверенность, – уж богу ведомо, задается он такими сомнениями или нет. По сути, налицо только оно и есть, оно одно. А поскольку речь свою субъект получает именно от собственного Я, он и тешит себя сладкой иллюзией, будто Я это находится в положении исключительном.

Когда аналитик считает, что отвечать субъекту непременно нужно оттуда, с позиции *a'*, то он неизбежно дает добро функции Я – той самой, в силу которой субъект себя самого лишается. *Вернись в свое Я,* – говорит ему аналитик, точнее: *Помоги вернуться туда всему тому, чему ты позволил ускользнуть оттуда. Руки и ноги свои, пообломанные при встрече с другим Сосиклом, – собери их теперь вместе, съешь их. Восстанови себя в полноте тех влечений, о которых сложилось у тебя ложное представление.*

На самом деле произойти должно нечто совсем другое. На самом деле субъект призван узнать, что он говорит, а узнав то, что оттуда, с позиции *S*, держит речь, обнаружить принципиально воображаемый характер того, что с этой позиции говорится, когда взывается с нее к тому абсолютному, трансцендентному Другому, что наличествует в языке всякий раз, когда речь ищет сказаться.

Возьмем конкретный случай – невроз навязчивых состояний. Фатальное влияние достигает в нем апогея. За неврозом навязчивых состояний вовсе не кроется, как скажут вам некоторые теоретики, опасность безумия, сорвавшийся в цепи символ. Одержимый субъект – это субъект шизоидный, который говорит как бы непосредственно на уровне своих влечений. Это Я, поскольку оно само несет в себе собственную утрату, это воображаемая смерть. И если такой одержимый уничтожает себя, причиняет себе страдания, то происходит это потому, что в гораздо большей степени, чем любой другой невротик, связывает он себя с собственным Я — с тем, что несет в себе утрату себя самого и воображаемую смерть.

Почему? Ответом служит очевидный факт: одержимый

всегда является кем-то другим, нежели он сам. Что бы он ни рассказывал вам, о каких бы чувствах ни старался поведать, это всегда чувство другого. И обязан он этим опредмечиванием себя вовсе не какой-то склонности к этому, или какой-то особой способности к интроекции. Просто в силу того, что собственного своего желания он избегает, любое желание, которое им, пусть даже видимым образом, овладевает, выступает в его представлении как желание того *alter ego*, которым служит ему собственное его Я.

Стараться усилить собственное Я – не значит ли это стать его единомышленником? Разрешить ему любые влечения — и оральность, и генитальность, и позднюю оральную стадию, и раннюю стадию анальную? Научить его признаваться себе в том, чего он хочет и о чем всем с самого начала известно – в желании уничтожить другого? А как не хотеть ему уничтожить другого, если речь идет об уничтожении его самого, что в точности одно и то же?

Прежде чем позволить субъекту признать, что в основе его заложена агрессивность, которая, рассеиваясь и преломляясь в окружающем мире, организует отношения его с объектами определенным образом, необходимо открыть ему глаза на функцию тех фатальных отношений, в которых он с самим собой находится и в силу которых любое чувство, ставшее его собственным, немедленно сводится им на нет. Если больной неврозом навязчивости утверждает, что к чему-то или кому-то он совершенно равнодушен, можете быть уверены, что он самым сердечным образом к ним привязан. Именно тем, о чем он говорит холоднее всего, его интересы ближе всего затронуты.

Помочь невротику узнать себя в том образе разложения, который являет он нам зрелищем большего или меньшего разгула своих одичавших и вырвавшихся на волю агрессивных импульсов, является, конечно, делом существенным, но вовсе не здесь, в этом двухполюсном взаимодействии с самим собой, заключается решающий момент лечения. Интерпретация смертельного взаимодействия с самим собой останется бесполезной, пока вы не разъясните субъекту, какую функцию это взаимодействие выполняет.

Ведь мертв он не реальным образом и вовсе не для себя

самого. Так для кого же? Для того, кто является его господином. По отношению к чему? По отношению к объекту, к предмету его наслаждения. Он затушевывает свое наслаждение, чтобы не вызвать гнев у своего господина. С другой стороны, если он мертв, или притворяется таковым, то его уже как бы тут и нет, это у кого-то другого есть господин, а у него, в свою очередь, уже другой господин. Таким образом, он всегда держится в стороне. В качестве желающего он бесконечно двоится, порождая бесконечную серию персонажей, которую Феаберн и ему подобные и открывают с превеликим для себя изумлением. Внутри психики субъекта, отмечает Феаберн, кроме тех трех известных персонажей, *id*, *super-ego* и *ego*, на которых обратил наше внимание еще Фрейд, всегда можно, пошарив по углам, найти по меньшей мере двух еще. Но если присмотреться, окажется, что их еще больше – так, поглядев внимательно в покрытое амальгамой зеркало, вы увидите, кроме вашего отражения, еще и второе, которое тоже, в свою очередь, двоится, так что если слой амальгамы окажется достаточно толстым, их найдется там десять, двадцать, бесконечное множество. И точно так же, сводя себя на нет, притворяясь мертвым перед лицом господина, субъект, деться которому при этом некуда, оказывается тут же другим – другим, у которого, в свою очередь, уже другой раб и другой господин и т. д. Как показал я, комментируя *Человека с крысами*, и как свидетельствует в сопоставлении с *Поэзией и Правдой* Гете мой собственный опыт, объект желания субъекта тоже при этом автоматически удваивается. Одержимый таким неврозом всегда тяготеет к другому, ибо стоит ему действительно себя признать, как он окажется исцеленным.

Анализ вовсе не продвинется, как нам это внушают, путем самонаблюдения субъекта на основе пресловутого *splitting*'а, раздвоения *эго*, которое рассматривается в этом случае как основа аналитической ситуации. Ведь наблюдение – это наблюдение наблюдения и т. д., что лишь упрочивает то принципиально двусмысленное положение, которое Я занимает. Анализ добивается успехов лишь по мере того, как речь субъекта выходит за рамки двухполюсного взаимодействия и не встречает тогда уже ничего, кро-

ме, разве что, абсолютного Другого, распознать которого субъект не в состоянии. И лишь постепенно, шаг за шагом, должен он восстановить эту речь в самом себе, то есть заговорить, наконец, с абсолютным Другим оттуда, где он, субъект, в действительности находится, где его Я призвано себя реализовать, воссоединяя в себе продукты параноидального разложения собственных влечений, в которых оно не узнает себя – мало того, которых оно, будучи Я, в принципе не желает знать.

Другими словами, урок, который преподан Сосиклу, заключается вовсе не в том, что ни с каким двойником-сосиклом он не встречался – он-таки и вправду с ним встретился. Урок, ему преподанный, состоит в том, что он и есть Амфитрион — славный, но бестолковый муж, который не понимает ничего в том, что люди желают, который думает, что быть победоносным полководцем вполне достаточно, чтобы заниматься любовью со своей женой. Этому в принципе отчужденному, никогда не встречающему объект своего желания господину предстоит понять, почему он к этому Я в принципе так привязан, почему это Я воплощает в себе его принципиальное отчуждение. Он должен открыть для себя ту лежащую в глубине парность, которая и является одним из главных аспектов *Амфитриона*, причем сразу в двух планах – в плане отражающихся друг в друге двойников-сосиклов, с одной стороны, и в плане богов, с другой. От двойной любви рождает Алкмена двойной плод. Присутствие Алкмены гораздо заметнее у Плавта – приобретенная со временем стыдливость мешает нам заходить в некоторых вещах достаточно далеко.

Воспользовавшись тем драматическим, если не психодраматическим доказательством, которое представляет собой миф об Амфитрионе, я попытался дать вам ощутить сегодня, насколько хорошо вписаны в регистр традиционного мышления обсуждаемые нами животрепещущие проблемы. Это не помешает мне, однако, направить вас за свидетельствами обличаемой мною психологической иллюзии непосредственно к писаниям тех авторов, которые ее поддерживают. У того самого Феаберна, о котором я рассказывал вам в прошлый раз, найдется на сей счет очень интересный пример.

4

Речь идет не о больном неврозом навязчивости, а о женщине со вполне реальной генитальной патологией – у нее очень маленькое, оставшееся девственно-нетронутым влагалище, и влагалищу этому соответствует полное отсутствие матки. Все это почти вполне достоверно, хотя какая-то странная робость помешала установить эти вещи с полной определенностью. Во всяком случае, на уровне вторичных сексуальных признаков патология, с точки зрения некоторых специалистов, бросается в глаза – вплоть до подозрений, что речь идет о случае псевдогермафродитизма и что на самом деле она является мужчиной. Таков субъект, который проходит у Феаберна психоанализ.

Стоит отметить важность тона, с которым ход анализа нам подробно поведан. С изумительным спокойствием автор сообщает нам, как субъект, личность явно незаурядная, узнал, что что-то не клеится, что к реальности пола стоит она в каком-то совершенно особенном отношении. Узнать это было тем проще, что в роду ее было еще шесть-семь девушек в подобной же ситуации. Итак, все выяснилось – известно, что женщины в этих делах отлично разбираются. *Это избавит меня от лишних хлопот,* – утешает она себя и смело идет работать учительницей.

Постепенно, однако, становится ясно, что вместо избавления от природных повинностей, которое должно принести ей то обстоятельство, что наслаждение ей доставляет лишь деятельность чисто духовная, с ней происходит странные вещи: ничего не получается, ничто не удовлетворяет ее. Страшные угрызения совести не дают ей покоя. Совершенно измученная, к концу второго триместра она переживает приступ депрессии.

Аналитик стремится в первую очередь восстановить в ней ее влечения, то есть помочь ей обнаружить в себе фаллический комплекс – и он, в целом, совершенно прав. В дальнейшем удается проследить некоторую связь между тем фактом, что она *affects*, волнует, определенных мужчин, что близость определенных мужчин как-то на нее влияет, с одной стороны, и кризисами депрессии, с другой. Аналитик

делает отсюда вывод, что она хотела бы причинить им зло, и в течение месяцев помогает ей себе это агрессивное влечение усвоить. *Как ей, голубушке, все это, черт возьми, хорошо дается*! – твердит он себе все это время, ожидая, пока она явит ему признаки того, что называет чувством вины. Что ж, в конце концов она, несмотря ни на что, к этому и приходит.

В конечном итоге, успех анализа связывается с датой, к которой относится в следующих терминах зафиксированное наблюдение: она вернулась, наконец, к своему чувству вины; другими словами, дело обстоит теперь очень просто – она не может сблизиться с мужчиной, не пережив при этом немедленный приступ раскаяния, которое получает на этот раз конкретное воплощение.

Другими словами, в соответствии с использованной много ранее схемой, аналитик наделил ее двумя вещами. Во-первых, дав ей понять, что она действительно хочет, то есть что она хочет истребления мужчин, он наделил ее собственным Я. Во-вторых, дав ей понять, что все это весьма дурно и что, более того, всякое сближение с мужчинами вообще строго воспрещено, он наделил ее сверх-Я. Все это автор называет параноидальной стадией анализа. Здесь я ему вполне доверяю – он отлично дал ей понять, где ее влечения находятся, теперь она видит, как они понемногу разгуливают у нее где попало.

Действительно ли этот путь правилен? Действительно ли то, о чем свидетельствуют признаки депрессии, укладывается в рамки двухполюсного взаимодействия? Действительно ли то, что происходит между ней и мужчинами, является взаимодействием реальным, либидинальным, со всеми последствиями, которые подразумевает в таких случаях схема регрессии?

Ответ, как ни странно, был у автора прямо перед глазами. Угнетающее воздействие мужских образов связано с тем, что мужчины – это она сама. Именно ее собственный образ, у нее похищенный, и оказывает на нее столь разлагающее влияние, вызывая в первоначальном смысле этого слова, расстройство. Сближаясь с этими несколькими мужчинами, она сближается с собственным отражением, с собс-

твенным нарциссическим образом, собственным *Я*. В этом причина ее подавленного состояния и кроется. Причем для нее ситуация эта серьезнее, чем для кого-либо другого, ибо находится она в положении двусмысленном, входящем в компетенцию тератологии. Впрочем, всякая нарциссическая идентификация по самой природе своей двусмысленна.

Найти лучшую иллюстрацию для функции *Penisneid* просто невозможно – в силу того, что она идентифицирует себя с воображаемым мужчиной, пенис приобретает символическое качество, что в данном случае проблему и порождает. Было бы совершенно неправильно, утверждает автор, полагать, будто *Penisneid* представляет собой у женщины нечто естественное. А кто, собственно, говорит, что это нечто естественное? Разумеется, это символическое. И обретает это качество пенис лишь потому, что символический порядок, в котором женщина располагается, выстроен в перспективе андроцентрической. К тому же это не пенис, а фаллос, то есть нечто такое, чье символическое использование возможно лишь постольку, поскольку находится он в состоянии эрекции. Тем, что остается невидимым, скрытым, невозможно воспользоваться как символом.

У этой женщины функция *Penisneid* проявляет себя полностью, ибо ее, не знающую, кто она, женщина или мужчина, вопрос о ее символическом значении поглощает всецело. Причем реальная патология эта сопровождается, дублируется еще одним обстоятельством, с этим тератологическим феноменом возможно, в какой-то степени, связанным: мужская линия в ее роду прервана. В роли главы семьи выступает отец ее матери, именно по отношению к нему выстраивается типичный треугольник и встает вопрос о наделении или обделении ее фаллосом.

Все это как теория, так и курс лечения обходит в данном случае стороной, основываясь на том, что главное состоит в призрачном субъектом своих влечений — тем более, что в данном случае имеем мы дело исключительно с теми влечениями, которым язык наш усвоил изящное имя *прегенитальных*. Это серьезное исследование прегенитального порождает фазу, которую терапевт должен признать параноидальной. Для нас в этом нет ничего удивительного.

Принимать воображаемое за реальное как раз паранойе свойственно, и, отказывая воображаемому регистру в признании, мы ведем субъекта к признанию своих частичных влечений в Реальном.

С этого момента отношения субъекта с мужчинами, носившие до сих пор характер нарциссический, то есть сам по себе уже не простой, становятся взаимно-агрессивными, что усложняет их до необыкновения. И пережитое чувство вины, которого с таким трудом удалось добиться, не дает хороших прогнозов относительно исхода тех дальнейших маневров, которые окажутся необходимы для возвращения субъекта в более умиротворенное состояние.

Чтобы подыскать теоретической ошибке практическую санкцию, далеко заходить не надо. Вот наблюдение на этот счет очень характерное. Одной из подобных причин, по которым лечение неврозов навязчивости оказывается неудачным, служит убеждение в том, будто за неврозом этим скрывается невыявленный психоз. Неудивительно поэтому, что результатом лечения оказываются скрытые диссоциации, а место невроза занимают у субъекта периодические депрессии и тенденция к ипохондрии.

Не исключено, однако, что можно в таких случаях добиться и чего-то лучшего.

Сколь бы общими наши рассуждения ни казались, вы уже поняли, должно быть, что из них следуют совершенно конкретные выводы, касающиеся не только истолкования тех или иных случаев, но и всей психоаналитической техники.

8 июня 1955 года.

ОКОНЧАНИЕ

XXII
ГДЕ РЕЧЬ? ГДЕ ЯЗЫК?

Притча о марсианине.
Притча о трех заключенных.

После лекции, запланированной на следующую пятницу в 10.30, семинара не будет. Неделей позже мы соберемся еще один, последний раз, на случай, если после лекции у вас возникнут вопросы, на которые вы захотите получить от меня обстоятельные ответы. Лекция будет прочитана перед более широкой аудиторией, и я не смогу использовать в ней термины, в которых изъясняюсь здесь, предполагающих знание о работе, предварительно нами проделанной.

Сегодня я хотел бы поговорить с вами, чтобы создать какое-то представление о том, что вы на данный момент поняли. Мне хотелось бы, чтобы сейчас, как мы однажды уже делали, как можно большее число присутствующих задало бы мне вопросы, на данный момент так и оставшиеся без ответа. Я думаю, что такие вопросы у вас есть, потому что мы озабочены здесь, скорее, постановкой вопросов, чем их закрытием. Итак, какой вопрос остался для вас по окончании этого семинара открытым?

Мадемуазель X: – *Мне не вполне ясно, как соотносятся у Вас друг с другом Символическое и Воображаемое.*

Лакан: – Какое представление сложилось об этом у Вас после того, как Вы часть этого Семинара прослушали?

Мадемуазель X: – *Мне представляется, что Воображаемое тяготеет, скорее, к субъекту, к его способу заимствования, в то время как символический порядок гораздо безличнее.*

Лакан: – Это так, но в то же время не так.

1

Я тоже задам вам, в свою очередь, один вопрос. Исходя из того, что имеем мы на данный момент, ответьте мне: какая экономическая функция отводится, по-вашему, в моей схеме языку, с одной стороны, и речи, с другой? Каково их соотношение? В чем их различие? Вопрос очень простой, но заслуживающий ответа.

Д-р Граноф: – *Язык – это, по-видимому, кайма Воображаемого, а речь, речь наполненная, символическая мета – тот островок, исходя из которого может быть реконстурировано, а точнее, расшифровано все сообщение целиком.*

Маннони: – *Выражаясь кратко, я сказал бы, что язык – это чертеж в ортогональной проекции, речь – это перспектива, а точка схождения этой перспективы – это всегда другой. Язык – это реальность, ортогональный чертеж, и потому сам он ни в какую перспективу не вписывается, он ничей, в то время как речь является перспективой внутри этого чертежа, и центр ее, ее точка схождения – всегда я сам. В языке меня нет.*

Лакан: – Вы в этом уверены?

Маннони: – *Язык – это универсум. Речь же – срез этого универсума, непосредственно связанный с ситуацией говорящего субъекта. Язык, возможно, наделен смыслом, но значением может обладать только речь. Мы понимаем смысл латыни, но латынь – это не речь.*

Лакан: – Понимая латынь, мы понимаем способ, которым организуются в ней различные лексические и грамматические элементы, понимаем то, как отсылают друг к другу различные значения, понимаем распределение ролей. Почему же Вы говорите, будто там, внутри нее, системы собственных *Я* не существует? Наоборот, система эта полностью включена туда.

Маннони: – *Мне пришел на память анекдот про экзамен на бакалавра, анекдот уже с бородой, где за экзаменующегося принимают не того человека. Экзаменатор показывает ему листок и говорит:* Но это же вы написали. Вот и заглавие – *Письмо Сенеке. Но что тот отвечает:* Помилуйте, сударь, да кто я такой, чтобы писать Сенеке? *Человек воспринимает сказанное на уровне речи. Он мог бы, если бы надо было, сделать перевод, но вместо этого отвечает просто: Это не я, это слова не мои. Перед нами, разумеется, ситуация шуточная. Но смысл в ней, как мне кажется, именно этот. Читая письмо, ни отправитель, ни адресат которого мне не известны, я все же способен его понять, я нахожусь в мире языка.*

Лакан: – Когда Вам показывают письмо к Сенеке, то написали его, естественно, именно Вы. Приведенный Вами пример ведет в сторону прямо противоположную Вами указанной. Если мы сразу же занимаем в игре различных интерсубъективностей свое место, то говорит это лишь о том, что

любое место в ней – наше. Мир языка и возможен как раз постольку, поскольку где бы мы ни находились в нем, мы всегда находимся на своем месте.

Маннони: – *Когда налицо речь.*

Лакан: – Разумеется, в том-то и заключается весь вопрос – достаточно ли этого, чтобы явилась речь? Психоаналитический опыт как раз на том и основан, что далеко не любой способ включиться в язык одинаково эффективен, в одинаковой степени является тем телом бытия, *corpse of being*, благодаря которому психоанализ и существует, благодаря которому далеко не каждый заимствованный у языка фрагмент имеет для субъекта одну и ту же ценность.

Д-р Граноф: – *Язык ни от кого не исходит и никому не адресован, речь же всегда обращена кем-то одним к кому-то другому. Ибо речь представляет собой образующее начало (constituanté), а язык – готовое образование (constitué).*

Д-р Перье: – *В настоящее время речь идет о том, чтобы ввести проблему экономики языка в речь. И я полагаю – не знаю, может быть, я ошибаюсь, – что экономическая проблема будет исчезать по мере того, как значащая ситуация субъекта будет все более полно формулируема – во всех своих измерениях, а особенно в измерениях с тремя координатами – с помощью речи. Если язык станет полной, как бы трехмерной речью, экономический фактор более не будет заявлять о себе в плоскости задействованных в анализе аффектов или инстинктов в количественном их выражении, а станет просто субстратом, двигателем того, что включится в ситуацию совершенно естественно по мере того, как она окажется во всех своих измерениях осознана.*

Лакан: – Я обращаю Ваше внимание на слово, которое Вы только что неоднократно в различных формах произнесли, – *измерение*.

Д-р Леклер: – *Ответ, который мне пришел в голову, состоит в следующем. Он звучит как формула: язык выполняет функцию коммуникации, передачи, а речь – функцию основания, откровения.*

Аренсбург: – *Выходит, что именно посредством речи может язык выполнять определенную экономическую роль. Вы это хотели сказать?*

Д-р Перье: – *Нет, я говорю о включении экономики в символический порядок посредством речи.*

Лакан: – Ключевое слово кибернетики — это слово *message*, сообщение. Язык для этого и предназначен. И тем не менее язык – это не код, он носит характер принципиально двусмысленный, его семантемы всегда имеют по несколько значений, порою чрезвычайно между собою несходных. Что же касается фразы, то смысл ее уникален. Я хочу сказать, что лексикализации он не поддается – словарь для слов, их употреблений и фразеологических оборотов составить можно, но словаря фраз не бывает. Некоторые из присущих семантическому элементу двусмысленностей разрешаются в контексте использования фразы и ее произнесения. Теория коммуникации, ставя себе задачу формализовать эту тему и выделить определенные единицы, опирается скорее на коды, которые, в отличие от языка, двусмысленности избегают – невозможно спутать один знак кода с другим, разве что по ошибке. Мы, таким образом, имеем дело с языком – категорией, чья функция по отношению к сообщению далеко не проста. Но эти предварительные замечания оставляют покуда вопрос о сообщении в тени. Скажите мне прямо сейчас, экспромтом, не задумываясь — как по-вашему, что такое сообщение?

Маршан: – *Передача информации.*

Лакан: – Что такое информация?

Маршан: – *Некое указание.*

Г-жа Одри: – *Что-то, исходящее от какого-то лица и адресованное кому-то другому.*

Маршан: – *Это общение, а не сообщение.*

Г-жа Одри: – *Мне кажется, в этом суть сообщения и есть – это переданное извещение.*

Маршан: – *Сообщение и общение – это не одно и то же.*

Г-жа Одри: – *Сообщение в прямом смысле слова – это нечто, кому-то переданное, с целью дать ему о чем-то знать.*

Маршан: – *Сообщение однонаправлено. Общение не однонаправлено, в нем есть прямой и обратный ход.*

Г-жа Одри: – *Я сказала, что сообщение делается кем-то одним кому-то другому.*

Маршан: – *Сообщение посылается кем-то кому-то другому. Общение – это то, что устанавливается, когда обмен сообщениями произошел.*

Д-р Граноф: – *Сообщение – это программа, которую запускают в некую универсальную машину, которая по истечении некоторого времени выдает на выходе то, что смогла с ней сделать.*

Лакан: – Неплохо сказано.

Лефорт: – *Но это расширение символического мира.*

Маршан: – *Нет, это сужение символического мира. На базе языка речь будет делать выбор.*

Лакан: – Госпожа Колетт Одри говорит о том, что там, где есть сообщение, необходимы субъекты.

Г-жа Одри: – *Сообщение, оно не просто идет в одном направлении. Оно может быть передано через вестника, который не имеет к нему отношения. Вестник может понятия не иметь о том, что в сообщении говорится.*

Маршан: – *Оно может передаваться и от машины к машине.*

Г-жа Одри: – *Но что имеется в любом случае, так это пункт отправления и пункт назначения.*

Лакан: – Порою вестник смешивает себя с известием, с сообщением. Если у него на черепе под отросшими волосами что-то записать, он не сможет прочесть это даже с помощью зеркала – чтобы прочесть послание, надо выбрить ему тонзуру. Нельзя ли сказать, что перед нами в этом случае образец своего рода сообщения-в-себе? Не является ли вестник, чья весть записана под волосами на его черепе, вестью сам по себе?

Маршан: – *Полагаю, что да.*

Г-жа Одри: – *Это явно послание.*

Маннони: – *Нет нужды, чтобы оно было получено.*

Маршан: – *Сообщения, как правило, отправляют и получают. Но между тем и другим оно существует как сообщение.*

Г-жа Одри: – *Бутылка, брошенная в море, – это сообщение. Оно адресовано, по назначению оно может и не придти, но оно адресовано.*

Маршан: – *Это значение в движении.*

Лакан: – Это не значение в движении, это знак в движении. Остается узнать, что же такое знак.

Маршан: – *Это что-то, что обменивают.*

Д-р Леклер: – *Сообщение – это объективная речь.*

Лакан: – Вовсе нет!

2

Расскажу вам притчу, которая, надеюсь, даст нам какие-то ориентиры.

Писатель по имени Уэллс пользуется репутацией мыслителя неглубокого. Между тем он, напротив, был человеком очень искусным, прекрасно знавшим, что он в идейных и сюжетных своих построениях делал, что отвергал и что выбирал.

В одном из произведений его – не помню, в каком точно – рассказывается о том, как два или три ученых попали на планету Марс. Там, на Марсе, они оказываются в присутствии существ, которые используют свои собственные, особые способы общения и, к великому удивлению своему, прекрасно понимают, что те им сообщают. Пораженные этим фактом, они начинают это обсуждать. *Он мне сказал, что занимается исследованиями в области электронной физики*, – говорит один. *Он сказал, что исследует строение твердых тел*, – молвит другой. *А мне он сказал, что занимается поэтическими размерами и функцией рифмы*, – возражает третий.

Всякий раз, когда мы отдаемся на милость речи — независимо от того, носит ли она личный или публичный характер — происходит нечто подобное. Это маленькая история, что она, по-вашему, иллюстрирует – язык или речь?

Г-жа Одри: – *И то, и другое.*

Д-р Граноф: – *Универсальных машин существует, насколько я знаю, немного. Предположим, что мы в нее закладываем программу. Нужно иметь в виду, что задействована в этом не только сама машина, но и операторы. Итак, закладывается программа – это сообщение. Получив на выходе результат, мы говорим:* "Это чепуха!" *или говорим:* "Это похоже на правду!" *В том смысле, что начиная с того момента, когда машина сообщение возвращает, начиная с момента, когда оно может считаться принятым (а оно не принято, если оператор его не понял), сообщение – при условии, что оператор нашел его приемлемым, понял его, принял в расчет и сомнений в исправности машины у него не возникло, – стало общением.*

Маршан: – *В данном случае поняли все трое, но поняли-то они по-разному!*

Маннони: – *Вовсе не по-разному. Когда математик пишет на доске уравнения, один скажет, что это уравнения магнитного поля, а другой – чего-нибудь еще. Уравнения могут описывать и то, и другое.*

Лакан: – Но это совсем не тот случай.

Д-р Леклер: – *Мне кажется, что дискуссия пошла в направлении, заданном вашими размышлениями о кибернетике.*

Лакан: – Для меня это прекрасный случай узнать, как именно Вы их поняли.

Д-р Леклер: – *Если язык нам удается разместить в этой перспективе сравнительно просто, гораздо труднее, по-моему — во всяком случае на данный момент — найти в ней место для речи. Говоря сейчас о речи, я говорил о ней в определенном смысле – когда я говорю о речи, я всегда имею в виду именно речь. Я хотел бы, чтобы вы сказали о полюсе речи несколько слов, это позволило бы нам определить по крайней мере, плоскость нашей дискуссии.*

Маршан: – *Можно ли вообще отделить речь от языка в процессе их проявления?*

Лакан: – А что Вы об этом думаете, отец Бернерт?

Отец Бернерт: – *Я думал, как и Риге, что это язык, но теперь оказывается, что я ничего не понял.*

Риге: – *Каждый понял по-своему.*

Г-жа Одри: – *Все это гораздо сложнее. Хорошо бы вначале узнать, что марсианин хотел сказать.*

Лакан: – Мы никогда не узнаем, что марсианин хотел сказать. Если мы занимаем место по ту сторону, где слова определенного ответа не получают, сказать, будто речь и язык совпадают между собой, мы не можем.

Маннони: – *Выходит, поначалу Вы делаете так, что язык исчезает, а потом ставите нас этим самым в тупик.*

Лакан: – Согласен, эта притча требует разъяснения. Место языка занимает в ней присущая трем персонажам способность ее понимания. На фоне этого языка и функционирует воспринимаемая ими речь. Проблема же состоит в том, что нет кода.

Притча эта говорит о том, что именно в мире языка должен каждый человек расслышать тот зов, то призвание, откровение о котором оказывается ему предназначено. Кто-то

из вас только что говорил сейчас об откровении и основании – именно об этом здесь и идет речь. Мы стоим с вами лицом к лицу с мифом языка, который время от времени оставляет у нас впечатление чего-то в принципе неясного, обезличивающего. Вы не найдете ни одного философа, который не настаивал бы совершенно справедливо на том факте, что сама возможность ошибки связана не с чем иным, как с существованием языка. Каждый субъект призван не просто познать мир, как если бы все происходило в собственно поэтической плоскости, он призван найти в этом мире свое место. И если психоанализ что-то вообще значит, то лишь потому, что он уже включен в нечто такое, что, будучи связано с языком, не идентично ему и в чем психоанализу как раз и предстоит найти свое место, – во всеобщую речь (discours).

Всеобщая речь, речь конкретная, не прекращающаяся от начала времен, – это все то, что в действительности было сказано, реально сказано (чтобы зафиксировать нашу мысль, можно даже выразиться и так). Именно по отношению к этому определяет себе место субъект как таковой, именно сюда он вписан, именно этим он уже заранее определен, причем определенность эта принадлежит к совсем другому разряду, нежели тот, к которому принадлежат определенности реального плана, материальные метаболизмы, обусловившие возникновение его в особом обличье существования, именуемом жизнью. Функция его, по мере того, как он эту речь продолжает, состоит в том, чтобы найти в ней свое место, не просто в качестве оратора, но и в качестве того, кто с самого начала получил от этой речи свою определенность.

Я часто подчеркивал, что с самого рождения своего субъект чувствует, что ему уже предназначено определенное место – не только в качестве того, кто сам ведет речь, но и в качестве атома конкретной речи. Двигаясь в кругу образуемого этой речью танца, он сам, если хотите, является сообщением. Сообщение это записали на его бритом черепе, и сам он, весь без остатка, вписан в последовательность сообщений. Каждый выбор, им совершаемый, есть не что иное, как слово.

Призвав на помощь отца Бернерта, я сделал это ради *in principio erat verbum*. Вы сказали как-то, что понятие *речи*

(parole) лучше всего передается по-латыни словом *fides*. Интересно, что религиозная традиция не утверждает: *in principio erat fides. Verbum* — значит по-латыни "язык", даже просто "слово"! Греческий *логос* – это тоже язык, а не речь. Уже после Бог пользуется речью, говоря: *Да будет свет!*

Попробуем поближе присмотреться к тому, какова заинтересованность (в смысле латинского *inter-esse*) человека в речи. Мы чувствуем, разумеется, необходимость отличать то, что является сообщением (в смысле того, что является знаком, блуждающим знаком), от того способа, которым посвящается в него человек. Если этот последний и включен во всеобщую речь, то вовсе не таким образом, каким включены в нее сообщения, блуждающие по миру в бутылках или на черепах. Может, глядя с Сириуса, и не грех то и другое спутать, но мы себе этого позволить не можем. В любом случае, что нас интересует, так это как раз понять, в чем тут разница.

Риге: – *Могу я позволить себе написать кое-что на доске? Я просто хотел бы попробовать вкратце объяснить для начала, что подразумевают под языком математики.*

Рассмотрим множество всех слов, которые можно составить из букв: ab, ac ca, ad, abdd, bb *и т. д. Я расставляю буквы одни за другими в любом порядке; повторения тоже допускаются. Слова эти я могу образовывать до бесконечности. Выделим в этой совокупности подгруппу* WF (well formed, *правильно образованных) – подмножество слов, образованных из этих символов по определенным правилам. Любая математическая теория состоит в том, что дано бывает определенное подмножество (это называется аксиомами) и некоторое множество правил вывода – например, синтаксического характера. Допустим, что если в слове имеется символ* ab, *я имею право заменить его символом* p. *В результате я смогу, исходя из слова* abcd, образовать слово pcd. *Это и называется теоремой – множество всех слов, которые я могу образовать, исходя из аксиом с помощью синтаксических операций. Это подмножество* WF *и называем мы языком.*

Выбор символов a, b, c *и* d, *разумеется, чисто условный. Я мог бы выбрать и другие символы* – u, v, x, y — *создав с их помощью теорию, изоморфную первой. По сути дела, для математиков понятие языка определяется таким образом, что изоморфизм и, больше того, способ кодирования не имеют для него значения. Так, взяв множество символов, образованных с помощью нуля и единицы, я могу условиться, что а*

= 00, b = 01, c = 10, d = 11, и перевести затем все аксиомы и все продукты синтаксических операций на язык символов 0 и 1. Осторожность понадобится здесь лишь в том случае, если я захочу перекодировать новую теорию обратно в старую, ибо если какое-то слово закодировано у меня, например, в виде 00010111001, результат декодирования может оказаться двусмысленным. Так, если e *= 000, то неясно, начинается ли это слово с* a *или с* e*, и т. д.*

Мне представляется, что Ваше определение символов с этим определением не совпадает. Для Вас символы связаны с другим языком. У Вас имеется своего рода базовый язык общения, всеобщий язык, а символы, о которых Вы говорите, всегда закодированы, исходя из этого базового языка.

Лакан: – В сказанном Вами, если я Вас правильно понял, – а мне кажется, я вас понял – меня поражает вот что: когда феномен языка иллюстрируют на примере чего-нибудь всецело формализованного, вроде символов математики (и это одна из причин, по которым небезынтересно будет привлечь к нашему вопросу кибернетику), когда глагол, *verbum,* выступает в математической записи, как на ладони становится ясен тот факт, что язык существует от нас совершенно не зависимо. Число обладает свойствами, которые носят абсолютный характер. Они таковы, независимо от того, есть мы тут или нас тут нет. Число 1729 было и останется суммой двух кубов, наименьшим числом, представляющим собой сумму кубов двух последовательных чисел различной разрядности.

Все это прекрасно может циркулировать в универсальной машине, более универсальной, чем вы можете вообразить. Можно представить себе бесконечное число уровней, где все это находится в непрерывном круговращении. Мир знаков функционирует, не имея при этом ни тени значения. Значение ему дает лишь момент, когда мы эту машину останавливаем, когда мы создаем в этом потоке временные паузы. Если мы делаем это ошибочно, возникает порою трудноразрешимые недоразумения, которым, однако, рано или поздно какое-то значение все равно приписывается.

Риге: *– Я так не думаю, потому что паузы эти могут возникнуть в результате вмешательства другой машины, и вовсе не факт, что человек сумеет расшифровать, что именно эта новая машина выдаст.*

Лакан: – Совершенно верно. Но все же именно временной элемент, именно членение процесса на такты позволяет ввести в него нечто такое, что может получить для субъекта смысл.

Риге: – *Да, но мне кажется, что существует наряду с этим и тот универсум символов, который является для людей общим достоянием.*

Лакан: – Мы ведь только что сказали, что он ни в коем случае не является для них достоянием исключительным.

Риге: – *Строго говоря, у машин такого общего для них символического универсума нет.*

Лакан: – Это очень тонкий вопрос, потому что машины-то эти делаем мы. Достаточно сказать, что с помощью Ваших нуля и единицы, то есть простейшей символической записи присутствия и отсутствия мы способны выразить все то, что мы видим вокруг нас, — все, что было выработано в ходе определенного исторического процесса, все результаты, полученные математическими науками. Да, мы совершенно согласны: все свойства чисел заключены здесь, в этих числах, записанных двоичными символами. Но открывают эти свойства, разумеется, совершенно иным путем. Для этого понадобилось изобретение таких символов, как, например, (— в день, когда он впервые появился записанным на бумаге, человечество сделало в науке гигантский шаг. Люди целые века смотрели разинув рот на уравнение второй степени, понятия не имея, что с ним делать дальше, и лишь научившись записывать его, сдвинулись, наконец, с места.

Мы оказываемся, таким образом, перед проблематической ситуацией, которая сводится к тому, что имеется знаковая реальность, внутри которой существует мир истин, какой бы то ни было субъективности начисто лишенных, а наряду с ней налицо историческое развитие субъективности, явно направленное на открытие истин, принадлежащих порядку символическому. Что, ничего не понятно?

Маршан: – *Я не согласен. Вы сами определили язык – и я думаю, что это лучшее его определение, – как мир знаков, которым мы чужды.*

Лакан: – Речь шла о том языке.

Маршан: – *По-моему, определение это годится для языка вообще.*

Лакан: – Да нет же. Ведь язык наш несет на себе отпечаток истории, он так же случаен, как символ √, и отмечен к тому же двусмысленностью.

Маршан: – *На мой взгляд, к языку, определяемому таким образом, понятие ошибки неприменимо.*

Лакан: – В мире нулей никаких ошибок нет.

Маршан: – *Но в мире языка это, очевидно, ничего больше не значит. Есть вещи истинные и ложные. Вы говорите о том, что проводится исследование. В этот момент заблуждение и истина получают определенность. Но это ведь уже некий частный язык, мир математических символов.*

Лакан: – В системе языка в существующем ее виде установить ошибку как таковую – дело возможное. Если Вы скажете мне, что *слоны обитают в воде,* то с помощью ряда силлогизмов я смогу Ваше заблуждение опровергнуть.

Маршан: – *Да, но это уже фраза, сообщение, посылка, которая может оказаться и ложной. Если мы определим весь язык как мир знаков, существующий независимо от нас, то понятие ошибки будет располагаться не на этом уровне, а на уровне более высоком, где имеют место сообщения. Общение и речь расположены на разных уровнях. Я помещаю язык на тот низший уровень, на основе которого и возникают уже общение, сообщение и речь. На мой взгляд, язык следует сохранять на уровне, где дифференциация едва ли не полностью отсутствует Как только Вы захотите расшифровать смысл языка, это уже будет не язык. Смысл, который можно расшифровать, есть только у речи. Их может у нее быть даже несколько – такая уж у нее роль.*

Лакан: – Именно к этому я и веду. Я показываю вам, что вопрос о смысле возникает лишь с речью.

Маршан: – *Конечно. Но вовсе не с языком. Язык создает условия, в которых смысл может установиться, а речь – сказаться.*

Лакан: – Есть две разные вещи. С одной стороны, язык, получивший историческое воплощение и принадлежащий определенной общности, французский, например; с другой – язык, о котором говорите вы. И важно отдать себе отчет в том, что есть нечто такое, что мы можем получить в чистом виде и где уже находят свое проявление законы – законы, которые остаются полностью не расшифрованными до тех пор, пока наше вмешательство не придаст им какой-то

смысл. Какой же именно смысл?

Маршан: – *Нет, не так, совсем не так!*

Лакан: – Смысл чего-то, в чем мы всецело участвуем. Именно таким образом включаемся мы во временную последовательность. Все дело в том, чтобы узнать, о каком времени идет речь.

Г-жа X: – *Мне кажется, что у Пиаже есть понятия, которыми здесь как раз уместно воспользоваться. Суть мысли с точки зрения ее формы он определяет в терминах не столько Реального, сколько Возможного. Однако в самом понятии возможностей он проводит различие между тем, что он называет структурно возможным, то есть тем, что отвечает объективным структурам мышления, и тем, что он называет материально возможным, то есть тем, что должно получить функцию сознания субъекта.*

Лакан: – Но циркуляция бинарных знаков внутри машины, позволяющая нам, при условии, что мы обеспечили ее хорошей программой, обнаружить первое, неизвестное дотоле число, вовсе не обязательно должна стать содержанием мышления. Это первое, циркулирующее в работающей машине число, не имеет с мышлением ровно ничего общего.

Г-жа X: – *Пиаже говорит не о мысли, а об объективной структуре, которая обеспечивает решение проблемы, о структуре машины внутри существа; то есть, в случае человеческого существа – о структуре мозга..*

Лакан: – Эти проблемы лежат не на том уровне, который нас сейчас занимает.

Г-жа X: – *Может быть, правильно будет сказать, что речь включается как элемент откровения между всеобщим дискурсом, с одной стороны, и языком, с другой.*

Лефевр-Понталис: – *Я не уверен, что прав, но у меня создалось впечатление, что мы проводим между* языком *и* речью *различие слишком радикальное, которое мне мало что говорит, поскольку, в конечном счете, не будь речи, не было бы и языка. В прозвучавшей сейчас притче язык, насколько мне показалось, выступает как нечто по определению двусмысленное, и из нее вовсе не следует, что он представляет собой относительно завершенный замкнутый цикл, к которому обращаются, чтобы почерпнуть в нем то или иное значение. Тот, кто речь выслушивает, демонстрирует перед лицом этой двусмысленности свои предпочтения.*

Лакан: – С тех пор, как язык существует, вопрос лишь в том, каково минимально необходимое для образования языка число знаков – он представляет собой конкретный универсум. Все значения должны найти в нем свое место. Вы не найдете примера языка, где существовали бы целые зоны, не поддающиеся переводу. Все, что нам известно в качестве значения, обязательно находит воплощение в системе, представляющей собой языковой универсум. С того момента, как существует язык, существует и универсум, вселенная.

Лефевр-Понталис: – *Но результат этот можно обернуть, сказав, что даже самый бедный язык позволяет сообщить абсолютно все. Что вовсе не означает, однако, будто все значения заложены в языке заранее.*

Лакан: – Именно поэтому я и провел различие между языком и значениями. Язык – это система знаков, и в качестве таковой это система полная. С ней можно сделать абсолютно все.

Лефевр-Понталис: – *При условии, что имеются говорящие субъекты.*

Лакан: – Разумеется. Вопрос в том, какова их роль во всем этом.

3

Я воспользуюсь другой притчей, которая, возможно, окажется яснее, чем рассказанная Уэллсом, так как придумана она специально, чтобы проиллюстрировать различие между Символическим и Воображаемым. А придумал ее я.

Это притча о трех заключенных, которых подвергают следующему испытанию. Одного из них позволено освободить, но поскольку заслуживают этого все трое, кого именно помиловать, непонятно. И тогда им говорят так: *Вот три белых диска и два черных. Каждому из вас один из этих дисков укрепят на спине, и вы сами должны будете без посторонней помощи догадаться, какой именно у вас диск. О зеркале, разумеется, речи нет, а общаться друг с другом не в ваших интересах, так как стоит рассказать одному из вас, что у него на спине, как именно он этим немедленно и воспользуется.*

Итак, у каждого на спине укреплен диск. Каждый видит лишь то, каким образом помечены этими дисками двое других.

Каждому из них помещают на спину белый диск. Как каждый из субъектов будет теперь рассуждать?

История эта позволяет продемонстрировать различные ярусы или, как только что говорил Перье, измерения времени. Существует три таких временных измерения, и отметить это вовсе нелишне, так как различие между ними никогда толком не проводилось. Вполне вероятно, что все трое быстро догадаются, что диски у них у всех белые. Но если попробовать их рассуждения сформулировать, ход их непременно окажется следующим. Существует простейшее соображение из разряда операций с нулями и единицами: если бы один из них увидел на спинах двух других черные диски, сомнений у него не было бы, так как черных дисков только два, и он, можно считать, был бы уже на свободе. Это вывод логики, которая вечна, и делается он моментально – стоит только взглянуть. Беда лишь в том, что двух черных дисков никто из них не видит. Каждый видит только два белых.

Тем не менее как раз то, что эти персонажи не видят, и играет решающую роль в размышлениях, которые способны будут дать им свободу.

Видя два белых диска, каждый субъект должен сказать себе, что один из двух других видит либо два белых диска, либо один черный и один белый. Все дело здесь в том, что каждый из субъектов думает о том, что должны думать два других, и все это совершенно взаимно. Для всех субъектов в любом случае ясно: каждый из двух других видит одно и то же, то есть один белый диск и другой диск, его собственный, цвета которого он не знает.

Тогда субъект говорит себе, что если у него самого диск черный, то каждый из двух других, видя один белый диск и один черный, может рассуждать так: *если мой диск черный, то обладатель белого уже направился бы к выходу, но поскольку он с места не трогается, выходит, что диск у меня белый и к выходу иду я.*

Итак, поскольку наш третий субъект видит, что двое других не выходят, он, заключив отсюда, что его цвет белый, идет

к выходу сам. Именно неподвижность других подсказывает ему, что сам он находится в точно такой же ситуации, как и они, то есть что его собственный цвет тоже белый. Таким образом, лишь в третьем временном такте, если начинать отсчет с первого соображения о полном взаимном соответствии между субъектами, появляется у него чувство, что он находится в точно таком же положении, что и двое других.

Но обратите внимание: как только он это понял, ему необходимо спешить. Ведь не успел он это понять, как ясно стало ему и то, что к такому же выводу может прийти и каждый из двух других. А это значит, что стоит ему хоть немного дать им себя опередить, как он немедленно вернется к неуверенности предыдущего временного такта. От самой спешки его зависит, таким образом, его правота.

Он должен рассуждать так: *если я не поспешу прийти к этому выводу, то тем самым, учитывая исходные мои посылки, я впадаю не просто в двусмысленность, но в заблуждение. Если я дам им себя опередить, то это докажет, что мой цвет – черный.*

Вы конечно, понимаете, что это софизм и что довод возвращает нас в третий возможный такт. Все определяется чем-то неуловимым. Субъект ощущает здесь в своей руке то звено, благодаря которому обнаруживаемая им истина неотделима от того самого действия, которое о ней свидетельствует. Стоит этому действию на мгновение запоздать, как он тут же понимает, что впадет в заблуждение.

Ну что, понятно?

Маршан: – *Либо не двигается никто, либо все трое вместе.*

Лапланш: – *Его может постичь неудача.*

Лакан: – Речь идет о субъекте, поскольку он проговаривает то, что делает. То, что он делает, – это одно; то, как он это проговаривает, – совсем другое. Проговаривая это, он рассуждает так: *Если действие, необходимость которого я только что понял, другие совершают раньше меня, то из моих собственных рассуждений выходит, что они белые, а я черный.*

Маршан: – *Но в примере-то никакого “раньше” как раз и нет.*

Лапланш: – *Они выходят, потому что я белый, и...*

Лакан: – Начиная с момента, когда он позволил другим опередить себя, никакого способа выйти на свободу у него уже нет. Он может рассуждать и тем и другим способом, но выбрать между ними он бессилен. Он находится в присутствии двух живых членов этого силлогизма – членов, имеющих свойства субъектов и таких же мыслящих, как и он сам. Истина для него, с той точки зрения, на которой он путем логических выводов оказался, зависит теперь от поспешности, с которой сделает он шаг по направлению к двери, после чего ему придется еще объяснить, почему он подумал именно так.

Сама быстрота, поспешность действия выступает здесь как взаимосвязанная с явлением истины.

Маршан: – *Лично я с этим не согласен, потому что Вы вводите понятия спешки и запоздания.*

Лакан: – Я это как раз для того и делаю, чтобы показать их логическую значимость.

Маршан: – *Но понятия эти имеют смысл только по отношению к чему-то. Здесь же ни о каком отношении не может быть речи. Именно поэтому все три субъекта и не могут сдвинуться с места. Отношений не возникает, потому что каждый из троих рассуждает так же, как и другие, при этом ожидая чего-то...*

Лакан: – Давайте предположим, что они идут все трое.

Маршан: – *Всем троим отрубят голову.*

Лакан: – Что произойдет, прежде чем они достигнут двери?

Маршан: – *Это невозможно, все трое находятся в ожидании.*

Лакан: – Но ведь действие каждого из них обусловлено не наличием каких-то признаков, а отсутствием их. Именно потому, что другие этих признаков не подают, каждый из троих получает возможность подать их сам. А это значит, что в принципе они сделают одни и те же выводы – при условии, что время для понимания, этот реальный элемент, лежащий в основе всех психологических тестов, у них одно и то же. Мы предполагаем, что это так.

Маршан: – *Но тогда никакого выхода нет. Если мы хотим проблему решить, придется предположить, что время для понимания у всех разное.*

Лакан: – Да, но проблема только в том случае интересна, если Вы предполагаете его одинаковым. Если время для понимания у каждого свое, то проблема не только теряет интерес, но Вы сами увидите, до какой степени она запутывается.

Маршан: – *Одно из двух: либо их умственные способности различны, либо они не трогаются с места.*

Лапланш: – *Если A не видит, что B выходит, то это озадачивает его, но в заблуждение вовсе не вводит.*

Лакан: – С того момента, как он пришел к истине, это уже заблуждение.

Маршан: – *Он к ней прийти не может.*

Лакан: – А если предположить, что время для понимания все-таки фиксировано?

Маршан: – *Одно для всех?*

Лакан: – Да. Тогда по истечении этого времени все трое придут к убеждению, что они белые. Они выступят все вместе и, в принципе, объяснят, почему они так решили. Если Вы вновь допустите с их стороны хоть малейшее колебание, если каждый из них скажет себе: *но, может быть, другие не выходят как раз потому, что увидели у меня черный диск,* – что в этом случае произойдет? Они остановятся. Но не думайте, будто ситуация после остановки останется той же. Когда они вновь тронутся с места, это действительно будет прогресс. Я опущу детали анализа – вы сами его проделаете и увидите, как это все складывается, – но знайте: они могут остановиться и во второй раз, но ни в коем случае не в третий. Другими словами, по прошествии двух тактов все станет ясно.

Итак, где же здесь речь? И где язык?

Что касается языка, то он состоит в исходных данных: имеется два черных диска, и т. д. Это базовые данные языка, и по отношению к реальности они совершенно посторонние. Речь выходит на сцену начиная с того момента, когда субъект совершает действие, посредством которого он прямо заявляет: *я белый.* Конечно, утверждение это не является, как говорят, логически обоснованным. И тем не менее поведение субъекта вполне осмысленно, лишь бы он рассуждал

так, как я только что говорил: *если я не заявлю, что я белый, теперь же, в момент, когда я это понял, то на законном основании я этого никогда больше утверждать не смогу.*

Я предлагаю вам эту притчу не в качестве модели логического вывода, а в качестве софизма, призванного проиллюстрировать разницу между языком в применении к воображаемому, с одной стороны (ведь два других субъекта являются для третьего чисто воображаемыми, он рисует их в воображении, они являются для него просто-напросто структурой, такой же, какой он служит для них), и символическим моментом языка, то есть моментом утверждения, с другой. Здесь есть, как видите, нечто такое, что нельзя полностью отождествить с временной паузой, о которой вы только что говорили.

Риге: – *Совершенно согласен.*

Лакан: – Вот где предел могущества, продемонстрированного нам необычными машинами, появившимися недавно в нашем распоряжении. Существует третье измерение времени – измерение, которое им, безусловно, неведомо и которое я попытался помочь вам ныне вообразить, воспользовавшись тем элементом, который является вовсе не опережением или опозданием, а поспешностью – тем, что связывает человеческое существо с временем, с той колесницей времени, что вечно подталкивает его сзади. Именно в этом измерении располагается речь, в отличие от языка, которому места в нем нет, потому что спешить ему некуда. Вот почему, кстати, с одним языком далеко не уедешь.

Д-р Леклер: – *Есть во всем этом одна вещь, которая меня смущает. Вы только что заявили:* в начале был язык, *и я слышу подобное в первый раз. На что Вы опираетесь? Или это перевод, который Вы предлагаете сами?*

Лакан: – *In principio erat verbum* – здесь безусловно имеется в виду язык, а не речь.

Д-р Леклер: – *Но тогда нет никакого начала.*

Лакан: – Позвольте, не я же написал Евангелие от Иоанна.

Д-р Леклер: – *Я впервые такое слышу. Обычно пишут "слово", но "язык" – никогда.*

Лакан: – Я уже писал однажды на доске двустишие, объяснения которому так никто у меня и не попросил.

Indem er alles schaft, was schaftet der Höchste – Sich.

Was schaft er aber vor er alles schaftet – Mich.

Что делал Всевышний, когда создавал творение? –

Он творил Sich, *Себя Самого. А чем был он прежде, чем что-либо сделать?* – Mich, *мною.* Утверждение, конечно, рискованное.

Д-р Леклер: – *Я не понимаю, почему вы переводите "в начале", а не "до начала", "искони".*

Лакан: – Я не готов Вам доказывать, что у св. Иоанна все написано правильно. Я говорю лишь, что текст Евангелия по-латыни гласит: *in principio erat verbum.* И когда мы переводили *De significatione*, Вы сами могли убедиться, что *verbum* означает "слово", "означающее", а вовсе не "речь".

Г-н X: – Verbum — *это перевод еврейского* dabar, *которое означает как раз "речь", а не "язык".*

Лакан: – К истории еврейского надо бы еще вернуться. Пока естественнонаучный факультет не заставят учредить у себя кафедру теологии, ни богословам, ни естественникам в этом деле будет не разобраться. Но в данным момент вопрос для нас состоит вовсе не в том, чтобы установить, было в начале слово или же речь. В перспективе, которая сегодня перед нами открылась и которую я вам только что двустишием Даниэля фон Чепко проиллюстрировал, возникает иллюзия, будто язык, то есть все эти маленькие единички и нолики, существует от века, совершенно независимо от нас. Вы спросите меня: *Где?* Я затруднюсь вам ответить. Но при этом, как справедливо сказал недавно Маннони, ясно одно: в определенной перспективе мы не в силах рассматривать их иначе, как существовавшие всегда.

В этом, кстати, состоит одно из отличий платоновской теории от теории Фрейда. Теория Платона — это теория припоминания. Все, что мы воспринимаем, все, что мы узнаем, должно было быть здесь, налицо, уже от века. Почему? Однажды у меня был уже случай продемонстрировать вам взаимосвязанность этой теории с основополагающей мифологемой диады – Платон не мог представить себе вопло-

щение идей иначе, нежели в череде бесконечных отражений. В себе существующий образ есть, в свою очередь, лишь отображение в себе существующей идеи, представляя собой, следовательно, лишь образ другого образа. Существует лишь припоминание; как говорили мы вчера вечером, даже вагина с зубами не что иное, как образ среди многих других.

Зато когда мы говорим о символическом порядке, здесь налицо абсолютное начало, налицо творение. Вот почему *in principio erat verbum* звучит так двусмысленно. Не случайно по-гречески это называлось логосом. И потому у истоков этого понятия рассматривать его можно и в той перспективе неопределенной однородности, с которой сталкиваемся мы всякий раз, когда оказываемся в области Воображаемого.

Достаточно подумать о себе – и я вечен. С того момента, как я о себе подумал, никакое разрушение этого *себя* уже невозможно. Но стоит мне сказать: *я*, как не просто становится возможным разрушение, а наоборот, каждое мгновение происходит творение. Оно, разумеется, не абсолютно, но если будущее для нас возможно, то лишь потому, что эта возможность творения у нас есть. И если будущее это не является, в свою очередь, чисто воображаемым, то лишь потому, что *я* наше опирается на весь дискурс, ему предшествовавший. Если Цезарь, переходя Рубикон, не был смешон, то лишь потому, что за ним стояло все его прошлое – его супружеская измена, его средиземноморская политика, его кампании против Помпея. Только благодаря всему этому и мог он совершить нечто такое, что имело значение чисто символическое – ведь Рубикон был не шире, чем расстояние между моими расставленными ногами. Этот символический акт влечет за собой целую череду символических последствий. Именно это и приводит к тому, что в символическом регистре, поскольку он человеком себе усвоен, первенство принадлежит будущему творения.

Все является функцией прошлого, в котором нам нельзя не признать последовательность предшествовавших актов творения. Но даже если мы их в нем признать не желаем, прошлое это, в виде маленьких ноликов и маленьких единичек, пребывает от века с нами.

Я не собирался заявлять вам, будто верю, что в начале был именно язык, – лично мне о началах ничего не известно. Я лишь хотел, воспользовавшись этим двусмысленным термином, поставить под вопрос то, с чем Вы в какой-то момент все согласились, — что маленькие нолики и единички образуют мир, законы которого незыблемы, то есть что числа были от века первыми.

Остановимся пока на этом – день был сегодня нелегкий.

15 июня 1955 года.

XXIII
ПСИХОАНАЛИЗ И КИБЕРНЕТИКА, ИЛИ О ПРИРОДЕ ЯЗЫКА

Лекция

Господин профессор, дамы и господа.

Обращаясь к вам, я хотел бы особо просить тех, кто является постоянным посетителем моего семинара по пятницам, засвидетельствовать вместе со мной признательность по отношению к тому, кого я здесь приветствовал первым, г-ну Жану Делоне, учредителю этой серии лекций, который оказал нам честь своим присутствием на сегодняшнем заседании.

От себя лично я хотел бы поблагодарить его также за то, что он предоставил семинару, который я веду вот уже два года, возможность проходить в этих стенах, где речь моя вторит речи его собственной.

Сегодня я буду говорить с вами о психоанализе и кибернетике. Учитывая необходимость сближения психоанализа с различными гуманитарными науками, я счел этот предмет достойным внимания.

Сразу хочу сказать, что не собираюсь говорить здесь ни о различных, более или менее сенсационных достижениях кибернетики, ни о кибернетических машинах, больших и маленьких. Я не буду ни называть эти машины по именам, ни рассказывать о чудесах, на которые они способны. К чему нам сейчас все это?

Однако из самого факта, что психоанализ и кибернетика, эти две техники, два поприща науки и мышления, оказались друг другу относительно современны, мне показалось возможным сделать кое-какие выводы. Не ждите от меня ничего, что могло бы претендовать на характер вполне исчерпывающий. Речь пойдет лишь о том, чтобы наметить ось, которая бы прояснила бы в какой-то степени значение того и другого. Осью этой является не что иное, как язык. Именно на некоторые черты языка я и хотел бы, пусть мельком, обратить ваше внимание.

1

Вопрос, который послужит для нас исходным, возник на нашем семинаре, когда мы по ходу дела заинтересовались тем, как может выглядеть азартная игра, где партнером выступает машина.

В качестве азартной игры мы выбрали игру в чет и нечет. Может показаться удивительным, что подобные предметы интересуют участников психоаналитического семинара. Говорили мы несколько раз и о Ньютоне. Такие вещи — я уверяю вас — случайно не происходят. Именно благодаря тому, что на семинаре нашем говорят об игре в чет и нечет и о Ньютоне тоже, есть у техники психоанализа некоторые шансы не встать на путь деградации и не сделать ее жертвой других.

Игра в чет и нечет призвана была напомнить нам, аналитикам, что ничего не происходит случайно, обнаружив одновременно нечто такое, что на первый взгляд граничит со случаем в самом чистейшем виде.

Результат оказался удивительным. Среди психоаналитиков мысль о том, что я, мол, как кто-то сказал мне, хотел бы упразднить случай, была встречена с подлинным негодованием. На самом деле человек, который мне об этом сказал, стоит по своим убеждениям на позициях строгого детерминизма. Именно это, тем не менее, его пугало. И он был прав – между существованием случая и основаниями детерминизма, действительно, имеется тесная связь.

Давайте поразмышляем немного, что же такое случай. Что хотим мы сказать, когда утверждаем, что то или иное событие происходит *случайно*? А хотим мы сказать одно из двух – либо, что отсутствовало намерение, либо что налицо был закон. А это две вещи порой очень разные.

Само понятие детерминизма предполагает, что закон действует ненамеренно. Вот почему возникновение того, что складывается в Реальном и функционирует сообразно закону, детерминизм всегда стремится вывести из чего-то первоначально недифференцированного — случая, понятого как отсутствие намерения. Да, ничто без причины не совершается, говорит нам детерминизм, но причина эта непроизвольна.

Наши показательные игровые эксперименты могли внушить моему собеседнику (вопросы эти, Бог свидетель, оказываются очень скользкими) опасение, что я пытаюсь ввести детерминизм в игру *орел или решка*, которая, более или менее интуитивно, отождествлялась в его сознании с игрой в чет и нечет. Если детерминизм прослеживается даже в игре в орла или решку, куда это нас приведет? Никакой подлинный детерминизм не будет возможен.

Вопрос этот влечет за собой другой: что же тогда представляет собой детерминизм, который мы, аналитики, считаем лежащим в основе нашей собственной техники? Ведь мы пытаемся добиться от пациента того, чтобы он ненамеренно выдал нам *свои*, как мы говорим, *мысли* — другими словами, чтобы в речах и рассуждениях своих он без всякого намерения со своей стороны как можно ближе подошел к случаю. Именно на такой вот субъект анализа и может кибернетика пролить, как мне представляется, некоторый свет.

Границы кибернетики исключительно неопределенны. Чтобы составить о ней представление как о целом, нам придется пробежать взглядом самые различные и разрозненные сферы рационализации – от политики и теории игр до теорий коммуникации и некоторых определений понятия информации.

Считается, что толчком к созданию кибернетики послужили инженерные проекты, связанные с экономной передачей информации по проводникам, с задачей свести форму, в которой сообщение передается, к простейшим и существенным ее элементам. С подобно точки зрения науке этой можно дать от силы десяток лет. Сам термин принадлежит выдающемуся инженеру Норберту Винеру. На мой взгляд, однако, подобное понятия кибернетики слишком узко, а истоки ее следует искать в прошлом более отдаленном.

Чтобы лучше понять, о чем в кибернетике идет речь, необходимо увидеть связь ее происхождения со жгуче актуальной для нас темой значения случайности. Прошлое кибернетики как раз и состоит, по сути своей, в рациональном оформлении того, что мы назовем, в противоположность точным наукам, науками, построенными на предположении.

Науки, построенные на предположении, – вот, мне кажется, то имя, которое следует присвоить отныне определенной группе наук, именуемых обыкновенно науками гуманитарными. Не то чтобы этот последний термин им решительно не соответствовал – ведь предметом их, действительно, в результате стечения обстоятельств, оказались человеческие поступки – просто он, на мой взгляд, настолько неясен, настолько размыт всякого рода смутными отголосками псевдо-сакральных, уподобляющихся посвятительным ритуалам дисциплин, что это не может не привести к ослаблению их, к снижению их научного статуса. Определив их строже и точнее как науки, построенные на предположении, мы только выиграем.

Поместив кибернетику в этот контекст, мы без труда обнаружим его предшественников, например, в Кондорсе с его теорией голосов и коалиций или, как он выражается, *партий*, а еще раньше в Паскале, который и является ее отцом, у которого берет она свое подлинное начало.

Начну я, однако, с рассмотрения основополагающих понятий другой сферы наук, так называемых наук точных, начало нынешнего расцвета которых восходит к эпохе лишь немногим более ранней, нежели возникновение наук, построенных на предположении. Первые несколько затмили собой вторые, отодвинули их в тень, хотя на самом деле обе эти группы друг от друга неотделимы.

2

Каково определение точных наук? Можно ли сказать, что они, в отличие от наук, построенных на предположении, имеют своим предметом Реальное? Но тогда что такое Реальное?

Я не думаю, что мнения людей в этом отношении сильно расходились, – не думаю, вопреки всему тому, в чем старается убедить нас та психологизирующая генеалогия человеческой мысли, которая представляет себе первых людей грезившими наяву и утверждает, что желания детей принимают у них обыкновено характер галлюцинации. Удивительные представления, всем наблюдениям настолько противоречащие, что их нельзя охарактеризовать иначе

как миф – миф, над происхождением которого следовало бы поразмыслить.

Смысл, который человек испокон веку придавал слову Реальное, следующий: это нечто такое, что вы всегда находите на одном и том же месте — независимо от того, были ли вы там раньше, или же вас там не было. Может быть, оно, это Реальное, чуть-чуть и подвинулось, но если оно подвинулось, его ищут в другом месте, стараясь понять, что его потревожило, и уверяя себя, что ему порою случалось двигаться и по собственной инициативе. В любом случае, оно всегда на своем месте, там ли мы или нас там нет. Наши собственные перемещения не имеют в принципе, за редким исключением, никакого сколь-нибудь действенного влияния на перемену места с его стороны.

Точные науки стоят, разумеется, с этой функцией Реального в самой прямой связи. Значит ли это, что в период, их развитию предшествовавший, в понимании этой функции человеку было отказано, что он слепо верил в то пресловутое всемогущество мысли, которое с пресловутой архаической стадией анимизма неизменно связывается? Дело не в том, что человек жил некогда в антропоморфном мире, от которого ожидал человеческих по характеру своему ответов. На мой взгляд, подобное представление совершенно наивно и понятие детства человечества ничему историческому не соответствуют. Человек не дожидался возникновения точных наук, чтобы считать, как и мы, что Реальное—это то, что всегда можно найти на одном и том же определенном месте. Так, в определенный час ночи та или иная звезда всегда находится над определенным меридианом и туда вновь вернется – она всегда там, всегда та же. Я не случайно привожу в пример небесный ориентир прежде ориентира земного – ведь карты звездного неба появились прежде карт географических.

Человек думал, то существуют места, которые сохраняются неизменными, но он верил также, что сохранность эта обеспечивается в какой-то мере и действиями его собственными. Долгое время люди придерживались того убеждения, что их ритуалы и церемонии – прокладка императором первой весенней борозды, гарантирующие плодородие

весенние танцы, – его упорядоченные и значимые действия – действия в подлинном смысле этого слова, то есть речевые, словесные, – необходимы для удержания вещей на их привычных местах. Они не думали, конечно, будто Реальное исчезнет, если они не примут в поддержании порядка вещей своего участия, они боялись, что оно окажется потревожено. Они не претендовали на роль законодателей, но считали себя необходимыми, чтобы обеспечивать закону его постоянство. Оговорка очень важная, ибо сохраняет за существованием Реального строгую безусловность.

Решающий шаг был сделан, когда человек заметил, что его ритуалы, танцы и заклинания абсолютно ничего в ходе вещей не меняли. Прав он был или нет? Этого мы не знаем. Ясно одно: в наши дни мы этого первоначального убеждения больше не разделяем. Именно это и открыло для нас перспективу точных наук.

С того момента, когда человек приходит к убеждению, что великие часы природы ходят сами и продолжают показывать час даже когда нас тут нет, рождается новый, научный порядок. Научный порядок определяется тем, что из служителя природы человек становится ее прислужником. Он не может ею править, ей одновременно не повинуясь. Раб, он пытается ставить господина в зависимость от себя, прислуживая ему на совесть.

Он знает, что на свидание, которое он природе назначил, она придет вовремя. Но что, собственно, эта пунктуальность собой представляет? Это не что иное, как встреча в природе двух разных времен.

Существуют огромные часы – наша солнечная система, те естественные часы, которые людям надлежало расшифровать, что и стало одним из решающих шагов в создании точной науки. Но у человека должны быть еще и свои часы, механические. Кто из них точнее, кто пунктуальнее – природа или же человек?

Далеко не очевидно, что природа является на любое свидание. Можно, конечно, договориться считать естественным именно то, что время свидания соблюдает. Когда Вольтер сказал по поводу естественной истории Бюффона, что она вовсе не так уж естественна, как раз что-то в этом

роде он и имел в виду. Это вопрос лишь определения: *Моя нареченная приходит на свидания всегда, потому что когда она на них не приходит, я ее больше своей нареченной не называю.* Может быть, это человеку свойственна точность? Где же искать источник точности, как не в согласовании одних часов с другими?

Обратите внимание на тот факт, что часы, точные часы, существуют лишь с того времени, как Гюйгенсу удалось в 1659 г. изготовить первый абсолютно изохронный маятник. Событие это положило начало тому, по выражению Александра Койре, универсуму точности, без которого никакие действительно точные науки не были бы возможны.

Но где же она, эта точность? В основе ее лежит нечто такое, что мы в этот маятник и в эти часы ввели, некий заимствованный у некоторого естественного времени фактор – фактор *g*. Он знаком вам – это ускорение под действием гравитационного поля, то есть, по сути дела, выражение связи между пространством и временем. Выведен он с помощью определенного, говоря словами Галилея, *ментального опыта* и представляет собой не что иное, как гипотезу, воплощенную в инструменте. А если инструмент сделан для подтверждения гипотезы, проделывать опыт, который им подтверждался бы, нужды нет, ибо самим фактом работы инструмента гипотеза уже оказывается подтвержденной.

Но инструмент этот требуется еще и настроить на определенную единицу времени. А единица времени всегда заимствуется, всегда отсылает нас к Реальному, то есть к тому факту, что оно всегда возвращается где-то на одно и то же самое место. Единицей времени служит для нас звездный день. Если вы спросите физика – г-на Бореля, например, – он подтвердит вам, что если бы во вращении Земли, которым определяется продолжительность нашего звездного дня, обнаружилось бы незаметное, но по истечении некоторого времени вполне поддающееся оценке замедление, мы были бы абсолютно неспособны в настоящее время дать себе в этом отчет, так как временные деления, которые мы используем, именно исходя из этого звездного дня и реализуются, не позволяя нам, таким образом, контролировать его продолжительность.

Замечанием этим я хотел обратить ваше внимание на то, что если пространство измеряют с помощью эталона твердого тела, то время измеряют временем же, а это совсем другое дело.

Совершенно неудивительно в этих условиях, что определенная часть нашей точной науки может быть подытожена очень небольшим количеством символов. Именно к этому и ведет наше требование, чтобы все было выражено в терминах материи и движения, то есть материи и времени, так как движение-то, как нечто заложенное в самом Реальном, мы как раз и научились из наших расчетов путем сокращения исключать.

В конечном счете, маленькая символическая игра, к которой системы Ньютона и Эйнштейна сводятся, имеет к Реальному весьма слабое отношение. Наука, сводящая Реальное к нескольким маленьким буковкам, к небольшому набору формул, покажется, безусловно, нашим отдаленным потомкам блестящим предприятием, хотя не исключено, что блеску в ней к тому времени поубавится, ибо выводы ее окажутся несколько скороспелыми.

Усмотрев, таким образом, основание точности точных наук, каковым является инструмент, не пора ли нам задаться и другим вопросом – что это, собственно, за места? Другими словами, давайте займемся местами, рассматривая их как пустые.

Именно в связи с постановкой этого вопроса и возникло, в качестве коррелята к рождению точных наук, то исчисление, которое было, скорее, неверно, нежели правильно понято и которое получило название исчисления вероятностей. В научной форме оно впервые явилось на свет в 1654 г. в трактате Паскаля, посвященном арифметическому треугольнику, где оно выступает как расчет не случая, а шансов, возможности встречи как таковой.

Своей первой машиной, представляющей собой арифметический треугольник, Паскаль предложил вниманию ученого мира способ, позволяющий немедленно определить, на что может игрок надеяться в тот или иной конкретный момент, когда прерывается последовательность составляющих партию ходов. Последовательность ходов

есть простейшая форма, в которой может выступить идея встречи. Пока условленное число ходов не исчерпано, кое-что оценке поддается – это возможность встречи как таковой. Речь идет о месте и о том, что на это место является или же не является, о чем-то таком, следовательно, что строго эквивалентно собственному небытию. Наука о том, что находится на том же месте, сменяется наукой о комбинации мест как таковых. Все это происходит в определенным образом упорядоченном регистре, предполагающем, разумеется, понятие хода, то есть деления на такты.

Все то, что было до сих пор наукой о числах, становится наукой комбинаторной. Продвижение, более или менее наощупь и наугад, в мире символов организуется вокруг соотношения отсутствия и присутствия. Поиск же законов присутствия и отсутствия как раз и ведет постепенно к установлению того бинарного порядка, плодом которого становится то, что называем мы кибернетикой.

И вот теперь, подойдя к границам того самобытного, что вошло в наш мир в форме кибернетики, я связываю ее с человеческим ожиданием. Если наука о комбинациях разбитой на такты встречи вошла в поле человеческого ожидания, то это значит, что она глубоко затрагивает какие-то человеческие интересы. Не случайно истоки ее лежат в опыте азартных игр. Не случайно затрагивает теория игр все функции нашей экономической жизни, теорию коалиций, теорию монополий, теорию войны – да, даже войны, если рассматривать ее в отвлечении от всего реального, в ее чисто игровых истоках. Не случайно одно и то же слово объединяет все эти столь различные меж собою области с азартными играми. Так вот, в первых играх, о которых я веду речь, дело идет об отношениях межсубъектной координации. Разве не ищет человек, разве не взыскует он в азартных играх — а также в расчетах, которые он им посвящает, – чего-то такого, что, как сама эта семантическая омофония о том свидетельствует, обязательно должно быть с межсубъектными отношениями как-то связано, хотя и создается впечатление, будто таковые из азартных игр полностью исключены. Мы вплотную подошли здесь к центральному вопросу, послужившему для меня отправным пунктом, — что представ-

ляет собой та случайность бессознательного, которая стоит у каждого из нас за спиной?

Да, в азартной игре человек испытывает свои шансы, но он и читает в ней свою судьбу. У него создается впечатление, что ему открывается в ней нечто связанное с ним самим, — впечатление тем более сильное, что больше перед ним никого нет.

Я уже говорил вам, что все линии развития теории сходятся к бинарному символу, к тому факту, что, пользуясь символами нуля и единицы, можно записать что угодно. Что же еще необходимо для появления в мире того, что называем мы кибернетикой?

А необходимо, чтобы функционировало это в Реальном и от любой субъективности вполне независимо. Необходимо, чтобы наука пустых мест, встреч как таковых, осуществляла свои подсчеты и комбинации самостоятельно, сама по себе.

Что для этого нужно? Нужно найти в Реальном что-то такое, что могло бы этому послужить опорой. Связать игру символов с Реальным человек пытался всегда. Он делал надписи на стенах, он даже придумал историю, где надписи *Мене, Текел, Фарес* – появлялись на стене сами, он помечал цифрами положение солнечной тени от часа к часу. Но в конечном итоге символы всегда оставались на том месте, которое было предназначено им при их появлении. Они были с реальным так плотно склеены, что их можно было принять за вехи, помогающие в нем ориентироваться.

Новое заключалось в том, что им позволили летать на своих собственных крыльях. А сделать это удалось с помощью простого, обычного, находящегося у вас под рукой приспособления, и вам достаточно нажать этой рукой на ручку, чтобы пустить его в ход. Приспособление это – дверь.

3

Дверь, если подумать, вовсе не является чем-то вполне реальным. Стоит вам за таковое ее принять, и с вами будут происходить странные недоразумения. Так, если, понаблюдав за дверью, вы придете к выводу, что она создает сквозняки, то, направляясь в пустыню, вы прихватите ее с собой для прохлады.

Я долго рылся в словарях, пытаясь узнать, что же это такое — дверь. У Литтре *двери* (porte) посвящено две страницы, и там есть все – от двери как отверстия до двери как более или менее подвижного затвора, от Блистательной Порты до двери, которую захлопывают перед носом или "надевают маской на нос" (если вы придете снова, маска будет вам готова, *si vous revenez je vous en fais un masque sur le nez*, – пишет Ренар). После чего, без какого-либо комментария, Литтре добавляет, что дверь должна быть либо открыта, либо закрыта. Все это, несмотря на обилие литературных реминисценций, меня не вполне удовлетворило, так как к народной мудрости я испытываю врожденное недоверие – она вбирает в себя множество вещей, но в форме всегда несколько путаной, так что отчасти именно поэтому психоанализ и существует. Дверь действительно должна быть либо открыта, либо закрыта. Но состояния эти не равнозначные.

Мы можем здесь довериться самому языку. Да, дверь открывается в сад, но нельзя сказать, что она закрывается в овчарню или в ограду. Я понимаю, что смешиваю здесь *porta* и *fores*, ворота, но мы в такие детали входить не будем. Итак, продолжим наши размышления о двери.

Из моего упоминания овчарни и ограды можно было заключить, будто речь идет о пространстве внутреннем и наружном. Думаю, это ошибочно – мы живем в эпоху масштабов достаточно грандиозных, чтобы представить себе стену, опоясывающую весь земной шар, и если вы проделаете в ней дверь, где будет внутреннее пространство, а где наружное?

Открытая дверь не становится от этого щедрее. Говоря по-французски, *окно выходит в поле* (fenêtre donne sur la campagne), мы употребляем глагол *donne*, дает. Забавно, что когда мы употребляем тот же глагол в отношении двери, мы подразумеваем, как правило, что она закрыта, или даже заперта.

Дверь порою "высаживают", и это всегда поступок довольно решительный. От двери же, как и от ворот, чаще, чем от чего-либо другого, "дают поворот".

По обе стороны двери вполне могут стоять два человека,

друг друга подстерегающие, в то время как с окном такой ситуации вообразить невозможно. В дверь иногда ломятся – даже в открытую. И это, разумеется, как говорил Альфонс Аллэ, жестоко и глупо. Войти через окно всегда считалось поступком несколько развязным, и уж во всяком случае сознательным, в то время как через дверь можно войти порою даже этого не заметив. Таким образом, дверь, в первом приближении, не несет той же функциональной нагрузки, что и окно.

Дверь, по самой природе своей, принадлежит символическому порядку, и, открываясь, она ведет в нечто такое, о чем мы точно не знаем, Символическое это или Реальное, но наверняка знаем, что это одно из двух. Между открытием двери и закрытием ее отношения асимметричны – если, открываясь, дверь регулирует доступ, то, закрываясь, она прерывает цепь. Дверь – это подлинный символ, символ по преимуществу, и крест, знаменуемый в нем пересечением прохода и преграды, всегда будет верным признаком того, что здесь где-то прошел человек.

Но лишь с тех пор, как появилась возможность свести эти две черты воедино, создать замкнутый контур, цепь, нечто такое, где в закрытом состоянии проход есть, а в открытом его нет, смогла наука о предположениях перейти к воплощению кибернетических идей на практике. Существованием машин, способных совершенно самостоятельно считать, складывать, суммировать, одним словом, совершать все те чудеса, которые человек до сих пор считал исключительной привилегией собственной мысли, обязаны мы фее электричества – ведь это она позволила нам установить контуры, которые замыкаются и размыкаются, прерываются и восстанавливаются с помощью тех "дверец", что придумала кибернетика.

Посмотрите внимательно, о чем идет речь – речь идет об отношении как таковом, о доступе и затворе. Как только дверца открывается, она затворяется. Не успела она затвориться, как она открывается. Вовсе не нужно, чтобы дверца была открыта или закрыта – нужно, чтобы она была открыта, а потом закрыта, а потом открыта, а потом снова закрыта. Благодаря электрическому контуру и замкнутой на себя индуктивной

цепи, то есть тому, что называют в технике *feed-back*, достаточно дверце закрыться, как электромагнит немедленно возвратит ее снова в открытое состояние, в результате чего она вновь закроется и вновь откроется. Вы порождаете тем самым то, что называется колебаниями. Эти колебания и есть скандирование, деление на такты. Именно это скандирование, эти такты и являются той основой, в которую можно будет до бесконечности вписывать заданные серией комбинаций действия, которые детской забавой уже не будут.

Вот последовательность четырех позиций для одной дверцы: в двух первых она закрыта, в двух других—открыта.

0
0
1
1

Для другой дверцы мы можем установить иной порядок: она будет открыта и закрыта попеременно.

0
1
0
1

Для третьей дверцы вы можете, по вашему желанию, установить правило, по которому она будет открываться и закрываться в зависимости от положения двух предыдущих дверец.

0 0 : 0
0 1 : 1
1 0 : 1
1 1 : 1

Формула 1

В данном случае, чтобы третья дверца была открыта, достаточно, чтобы была открыта по крайней мере одна из двух предыдущих.

Возможны и другие формулы. Вы можете, к примеру, сделать так, чтобы третья дверца открывалась лишь при условии, что открыты обе предыдущие.

0 0	0
0 1	0
1 0	0
1 1	1

Формула 2

А вот и третья формула, которая тоже небезынтересна:

0 0	0
0 1	1
1 0	1
1 1	0

Формула 3

Здесь третья дверца открыта лишь в том случае, если из предыдущих двух открыта только одна.

Что это все означает? Да что хотите. *Формула 1* может, с точки зрения логики, именоваться объединением или конъюнкцией. *Формула 2* тоже допускает логическую интерпретацию, и поскольку закон ее совпадает с законом математического умножения, ее и называют часто логическим умножением. Что касается *формулы 3*, то это сложение. Когда вы складываете две единицы, то в мире двоичной записи это дает 0, а единицы переходит в другой разряд.

Как только мы получаем возможность воплощать эти нули и единицы, эти записи присутствия и отсутствия, в Реальное, в ритм, в последовательность тактов, в Реальном происходит нечто такое, что позволяет нам задаться вопросом – и умы выдающиеся, пусть недавно, этот вопрос уже начали себе задавать, – не оказалась ли в нашем распоряжении мыслящая машина.

Мы прекрасно знаем, конечно, что машина эта не думает. Это мы ее сделали, и думает она только то, что ей скажут. Но если не думает машина, то ясно, что проделывая мысленно ту или иную операцию, не думаем и мы сами. Ведь мы пользуемся для мышления точно теми же механизмами, что и машина.

Здесь важно усвоить, что цепочка возможных комбинаций встречи может изучаться как таковая, как строго сохраняющийся порядок, который ни от какой субъективности не зависит.

Благодаря кибернетике символ воплощается в аппарате — хотя и не совпадает с ним: аппарат является лишь его носителем. И воплощается он в этом аппарате способом в буквальном смысле транссубъективным.

Мне пришлось следовать путем, который вам, наверное, кратчайшим не показался. Но иметь его в виду вам нужно, если вы хотите понять то новое, что кибернетика нам дала, и в особенности – понятие сообщения.

4

Понятие сообщения, которым пользуются в кибернетике, с тем, что именуем мы сообщением в повседневной жизни, ничего общего не имеет. Это последнее всегда имеет какой-то смысл. Сообщение же кибернетическое – это последовательность знаков. А последовательность знаков всегда сводится к последовательности нулей и единиц. Вот почему то, что именуется единицей информации, то есть то, что служит мерой действенности тех или иных знаков, всегда соотносится с тем первичным устройством, которое именуется клавиатурой и которое воплощает собой не что иное, как чередование, альтернативу.

Послание включено внутри системы символов в простейшую сеть, состоящую из комбинаций встреч на основе унифицированного такта, то есть единицы, которая этот такт и есть.

Понятие информации, со своей стороны, ничуть не сложнее одной из табличек, которые я вам представлял.

0 0	0
0 1	0
1 0	0
1 1	1

Будем же исходить из этой таблички, прочесть которую можно следующим образом: для выигрыша два броска, или хода, должны иметь положительный результат. Это значит, что ожидание выигрыша равно для меня поначалу 1/4. Предположим, что я один бросок сделал. Если результат отрицательный, шансов у меня больше нет. Если он положительный, то у меня теперь один шанс из двух, 1/2. Это

значит, что в ходе игры уровень моих шансов изменился в направлении возрастания.

Явления энергетические и природные всегда протекают в направлении выравнивания уровней. В то время как в мире сообщений и счисления вероятностей по мере роста информации разница уровней дифференцируется. Я не утверждаю, что она непременно увеличивается, потому что бывают случаи, когда она не увеличивается, но она, во всяком случае, не обязательно понижается и стремится, скорее, к увеличению.

Именно вокруг этого базового элемента и может организоваться все то, что именуем мы языком. Чтобы явился на свет язык нужны еще, правда, всякие маленькие штучки, вроде синтаксиса и орфографии. Но они даны нам с самого начала, ибо таблицы эти как раз и представляют собой такой синтаксис – именно поэтому и можем мы доверить машинам логические операции.

Другими словами, синтаксис предшествует в этой перспективе семантике. Кибернетика – это наука синтаксиса, именно она лучшее доказательство тому, что точные науки только и делают, что увязывают Реальное с синтаксисом.

Но тогда семантика, то есть все находящиеся в нашем распоряжении конкретные языки с их многозначностью, с их эмоциональным содержанием, с их человеческим смыслом – что они собой представляют? Не придется ли нам сказать, что семантика населена и обставлена человеческими желаниями?

Совершенно ясно, что смысл (sens) привносим в вещи именно мы. По крайней мере, для большинства вещей это так. Но справедливо ли будет утверждать, что все, циркулирующее в машине, смысла лишено вовсе? Конечно, для любого смысла слова *смысл* это справедливо не будет, так как чтобы сообщение было сообщением, оно должно быть не просто последовательностью знаков, а последовательностью знаков так или иначе ориентированных. Чтобы оно функционировало в соответствии с синтаксисом, необходимо, чтобы машина эта работала *осмысленно* в смысле *целенаправленно*. И когда я говорю *машина*, вы прекрасно понимаете, что не просто о маленькой коробочке идет речь

– ведь когда я пишу на листке бумаги, когда проделываю преобразования над нулями и единицами, продукция эта тоже всегда ориентирована, к чему-то направлена.

Поэтому суждение, согласно которому человеческое желание, и только оно одно, вводит внутрь первоначального языка какой-то смысл, не является вполне справедливым. Доказательством служит то, что машина не выдает нам абсолютно ничего, кроме того, что мы от нее ожидаем. То есть не столько то, что нас интересует, сколько то, что мы заранее предвидели. И останавливается она ровно в том месте, где мы заранее решили, что она должна остановиться и где будет считан с нее определенный результат.

Принципы этой системы заложены уже в игре. Как могла бы игра возникнуть и продолжаться, не опирайся она на понятие шанса, то есть на своего рода чистое ожидание, что уже само по себе есть некоторый смысл?

Вот он, символ в чистейшей свой форме. Но уже в этой форме может, однако, встретиться нечто большее, чем просто ошибки синтаксиса. Ошибки синтаксиса способны породить лишь ошибки, они всего-навсего случайности. А вот неправильное программирование дает результаты ложные. Уже на этом уровне, таким образом, затронуты оказываются истинное и ложное как таковые. Что значит это для нас, аналитиков? С чем имеем мы дело в лице человеческого субъекта, который к нам обращается?

Речь (discours) его нечиста. *Нечиста* в смысле просто ошибок синтаксиса? Конечно, нет. Весь психоанализ как раз на том по справедливости и основан, что извлечение из речей человека чего-то ценного – это вовсе не вопрос логики. По ту сторону этих речей — имеющих, конечно, свой смысл — ищем мы их другой, в другом смысле этого слова смысл — смысл, заложенный в символической функции, которая посредством этих речей сказывается. Одновременно иной, новый смысл получает при этом и само слово *символ*.

Вот здесь-то и выясняется бесценный факт, который преподносит нам кибернетика: существует нечто такое, что из символической функции человеческой речи исключить нельзя, – это роль, которая принадлежит в ней Воображаемому.

Первоначальные символы, символы естественные, происходят из небольшого числа получающих преимущественное значение образов – образа человеческого тела, образов таких бросающихся в глаза объектов, как солнце, луна и некоторые другие. Именно это и сообщает человеческому языку его весомость, его энергию, его эмоциональную вибрацию. Гомогенно ли это Воображаемое Символическому? Нет. И сводить психоанализ к этим воображаемым темам, к приспособлению субъекта под избранный, привилегированный и получивший преимущественное значение объект, служащий мерилом того, что называют модным нынче термином "объектное отношение", значит полностью извращать его смысл.

Что кибернетика действительно позволяет оценить, так это радикальное отличие символического порядка от порядка воображаемого. Совсем недавно один кибернетик признавался мне в том, насколько трудным оказывается, что бы об этом ни говорили, перевод на язык кибернетики функций *гештальта*, то есть согласования так называемых "хороших форм". То, что является "хорошей формой" в живой природе, в Символическом становится "формой плохой".

Человек, как часто говорят, изобрел колесо. Колесо в природе не встречается, но у него "хорошая" форма, форма круга. Нет, однако, в природе колеса, которое регистрировало бы оборот за оборотом траекторию одной из точек своей окружности. В Воображаемом циклоиды не существует. Циклоида – это открытие, сделанное Символическим. Но в то время как открытие это кибернетическая машина сделать вполне способна, заставить ее воспроизвести в диалоге с другой машиной заданный тою круг оказалось задачей, выполнить которую можно лишь средствами крайне искусственными.

Вот что делает очевидным принципиальное различие между двумя планами – планом Символического и планом Воображаемого.

В Воображаемом существует некая косность, которая на наших глазах вмешивается в речь субъекта, ее запутывает, — именно из-за нее не отдаю я себе порою отчета в том, что, желая кому-то добра, я желаю ему зла, что любя его, люблю я на

самом деле себя самого, а полагая, будто люблю себя самого, люблю в этот самый момент кого-то совсем другого. Рассеять эти обусловленные Воображаемым заблуждения, вернуть речи свойственный ей в качестве речи смысл – вот на что диалектическое применение анализа должно быть направлено.

При этом важно понять, существует ли Символическое как таковое вообще или оно представляет собой лишь возведенный во вторую степень фантазм воображаемых согласований. Именно здесь приходится сделать выбор между двумя возможными в психоанализе ориентациями.

Все возможные смыслы давно уже скопились в ходе исторических перипетий в балласте семантики. Значит ли это, что психоаналитик должен отслеживать тот смысл, который субъект, зная, что он проходит психоанализ и что психоанализ сформулировал определенные нормы, отныне своим речам придал? Должен ли он поощрять субъекта к тому, чтобы тот хорошо вел себя и, выйдя из стадий, где господствует образ того или иного отверстия, стал бы полноценной, со зрелыми инстинктами личностью? О чем, в конце концов, в анализе идет речь – о согласовании с фундаментальными образами, об исправлении, о нормализации в терминах Воображаемого или же о высвобождении смысла речи, того универсального дискурса, в который субъект заранее вовлечен? Вот где лежит расхождение между двумя школами.

Этим смысловым чутьем, чутьем смысла (sens du sens) Фрейд обладал в высочайшей степени. Именно поэтому некоторые из его работ, *Три ларца,* например, читаются так, словно написаны они прорицателем, ведомым тем смысловым чутьем, что сродни поэтическому вдохновению. Речь идет о том, должен ли анализ и дальше двигаться во фрейдовском направлении, – в поисках не чего-то неизреченного, а именно смысла?

Что это слово, *смысл*, означает? А означает оно, что человеческое существо не является над этим первоначальным, исконным языком полновластным господином. Оно заброшено в него, вовлечено, затянуто в его зубчатый механизм.

Как это началось, мы не знаем. Нам говорят, например, что количественные числительные появились в язы-

ках раньше порядковых. На первый взгляд, это странно. Казалось бы, человек должен вступать в мир числа порядковым путем, через танец, через гражданские и религиозные ритуалы, через порядок старшинства, организацию космоса, то есть через все то, что связано с порядком и иерархией. Однако ж нет, лингвисты уверяют, что количественное число появилось первым.

Перед нами удивительный парадокс! Человек здесь не распоряжается. Существует нечто такое, во что он включается и что определяет все своими комбинациями заранее. Переход человека от природного порядка к порядку культурному повинуется тем же математическим комбинациям, что служат нам для классификации и объяснения. Клод Леви-Стросс называет их элементарными структурами родства. Но в каждом первобытном человеке нельзя предположить Паскаля. В операции над числами, в отличный от воображаемых представлений исконный символизм человек включен всем своим существом. Есть в человеке что-то такое, что именно в этом регистре должно получить признание. Но то, что должно получить признание, — оно, как учит нас Фрейд, не выражено, а вытеснено.

Если в машине какая-то операция не происходит вовремя, то операция эта просто-напросто сама собой отпадает и ни на что в дальнейшем не претендует. Иное дело у человека – все его такты живые, и то, что вовремя не является, остается зависшим в неопределенности. Именно в этом и состоит вытеснение.

Конечно, если что-то никак не выражено, оно просто не существует. Но вытесненное всегда здесь, налицо, оно требует бытия, настаивает на нем. По сути своей связь человека с символическим порядком – это та самая связь, на которой сам символический порядок как раз и утверждается, это связь небытия с бытием.

То, что настаивает на получении удовлетворения, может быть удовлетворено лишь признанием. Конечная цель символического процесса состоит в том, чтобы небытие явилось в бытие, чтобы оно стало, потому что сказалось.

22 июня 1955 года.

XXIV
A, M, A, S

Verbum *и* dabar.
Машина и интуиция.
Схема аналитического пользования.
Либидинальное и Символическое.

В ходе нашей предпоследней встречи я с переменным успехом задавал вам вопросы, и заседание это произвело на тех, кто принимал в нем участие, впечатления самые разноречивые. Для меня это было способом настроить свой инструмент на то, что мне предстояло впоследствии сказать вам на своей посвященной психоанализу и кибернетике лекции. Я надеюсь, что и для вас встреча эта прошла не без пользы.

1

В прошлый раз на этом моменте не задерживаясь, так как, судя по обстановке, это лишь усилило бы чувство всеобщего замешательства, я все же запомнил Ваше выступление по поводу еврейского языка. Что Вы хотели сказать, когда утверждали, что слово *verbum* в первом стихе Евангелия от Иоанна является переводом еврейского *dabar*? На что Вы при этом опираетесь?

Не подумайте, что это ловушка. Я вновь обдумал это всего час назад и подкован в этом вопросе не больше, а даже, наверняка, меньше Вас.

Г-н X: – *Что ж, во-первых, я должен сказать, что существует факт, который априори заставляет нас думать именно так.*

Лакан: – Из того обстоятельства, что Св. Иоанн писал по-гречески, вовсе не следует, что он обязательно думал по-гречески и что *логос* его был, к примеру, *логосом* вавилонским. Вы утверждаете, что он имел ввиду еврейское *dabar*. Объясните мне, почему? Ведь это не единственный способ выразить по-еврейски то, что словом *dabar* подразумевается.

Г-н X: – *Не вдаваясь в детали, укажу лишь на то, что у Иоанна не находят следов ни одной действительно платоновской концепции. Это факт, и я мог бы его доказать. Что интересно, это то, что в принципе* logos...

Лакан: – Кто Вам говорит о платоновских концепциях? Я остановился на этом *verbum*, чтобы указать на близость его в данном случае тому латинскому словоупотреблению, о котором ясно свидетельствует нам использование этого слова в трактате *De Signifiatione* Блаженного Августина — том самом, который мы в прошлом году комментировали. Теперь, прослушав последнюю мою лекцию, Вы должны были лучше почувствовать все импликации, которые это слово может нести. Я высказал предположение, что *verbum*, возможно, всякой речи и даже *fiat* книги Бытия, предшествовал — предшествовал в качестве своего рода предваряющей *verbum* и *fiat* аксиоматики. А Вы возразили мне на это, что в начале был еврейский *dabar*.

Г-н X: – *Дело в том, что Вы сказали:* в начале был язык. *На что Леклер возразил Вам:* нет, не язык, а речь. *И я с его мнением согласился.*

Лакан: – Существует два вопроса. Во-первых, почему за *логосом* Св. Иоанна скрывается *dabar*. И во-вторых, действительно ли *dabar* означает именно речь, а не что-нибудь другое. Ответьте на оба вопроса. Итак, почему именно *dabar?*

Г-н X: – *По двум причинам. Во-первых, совершенно ясно, что это скрытая цитата из книги Бытия.*

Лакан: – В начале Бытия, в третьем стихе, стоит *fiat lux*, собственно – *va'omer*. Вовсе не *dabar*, а *va'omer*. Это нечто даже прямо противоположное.

Г-н X: – *Да нет же! Совсем не противоположное!*

Лакан: – Объясните мне, в чем.

Г-н X: – *Существует раввиническая традиция, которая этот третий стих Бытия субстантивировала, сделала из него некую сущность, выступающую в роли посредника между Творцом и тварью. Сущность эта и есть Речь, по аналогии с другой, именуемой Премудростью. Но что совершенно бесспорно, так это то, что во всей библейской традиции начисто отсутствует концепция* ratio, *то есть* логоса *в греческом смысле. Именно это показал Бультман, который очень глубоко этот вопрос проанализировал. Концепции вселенной в библейской традиции не существует. В ней начисто отсутствует представление о неизменном, раз и навсегда определенном законе, который связывал бы все воедино, – а ведь это и есть смысл греческого* логоса, *рациональности мира – мира, который рассматривается как целое, в котором все взаи-*

мосвязано, все совершается по законам логики. Для евреев есть совокупность вещей, небо и земля, и тому подобное. Но они никогда не мыслят в концепциях статических, эссенциалистских.

Лакан: – Неужели, прослушав мою лекцию, Вы полагаете, что, говоря о радикальном символическом порядке, я имею в виду некий розыгрыш мест, некое исконное предположение, некое первоначальное гадание, что всякому детерминизму, всякому рациональному понятию о вселенной предшествовало? Это ведь, если можно так выразиться, Рациональное прежде всякого соединения его с Реальным. Вы полагаете, что я имею в виду именно это? Четыре причины, принцип достаточного основания и тому подобное барахло?

Г-н Х: – *Но когда Вы говорите: в начале был язык, то звучит это как проекция в прошлое нашей сегодняшней рациональности.*

Лакан: – Дело не в том, что я говорю. Это не я, это евангелист Иоанн.

Г-н Х: – *Но он этого не говорит.*

Лакан: – На помощь, отец Бернерт, – мы сейчас попробуем освидетельствовать филологическое образование г-на Х. Что представления о вселенной замкнутой, как буква *О*, — представления, в систематическом виде развиваемого Аристотелем, — у семитов не было, — да, с этим я согласен.

Г-н Х: – *Существенно то, что у них все находится в движении и никакому рациональному закону не подчиняется. Все, что происходит в природе, – это отголоски Божественной речи. Эта вселенная не детерминирована, не рациональна; она, если хотите, исторична, в ней все происходит по чьей-то личной инициативе.*

Лакан: – Да, но это не значит, что она рациональна, ведь модулируется она все-таки речью.

Г-н Х: – *Я сказал бы, что она не знает категории сущности.*

Лакан: – А Вы, отец Бернерт?

О. Бернерт: – *Я изучал когда-то Писание, как и все.*

Лакан: – Знаете ли вы, что пишет некий Бернет?

Г-н Х: – *Да.*

Лакан: – Он изучил первый стих Евангелия от Иоанна

очень тщательно. Я не успел, с тех пор, как Вы мне сделали это возражение, найти его текст, но вывод, по крайней мере, я помню. Он пишет, что за *логосом* Св. Иоанна кроется, по-видимому, арамейское *memmra*.

Г-н X: – *Это то же, что* dabar *по-еврейски. Это тот же* dabar, *но несколько субстантивированный, раввинический, о чем я уже говорил.*

Лакан: – Вопрос состоит не в том.

Г-н X: – *Дело в том, что в этом первом стихе сходится многое. Здесь и традиция книги Бытия, и традиция раввинской мысли.*

Лакан: – В любом случае, *memmra* значительно ближе к *va'omer* первого стиха книги Бытия, это тот же корень. Я заглянул час назад в *Genesius*, чтобы посмотреть, что такое *dabar*. Это воплощенное волеизъявление, вроде *duxit* или *locutus est*; можно даже передать его глаголом *insidiatus est*— склонить, соблазнить. Здесь присутствует в скрытом виде то извращение, искажение, та порча, которая постигает речь, когда она нисходит к истокам времени. В любом случае, *dabar* всегда подразумевает обман, ловушку, "обольщение"; по сравнению с *ammara* это речь в наиболее дряхлом, бессильном ее аспекте.

Г-н X: – *Не всегда.* Гром, *например, – это речь Бога, и никакого бессилия здесь не подразумевается. То, о чем Вы говорите, – это смысл производный, основной же смысл совсем иной.*

Лакан: – Но ясно зато, в каком направлении этот смысл развивается.

Г-н X: – *Он может развиваться; разумеется, может.*

Лакан: – Это ясно засвидетельствовано.

Г-н X: – *Конечно, но это ничего не доказывает.*

Лакан: – Но это показывает, во всяком случае, что у нас нет оснований отождествлять это *dabar* со значением (заметим, тоже проблематичным, потому что исследуют его достаточно пристрастно), в котором употреблено в греческом тексте Евангелия от Иоанна слово *логос*.

Г-н X: – *Ясно, в любом случае, одно: платоновский смысл слова* логос *необходимо исключить, так как во всех остальных случаях он бесследно отсутствует.*

Лакан: – Но это совсем не то, о чем собирался говорить я.

Г-н X: – *Так или иначе, слово язык для перевода здесь не годится.*

Лакан: – Но в отношении *логоса*, о котором тут идет речь, не следует пренебрегать и теми оттенками, которыми обогащает его латинское *verbum*. В нем можно расслышать не только разумную причину вещей, но и нечто совершенно иное – ту игру присутствия и отсутствия, что заранее ставит *fiat* в определенные рамки. Ибо в конце концов *fiat* является на фоне *non-fiat*, которое ему предшествует. Другими словами, не исключено, по-моему, что даже *fiat*, эта первая законодательная речь, была, на самом деле, чем-то вторичным.

Г-н X: – *Да. Но я бы сказал, что мы оказываемся здесь у истоков исторического, временного порядка, и не выходим в область потустороннюю, как пытаетесь нам внушить Вы.*

Лакан: – Говоря о речи: *в начале, in principio,* мы создаем своего рода мираж.

Г-н X: – *Я не совсем хорошо понимаю, что Вы сейчас хотите сказать.*

Лакан: – Стоит вещам выстроиться в некоторой воображаемой наглядности, как создается впечатление, будто они расположены так от века. Но это, разумеется, мираж чистой воды. Ваше возражение состояло в том, что сложившийся таким образом мир порождает задним числом модель или архетип, в соответствии с которым он, якобы, и складывался. Но это вовсе не обязательно архетип. Порождение задним числом архетипа, который содержал бы все в свернутом виде, совершенно исключается тем, что внушаю Вам я. Платоновский *логос*, предвечные идеи – все это совершенно не то.

Г-н X: – *Язык, в отличие от речи, я как раз и считал всегда такой сущностью, в свернутом виде содержащую все существующее.*

Лакан: – Но я-то хотел, чтобы вы расслышали в слове *язык* другой смысл.

Г-н X: – *Вот оно что!*

Лакан: – Речь идет о чередовании отсутствия и присутствия, скорее даже о присутствии на фоне отсутствия,

об отсутствии, образовавшемся благодаря тому факту, что может существовать присутствие. В Реальном отсутствия нет. Его нет до тех пор, пока вы не предположите, что там, где в действительности присутствия нет, оно может быть. Я предлагаю поместить *в начало, in principio,* слово, то есть нечто такое, что создает контраст, противопоставление. Изначальную противоположность нуля и единицы.

Г-н X: – *Но в чем же тогда оно противоположно речи?*

Лакан: – Оно составляет ее коренное условие.

Г-н X: – *Да, но я думаю, что условие это Вы с равным успехом можете передать как словом* речь, *так и словом* язык, *так как лежит оно всецело по ту сторону их противоположности.*

Лакан: – Совершенно верно. Но именно на это я Ваше внимание и хотел обратить. Главенствующее, начальственное слово — вот что нам в некотором роде здесь нужно, а вовсе не смысловой регистр, связанный со словом *dabar*, с его в какой то степени законнической ориентацией.

Г-н X: – *Ах вот как!*

Лакан: – Загляните в *Genesius*, когда вернетесь домой.

Г-н X: – *Но я все эти тексты изучал. Есть большая статья Гидо, где собраны все возможные варианты, но в этом направлении он мыслить не пытается.* Genesius, *где нюансов гораздо больше, указанное вами значение* – коварный, лукавый – *действительно называет...*

Лакан: – Тот факт, что *dabar* может быть понято как *insidiatus est*, показывает, насколько смысл его отклоняется от первоначального.

Г-н X: – *Конечно, отклоняться он может, как может слово* речи *означать* болтовню.

О. Бернерт: – *То же самое происходит со словом* речь *и во французском* – он речист *подразумевает порою, что он* бездельник.

Лакан: – Это не совсем то, так как *dabar* не имеет смыслового оттенка *лишенности* (vide).

Г-н X: – *Существует текст – Исайя, глава 53 — где речь Бога нисходит на землю и восходит от нее как бы оплодотворенной. Это речь творческая, а не лукавая, что и соответствует арамейскому, несколько субстанционированному,* memmra, – *это речь, наделенная жизненной силой.*

Лакан: – Вы полагаете, что арамейское *memmra* имеет именно такой смысл? Вы полагаете, что в этой речи есть какой-то, хоть малейший, компромисс с жизнью? Но ведь мы находимся здесь на уровне инстинкта смерти.

Г-н X: – *Это идет от стремления понять то, что служит посредником между говорящим и тем, что им созидается. Оплотняясь, это опосредующее начало ложится, если хотите, в основу целого спекулятивного направления еврейской мысли.*

Лакан: – Что, *dabar*?

Г-н X: – *Нет,* memmra.

Лакан: – Вы уверены?

Г-н X: – *Да, это раввиническая традиция.*

О. Бернерт: – *К какому времени относится* memmra?

Г-н X: – *Где-то к III веку.*

Лакан: – Бернет, о чьей статье я вам говорил, путем различного рода сопоставлений доказывает, что Св. Иоанн думал по-арамейски.

Г-н X *и* О.Бернерт: – *Это несомненно.*

Лакан: – То, что вы называете раввинической традицией, это ее гностический уклон.

Г-н X: – *Да, она, безусловно, позаимствовала что-то у гностической мысли, но сама по себе вовсе не носит гностического характера. Это мышление, по сути своей, законническое, оно все пытается кодифицировать.*

Лакан: – Вам не кажется, что ближе всему этому именно *dabar*?

Г-н X: – *Нет,* memmra.

2

Я не провозглашаю здесь учение *ex cathedra*. Мне кажется, что сам предмет занятий, каковым являются язык и речь, не позволяет мне аподиктически сообщать вам нечто такое, что вам оставалось бы только записать и сунуть в карман. Конечно, по ходу дела языка в наших карманах становится все больше, и даже головы наши уже от него вот-вот лопнут, но это не так уж и важно – в случае чего голову всегда мож-

но прикрыть носовым платком.

Если за нашими разговорами и имеет место какая-то истинная речь, то она, дорогие мои слушатели, в большей степени ваша, нежели моя.

В прошлый раз я попросил вас задавать мне вопросы. И поскольку вопросов, как всегда, было не густо, я предложил вам тему – как поняли вы то, к чему я попытался прийти в своих рассуждениях о речи и языке? Я действительно услышал от вас на эту тему несколько ценных возражений, и тот факт, что мы не успевали объясниться до конца, что возражения эти могли возбудить порою кое-какие недоумения, никого ни в малой степени не обескуражил. Это означает, что анализ идет полным ходом.

Поскольку прочитанную мною лекцию можно считать диалектической вершиной всего того, чему проделанная нами за год работа положила начало, сегодня я вновь обращаюсь к вам с просьбой задавать мне вопросы. Я снова прошу вас сделать сегодня рискованный шаг в ту неизведанную область, о которой в аналитическом опыте мы никогда – и это наша принципиальная позиция – забывать не должны.

Некоторые из вас думают про себя, что когда речь идет о создании аналитической теории, то это я ее выстраиваю, я вам свои готовые построения предлагаю, а вы затем ими благополучно пользуетесь. Я этого не хочу. Не только перед лицом платоновского архетипического порядка, отношение к котому у меня, как вы знаете, более чем прохладное, но и перед лицом той исконной речи, что наглядно являет нам возникновение Символического, мы находимся в ситуации, где призваны в полном смысле этого слова *conceptare* – не только постигать, замышлять, но и зачинать.

Мы ни минуты не думали, будто все записано уже заранее. Как заметил однажды Лефевр-Понталис, не будь говорящего субъекта, не было бы и ничего вообще. Именно поэтому, то есть для того, чтобы могло явиться на свет нечто новое, и необходимо, чтобы существовало незнание. Именно в этом положении мы и находимся. Именно поэтому и призваны мы *conceptare* в полном смысле этого слова. Когда мы что-то знаем, мы на это более не способны.

Итак, кто берет слово? Дух, кажется, снизошел на

Маршана?

Маршан: – *Если на меня и снизошел сейчас дух, то это, похоже, дух противоречия. Какая нам польза в этих вопросах?*

Лакан: – Не исключено, что во время последней лекции какая-то моя мысль ускользнула от вашего внимания, была позабыта или показалась изложенной слишком кратко и отрывочно, и все это мешает вам увязать ее с целым.

Маршан: – *Мой вопрос относится к уровню, если можно так выразиться, более высокому. Вот уже несколько месяцев все мы посещаем этот семинар, из которого каждый извлек для себя то, что он мог. Задавая же вопросы, мы станем невольно стремиться к тому, чтобы свести все эти вещи на какой-то более солидный, так сказать, уровень, со всеми неприятными последствиями, которые это за собой повлечет.*

Лакан: – Все, что мы делаем, должно, в конечном итоге, послужить нашей практике, и не забывайте, что практика эта насквозь концептуализирована.

Валабрега: – *У меня есть вопрос, касающийся вашей лекции. Вы говорили о треугольности, которая кибернетической машины может быть или не быть распознана. Принадлежит ли это понятие в таком случае к порядку воображаемому или к порядку символическому? Когда вы упомянули сейчас о незнании, это напомнило мне о Николае Кузанском. Вся первая часть его* Ученого незнания *посвящена понятию треугольности, которое он связывает, если не ошибаюсь, с символом.*

Лакан: – Вы имеете в виду то, что я говорил об особых трудностях, связанных с формализацией, в символическом смысле слова, некоторых *гештальтов*. В качестве примера я приводил не треугольник, а круг, и это совсем другое дело.

Валабрега: – *Задавая вопрос, я имел в виду тот факт, что кибернетическая машина может узнать форму или же не узнать, в зависимости от положения этой формы в пространстве. И вот тут-то у меня, и у других тоже, возникло недоумение – мы перестали понимать, относите ли вы круглость и треугольность к символическому порядку или же к порядку Воображаемого.*

Лакан: – Все интуитивное гораздо ближе Воображаемому, нежели Символическому. Недаром так актуально сегодня

для математической мысли стремление исключить интуитивные элементы возможно более радикальным образом. Интуитивный элемент рассматривается в развитии математической символики как порок. Это вовсе не значит, что математики считают свою партию выигранной. Некоторые из них придерживаются мнения, что исключить интуитивное усмотрение невозможно. Но стремление свести все к аксиоматике у них остается.

Что касается машины, то я не думаю, конечно, что она способна этот вопрос отрегулировать. Посмотрите, однако, что происходит всякий раз, когда мы пытаемся заставить машину узнать, невзирая на перспективные искажения, "хорошую" форму. Для нас в наглядном усмотрении, в воображении узнать "хорошую" форму – это, если верить гештальтистской теории, дело самое простое. Но чтобы аналогичного результата с такой же легкостью достигала машина — этого нам не добиться: лишь головоломными, искусственными комбинациями, сплошным исследованием пространства, так называемым *сканированием* и применением соответствующих сложнейших формул удается настроить то, что можно назвать чувствительностью машины, на определенную форму. Другими словами, "хорошие" формы отнюдь не описываются для машины самыми простыми формулами. Что и является достаточным опытным подтверждением противоположности Воображаемого и Символического.

Валабрега: – *Я плохо сформулировал свой вопрос. Спор, который Вы имеете в виду, спор между интуиционистами и их противниками об основаниях математики, разумеется, интересен, но спор это давний и имеет лишь косвенное отношение к вопросу, который задаю я и который касается понятия треугольника или круга, а не восприятия их. Я имею в виду то, к чему сводится само понятие, например, треугольника.*

Лакан: – Можно было бы обратиться к тексту, на который Вы ссылаетесь. Я частично перечитывал его в этом году на предмет максимумов и минимумов, но подход Николая Кузанского к вопросу о треугольнике мне не вполне ясен. По-моему, треугольник является для него скорее троицей, чем треугольником.

Валабрега: – *Я не имею в виду именно его. Мне просто кажется, что понятие треугольности, независимо от того, придерживаются математики интуиционистских установок или же нет, может быть исключительно символическим.*

Лакан: – Без всякого сомнения.

Валабрега: – *Но тогда кибернетическая машина должна бы была, по идее, эту треугольность распознать, чего она не делает. Поэтому и создается впечатление, будто Вы склонны думать, что треугольность относится на самом деле к порядку Воображаемого.*

Лакан: – Ни в коем случае.

То, что машина что-то распознает, имеет на самом деле смысл куда более проблематичный. Треугольность, о которой вы говорите, является в некотором роде самой структурой машины. Это то самое, из чего машина, как таковая, и возникает, Если у нас имеется 0 и 1, то за ними что-то обязательно следует. Этой-то последовательностью и обусловливается независимость нулей и единиц, символическое порождение коннотаций присутствия-отсутствия. Я уже обращал ваше внимание на то, что логический результат, логическое сложение, предполагает всегда три столбца. В поле одной строки 0 и 1 дают 1, в поле другой 0 и 1 дают 0. Другими словами, троичность принадлежит к структуре машины по существу. И я, разумеется, отдаю троичности предпочтение перед треугольностью, которая дает повод, скорее, для образа.

Валабрега: – *Но я говорил именно о треугольности, а не о троичности. Я говорил о самом треугольнике, о понятии треугольности треугольника, а не о троичности.*

Лакан: – Вы хотите сказать, о треугольности как форме?

Валабрега: – *Если понятия эти, как я и думаю, принадлежат к порядку символическому, то непонятно, почему не удается создать кибернетическую машину, которая распознавала бы форму треугольника.*

Лакан: – Не удается это ровно постольку, поскольку мы имеем здесь дело с порядком воображаемым.

Валабрега: – *Выходит, это не относится к символическому порядку.*

Лакан: – Именно функция 3 является в машине действительно минимальной.

Риге: – *Да, это так. Можно обобщить немного эту проблему, спросив, может ли машина распознать в другой машине определенное троичное соотношение. Ответ будет положительный. Распознать треугольник во всех случаях не является, на мой взгляд, для машины задачей невыполнимой, хотя в настоящее время она и не разрешена. Но в царстве форм треугольник является формой чрезвычайно символической по характеру – в природе треугольников нет.*

Валабрега: – *Если проблема неразрешима, следовало бы предположить, что пресловутое понятие треугольности не относится целиком к порядку Символического, но причастно к порядку Воображаемого.*

Лакан: – Да.

Валабрега: – *Если существуют лишь конкретные развитые представления, то мы входим в противоречие с аксиоматическими исследованиями. В аксиоматике конкретные интуитивные представления — по большей части, во всяком случае — исключаются, остаются лишь их рудименты, а некоторые утверждают, что их не остается вовсе. В этом-то и вопрос.*

Лакан: – Вы хотите сказать, что на самом деле на полях аксиоматики открывается простор сколь угодно широкий. Проблема остается открытой.

Валабрега: – *Да, в том смысле, в котором Вы сами сказали, что треугольника в природе не существует. Что же тогда представляет собой это интуитивное усмотрение? Это не конкретное представление, не построение, исходящее из существующих форм. Это понятие, это нечто символическое.*

Риге: – В последних аксиоматических исследованиях треугольник предстает как нечто символическое, ибо треугольник представляет собой известное отношение.

Лакан: – Да, треугольник можно свести к известному отношению.

Риге: – *К отношению встречи между точкой и прямой линией.*

Лакан: – Следовательно, в конечном итоге это должно быть машиной признано?

Риге: – *Да. Но для этого необходимо четко определить универсум всех форм, которые мы можем рассматривать. В нем-то и можем мы потребовать у машины различить ту или иную ясно определенную форму.*

Лакан: – Лишь на базе уже осуществленной символичес-

кой редукции форм, фактически уже на базе работы машины, можно потребовать от реальной, конкретной машины, чтобы она действовала.

Маршан: – *Речь идет об описании.*

Лакан: – Нет, не думаю.

Риге: – *Это описание, которое Вы применяете к отношению между точкой и прямой линией с точки зрения ряда его свойств, этих свойств, однако, не перечисляя. Описание это не носит характер перечисления, так как Вы не составляете списка всех тех прямых и точек, что Вы рассматриваете, Вы составляете список всех точек, прямых и т. д., которые есть в природе. Вот здесь-то и проникает сюда Воображаемое.*

Маршан: – *Куда Вы это понятие помещаете, в какую область?*

Риге: – *Все это мало что дает, если не находится в рамках определенной аксиоматики. Я говорил о встрече прямой и точки, но можно аксиоматизировать элементарную геометрию и другим способом.*

Маршан: – На *самом деле треугольник можно построить схематически, даже не зная при этом, что речь идет именно о треугольнике. Как можно убедиться в том, что изображаемый треугольник – это действительно треугольник? Перед нами снова вопрос, затрагивающий взаимоотношения Воображаемого и Символического, и вопрос очень темный.*

Лакан: – Да. И я бы сказал, рассматриваемый не с того конца.

Маннони: – *Да, как раз с обратного.*

Риге: – *Рассуждая о треугольнике, нарисованном на листе бумаги, Вы набираете определенное число свойств, которым отвечает та аксиоматическая модель, которую Вы рассматриваете.*

Маннони: – *Получается, что Вы говорите на двух языках, допускающих взаимный перевод?*

Лакан: – Без всякого сомнения.

Маннони: – *Но тогда Воображаемое уже представляет собой язык, оно уже символично.*

Лакан: – Язык, воплощенный в конкретном человеческом языке, построен, без всякого сомнения, из неких избранных образов, каждый из которых связан так или иначе с существованием человека как живого существа, с довольно узким сегментом его биологической реальности, с образом ему подобного. Этот воображаемый опыт нагружает всякий

конкретный язык и одновременно всякий словесный обмен балластом того, что, собственно, и делает его человеческим языком – в самом приземленном и самом обычном смысле слова *человеческий*, в смысле английского *human*.

Но именно поэтому и может этот опыт послужить препятствием на пути реализации субъекта в символическом порядке, чья независимая функция, функция, соозначаемая в терминах присутствия и отсутствия, бытия и небытия, заявляет о себе в человеческой жизни тысячью различных способов.

Вот почему мы всегда имеем дело с каким-то сопротивлением, мешающим восстановлению полного текста символического обмена. Все мы облечены плотью и кровью, и мысль наша постоянно прибегает к уловкам Воображаемого, которые стопорят, останавливают, затемняют символическое опосредование. В результате это последнее всегда оказывается усеченным, отрывочным.

Маннони: – *Меня смущает другое: у меня такое чувство, что эта воображаемая подкладка не только создает символическому языку помехи, но и подпитывает его, и что язык, если мы лишим его этого питания полностью, становится машиной, то есть чем-то уже больше не человеческим.*

Лакан: – Не надо сантиментов. Надеюсь, Вы не собираетесь говорить, что машина – это зло и что она портит нам существование. Речь идет не об этом. Машина — это просто чередование ноликов и единичек, и потому вопрос о том, человечна она или нет, решен раз и навсегда — конечно, нет. Только вот хорошо бы проверить сначала, является ли само человечное, в том смысле, в каком вы о нем говорите, таким уж человечным.

Маннони: – *Это очень серьезный вопрос.*

Лакан: – Как бы то ни было, понятие "гуманизм", специального семинара которому я посвящать не собираюсь, обременено историей уже настолько, что мы вправе, наверное, видеть в нем лишь частную позицию, реализованную в той весьма ограниченной области, которую мы продолжаем неосторожно называть человечеством. И не стоит удивляться, если символический порядок совершенно не

сводим оказывается к тому, что обычно называют человеческим опытом. Вы говорите, что ничего не было бы, если бы все это не облекалось плотью воображения. Мы в этом не сомневаемся, но неужели все корни лежат именно в нем? Ничто не дает нам оснований так думать. Эмпирическая дедукция целых чисел так и не была сделана – более того, похоже, удалось уже доказать, что она невозможна.

3

Я попытаюсь свести все эти соображения к маленькой итоговой схеме, которую я уже рисовал вам раньше.

В начале третьей главы работы *По ту сторону принципа удовольствия* Фрейд рассказывает об этапах анализа. Это текст, который на многое проливает свет, — копию его не мешало бы носить с собою в кармане, чтобы постоянно с нею сверяться.

Поначалу, говорит Фрейд, мы стремимся разрешить симптом, высказав его значение. Идя этим путем, удалось кое-что прояснить и даже достичь кое-каких результатов.

О. Бернерт: – *Почему?*

Лакан: – Все, о чем рассказываю здесь я, сводится к объяснению того единственного условия, при котором то, о чем говорит Фрейд, оказывается возможным. Почему, спрашиваете вы? Потому что сам по себе симптом от начала и до конца является не чем иным, как значением, то есть истиной — истиной, которой придана определенная форма. От естественного признака он отличается тем, что с самого начала выступает организованным в терминах означаемого и означающего, со всей той игрой означающих, которая отсюда следует. Непосредственно внутри конкретных данных симптома с самого начала имеется осадок означающего материала. Симптом – это изнанка дискурса.

О. Бернерт: – *Но почему прямое сообщение, сделанное больному, оказывается действенным?*

Лакан: – Сообщение больному значения исцеляет его постольку, поскольку порождает у него *Überzeugung*, то есть убеждение. Субъект включает в совокупность значений, уже им принятых, объяснение, которое даете вы, и в анали-

зе, который проводится "диким", неорганизованным способом, это может на краткое время свои плоды принести. Но это не правило.

Вот почему мы переходим ко второму этапу, где признание получает необходимость включения в Воображаемое. Возникнуть должно не просто понимание значения, а в собственном смысле слова припоминание, то есть переход в Воображаемое. Больной должен признать своей собственной, вписать в свою биографию, вновь включить в воображаемый континуум, который именуется собственным Я, последовательность значений, в которой прежде, как правило, он себе отчета не отдавал. Мы находимся в данный момент в начале третьей главы *Очерков психоанализа*.

На третьем этапе становится ясно, что этого недостаточно, то есть что существует некоторая инерция, свойственная тому, что с самого начала выступает внутри Воображаемого как готовая структура.

В результате определенных усилий, – продолжает текст, – *удается, наконец, коснуться сопротивлений больного. С этого момента все искусство состоит в том, чтобы как можно быстрее открыть эти сопротивления, продемонстрировать их больному и подвигнуть, по-человечески побудить его от этих сопротивлений отказаться. Переход к сознанию, становление бессознательного сознательным даже на этом пути не всегда достигается полностью. Все это припоминание не имеет, строго говоря, серьезного значения, если не приходит вместе с ним* Überzeugung, *убеждение.*

Текст этот нужно читать, как читаю его я, то есть по-немецки, так как французский перевод — все дело тут в искусстве переводчика – несколько смазывает, скрадывает выразительную рельефность оригинала.

Фрейд настаивает на том, что после устранения сопротивлений сохраняется какой-то остаток, который, быть может, и есть самое существенное. И здесь Фрейд вводит понятие повторения, *Wiederholung*. Состоит оно, по сути дела, в том, что со стороны вытесненного, со стороны бессознательного, никакого сопротивления нет, а есть лишь стремление повторять себя снова и снова.

В этом же тексте Фрейд обращает внимание на оригинальность своей новой техники. Простое качественное соозначение бессознательное/сознательное здесь несущественно. Линия раздела проходит не между сознательным и бессознательным, а между тем, что вытеснено и стремится лишь к самоповторению, настаивающей на себе речи, то есть той модуляции бессознательного, о которой говорю вам я, с одной стороны, и тем, что организовано совсем иным образом, то есть собственным Я, с другой. Если вы прочтете теперь этот текст в свете тех понятий, навык к которым вы успели, надеюсь, приобрести, вы убедитесь, что место, которое в них отведено Я, не оставляет сомнений в исключительной принадлежности его к порядку Воображаемого. И Фрейд подчеркивает, что любое сопротивление именно в этом порядке берет начало.

Поскольку мне необходимо сегодня окончательно расставить акценты, поставить ту финальную точку, которая послужит вам в дальнейшем схемой ориентирования, то я вернусь к тем четырем полюсам, которые не раз изображал для вас на этой доске.

Начну с *А*. *А* – это Другой (Autre) в радикальном смысле, Другой из восьмой или девятой гипотезы Парменида. Он же – реальный полюс субъективного отношения, то самое, с чем связывает Фрейд отношение к инстинкту смерти.

Далее, перед вами *m* (moi), собственное Я, и *a*, другой (autre), который на самом деле не другой вовсе, поскольку природа его такова, что он всегда выступает в паре с собственным Я, поддерживая с ним зеркальные отношения взаимозаменяемости: *ego* – это всегда *alter-ego*.

А здесь перед вами *S*, который является одновременно субъектом, символом, и еще фрейдовским *Es*. Символическая реализация субъекта, всегда представляющего собой создание символическое, — это связь, идущая в направлении от *A* к *S*. Связь эта присуща любой субъективной ситуации и носит характер скрытый и бессознательный.

В основу этой схемы не кладется субъект отрешенный, изолированный. С тех пор, как в мире есть люди и они говорят, все в нем увязано с порядком символическим. То, что передается и стремится обрести конкретные черты,

представляет собой огромное сообщение, где все Реальное предстает мало-помалу на новом месте, в переделанном, пересозданном виде. Символизация Реального стремится стать равноценной вселенной, и субъекты являются в ней лишь ретрансляторами, опорами. Наша роль в ней сводится к роли разрыва в одном из соединений цепи.

Что-то понять можно только исходя из этого, и каждая работа Фрейда напоминает нам именно это, дает нам именно этот урок. Возьмите схему психического аппарата, фигурирующего в небольших рукописях, адресованных Фрейдом Флиссу, возьмите также последнюю часть *Толкования сновидений*. Можно подумать, что он просто пытался формализовать то, что называется научной символикой, – ничего подобного. Острие мысли Фрейда, идея, которую не найти больше ни у кого, состоит в том, на чем он в особенности настаивал в главе VII – функция сознательная и функция бессознательная прямо противоположны друг другу. Это исходное положение (оправдано оно или нет, не имеет значения, так мы здесь просто комментируем Фрейда) кажется ему принципиально важным для объяснения того, что конкретно с субъектами его анализа происходит, для понимания областей психической жизни. То, что происходит на уровне чистого сознания, на уровне коры головного мозга, где то отражение мира, которое мы называем сознанием, помещается, стирается впоследствии, не оставляя следов. Следы переходят в другое место.

Именно отсюда берут начало абсурдные представления, пищу которым дает термин "глубина" – термин, которого он мог бы избежать и которым воспользовался так плохо. Это означает, что в конечном счете живое существо может принять и зарегистрировать лишь то, принять что ему записано на роду – точнее, функции его приданы ему не столько для того, чтобы принимать, сколько для того, чтобы *не* принимать. Оно не видит и не слышит всего того, что не нужно для его биологического выживания. И только человек, он один, выходит за пределы того Реального, которое составляет его биологическую природу. Именно здесь-то проблемы и возникают.

Все одушевленные машины строго привязаны к услови-

ям внешней среды. Если они изменяются, то, как объясняют нам, лишь по мере того, как изменяется эта внешняя среда. Само собой разумеется, что свойство большинства животных видов состоит в нежелании ничего знать о том, что их беспокоит, – лучше уж вымереть. Отчего они, кстати сказать, и вымирают, а мы сильны. Фрейд не черпает вдохновение в мистике. Он не верит в существование в природе формопорождающей силы как таковой. Тип и форма связаны для животного с выбором во внешней среде, связаны как лицо и изнанка. Почему же у людей происходит все по-другому?

Существует достаточно лабораторных экспериментов – между прочим, крайне изнурительных – которые показывают, что если осьминога или любое другое животное настойчиво помещать перед треугольником, то оно начинает в конце концов его узнавать, то есть делает некое обобщение. Именно это отвечает, в общем плане, на вопрос, который задавал здесь Валабрега. Новизна же у человека заключается в том, что в этом воображаемом согласовании что-то незаметно оказывается потревожено и возникает зияние достаточно широкое, чтобы дать место символическому использованию образа.

Итак, следует предположить наличие у него некоего биологического пробела, которому я как раз и пытался дать определение, когда говорил с вами о стадии зеркала. Тотальное пленение желания и внимания уже само по себе предполагает какую-то нехватку. И когда я говорю вам о желании человеческого субъекта, связанном с его образом, о том в высшей степени обобщенном воображаемом отношении, которое именуется нарциссизмом, нехватка эта уже налицо.

Живые одушевленные субъекты чувствительны к образу, который принадлежит к их собственному типу. Это момент принципиально важный, без него животное царство слилось бы в одной колоссальной оргии. Но у человеческого существа устанавливаются со своим образом совершенно особые отношения – отношения зияния, отчуждающей напряженности. В этом-то зиянии и становится возможным возникновение порядка присутствия и отсутствия. То есть порядка символического. Напряжение между

Символическим и Реальным является здесь скрытой основой. Используя слово *субстанция* в этимологическом его значении, можно сказать, что оно субстанционально. Оно не что иное, как *upokeimenon*.

Для всех существующих человеческих субъектов связь между *A* и *S* всегда осуществляется посредством Я и другого — двух воображаемых субстратов, которые и образуют воображаемые основания объекта. Итак: *A*, *m*, *a*, *S*.

Попробуем сконструировать своего рода волшебный фонарь. Воспользовавшись примером из технической, враждебной человеку области, представим себе, что в пункт пересечения между направлением символической связи и каналом Воображаемого установлена триодная лампа. Предположим, что на контур подано напряжение. В вакууме лампы происходит бомбардировка анода катодными электронами, в результате чего в цепи идет ток. Кроме катода и анода имеется еще один электрод, поперечный. На него вы можете подавать по желанию либо положительное напряжение, при котором бомбардировка анода электронами будет иметь место, либо отрицательное, при котором этот процесс прекратится, так как отрицательно заряженные электроны будут отталкиваться введенным вами отрицательным полюсом.

Это лишь еще одна, новая иллюстрация истории двери, которую, ввиду разношерстного характера аудитории, я вам недавно рассказывал. Назовем ее дверью двери, дверью во второй степени, дверью внутри двери. Воображаемое занимает здесь положение, позволяющее ему прерывать, кромсать, делить на такты то, что происходит на уровне контура.

Обратите внимание на то, что происходящее между *A* и *S* само носит внутренне конфликтный характер. Даже в лучшем случае цепь неизбежно противоречит сама себе, неизбежно прерывает, кромсает, купирует саму себя. Я говорю *даже в лучшем случае*, потому что универсальный дискурс символичен, он приходит издалека, его придумали не мы. Это не мы придумали небытие, мы сами оказались заброшены в уголок этого небытия. Что же касается передачи воображаемого, то и с ним у нас свои счеты – вспомним грешки

наших родителей, дедушек, бабушек и все те скандальные истории, в которых вся соль психоанализа и заключается.

Исходя из этого, нетрудно понять, в чем язык и человеческое общение нуждаются. Вам прекрасно знакомы сообщения, высказываемые субъектом в форме, которая строит их грамматически как исходящие от другого, но в обращенном виде. Когда субъект говорит другому: *ты мой учитель* или *ты моя жена*, подразумевает он прямо противоположное. Сообщение, проходя через A и m, возвращается затем к субъекту, которого и возводит в опасное и сомнительное звание супруга или ученика. Форма выражения существенной (fondamentale) речи именно такова.

Так вот: с чем имеем мы дело, сталкиваясь с симптомом, другими словами – с неврозом? Вы заметили, наверное, что в контуре нашем Я отделено от субъекта маленьким *a*, то есть другим. Связь между ними, тем не менее, есть. *Я* – это Я, и вы, с вашей стороны — тоже. Между тем и другим налицо тот структурообразующий фактор, что субъекты облечены плотью. И в самом деле: то, что происходит на уровне символа, происходит в то же время среди живых существ. То, что имеется в *S*, проходит, чтобы заявить о себе, через телесность субъекта, через ту биологическую реальность, которая вводит разделение между воображаемой функцией живого существа, одной из сложившихся форм которого является собственное Я (нам не на что особенно жаловаться), и символической функцией, которую оно способно выполнить и которая выделяет его из Реального, возвышает над ним.

Сказать, что налицо невроз, что имеется вытеснение — которое, как известно, никогда не уходит, не возвращаясь, — значит сказать, что какая-то часть идущей от *A* к *S* речи через поставленную ей преграду проходит и в то же время не проходит.

То, что заслуживает название *сопротивления*, обусловлено тем, что собственное *Я* субъекта ему не тождественно, что собственному *Я* по самой природе его свойственно быть звеном того воображаемого контура, которым прерывание существенной речи как раз и обусловлено. Именно на этом сопротивлении и заостряет наше внимание Фрейд,

когда говорит, что всякое сопротивление коренится в организации Я. Именно будучи воображаемым, а не просто в качестве плотского существования, становится Я в анализе источником разрывов той речи, которая требует лишь одного – сказаться, будь то в делах, словах или повторении, *Wiederholen*, – все едино.

Говоря, что единственное настоящее сопротивление в анализе – это сопротивление аналитика, я имею в виду, что анализ мыслим лишь постольку, поскольку *a* успело бесследно исчезнуть. В анализе должно произойти определенное субъективное очищение (а иначе зачем нужны все эти церемонии, которые мы устраиваем?) – очищение такого рода, что в продолжение всего анализа возможно было бы совмещение, слияние полюса *a* с полюсом *A*.

Аналитик причастен радикальной природе Другого как того, что наиболее трудно для субъекта доступно. Отсюда, с этого момента, то, что в собственном Я субъекта идет от Воображаемого, согласуется уже не с другим, к которому оно успело привыкнуть и которое является лишь его партнером, а с тем радикальным Другим, которое от него скрыто. То, что называется переносом, и происходит как раз между *A* и *m*, происходит постольку, поскольку *a*, представленное аналитиком, оказывается в отсутствии.

Все дело здесь, как замечательно говорит Фрейд, в той *Überlegenheit* (что переводят в данном случае как *превосходство* (superiorité), но я подозреваю, что у Фрейда здесь, как дальнейшее и показывает, присутствует игра слов), благодаря которой реальность, обнаруживающаяся в аналитической ситуации, всегда, *immer,* предстает *als Spiegelung* (удивительный термин!), как мираж, призрак некоего забытого прошлого. Термин *Spiegel*, зеркало, здесь действительно налицо. Начиная с момента, когда сопротивление воображаемой функции Я перестает существовать, *A* и *m* получают возможность согласоваться и сообщаться друг с другом в мере вполне достаточной, чтобы установилась между ними определенная изохронность, одновременность в подаче положительного напряжения на электроды нашего лампового триода. Существенная речь, направленная от *A* к *S*, встретит здесь гармонические колебания, не только не мешающие,

но способствующие ее проходу. Можно даже использовать этот триод в его настоящей роли, роли усилителя, и сказать, что существенная речь, до сих пор подвергавшаяся цензуре (это, пожалуй, в данном случае наилучший термин) благодаря ему проясняется.

Успех этот достигается вследствие переноса, следующего иным путем, нежели стремление к повторению. То, что настаивает на себе, что требует себе прохода, проходит между *A* и *S*. Перенос же происходит между *m* и *a*. И по мере того, как *m* приучается понемногу, если можно так выразиться, с существенной речью сообразовываться, с ним можно обращаться так же, как и с *A*, то есть понемногу связывать его с *S*.

Это не значит, будто пресловутое автономное Я субъекта опирается, как пишет об этом Левенштайн в тексте, который я специально выбрал, но читать вам сегодня уже не буду, на Я аналитика и становится постепенно все более сильным, знающим, способным все больше вобрать в себя. Это значит, наоборот, что Я становится тем, чем оно прежде не было, что оно приходит в то место, где находится субъект.

Не делайте отсюда вывод, будто после анализа, будь то дидактического или терапевтического, Я улетучивается, – вознестись на небо, развоплощенным, в виде чистого символа, никому не удастся.

Всякий аналитический опыт – это опыт, имеющий дело со значением. Одно из главных возражений, которые нам приходится слышать, следующее: если мы откроем субъекту его реальность, его неизвестно какие влечения, его гомосексуальную жизнь, не станет ли это для него катастрофой? Одному Богу известно, что нам по этому поводу имеют сказать моралисты. Но возражение это, так или иначе, несостоятельно и никакой силы не имеет. Даже если согласиться, что субъекту действительно открывают в анализе глаза на какое-то его стремление, которое, не знаю уж какими усилиями, можно было бы от них навсегда укрыть, анализ, на самом деле, вовсе не имеет в виду явить с нашей помощью взору субъекта его реальность. Существует, правда, определенная концепция анализа сопротивлений, которая, действительно, в этот регистр вписывается. Но подлинный опыт

анализа решительно этому представлению противится – на самом деле субъект открывает посредством анализа свою истину, то есть значение, которое приобретают в его конкретной судьбе те данные, которые написаны ему на роду и которые можно назвать выпавшим ему жребием.

Человеческие существа рождаются на свет наделенными самыми различными и непохожими друг на друга предрасположенностями и склонностями. Но каким бы основной, биологический жребий ни был, анализ открывает субъекту его значение. Значение это представляет собой функцию некоей речи, которая речью самого субъекта и является, и в то же время не является вовсе, – ведь речь эту он получает уже готовой и служит ей всего лишь проводником. Я не знаю, то ли это самое слово повеления из Книги Суда, о котором говорит нам раввиническая традиция. Мы так далеко не заглядывали, перед нами стоят проблемы куда более ограниченные, но и в них темы зова и призвания целиком свое значение сохраняют.

Если бы этой воспринимаемой субъектом и относящейся к символическому плану речи не было, то не было бы и никакого конфликта с Воображаемым – каждый следовал бы просто-напросто своим наклонностям. Опыт, однако, показывает, что дело обстоит не так. Фрейд никогда не отказывался от мысли, что именно дуализм является для субъекта существенным, лежащим в основе его организации принципом. И в виду он имеет не что иное, как то столкновение, то скрещивание, о котором я вам толкую и о котором хотел бы еще несколько слов добавить.

Я вписывается в Воображаемое. Все, что принадлежит этому Я, вписывается в воображаемые напряжения, как вписывается в них и остаток напряжений либидинальных. Либидо и Я сотрудничают. Нарциссизм носит либидинальный характер. *Я* не является ни высшей силой, ни чистым духом, ни автономной инстанцией, ни, как некоторые осмеливаются писать, бесконфликтной сферой – ничем, на что можно было бы опереться. Нам говорят об истории? Но разве должны мы требовать от субъекта, чтобы он стремился к чему-то более, нежели к истине? Нам говорят о трансцендентном стремлении к сублимации? Но разве в работе

По ту сторону принципа удовольствия не отвергает ее Фрейд самым недвусмысленным образом? Ни в одном из конкретных исторических проявлений человеческих функций ни малейшей тенденции к прогрессу он не усматривает – мнение, которое в устах первооткрывателя нашего метода имеет определенный вес. Все формы жизни сами по себе удивительны и чудесны, никакого стремления к высшим формам не существует.

Здесь-то и выходим мы к символическому порядку, отнюдь не тождественному тому порядку либидинальному, куда благополучно вписываются как собственное *Я*, так и все влечения. Символический порядок устремлен по ту сторону принципа удовольствия, за пределы жизни, почему и отождествляет его Фрейд не с чем иным, как с инстинктом смерти. Перечтите текст, и вы сами увидите, готовы ли вы с ним согласиться. Либидинальным порядком, включающим всю область Воображаемого, в том числе и структуру Я, символический порядок отбрасывается, отвергается. Инстинкт же смерти является лишь маской, которую символический порядок носит, покуда он, порядок этот, по словам самого Фрейда, немотствует, то есть покуда он не осуществил себя. Покуда символическое признание не достигнуто, символический порядок, по определению своему, нем.

Символический порядок, одновременно бытия лишенный и на бытии настаивающий, – вот что стояло перед мысленным взором Фрейда, когда он говорил об инстинкте смерти как о чем-то основоположном. Символический порядок в муках рождения, готовый явиться на свет, настаивающий на том, чтобы осуществиться.

29 июня 1955 года.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВАРИАНТЫ ОБРАЗЦОВОГО ЛЕЧЕНИЯ

Заголовок этот, наряду с другим, параллельным ему, открывающий в проекте публикации, для работы над которым была создана целая комиссия представляющих различные направления анализа психоаналитиков, новую, дотоле неизвестную рубрику образцового лечения, был предложен нам в 1953 году. Компетенции этой комиссии Анри Эй доверил порученный ему раздел медико-хирургической энциклопедии, посвященный терапевтическим методам в психиатрии.

Мы приняли в свое время это предложение, чтобы, воспользовавшись случаем, поставить вопрос о научном основании пресловутого лечения – единственного, что позволяло выявить кроящееся в этом заглавии заблуждение.

И притом заблуждение довольно чувствительное: мы надеемся, по крайней мере, что нам удалось обратить на него внимание – явно вразрез с намерениями тех, кто эту рубрику предложил.

Можно ли считать, что изъятие этой статьи, осуществленное стараниями упомянутой комиссии под предлогом обычной для подобного рода изданий и призванной сохранить их актуальность переработки, этот вопрос окончательно закрывает?

Многие увидели в этой акции признак некоторой спешки, вполне объяснимой в данном случае той характеристикой, которую получало в свете нашей критики определенное большинство. (Статья увидела свет в 1955 году.)

Вопрос, который боится дневного света

"Варианты образцового лечения" – плеоназм, заключенный в этом заголовке не так прост[1]: обутый в пуанты противоречия, хромает он от этого ничуть не меньше. Чему обязан он своей нескладностью: тому факту, что он сформулирован в медицинском информационном издании? Или же что-то неладно в самом вопросе?

Отправной точкой и отправным шагом к решению проблемы послужит напоминание о том, что публика, в общем, уже предчувствует – о том, что психоанализ это не просто один из видов терапии. Ведь слово *варианты* в названии рубрики выражает здесь не адаптацию лечения, на основании эмпирических или, прямо скажем[2], клинических критериев, к *разнообразию* множества конкретных случаев, и не многообразие *переменных*, обусловливающих дифференци-

ацию поля психоанализа, а озабоченность, и даже несколько скрупулезную, чистотой в выборе средств и целей – озабоченность, в которой угадывается кодекс поведения высшего порядка, нежели этикет, здесь представленный.

Речь идет о строгости в некотором роде этической – строгости, без которой всякое лечение, какими бы психоаналитическими познаниями оно начинено ни было, останется всего-навсего психотерапией.

Подобная строгость потребовала бы формализации – мы имеем в виду формализацию теоретическую – потребность в которой удовлетворяется на сегодняшний день лишь ценой смешения ее с формализмом на практике: вот это, мол, делать можно, а это нельзя.

Вот почему для разъяснения ситуации неплохо начать с *теории терапевтических критериев*.

Конечно, пренебрежение, которое высказывают психоаналитики к простейшим требованиям в использовании статистики, может сравниться разве что с тем, что до сих пор в обычае у медиков. Только у аналитиков, в отличие от медиков, оно носит более невинный характер. Ибо владея дисциплиной, умеющей видеть в самой поспешности заключения элемент подозрительный, он куда с меньшей серьезностью относится к таким общим оценкам, как "улучшение", "значительное улучшение" и тем более "выздоровление".

Приученный Фрейдом остерегаться последствий, которые может получить в его работе то, на опасность чего сам термин *furor sanandi* достаточно красноречиво указывает, психоаналитик отнюдь не горит желанием себя в этом компрометировать.

Признавая, что благотворным побочным эффектом психоаналитического лечения может стать исцеление, он всячески хранит себя от злоупотребления желанием исцелить, причем это настолько вошло у него в привычку, что если какое-либо новшество этим желанием мотивируется, то он озабоченно задает себе – а порой и выносит на обсуждение коллег – автоматически встающий вопрос: не выходит ли он при этом за границы психоанализа?

Для данного вопроса черта эта может показаться пери-

ферийной. Однако именно она способна очертить его линией, которая, снаружи будучи едва различима, удерживает рубежи области изнутри, причем так, что со стороны не перестает казаться, будто ничто эту область не ограничивает.

В молчании, составляющем привилегию не подлежащих обсуждению истин, психоаналитики находят убежище, делающее их неуязвимыми для всех критериев, кроме тех критериев динамики, топики и экономии, ценность которых вне своей собственной области они продемонстрировать не способны.

Вот почему любое признание психоанализа – будь то в качестве профессии или в качестве науки – возможно лишь постольку, поскольку молчаливо подразумевает принцип экстерриториальности, отказаться от которого для психоаналитика так же невозможно, как с ним смириться, что и обязывает его ставить любое признание этих проблем со своей стороны под знак двойной принадлежности и брать на вооружение позу неуловимой Летучей Мыши из известной басни.

Таким образом, все споры вокруг этого вопроса завязываются по недоразумению, которое в свете заложенного внутри него парадокса принимает масштабы еще большие.

Истоки этого парадокса надо искать в море всего, что написано – в том числе людьми самыми авторитетными – по поводу терапевтических критериев психоанализа.

То, что критерии эти улетучиваются по мере того, как под них подводят теоретическую базу, достаточно плохо: ведь именно теория призвана дать лечению законный статус. Еще хуже, однако, когда при этом внезапно обнаруживается, что самые что ни на есть общепринятые понятия суть не что иное, как признаки немощи и экраны пустомыслия.

Чтобы понять, о чем идет речь, достаточно обратиться к сообщениям, сделанным на последнем, проходившем в Лондоне, конгрессе международной психоаналитической ассоциации: они заслуживают того, чтобы их опубликовали все целиком[3]. Суждение, содержащееся в одном из них, мы по возможности полно здесь процитируем (перевод наш): «Двадцать лет назад[4] – пишет Эдуард Гловер, – я распространил анкету с целью установить, какие техники и

нормы работы реально используют психоаналитики этой страны (Великобритании) в своей практике. Из двадцати девяти наших практикующих членов двадцать четыре дали мне полные ответы. Изучение их неожиданно (*sic!*) обнаружило, что лишь по шести из шестидесяти трех вопросов анкеты между опрашиваемыми царило полное согласие. Из этих шести вопросов лишь один можно рассматривать как принципиально важный – это вопрос о необходимости анализа переноса; в остальных речь шла о таких мелочах, как неуместность приема подарков, отказ от использования в анализе технических терминов, избежание социальных контактов, воздержание от ответов на вопросы, принципиальное возражение против предварительных условий и, что интересно, оплата всех сеансов, не состоявшихся ввиду неявки клиента».

Значение этой устаревшей уже анкеты можно оценить, приняв во внимание качество практикующих специалистов, чей круг ограничен профессиональной элитой, к которым она адресована. Автор анкеты ссылается на ее результаты исключительно в связи с тем, что вопрос, некогда волновавший его лично, стал теперь на всеобщую повестку дня – речь идет о том, чтобы определить (это и есть заголовок его статьи) "терапевтические критерии анализа". Главное препятствие к решению этой проблемы он видит в фундаментальных теоретических расхождениях: «Не нужно далеко ходить, – пишет он, – чтобы убедиться, что психоаналитические сообщества расколоты определенными разногласиями на две (*sic!*) части, причем отдельные группы придерживаются крайних и взаимно несовместимых взглядов, а единство секций кое-как сохраняется лишь усилиями промежуточных групп, члены которых, как и все эклектики в мире, выдают недостаток оригинальности за достоинство, прямо или косвенно утверждая, будто научная мысль, игнорируя принципиальные разногласия, зиждется на компромиссе. Однако вопреки попыткам эклектиков сохранить перед лицом ученого и психологического сообщества видимость единого фронта, становится все очевиднее, что в определенных весьма существенных отношениях техники, применяемые на практике противоположными

группами, отличаются друг от друга не меньше, чем сметана от сыра»[5].

Впрочем, цитированный автор не строит себе иллюзий относительно шансов на то, что представительный конгресс, к которому он обращается, смягчит возникшие разногласия, корень же зла, по его мнению, состоит в полном отсутствии критики в адрес «натянутого и старательно отстаиваемого предположения, будто лица, уполномоченные взять на себя подобную задачу, разделяют, хотя бы приблизительно, одни взгляды, говорят на одном и том же техническом языке, следуют одинаковым системам диагностики, прогнозирования и отбора случаев, используют, хотя бы приблизительно, те же технические процедуры. Ни одна из этих предпосылок не выдержит хоть сколь-нибудь строгой проверки»[6].

Даже простой перечень статей и работ, в которых авторитеты, менее всего оспариваемые, это признание подтверждают, занял бы в этой энциклопедии десяток страниц, так что обращаться за решением вопроса о вариантах аналитического лечения к здравому смыслу философов – дело, похоже, совершенно безнадежное. Поддержка норм все более и более входит в орбиту групповых интересов, как это и признано уже открыто в Соединенных Штатах, где группа представляет собой силу.

И тогда речь идет не столько о стандарте, сколько о *standing*'е, постановке дела. То, что выше назвали мы формализмом, у Гловера предстает как “перфекционизм”. Чтобы уяснить себе его позицию, достаточно привести выражения, в которых он об этом “перфекционизме” высказывается: анализ «теряет здесь представление о своих границах», идеал этот приводит его к «немотивированным и не поддающимся ни малейшему контролю» рабочим критериям, и даже к «мистике [автор употребляет именно французское слово], никакому изучению недоступной и никакому разумному обсуждению не подлежащей»[7].

Мистификация такого рода – именно этот технический термин используется для обозначения любого процесса, который маскирует для субъекта подлинные истоки последствий его собственных действий – тем более поразительна,

что благоприятную репутацию в общественном мнении, растущую по мере своего стажа, психоанализ сохраняет лишь постольку, поскольку распространена она достаточно широко, чтобы положенное ему в общем мнении место безраздельно оставалось за ним. А для этого достаточно, чтобы в кругу гуманитарных наук на него возлагались соответствующие ожидания и ему давались соответствующие гарантии.

В результате возникают проблемы, которые в такой стране, как Соединенные Штаты, где количество аналитиков придает качеству группы значение весомого для жизни коллектива социологического фактора, становятся предметом интереса общественности.

Тот факт, что в профессиональной среде согласованность техники и теории считается необходимой, само по себе еще далеко не обнадеживает.

Только полная картина существующих разногласий в их синхронии позволит дознаться до истинной их причины.

Во всяком случае именно на эту мысль наводит имеющийся разброд как в координации основных понятий, так и в их понимании.

Существуют хорошие работы, авторы которых, пытаясь вдохнуть в эти понятия новую жизнь, пошли, похоже, верным путем, положив в основу аргументации саму их антиномичность – однако и они впали в синкретизм самых фантастических толков, отнюдь не исключающих безразличие к пустой видимости.

Остается лишь радоваться тому обстоятельству, что недостаток продуктивного воображения не позволил окончательно разрушить фундаментальные понятия, которыми мы и по сей день обязаны Фрейду. Сопротивление, которое оказывают они настойчивым усилиям, направленным на их извращение, от противного доказывает их состоятельность.

Так обстоит, например, дело с понятием *переноса*, выдержавшим все испытания как со стороны вульгаризаторских теорий, так и – что еще хуже – со стороны вульгарных идей. Этим она обязана гегелевской прочности своей конструкции. Навряд ли, в самом деле, можно найти другое по-

нятие, в котором так рельефно выступала бы его идентичность вещи – в данном случае вещи аналитической, – когда оно облегает ее всеми двусмысленностями, образующими ее логическое время.

Это логическое время и есть тот временной фундамент, на котором Фрейд его выстроил и которое мы модулируем теперь, спрашивая: что он – возвращение или надгробный памятник? Другие присматриваются к вещи: их интересует, обладает она реальностью или же лишена ее. Лагаш[8] задается вопросом о самом понятии: что это – потребность повторения или же повторение потребности?[9]

При этом становится понятно, что дилеммы, в которых погрязает практик, обусловлены тем, что за делом его не стоит больше мысль. Создается впечатление, что найдя дорогу в теорию, занимающие нас противоречия овладевают его пером наподобие некоей семантической ἀνάγκη, в которой *ab inferiori* прочитывается диалектика его действий. И оказывается, что в самом разбросе отклонений аналитической практики от осевого направления упорно сохраняется внешняя закономерность – не менее строгая, чем та, с которой разлетающиеся в разные стороны осколки снаряда сохраняют его идеальную траекторию в виде центра тяжести образованного ими в воздухе веера.

Таким образом, недоразумение, которое, как мы уже отметили, служит психоанализу помехой на пути к общественному признанию, дублируется упорным непониманием, возникающим внутри него самого.

Вот здесь-то вопрос о вариантах и может – буде мы воздадим ему должное, представив его медицинской публике, – неожиданно встретить благосклонный прием.

Платформа эта узка: все сводится к тому, что практика, основанная на интерсубъективности, не может избежать ее законов, когда, желая добиться признания, ссылается на их последствия.

Не вспыхнет ли здесь озарение, в свете которого станет хоть на мгновение ясно, что скрытая экстратерриториальность, с которой анализ начинает свое распространение, наводит на мысль о том, чтобы экстериоризировать его, вывести, подобно опухоли, наружу?

Но воздать должное любым претензиям, коренящимся в нежелании знать, можно лишь одним единственным способом: принять их без всяких оговорок.

Вопрос о вариантах лечения, галантно протиснувшись вперед в качестве вопроса о лечении образцовом, волей-неволей оставляет нам для своего решения лишь один критерий – единственный, которым располагает врач, разъясняющий его своему пациенту. Критерий этот, который, принимая его за тавтологию, редко высказывают вслух, мы формулируем здесь письменно: психоанализ – неважно, образцовый или нет – это то лечение, которого ждут от психоаналитика.

От пути психоаналитика к тому, как его придерживаться, успев с него сбиться

Замечание, послужившее нам в качестве выхода из темы предыдущей, обладает очевидностью разве что иронической. Дело в том, что, вырисовываясь на фоне явного тупика, в который заходит вопрос со стороны догматической, оно – если внимательно к нему присмотреться и ощутить спрятанную в нем изюминку – вновь наш вопрос повторяет – повторяет с помощью синтетического суждения *a priori*, отправляясь от которого для практического разума не составит, уж конечно, труда в нем сориентироваться.

Ибо если в вопросе о собственных вариантах путь психоанализа стал настолько сомнителен, что сослаться в свое оправдание может разве что на образец, то существование столь хрупкое нуждается для своего сохранения в человеке – и важно, чтобы это был человек реальный.

В то же время именно по настойчивости, с которой влечет реального человека двусмысленность этого пути, будут сделаны попытки оценить, наряду с воздействием его, которое человек на себе испытывает, и то понятие, которое человек о нем приобретает. Если в условиях этой двусмысленности психоанализ продолжает преследовать свою цель, то объясняется это тем, что смущает его эта двусмысленность ничуть не больше, чем в большинстве других видов практической деятельности; разница лишь в том, что здесь, в этом конкретном виде практики, вопрос о пределе, который сле-

дует положить его вариантам, с повестки дня никогда не снимается, ибо никто не видит границы, за которой двусмысленности наступает конец.

Поэтому не имеет большого значения, попытается ли реальный человек переложить заботы по определению этой границы на авторитеты, которые не помогут ему, не подтасовав карты, или приучит себя игнорировать строгость этой границы, избегать всяких попыток ее опробовать; в обоих случаях действия его из игры превратятся в розыгрыш самого себя – впрочем, тем легче будет ему применять здесь дарования, его к этим действиям приноровляющие, не замечая при этом, что, отдаваясь тем самым на милость недобросовестности установившейся практики, он позволяет ей опуститься до уровня рутины, чьи секреты передаются лишь мастерами, – кстати, не подлежащими критике, ибо зависимыми от тех же дарований, пусть даже нигде в мире не существующих, – прерогативу различать которые они оставляют за собой.

Тот, кто позволит себе облегчить бремя своей миссии подобной ценой, сможет даже опереться на еще звучащее в нашей памяти предостережение того самого голоса, который сформулировал фундаментальные правила нашей практики: не стоит составлять себе об этой миссии слишком возвышенного понятия, а уж тем более не выдавать себя за пророка какой-либо вечной истины. Как видим, и эта заповедь, представ в форме отрицания, по замыслу мэтра способствующей пониманию его правил, перетолковывается ложным смирением в прямо противоположном смысле.

Вступив же на путь смирения истинного, увидеть не выдерживающую критики двусмысленность, с которой психоанализ имеет дело, несложно: она очевидна всякому. Именно она проявляется в вопросе о том, что говорящий “хочет сказать”, и встречается с ней всякий, кто выслушивает чужой дискурс. Уже само выражение, в котором высказывает язык самое наивное свое намерение – понять, “что он хочет сказать” – достаточно ясно говорит нам, что “он” этого не говорит. Но то, что мы обычно хотим сказать этим “хочет сказать”, тоже можно понять двояко, а как именно, зависит только от слушающего: его может интересовать как

то, что говорящий хочет ему посредством адресованной ему речи сообщить, так и то, что говорит ему эта речь о состоянии говорящего. Итак, мало того, что смысл речи содержится в том, кто ее слушает, от его восприятия зависит даже то, *кто* говорит: субъект, к которому он, слушатель, испытывает доверие и с которым готов согласиться, или же тот другой, которого речь эта предъявляет слушателю уже сложившимся.

Вот этой-то принадлежащей слушателю властью выбора и завладевает аналитик – завладевает, чтобы возвести ее затем во вторую степень. Ибо он не только недвусмысленно – как в собственных глазах, так и в глазах говорящего субъекта – берет на себя толкование его дискурса, но и в самом предмете дискурса навязывает субъекту степень открытости, задаваемую правилом, которое дискурс этот предписывает в качестве фундаментального: говорить следует *primo* – не умолкая, и *secundo* – не умалчивая, причем ни связность и внутренняя рациональность речи, ни бесстыдство обращения *ad hominem*, ни соображения общественной допустимости роли здесь не играют. Тем самым аналитик растягивает промежуток, который отдает возникающую в двусмысленности конституирующей речи и конституируемого дискурса сверхдетерминацию субъекта в его полное распоряжение, – растягивает, словно надеясь, что крайности сойдутся при этом в сливающем их до неразличимости откровении. Соединение это не может, однако, произойти в силу одного редко замечаемого ограничения, которому так называемая свободная ассоциация неизбежно подлежит, – ограничения, состоящего в том, что речь субъекта остается в пределах синтаксических форм, которые артикулируют ее в дискурсе на языке, используемом говорящим и одновременно воспринимаемом аналитиком.

Таким образом, аналитик несет на себе всю ответственность – в том полновесном смысле, который мы, исходя из его позиции слушателя, только что определили. Двусмысленность, заключенная в безоговорочной самоотдаче на милость истолкователя, отражается в тайном повелительном оклике, уклониться от которого не поможет даже молчание.

Весомость этой ответственности невольно выдают и ав-

торы. Едва осознанная, она дает о себе знать множеством черточек, в которых сквозит неловкость и недовольство. Причем сказывается это во всем, начиная с путаности и невнятности самих теорий интерпретации и кончая тем обстоятельством, что на практике к ней прибегают все реже и реже, бесконечно откладывая этот момент под различными и всегда плохо обоснованными предлогами. Чтобы скрыть робость перед употреблением термина "интерпретировать", объяснимую неспособностью интерпретацию явить, все чаще прибегают к расплывчатому термину "анализировать". Мысль практикующего аналитика свидетельствует о попытке к бегству. Мнимая основательность теории "контр-переноса" со всей поднятой вокруг нее модной шумихой объясняется службой, которую они могут служить здесь в качестве алиби: аналитик уклоняется с ее помощью от размышления о том действии, которое в процессе порождения истины подобает совершить именно ему[10].

На вопрос о вариантах можно было бы пролить некоторый свет, проследив это бегство, на сей раз в диахронии, по истории вариативных изменений в психоаналитическом движении, и обнажив общий корень той своего рода пародийной кафоличности, в которой этот вопрос воплощается, – его погруженность в опыт языка.

Впрочем, не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы знать, что ключевые слова, которыми упомянутый здесь реальный человек пользуется для иллюстрирования своей техники самым ревнивым образом, не всегда являются теми самыми, о которых у него имеется наиболее ясное представление. Нашим авгурам пришлось бы покраснеть за себя, доведись им порасспросить друг друга на этот предмет с пристрастием: они только рады, когда бесстыдство младших, распространяясь, благодаря парадоксу, объясняемому модными нынче способами их образования, на новичков, избавляет их от этого испытания.

Анализ материала, *анализ сопротивлений* – вот термины, в которых каждый формулирует элементарное начало и заключительное слово своей техники, причем с началом работы над вторым теряет, якобы, актуальность первый. Но своевременность интерпретации того или иного сопротив-

ления санкционируется появлением “нового материала”, и вот вокруг судьбы, предназначенной этому последнему, споры да раздоры как раз и начинаются. Ведь если его следует интерпретировать подобно прежнему, то законно будет задать себе вопрос: а сохраняют ли термины “интерпретация” на обоих этих этапах один и тот же смысл?

Чтобы на этот вопрос ответить, можно обратиться к периоду около 1920 года – времени, когда устанавливается *поворотный пункт* (термин, официально принятый в истории техники), который с тех пор считается на путях анализа решающим. Поводом к нововведению послужило тогда некоторое ухудшение результатов, на констатацию чего до сих пор может пролить свет разве что суждение – достоверное или нет, неважно, – в котором юмор учителя принимает задним числом характер ясновидения: с инвентаризацией бессознательного нужно, мол, спешить, пока оно вновь не затворилось.

То, однако, само название чего, “материал”, отражает недоверие, которое техника к нему с тех пор испытывает, представляет собой совокупность явлений, в которой как раз и научились было находить секрет симптома – огромную и отвоеванную Фрейдом для человеческого познания область, заслуживающую, строго говоря, названия “логической семантики” и включающую в себя сны, неудавшиеся поступки, сбои памяти, капризы ментальных ассоциаций и т. д.

До “поворотного пункта” именно расшифровка этого материала позволяет субъекту, установив определяющий его симптомы конфликт, осуществить припоминание своей истории. По восстановлению ее порядка и заполнению ее белых пятен судят тогда и о технической эффективности, которую следует признать за устранением симптомов. Будучи констатировано, устранение это указывает на динамику, в которой бессознательное определяется как субъект всецело конституирующий: ведь именно он обеспечивал смысл симптомов, когда тот не был еще открыт, в чем мы непосредственно убеждаемся, узнавая его в ухищрениях нарушений, где вытесненное находит общий язык с цензурой – что, заметим кстати, роднит невроз с самым обычным условием истины в речи или письме.

Но если симптом сохраняется после того, как аналитик дал субъекту его разгадку, то это значит, что субъект признанию его смысла сопротивляется, откуда делают вывод, что это сопротивление как раз и надо анализировать в первую очередь. Правило это, ясное дело, еще не отказывает в доверии истолкованию, однако уклонение, которое здесь дает о себе знать, будет обусловлено субъектом, с чьей стороны это сопротивление и будут искать, а общее мнение явно склоняется к тому, чтобы считать субъект конституируемым в его собственном дискурсе. Стоит лишь выйти в поисках его сопротивления за пределы этого дискурса, как уклонение станет непоправимым. Искать причину неудачи в конституирующей функции самой интерпретации никому уже не придет в голову.

Это движение в направлении отказа от использования речи позволяет по праву утверждать, что психоанализ так и не избавился до сих пор от своей детской болезни – выражение, уместное здесь не в качестве общего места, – т. е. от всей той собственности, с которой он в этом движении сталкивается, и где все держится на методической ошибке, санкционированной одним из крупнейших авторитетов в области детского психоанализа.

Понятие сопротивления не было, однако, новостью. Уже в 1895 году Фрейд усмотрел его проявления в вербализации тех речевых цепочек, где субъект конституирует свою историю – процесс, для описания которого он, желая подчеркнуть, что воздействие сопротивления происходит в направлении, перпендикулярном параллельным между собою цепочкам, смело представляет эти последние в виде пучка линий, огибающих расположенное между ними патогенное ядро. Более того, зависимость этого воздействия от расстояния между ядром и цепочкой в процессе припоминания он описывает математической формулой обратной пропорциональности, обнаруживая, таким образом, в этом воздействии меру реализованной в припоминании близости.

Совершенно ясно, что даже если истолкование сопротивления, действующего в той или иной дискурсивной цепочке, отличается от истолкования смысла, посредством

которого субъект переходит от одной цепочки к другой, лежащей “глубже” нее, первое из них осуществляется, тем не менее, на самом тексте дискурса, включая уклонения, искажения, опущения, синкопы и пустоты, в нем имеющиеся.

Таким образом, истолкование сопротивления приводит нас к той самой двусмысленности, которая была выше проанализирована нами в позиции слушателя и которую вновь вызывает здесь к жизни простой вопрос: “Кто сопротивляется?”. Собственное *Я* субъекта (moi), – отвечала первая теория Фрейда, имея, конечно, в виду личностный субъект, но взятый лишь в самом предварительном виде, исключительно под углом зрения его динамики.

Вот здесь-то новая ориентация техники как раз и впадает в ошибку: она именно так на этот вопрос и отвечает, пренебрегая при этом тем обстоятельством, что смысл *Я*, которым она оперирует, Фрейд, оракул его, успел изменить, поместив его в свою новую топику – причем именно с целью лучше оттенить тот факт, что сопротивление не является привилегией *Я*, так как “Оно” и “Сверх-Я” участвуют в нем в равной мере.

В результате это последнее усилие его мысли так и не было окончательно понято: недаром авторы – теоретики “поворотного пункта” – так и крутятся до сих пор вокруг инстинкта смерти, не в силах решить, с чем именно в *Я* и “Сверх-Я” аналитика должен субъект себя идентифицировать, – крутятся, так и не сделав ни одного шага вперед, но нагородив зато множество бессмыслицы, с которой не найти уже сладу.

Заведомо неверно определив для себя, какой именно субъект находит себе приют в слове, они третируют конституирующий симптом субъект как субъект, наоборот, конституируемый, как они выражаются, в материале, в то время как *Я*, в сопротивлении выступающее как всецело конституированное, становится у них субъектом, к которому аналитик в дальнейшем обращается как к конституирующей инстанции.

Утверждать, будто понятие *Я* подразумевает личность в ее “цельности”, неправомерно – даже (и тем более) если именно оно обеспечивает подключение органов так назы-

ваемой “системы восприятие–сознание”. (Вспомним: разве не Сверх-Я выступает у Фрейда главным гарантом опытного соприкосновения с реальностью?)

Фактически речь идет о возврате идеологии самого реакционного (но зато сколь поучительного!) типа, которая во всех остальных областях уже отрекается от себя по причине окончательного банкротства[11].

Достаточно прочесть первые же фразы книги м-ль Анны Фрейд “*Я* и механизмы защиты”[12]: «В определенные периоды развития психоаналитической науки любые проявления теоретического интереса к *Я* индивидуума встречали откровенное осуждение... Любое перемещение интереса от самых глубоких слоев психической жизни к более поверхностным, равно как и любой поворот от исследования “Оно” к *Я* считались, как правило, первым признаком неприязни по отношению к психоанализу», чтобы расслышать в этой тревожной прелюдии к наступлению новой эры ту зловещую музыку, в которую облечена в “Финикиянках” Эврипида мифическая связь персонажа Антигоны со временем, когда Сфинкс возвращается к деянию героя.

С тех пор нам успело набить оскомину напоминание о том, что мы не знаем о субъекте ничего, кроме того, что он пожелает дать нам знать о себе сам, а Отто Фенихель даже изрек в простоте своей как не подлежащую обсуждению истину ту мысль, будто «именно на *Я* возложена задача понимать смысл слов»[13].

Следующий шаг уже ведет к путанице между сопротивлением, с одной стороны, и защитой *Я*, с другой.

Понятие *защиты*, которым Фрейд впервые воспользовался в 1894 году для первичного соотнесения невроза с общепринятыми представлениями о функции заболевания, было позднее, в очень важной работе “О торможении, симптоме и тревоге”, взято им на вооружение вновь – на этот раз с целью подчеркнуть, что *Я* формируется из тех же моментов, что и симптом.

Но уже само семантическое употребление термина *Я* в качестве глагольного субъекта, которое находим мы в только что цитированной нами книге м-ль Анны Фрейд, достаточно ясно свидетельствует как об отступничестве, которое

освящает она здесь своим авторитетом, так и о новой ориентации, в которой *Я* выступает уже как объективированный субъект, механизмы защиты которого конституируют сопротивление.

Лечение предстает в этом случае как атака, предполагающая существование у субъекта последовательного ряда систем защиты – что прекрасно подтверждает высмеянная походя Эдуардом Гловером "лапша", которую вешают нам на уши те, кто тщится прибавить себе веса, без конца задаваясь вопросом о том, «достаточно ли хорошо была проанализирована агрессивность»[14]; это и позволяет нашему простаку ничтоже сумняшеся уверять нас, будто никаких проявлений переноса, кроме агрессивных, он сроду в жизни своей не встретил.

Таким образом, пытаясь поправить дело, Фенихель придает ему оборот, запутывающий его еще более. И хотя то, что он говорит, намечая порядок операций по преодолению рубежей защиты субъекта, который он рассматривает как своего рода крепость – порядок, из которого следует не только то, что вся совокупность защитных рубежей субъекта призвана отвлечь атаку от того единственного, который, прикрывая ближайшие доступы к тому, что за ним скрывается, тем самым уже выдает его, но также и то, что этот последний рубеж и становится в этой игре главной ставкой, вплоть до того, что если влечение, которое он маскирует, обнаруживает себя неприкрыто, то в этом следует видеть последний маневр, направленный на то, чтобы этот рубеж сохранить, – не лишено определенного интереса, впечатление реальности, которое нас к этой стратегии привлекает, служит лишь прелюдией к пробуждению, которое требует, чтобы там, где даже малейший намек на истину исчезает, диалектика вновь вернула себе право продемонстрировать, что она вовсе не должна быть бесполезной для практики – хотя бы в том, чтобы вернуть ей смысл.

Ибо если то, что она открывает, ничуть не более истинно, чем то, что она скрывает, то бессмысленному поиску пресловутых глубин не будет больше конца, и анализ, однажды забыв об этом, немедленно деградирует, превращаясь в грандиозную психологическую головоломку, о которой

отражения ее в практике иных аналитиков дают более чем яркое представление.

Притворяться, будто притворяешься, диалектика действительно дозволяет, но это ничуть не умаляет того обстоятельства, что правда, в которой субъект сознается специально, чтобы ее приняли за обман, отличается от того, что было бы сказано им по ошибке. Однако сохранение этого различия возможно лишь в диалектике интерсубъективности, где конституируемый дискурс предполагает конституирующую его речь.

Уходя от посюстороннего объяснения этого дискурса, его неизбежно сдвигают в область потустороннего. Если раньше, в крайнем, или просто в удобном, случае, дискурс субъекта можно было в исходной перспективе анализа вынести за скобки ввиду функции его, состоящей в том, чтобы вводить в заблуждение и чинить открытию истины всяческие препятствия, то теперь он обесценивается на всем протяжении анализа и в качестве исполнителя другой функции – функции знака. Тем, что в нем отвлекаются от всякого содержания, обращая внимание лишь на дикцию, тон, паузы и мелодику, дело больше не ограничивается. Похоже, что еще немного, и ему должны будут предпочесть любые другие проявления присутствия субъекта, как, скажем, его способ вступать в разговор, поведение, присущую его манерам аффектацию, то, как он прощается при уходе; поведенческая реакция в ходе сеанса вызовет больше интереса, чем синтаксическая ошибка, и оценена будет скорее как показатель тонуса, нежели как значимый жест. Какая-нибудь эмоциональная вспышка или урчание в животе будут желанными свидетелями мобилизации сопротивления, и глупость фанатиков переживаемого дойдет до того, что во взаимном обнюхивании они обретут, наконец, вожделенную и последнюю цель.

Но по мере того, как от дискурса, в который вписывается подлинность аналитического отношения, отвлекаются все больше, то, что продолжают при этом называть его "интерпретацией", начинает определяться почти исключительно знанием аналитика. Конечно, знания его на этом пути значительно возросли, но полагать, будто интеллектуализма

в анализе удалось таким образом избежать, еще рано, по крайней мере до тех пор, пока не будет признано, что сообщение этого знания субъекту представляет собой всего-навсего внушение, к которому критерий истины остается неприложим. И вот, Вильгельм Райх, в своем способе анализа характера, который справедливо считается существенным этапом в развитии новой техники, определивший условия вмешательства безупречно, действительно признает, что успех этой техники зависит исключительно от настойчивости, с которой она применяется[15].

Даже проанализировав сам факт этого внушения как таковой, мы настоящей интерпретации из него не сделаем. Все, что способен такой анализ выявить, сводится к отношениям одного Я с другим Я. Именно это и явствует из расхожей формулы, гласящей, что аналитик должен сделаться союзником здоровой части Я субъекта, если эту формулу дополняет теория удвоения Я в процессе психоанализа[16]. Продолжив таким образом серию делений Я субъекта *ad infinitum*, легко убедиться, что в пределе оно сводится к Я аналитика.

На этом пути не имеет большого значения то обстоятельство, что ход анализа определяется формулой, явно отражающей возврат к традиционному презрению ученого к "болезненному мышлению"; говоря с пациентом на "его языке", речи его ему не вернуть.

Будучи сформулирована в другой перспективе – перспективе объектного отношения, роль которого, приобретенную им за последнее время в технике, мы рассмотрим в дальнейшем – суть дела не изменилась, а наоборот, получила новое подтверждение. Разница лишь в том, что описывая интроекцию в субъект, в форме хорошего объекта, *Я* аналитика, теория эта позволяет помечтать о том, какие выводы относительно ментальности современного цивилизованного человека мог бы сделать из этой мистической трапезы наблюдающий ее Гурон, доведись ему впасть в то же странное заблуждение, которое совершаем мы, когда воспринимаем буквально символические идентификации мышления, именуемого нами "примитивным".

Так или иначе, теоретик, положительно высказывающийся по деликатному вопросу окончания анализа, без

обиняков утверждает, что оно подразумевает идентификацию субъекта с Я аналитика, поскольку это последнее его анализирует[17].

Будучи демистифицирована, формула эта означает лишь одно: лишив свои отношения с субъектом всякой опоры в речи, аналитик не может сообщить ему ничего, что не имело бы своим источником либо предвзятое знание, либо непосредственную интуицию, т. е. что не предопределялось бы организацией его собственного Я.

Чтобы в самом уклонении анализа от верного пути соблюсти его принципы, примем покуда эту апорию и поставим следующий вопрос: чем же Я аналитика должно быть, чтобы взять на себя смелость быть мерой истины всех и каждого из субъектов, вверяющих себя его помощи?

О *Я* в анализе и о том, чем оно кончает у аналитика

Термин "апория", который резюмирует в конце 2-й главы достижения, выведшие нас из тупика первой, заявляет о том, что мы твердо намерены противопоставить эти достижения здравому смыслу психоаналитика, отнюдь не злорадствуя, конечно, при этом по поводу обиды, которую он, возможно, испытает.

Тут мы должны еще заметить, что, взятые в другом контексте, те же самые вещи требуют, чтобы о них говорили совсем по-другому, и предварим наши рассуждения напоминанием о том, что если над знаменитым "общением бессознательных" (не без оснований, ради принципа истинного истолкования, отнесенным к более ранней фазе) возобладали-таки молчаливое согласие [*Einfühlung*] и оценка [*Abschätzung*], которые Ш. Ференци[18] (1928, p. 209) не желает рассматривать иначе как исходящие из предсознательного, то значение, которое придается теперь эффектам, относимым под рубрику контр-переноса[19], представляет собой не что иное, как эффект обратной реакции.

В условиях, когда те, кто считают, что инстанция *Я* репрезентирует безопасность субъекта, не могут указать место этой инстанции по отношению к ее соседям, мелочные споры не могут не продолжаться до бесконечности.

Доверять следует первому впечатлению, которое производит психоаналитик, а судя по этому впечатлению, *Я* отнюдь не самое сильное у него место, по крайней мере, когда речь идет о его собственном *Я* и о ресурсах, которые он может в нем почерпнуть.

Не в этом ли главная, стержневая причина требования, чтобы аналитик непременно прошел анализ сам? Требования, которое Ференци возводит в ранг второго основного правила. И разве не смиряется аналитик перед суждением Фрейда – которое можно по праву считать его окончательным мнением, поскольку высказано оно было за два года до смерти, – гласящим, что «как правило, сам он [аналитик] не достигает в своей собственной личности той степени нормальности, до которой хотел бы довести своих пациентов»[20]. Этот поразительный и не подлежащий обжалованию приговор лишает психоанализ преимущества того оправдания, которым, в принципе, всякая элита может воспользоваться, сославшись на то, что набирается она среди людей самых дюжинных.

Поскольку в данном случае она оказывается ниже среднего уровня, наиболее благоприятным для нее предположением будет увидеть в этом обстоятельстве побочное следствие растерянности, корни которой, как явствует из предыдущего, следует искать в самом аналитическом акте.

В одной из своих работ Ференци, который из первого поколения авторов более всех вправе задаться вопросом о том, что требуется от личности аналитика, и притом именно по отношению к цели лечения, формулирует самую суть проблемы.

В своей блестящей статье, посвященной психологической гибкости, он пишет в следующих выражениях: «Проблема, до сих пор даже не затронутая, на которую мне хотелось бы обратить внимание, это проблема метапсихологии – которую еще предстоит создать – технических процессов аналитика в ходе анализа. Его либидинальное равновесие колеблется наподобие маятника между идентификацией (любовью к объекту в анализе) и интеллектуальной функцией самоконтроля. В своей долгой ежедневной работе он не может отдаться удовольствию свободно

тешить свой нарциссизм и эгоизм в реальности вообще, но исключительно в воображении и лишь на краткий миг. Я не сомневаюсь, что столь тяжелая нагрузка, в жизни навряд ли где встречающаяся, потребует рано или поздно разработки для аналитика специальных правил гигиены».

Предостережение это ценно тем, что открывает глаза на то, что всякий психоаналитик должен предварительно в себе самом преодолеть. Иначе, какой же смысл предпосылать его тому срединному пути аналитического вмешательства, который пролагает в дальнейшем автор, следуя гибким ориентирам, которые он пытается на нем выявить?

Порядок субъективности, который ему надлежит реализовать в себе, – это все, на что указывают монотонно повторяющиеся на каждом перекрестке стрелки, следуя взглядам слишком различным, чтобы не спросить себя, что же их объединило.

Menschenerkenntnis, *Menschenforschung* – вот два термина, чье романтическое происхождение, связывающее их с искусством управлять людьми и с естественной историей человечества, позволяет нам оценить то полезное, что рассчитывает найти в них автор в видах надежного метода и арены для соглашения: устранение из уравнения собственных неизвестных – вторичное место, отведенное знанию – власть, которая умеет не настаивать, – доброта без потакания – недоверие к алтарям благодеяний – единственное подлежащее атаке сопротивление: сопротивление безразличия [*Unglauben*], или по принципу “мне много не надо” [*Ablehnung*] – поощрение враждебных высказываний – подлинно скромная оценка своего знания. Разве не *Я* устраняет себя в этих предписаниях, уступая место точке-субъекту истолкования? Вступить же в силу они могут лишь в результате анализа самого психоаналитика и, в первую очередь, его цели.

В чем состоит цель анализа по отношению к *Я*? Как узнать эту цель, заблуждаясь относительно его функции в том, что психоанализ делает? Воспользуемся для ответа путем критики, поверяющей дело теми принципами, которыми оно само руководствуется.

Подвергнем же этому испытанию так называемый анализ характера. Своим основанием этот последний объявля-

ет открытие того факта, что личность субъекта структурирована как симптом, который она ощущает как инородный. Другими словами, сама того не зная, она несет в себе скрытый смысл – смысл вытесненного конфликта. И появление материала, этот конфликт обнаруживающего, достигается во втором периоде предварительной фазы лечения, о котором Райх, чья концепция осталась в психоанализе классической[23], без обиняков заявляет, что цель его состоит в том, чтобы позволить субъекту рассматривать свою личность в качестве симптома.

Совершенно ясно, что эта точка зрения принесла многочисленные плоды, среди которых – объективация таких структур, как так называемые фаллически-нарциссические и мазохистские характеры, до тех пор ввиду своего явно асимптотического характера остававшиеся в тени, не говоря уже о таких характерах, симптомы которых были известны ранее, как истерический и навязчивый, чье подробное во всех чертах описание само по себе, независимо от ценности теории этих характеров, представляет собой ценный вклад в психологическое познание.

Тем более важно остановиться на результатах анализа, великим мастером которых был Райх, рассмотрев их такими, какими они представлены в его отчете. Итог его сводится к тому, что поле изменений, венчающих собой проведенный у субъекта анализ, никогда, даже частично, не перекрывает собой дистанций, отделяющих друг от друга первоначальные структуры. Поэтому благодетельность анализа этих структур, ощущаемая субъектом после того, как они были, путем объективации их черт, "симптомифицированы", требует, чтобы было тщательно выяснено, как они соотносятся с напряжениями, которые были анализом разрешены. Вся выдвигаемая Райхом теория основана на предположении, что структуры эти представляют собой защиту индивидуума против оргазмического извержения, чья первичность в переживаемом является тем главным, что обеспечивает его внутреннюю гармонию. Хорошо известно, к каким крайностям привела автора эта идея – крайностям, послужившим причиной его исключения из аналитического сообщества. Но хотя исключение было небезосновательно,

никто так и не смог четко сформулировать, в чем же Райх был неправ.

А дело-то все в том, что структуры эти сохраняются и после разрешения тех напряжений, которые на первый взгляд их мотивируют, и, следовательно, служат лишь субстратом или материалом, который, хотя и организуется, как анализ это доказывает, в виде символического материала невроза, но действенность свою получает от воображаемой функции в том виде, в котором она заявляет о себе в различных способах провоцирования инстинктивного поведения, выявленных путем изучения этиологии у животных – изучения, идея которого была, кстати сказать, в значительной мере продиктована концепциями смещения и идентификации, берущими свое начало в анализе.

Таким образом, в своем анализе характера Райх допустил одну-единственную ошибку: то, что он назвал "доспехом" (*character armor*) и с чем соответственным образом обращался, было на самом деле лишь нарисованным на щите гербом (*armoirie*). После лечения субъект сохраняет все оружие, которым природа его наградила; оно просто стирает с этого оружия гербовые знаки.

Подобная ошибка оказалась возможной исключительно потому, что воображаемая функция, которая руководит животным в фиксации на сексуальном партнере, в провоцирующем сексуальный акт брачном ритуале и даже в сигналах, отмечающих занятую территорию, у человека, похоже, целиком отвлечена в сторону лежащего в основе Я нарциссического отношения и порождает агрессивность, координата которой указывает на значение, которое, как в дальнейшем будет сделана попытка доказать, является альфой и омегой этого отношения; заблуждение же Райха объясняется его открытым неприятием этого значения, которое получает свое место лишь в перспективе *инстинкта смерти* – понятия, введенного Фрейдом в пору расцвета его творческой мысли и служащего пробным камнем посредственности аналитиков, то искажающих его до неузнаваемости, то отбрасывающих его вовсе.

Таким образом, анализ характера может лечь в основу мистифицирующей концепции субъекта лишь опираясь на

то, что в свете его же собственных принципов предстает в нем как защита.

Чтобы восстановить его ценность, поставив его в верную перспективу, следует напомнить, что зайти в открытии человеческих желаний столь далеко психоанализу удалось лишь выслеживая по тропам невроза и маргинальной субъективности индивидуума структуру, свойственную желанию, которое, как выяснилось, формирует этот индивидуум на дотоле неожиданную глубину – желанию заставить признать собственное желание. Желание это, в котором с буквальной точностью подтверждается тот факт, что желание человека отчуждается в желании другого, как раз и определяет структуру открытых анализом влечений в соответствии с любыми превратностями логических замещений в их источнике, направлении и объекте[25]; однако сколь ни удаленными оказываются эти влечения, как бы глубоко мы их историю ни прослеживали, от потребности в естественном удовлетворении, они неизменно следуют в своих проявлениях фазам, воспроизводящим все формы сексуальных извращений, – это, по крайней мере, самое очевидное и общеизвестное, что дал аналитический опыт.

Гораздо легче игнорируют, однако, дающее о себе знать в этом опыте господство нарциссического отношения, т. е. второго отчуждения, посредством которого в субъект, вместе с идеальной амбивалентностью позиции, в которой он идентифицирует себя внутри первертной пары, вписывается внутреннее удвоение его существования и его искусственности.

И все же именно выявление в перверсии субъективного смысла как такового, а не достижение этим смыслом признанной другими объективации, стало – как явствует уже из эволюции научной литературы – решающим шагом на пути присоединения психоанализа к знаниям о человеке.

Однако теория Я в психоанализе по-прежнему остается отмечена принципиальным заблуждением – исключением был, разве что, период ее разработки, который продолжился у Фрейда с 1910 до 1920 гг., – период, когда она предстает нам вписанной без остатка в структуру нарциссического отношения.

Ибо изучение Я никогда, в ранний период развития психоанализа, не было источником той неприязни, о которой говорит в цитированном выше отрывке Анна Фрейд, – скорее оно начало содействовать свержению Я с пьедестала позже, когда воображение теоретиков его туда водрузило.

Концепция феномена любви-страсти в ее предопределенности образом "моего идеального я" и вопрос о неминуемости живущей в ней ненависти – вот над чем стоит при изучении мысли Фрейда в указанный выше период поразмыслить тому, кто хотел бы как следует понять отношение "моего я" к образу другого – понять таким, каким оно достаточно явно предстает нам уже в заглавии, примыкающем к "Коллективной психологии и анализу 'Я'"[26], одной из статей, где мысль Фрейда вступает в свой последний период – период, когда *Я* получит в топике свое окончательное определение.

Но итог этот останется непонятен, покуда мы не проследим те вехи на пути к нему, которыми служат введенные в работе "По ту сторону удовольствия"[27] понятия *изначального мазохизма* и *инстинкта смерти*, а также концепция *объективации*, усматривающая ее корни в *запирательстве* – в том виде, в каком она изложена в небольшой статье 1925 года, озаглавленной *Verneinung*[28].

И лишь проделавший эту работу увидит подлинный смысл постоянно растущего интереса к агрессивности в переносе и сопротивлении, равно как и к понятию *агрессивности* в "Недовольстве цивилизацией" (1929)[29], убедившись, что вовсе не о той агрессивности, которую мнят лежащей в основе борьбы за жизнь, идет там речь. Понятие *агрессивности* отвечает, напротив, разрыву субъекта с самим собой – разрыву, впервые возникающему в тот момент, когда он видит, как воспринимаемый в цельности своего гештальта образ другого преждевременно вступает в противоречие с чувством несогласованности двигательных функций, – который она и оформляет задним числом в образах расчленения.

Этот же самый опыт служит мотивом как той лежащей у истоков Я депрессивной реакции, что была реконструирована Мелани Кляйн, так и ликующего усвоения появив-

шегося в зеркале образа – этого характерного для детей шести-восьмимесячного возраста явления, которое автор настоящих строк считает, наряду с образованием идеального *Urbild'*а [прообраза] Я, наиболее показательным свидетельством воображаемой природы функции Я в субъекте[30].

Таким образом, именно в лоне пережитого в течение первых лет жизни опыта подавленности и устрашения вводится индивид в тот мираж владения своими функциями, где субъективность его пребудет расколотой, – мираж, чье образование в воображении, наивно объективированное психологами в качестве синтетической функции Я, демонстрирует, скорее, условие, которое открывает его отчуждающей диалектике Раба и Господина.

Но если опыт этот – который в целом ряде моментов инстинктуальных циклов, и особенно в парадировании, предваряющем цикл сексуальный, со всеми обманами и отклонениями в поведении, которое этими циклами предусмотрено, прочитывается также и в поведении животных – действительно вмещает в себя значение, придающее человеческому субъекту устойчивую структуру, то объясняется это тем, что получает он его в результате напряжения, испытываемого им в связи с бессилием, обусловленным той преждевременностью рождения, характерные следы которой находят биологи в анатомическом различии человека, ставя нас перед фактом, где узнается требуемая Гегелем в качестве условия плодотворного недуга трещина природной гармонии, та счастливая ошибка жизни, в силу которой человек, различая себя от своей сущности, открывает для себя тем самым и собственное существование.

Единственной реальностью за тем новым очарованием, которое приобретает для человека воображаемая функция, является на самом деле прикосновение смерти, печать которого он получает при рождении. Ибо перед нами тот же "инстинкт смерти", который проявляется в этой функции и у животного – чтобы убедиться в этом, достаточно принять во внимание то, что субъективность, служа в сексуальном цикле специфической фиксации на сексуальном партнере, не отличается в нем от пленяющего ее образа, и что индивидуум оказывается при этом лишь мимотечением этого вос-

произведенного в жизни представлением образа. Разница лишь в том, что человеку образ этот открывает свое смертоносное значение, а одновременно и саму смерть: что она существует. Но дается ему этот образ лишь как образ другого, и оказывается, таким образом, у него похищен.

В итоге Я всегда оказывается только половиной субъекта – причем той, которую, находя, он одновременно теряет. Понятно теперь, что он за нее держится, стараясь удержать ее во всем, что, будь то в другом или в нем самом, мнится ему ее двойником и принимает сходный с ней облик.

Демистифицируя смысл того, что теория именует “первичными ассоциациями”, скажем, что при глубочайшем различии способов возможного отношения к другому – от призывной речи до самой непосредственной симпатии – субъект всегда навязывает другому воображаемую форму, носящую отпечаток – или даже целый ряд отпечатков, наложенных друг на друга – того опыта бессилия, на котором эта форма была смоделирована, и вот эта-то форма и есть не что иное, как Я.

Таким образом, возвращаясь к действию аналитика, отметим, что именно в том воображаемом фокусе, где форма эта возникает, субъект, избавленный действующим правилом от всякого опасения, что обращение его в итоге не будет принято, наивно пытается свой дискурс сосредоточить. Больше того, в визуальном богатстве, унаследованном этой формой от своих начал, как раз и кроется причина того условия, которое, при всем решающем значении, которое ощущается за ним в определенных разновидностях техники, редко получает ясное объяснение – условия, которое требует, чтобы во время сеанса аналитик занимал место, где он остается для субъекта невидим; на самом деле нарциссический образ возникает при этом в еще большей чистоте, предоставляя регрессивной протеичности своих соблазнов еще больший простор.

Конечно, вопреки всему этому, аналитик знает, что сколь бы вкрадчивы ни были призывы, которые субъект дает ему на этом месте услышать, отвечать на них не следует, так как расплатой за это станет возникновение там характерной для переноса любви, которую ничто, кроме искусственного

происхождения ее, не отличает от любви-страсти, так что условия, ее породившие, в своих последствиях не оправдаются, а сам аналитический дискурс сведется к молчанию вызванного в представлении присутствия. Знает аналитик и то, что в меру недостаточности своего ответа он спровоцирует у субъекта агрессивность, или даже ненависть, характерные для негативного переноса.

Куда слабее, однако, отдает он себе отчет в том, что важно здесь не столько что именно он отвечает, сколько место, с которого это делает. Ведь коль скоро принцип анализа сопротивлений велит ему объективировать субъект, ограничиться предусмотрительным уклонением от вступления в игру, которую тот ведет, он уже не может.

И в самом деле, стоит ему поместить в фокусе своего зрения тот объект, по отношению к которому Я субъекта является образом – скажем, черты его характера – как он немедленно – и с неменьшей наивностью, чем сам субъект – подпадет под обаяние собственного своего Я. И мерой этого эффекта послужат здесь не столько миражи, этими чарами порождаемые, сколько определяемая ими дистанция его связи с объектом. Ибо стоит лишь фиксировать ее неподвижно, и субъект сразу же сумеет ее обнаружить.

В результате аналитик окажется с субъектом в отношении еще более тесного сообщничества, где моделирование субъекта Я аналитика станет не чем иным, как алиби его собственного нарциссизма.

И хотя в теории, которая это заблуждение покрывает и чьи формы мы выше охарактеризовали, правда открыто не произносится, в пользу ее свидетельствуют феномены, которые один из лучших аналитиков, сформированных в школе аутентичности Ференци – описывает ли он поглощающий субъекта нарциссический пыл, который ему настойчиво предлагается погасить в холодных струях реальности, или прощальное сияние не поддающейся описанию эмоции, в которой субъект дальновидно обнаруживает соучастие самого аналитика, – столь чутко анализирует в качестве характеристик тех случаев, которые он полагает законченными[31]. Дополнительным подтверждением служит разочарованная готовность того же автора признать, что

лучшее, на что иные могут надеяться, это разлучающая их с аналитиком ненависть[32].

Результаты эти дают санкцию на перенос, соответствующий теории так называемой "первичной" любви, которая берет за свой образец взаимную ненасытность пары мать-и-ребенок[33]; во всех рассмотренных ее формах выдает себя чисто дуалистическая концепция, которая и правит отныне бал аналитической взаимосвязи[34].

Если интерсубъективные отношения в анализе действительно рассматриваются как отношения пары индивидуумов, то единственное, что может лечь в их основу, это единство увековеченной витальной зависимости. Идея эта искажает фрейдовскую концепцию невроза (невроза одиночества), так как реализоваться она может лишь в полярности пассивизации и активизации субъекта – термины, которые Микаэль Балинт недвусмысленно признает выражением тупика, который и делает необходимой его собственную теорию[35]. Человеческой мерой ценности подобных ошибок служит тонкость коннотаций, приобретаемых ими под достойным пером.

Исправить же их нельзя, не прибегнув к тому посреднику между субъектами, которым служит речь. Однако посредничество это мыслимо лишь при условии, что в самом воображаемом отношении между ними налицо окажется третий участник – смертоносная реальность, тот инстинкт смерти, которым обусловлено, как известно, обаяние нарциссизма и чьи последствия разительно проявляются в результатах, которые наш автор признает итогом анализа, доведенного в отношениях одного Я с другим Я до конца.

Для того, чтобы отношения переноса были от этих последствий свободны, аналитику следует, очистив нарциссический образ своего Я от всех форм желания, участвовавших в его образовании, свести его к той единственной ипостаси, которая за этими масками кроется, – абсолютному господину, смерти.

Вот здесь-то и получает анализ Я свое идеальное завершение, в котором субъект, отыскав в процессе воображаемой регрессии корни своего Я, достигает, путем прогрессирующего припоминания, конца анализа – субъективации смерти.

Это и есть конец, которого мы вправе требовать для *Я* аналитика – человека, по отношению к которому справедливо будет сказать, что жизнь, которую ему предстоит провести через столько судеб, останется ему дружественна лишь при условии, что он не должен испытывать иного обаяния, кроме обаяния своего единственного господина – смерти. Что ж, цель для человека вполне достижимая – ведь она вовсе не подразумевает, что для него самого или для кого-то другого смерть будет обладать чем-то большим, чем обаяние; к тому же она просто-напросто удовлетворяет требованиям, необходимым для выполнения задачи аналитика в том виде, в каком выше формулирует ее Ференци.

Однако реализовано это воображаемое условие может быть лишь в аскезе, путь которой заключается для [человеческого] существа в том, что всякое объективное знание мало-помалу повисает в неопределенности. Ведь реальность собственной смерти не является для субъекта предметом, доступным воображению, и аналитику известно, как и любому другому, лишь то, что он представляет собой существо, обреченное смерти. Поэтому если ему действительно удалось, избавившись от всех прельщений "Своего Я", достичь "бытия-к-смерти", никакое другое знание, будь то непосредственное или им же выстроенное, не сможет заслужить у него предпочтение в качестве орудия власти, не упразднив тем самым самого себя.

Теперь, следовательно, он может ответить субъекту с того самого места, откуда он хочет, но он не хочет больше ничего, что бы это место определяло.

Вот здесь-то, по здравом размышлении, и следует искать мотив того происходящего в глубине колебательного движения, которое после каждой очередной, и всегда обманчивой, попытки сделать анализ "активнее", возвращает его в "выжидательную" позицию.

Поведение аналитика не может, между тем, диктоваться неопределенностью безразличного произвола. Но общепринятое предписание доброжелательной нейтральности никаких личных указаний на сей счет не содержит. Ибо подчиняя добрую волю аналитика благу субъекта, она отнюдь не отдает в распоряжение этого последнего его знание.

Мы переходим, таким образом, к следующему вопросу: что должен знать в анализе аналитик?

Что должен уметь психоаналитик: не ведать того, что знает

Воображаемое условие, к которому мы в конце предыдущей главы пришли, следует рассматривать как условие идеальное. Но как принадлежность к Воображаемому не делает его, согласитесь, иллюзорным, так и принятие его в качестве идеального не обращает его тем самым в нереальное. Так, идеальная точка, именуемая в математике "мнимым" решением, будучи осью преобразования или пунктом схождения фигур или функций, вполне определенных в Реальном, является тем самым их неотъемлемой частью. Именно так и обстоит дело с Я аналитика в форме, приданной нами проблеме, на вызов которой мы ответили.

Вся соль вопроса, предметом которого стало теперь знание аналитика, состоит в том, что на ответ, гласящий, будто аналитик знает, что делает, он отнюдь не рассчитан, ибо как раз тот неоспоримый факт, что аналитик относительно этого – как в теории, так и в технике, – заблуждается, и побудил нас сместить фокус вопроса таким образом.

Ибо согласившись с тем, что анализ, ничего не изменяя в Реальном, "меняет" для субъекта "всё", придется признать, что покуда аналитик не может сказать, в чем проделываемая им операция состоит, термин "магическое мышление", обозначающий наивную веру, которую субъект, которым аналитик занимается, питает в его могущество, останется ничем иным, как алиби его собственного заблуждения.

Случаев продемонстрировать глупость в употреблении этого термина как в психоанализе, так и вне его, представляется немало, но этот открывает перед нами, без сомнения, самую благоприятную возможность поинтересоваться у аналитика относительно того, что же именно позволяет ему считать собственное знание привилегированным.

Ведь для того, чтобы провести различие между мышлением аналитика и мышлением тех, кто утверждает, будто он "не такой, как другие", ещё недостаточно, характеризуя полученные им во время собственного анализа познания,

бездумно прибегать к термину “пережитое” – словно любое происходящее из опыта познание не “переживается” точно так же. Но в тщетности этих утверждений нельзя упрекнуть и “человека”, их произносящего. Ибо хотя оснований говорить, будто аналитик “не такой, как другие”, “человек” действительно не имеет, так как признак, по которому “человек” узнает в себе подобном человека, состоит в том, что “человек” может с ним говорить, “человек”, говоря, что аналитик не такой человек, как другие, все же прав, если он хочет тем самым сказать, что “человек” узнает в человеке равного себе по тому, насколько далеко идет значение его слов.

Итак, аналитик отличается от прочих тем, что общий всем людям функции он дает далеко идущее применение, которое не каждому доступно: он “держит” речь.

Это и есть то, что он для речи субъекта делает, – делает даже тогда, когда, как мы выше уже показали, он ее молчаливо выслушивает. Ибо молчание это предполагает речь, о чем свидетельствует само выражение “хранить молчание”, которое по отношению к молчанию аналитика означает не просто тот факт, что он не производит шума, а то, что он молчит *вместо* ответа.

Нам не пойти этим путем дальше, пока мы не спросим себя: “а что же такое речь?” И попытаемся дать на него далеко идущий ответ.

Ни одно понятие не дает понять смысл речи – даже понятие понятия, ибо она не является смыслом смысла. Зато она дает смыслу опору в символе, который она в акте речи воплощает.

Перед нами, таким образом, акт, и в качестве такового он предполагает наличие субъекта. Однако сказать, что в акте этом субъект предполагает другой субъект, недостаточно, ибо субъект, скорее, сам утверждается в этом акте в качестве другого – в том парадоксальном единстве одного и другого, с помощью которого, как выше мы уже показали, один вверяет себя другому, чтобы стать идентичным самому себе.

Можно, таким образом, утверждать, что речь является коммуникацией, где субъект, в ожидании, что другой сделает его сообщение истинным, произносит это сообщение в обращенной форме, а сообщение это, в свою очередь, пре-

образует сам субъект, свидетельствуя, что он все тот же. Что и происходит каждый раз, когда человек дает слово, и заявления "ты моя жена" или "ты мой учитель" означают в его устах: "я твой муж", "я твой ученик".

Речь, таким образом, тем более оказывается поистине речью, чем менее истинность ее основана на том, что именуется "соответствием вещи". Истинная речь парадоксальным образом противостоит истинному суждению: если истинность первой из них обусловливает взаимное признание субъектами своего бытия [*esse*] – постольку, поскольку они в нем заинтересованы (*inter-essés*), то истинность второго обусловлена познанием реального – постольку, поскольку субъект рассматривает в объектах именно его. Однако когда пути этих различных истин пересекаются, каждая из них претерпевает изменения.

Так, истинное суждение, выявляя в данной речи данные обещания, выставляет на вид как ее лживость – ведь она берет в расчет будущее, которое, как говорят, одному Богу известно, так и ее двусмысленность – ведь она непрерывно выходит за пределы существа, которого касается, а становление ее происходит в отчуждении.

В свою очередь, истинная речь, поинтересовавшись у истинного суждения о том, что оно значит, обнаружит, что, поскольку без помощи знака ничто продемонстрировано быть не может, одно значение всегда отсылает к другому, обрекая тем самым рассуждение на ошибку.

Что же удивительного, если между Харибдой и Сциллой этих взаимных словесных упреков дискурс промежуточный – такой, где субъект, замыслив добиться признания, обращает свою речь к другому с учетом того, что он знает о своем бытии как данности – вынужден будет пуститься на хитрости?

Так на самом деле и поступает любой дискурс, имеющий целью добиться от вас со-гласия (само это слово "до-биться" задает стратегию его достижения). И любой, кто принимал хоть малейшее участие в каком-либо начинании или просто в поддержке какой-либо человеческой инициативы, прекрасно знает, что даже когда соглашение по сути дела достигнуто, битва о словах продолжается, что очередной раз

свидетельствует о могущественном влиянии посредника, в роли которого здесь выступает речь.

Процесс этот приводит субъекта к вероломству, заставляя его дискурс лавировать между обманом, двусмысленностью и заблуждением. Но борьба за то, чтобы обеспечить мир столь непрочный, не оказалась бы самым обычным полем интерсубъективности, не будь человек вполне убежден (*per-suadé*) речью заранее, а это значит, что чувствует он себя в ней в своей стихии.

Дело еще и в том, что человек, подчиняя свое бытие закону признания, прокладывает себе дорогу речи, что делает его доступным любому внушению. Тем не менее он застревает и безнадежно плутает в дискурсе убеждения, виной чему те нарциссические миражи, которые и определяют отношение "его Я" к другому.

В результате вероломство субъекта, связанное с этим промежуточным дискурсом, настолько тесно, что окрашивает собой даже признания в дружбе, и усугубляется заблуждением относительно того, где эти миражи помещают его самого. Именно это Фрейд как раз и обозначил в своей топике как бессознательную функцию Я, указав впоследствии на дискурс запирательства как важнейшую ее форму [*Verneinung*, 1925].

Таким образом, идеальным условием анализа мы должны признать прозрачность миражей нарциссизма для аналитика, – прозрачность необходимую ему, чтобы приобрести восприимчивость к подлинной речи другого. Остается лишь понять, каким образом можно в его дискурсе эту речь распознать.

Конечно, даже промежуточный дискурс этот, как бы ошибочен и обманчив он ни был, свидетельствует в какой-то мере о существовании речи, лежащей в основании истины – свидетельствует как тем, что существует лишь до тех пор, пока себя таковым провозглашает, так и тем, что, открыто заявляя о себе как о лживом, решительно утверждает таким образом существование речи истинной. И если, используя этот феноменологический подход к истине, удается найти ключ, потеря которого толкнула логический позитивизм на поиски "смысла смысла", не поможет ли он

заодно рассмотреть в ней и “понятие понятия”, поскольку это последнее являет себя в речевом акте?

Эта речь, которая в ее истине созидает субъект, ему, тем не менее, навсегда, за исключением тех редких моментов, когда он пытается – и как неловко! – овладеть ею в клятвенном слове, заказана – заказана уже в силу того, что на непризнание с его стороны обрекает ее промежуточный дискурс. Но она все равно говорит – говорит везде, где она может в его существе сказаться, на всех уровнях, ею в нем сформулированных. Это и есть антиномия, заложенная в тот смысл, который придал Фрейд понятию *бессознательного.*

Но речь эта все же доступна, так как никакая истинная речь речью одного-единственного субъекта быть не может – ведь действие ее основано на опосредовании другим субъектом, благодаря чему она открыта бесконечной – но отнюдь не нескончаемой, ибо замкнутой – цепочке речей, конкретно реализующей собой диалектику признания в человеческом сообществе.

И лишь по мере того, как аналитик заставляет промежуточный дискурс умолкнуть в себе, открывая свой слух для цепочки речей истинных, может он ввести в нее свою послужащую откровением интерпретацию.

Это делается очевидным всякий раз, когда мы рассматриваем удачную интерпретацию в ее конкретной форме. Возьмем в качестве примера классический анализ, известный как случай “Человека с Крысами”: решающий поворот приходится здесь на момент, когда Фрейд обращает внимание на озлобление, вызванное у него подсказками матери относительно соображений при выборе супруги.

То обстоятельство, что запрет, который этот совет для субъекта влечет, – запрет на помолвку с женщиной, которую тот, как он считает, любит – Фрейд, вопреки очевидным, казалось бы, фактам и в первую очередь тому, что отца субъекта уже нет в живых, объясняет, ссылаясь на слова отца, на первый взгляд вызывает недоумение, получая, однако, оправдание на уровне истины более глубокой – истины, поначалу, похоже, безотчетно Фрейдом угаданной, а затем и открыто заявляющей о себе в тех ассоциациях, о которых субъект в этот момент сообщает. Искать ее нужно

не в чем ином, как в той “речевой цепочке”, которая, чтобы заставить расслышать себя в неврозе, как и в судьбе субъекта, простирается далеко за пределы его индивидуальности: таким же точно вероломством отмечен брак его отца, а двусмысленность эта скрывает, в свою очередь, злоупотребление доверием в денежном отношении, которое, послужив причиной увольнения отца из армии, предопределило его женитьбу.

Цепочка эта, слагающаяся не только из чистых событий, к тому же целиком завершенных еще прежде, чем субъект родился на свет, но и из измены, тем более серьезной, что она была тонкой, своему слову, равно как и бесчестия самого позорного – недаром долг, порожденный первой, бросил, судя по всему, тень на всю семейную жизнь, а долг, связанный со вторым так, по-видимому, и не был выплачен – обнаруживает смысл, позволяющий понять имитацию выкупа, которая в процессе навязчивого транса, заставившего субъект обратиться к помощи Фрейда, едва не принимает у него характер бреда.

Понятно, разумеется, что структура навязчивого невроза к этой цепочке не сводится, так как там, в тексте индивидуального мифа невротика, цепочка эта вплетается в ткань фантазмов, где тень его мертвого отца соединяется, образуя пару нарциссических образов, с идеалом дамы его сердца.

Но если интерпретации Фрейда все же удается, распутав цепочку во всю скрытую длину ее, распустить воображаемую ткань невроза, то происходит это потому, что по отношению к символическому долгу, который трибунал субъекта призван утвердить, сам он выступает на этом трибунале в том качестве, которое диктует ему цепочка: не столько наследника этого долга, сколько его живого свидетеля.

Ибо надлежит хорошо продумать тот факт, что речь организует бытие субъекта не только путем символического усвоения; что благодаря закону союза, отличающему человеческий порядок от природного, речь еще до рождения субъекта предопределяет не только статус его, но и появление его на свет как биологического существа.

Похоже, что доступ к узловому пункту смысла, где субъект может расшифровать свою судьбу буква за буквой,

открылся Фрейду благодаря тому, что и сам он – судя по фрагменту собственного анализа, раскрытому в его работе Бернфельдом – был однажды объектом подобной же, диктуемой семейной осторожностью, подсказки, и не исключено, что стоило бы ему ей в свое время не воспротивиться, и возможность распознать ее в данном случае была бы им безвозвратно упущена.

Нельзя отрицать, что головокружительная проницательность, обнаруженная Фрейдом в данном случае, не раз закрывала глаза на определенные последствия собственного нарциссизма. И все же, не будучи ничем обязана анализу, проводимому в рамках установленных форм, она, с высоты последних его теоретических построений, дает возможность увидеть, что пути бытия лежали перед ним как на ладони.

Пример этот, давая почувствовать, насколько важно для понимания анализа комментировать работы Фрейда, служит здесь лишь трамплином для прыжка к последнему нашему вопросу, касающемуся вопиющего несоответствия между *предметами, с которыми аналитик в опыте своей работы сталкивается, и дисциплиной, необходимой для его профессионального образования*.

Так и не будучи до сих пор ни до конца осознано, ни сколь-нибудь приблизительно сформулировано, несоответствие это – как, впрочем, и всякая непризнанная истина – находит, тем не менее, себе выражение в бунте самих фактов.

В бунте, в первую очередь, на уровне опыта, где никто не высказывается за них яснее, чем Теодор Райк. Достаточно упомянуть о книге, где он бьет тревогу – книге *Listening with the third ear*, т. е. "Выслушивание третьим ухом", под которым он, конечно же, имеет в виду не что иное, как те самые два, которые у каждого человека имеются в распоряжении, при условии, что выступают они в той функции, которую Евангельское слово за ними оспаривает.

Книга эта хорошо объясняет причины его протеста как против положенного в основу анализа сопротивлений требования регулярной последовательности планов воображаемой регрессии, так и против более систематических

форм *planning*'а, к которым этот анализ приходит, напоминая одновременно, на сотне живых примеров, в чем же состоит путь подлинной интерпретации. Читая ее, трудно не заметить, как обращается автор (к сожалению, сам плохо это формулируя) к дивинации – если, конечно, употребляя это понятие, мы вернем ему былую действенность, указав на то судебное испытание, к которому оно первоначально относилось (см. “Аттические ночи” Авла Геллия, 1, II, гл. IV), напоминая нам о зависимости человеческой судьбы от того, кто возьмет на себя обвинительную речь.

Все это не лишает нас, однако, интереса к тому недовольству, которое царит в последнее время по отношению ко всему, что касается подготовки аналитиков. В качестве последнего его свидетельства остановимся на заявлениях, сделанных доктором Найтом в его председательском обращении к Ассоциации американских психоаналитиков[37]. Среди факторов, стремящихся “изменить роль психоаналитической подготовки”, он упоминает, наряду с увеличением числа кандидатов на получение такой подготовки, “более структурированную форму обучения” в соответствующих учреждениях, противопоставляя ее преобладавшему ранее типу подготовки под руководством учителя (“the earlier preceptorship type of training”).

По поводу отбора кандидатов он высказывается следующим образом: «Когда-то это были, в первую очередь, люди, склонные к интроспекции, учебе и размышлениям, люди, стремившиеся развить в себе индивидуальность высшего порядка, ограничивая, порою, свою общественную жизнь клиническими и теоретическими дискуссиями с коллегами. Они много читали и прекрасно знали аналитическую литературу» ... «Напротив, можно утверждать, что большинство учащихся последней декады к интроспекции не склонны, что они не желают читать что-либо, кроме литературы, положенной по программе, и стремятся как можно быстрее отделаться от всех требований, предъявляемых к ним в связи с профессиональной подготовкой. Интересы их лежат более в клинической, нежели исследовательской или теоретической сфере. Мотивом для собственного анализа служит для них, скорее, обязательность его прохождения...

Частичная капитуляция некоторых учреждений... обусловленная амбициозной спешкой и тенденцией удовлетворить самым поверхностным представлениям о теории, лежит в основании тех проблем, с которыми приходится нам теперь сталкиваться в подготовке аналитиков».

Уже из этого весьма открытого заявления ясно, насколько зло приняло серьезные формы и насколько мало – если вообще – оно осознается. Желать нужно не того, чтобы анализируемые вновь приобрели склонность к “интроспекции”, а того, чтобы они поняли, наконец, что они делают; лекарством же послужит не ослабление структуры учреждений, а отсутствие в учебной программе заранее пережеванного знания. Даже если знание это обобщает в себе результаты аналитического опыта.

Но если что нужно понять в первую очередь, так это то, что какая бы доза знания ни была таким образом передана, для подготовки аналитика никакой ценности она не имеет.

Ибо знание, накопленное в его опыте, относится к Воображаемому, в которое он вечно и упирается, кончая тем, что ставит ход анализа на службу систематического изучения Воображаемого у конкретного субъекта.

Идя этим путем, он сумел выстроить естественную историю не только форм, в которых пленялось желание, но и тех идентификаций субъекта, которые ни ученым, ни мудрецам не удавалось ни систематизировать, ни описать со стороны их действия с подобной же строгостью никогда прежде – несмотря на то, что фантазия художников издревле рисует перед нами картины их роскошного изобилия.

Но мало того, что последствия плененности Воображаемым поддаются объективации в истинном дискурсе, которому они являют в повседневности главное препятствие, исключительно плохо, постоянно угрожая анализу, остающемуся в неведении относительно их границ в Реальном, образованием ложного знания: само знание это, даже если допустить, что оно верно, будет для действия аналитика шаткой опорой, ибо в поле его зрения попадают лишь итоги, а не истоки его.

Опыт не дает здесь преимущества ни так называемому “биологическому” направлению теории, в котором ничего

биологического, кроме терминологии, разумеется, нет, ни направлению социологическому, которое называют иногда "культурологическим". Характерный для первого направления идеал "гармонии влечений", опирающийся на индивидуалистическую этику, не способен, понятное дело, продемонстрировать свое преимущество в человечности перед идеалом соответствия группе, роднящим второе направление с "инженерами человеческих душ". Различие в результатах можно сравнить лишь с дистанцией, отделяющей аутопластическую трансплантацию конечности от ортопедического аппарата, ее заменяющего: следы увечья, остающиеся заметными по сравнению с функционированием, руководимым инстинктом (то, что Фрейд называет "рубцом" невроза) в первом случае, имеют лишь весьма сомнительное преимущество перед компенсаторными ухищрениями, на которые нацелена сублимация во втором.

Вообще говоря, если анализ и подходит к границам упомянутых здесь областей науки достаточно близко, чтобы некоторые из его понятий могли найти в них применение, основание этих понятий в том опыте, которым эти области располагают сами, искать не следует, и потому все попытки анализа натурализовать в них свой собственный опыт повисают в неопределенности, которой и обусловлен тот факт, что если психоанализ и становится предметом научного рассмотрения, то исключительно в качестве проблемы.

Дело еще и в том, что в силу самого предназначения своего психоанализ является практикой, зависящей от того, что есть в субъекте наиболее частного и специфичного, и когда Фрейд настаивает на этом, доходя даже до утверждения, что в анализе каждого конкретного случая вся аналитическая наука должна ставиться под сомнение (см. "Человек с Волками", *passim*, где все обсуждение случая на этом принципе и построено), он достаточно ясно указывает анализируемому путь его подготовки.

И аналитик действительно не станет на этот путь, пока не сумеет разглядеть в своем знании симптом своего невежества, и притом в смысле чисто аналитическом, где симптом является возвращением вытесненного путем компромисса, а вытеснение, как и в других случаях – цензурой, которой

подвергается истина. Что же до невежества, то его следует понимать здесь не как отсутствие знания, а, наряду с любовью и ненавистью, как одну из присущих бытию страстей, ибо и оно может, подобно тем двум, стать путем, на котором бытие формируется.

Это и есть та страсть, которая призвана дать смысл всей аналитической подготовке – чтобы убедиться в этом, достаточно раскрыть глаза на тот факт, что структура ситуации анализа задается именно ей.

Иные пытаются усмотреть внутреннее препятствие дидактическому анализу в том, что психологически кандидат чувствует себя перед аналитиком в положении соискателя, и проходят тем самым мимо того главного, на чем противодействие основано, – желания знания и власти, вдохновляющего решение кандидата. Не разглядели они и того, что подходить к этому желанию следует точно так же, как к тому характерному для невротика желанию любви, о котором умным людям испокон веку известно, что оно любви прямо противоположно – разве что именно это имеют в виду уважаемые авторы, заявляющие, что всякий дидактический анализ чувствует себя обязанным анализировать мотивы, которые заставили кандидата избрать профессию аналитика.

Положительным результатом открытия для себя собственного невежества является незнание, которое представляет собой не отрицание знания, а наиболее утонченную его форму. Подготовка кандидата не может состояться без содействия одного или нескольких учителей, которые его к этому незнанию готовят, – в противном случае перед нами окажется не аналитик, а его робот.

Здесь-то и становится понятно то происшедшее в решающий момент развития аналитической техники таинственное затворение бессознательного, на которое мы уже указывали и которое предсказывал, отнюдь не между строк, еще Фрейд, считавший его возможным последствием распространения анализа в широких слоях общества[39]. Ведь затворяется бессознательное в силу того, что аналитик больше не "держит речь", зная или полагая, что знает, что от нее следует ожидать. Таким образом, когда аналитик обращает свою речь к субъекту, который, между тем, знает то

же самое не хуже его, этот последний уже не узнает в том, что ему говорят, истину, рождающуюся из его собственной, личной речи. Этим и объясняются столь поразительные для нас результаты интерпретаций, которые предлагал сам Фрейд. Дело в том, что ответ, который он давал субъекту, был истинной речью, на которой зиждился он сам, и что речь, призванная соединить двух субъектов, должна быть истинна для них обоих.

Вот почему аналитик должен стремиться овладеть речью так, чтобы она стала идентичной его бытию. Ибо в ходе сеансов ему нет нужды произносить много слов – собственно, нужно их так мало, что может сложиться впечатление, что их не нужно совсем – чтобы каждый раз, когда с помощью божией, т. е. с помощью самого субъекта, анализ приходит к концу, слышать в устах субъекта ту речь, в которой узнается им закон его бытия.

Для того, чьи действия, когда ему в одиночку приходится за своего пациента отвечать, не определяются, как у хирурга, одним сознанием, в этом нет ничего удивительного, – ведь урок его техники в том и состоит, что сама речь, которую эта техника обнаруживает, является делом субъекта бессознательного. Поэтому аналитик лучше, чем кто бы то ни было, знает, что в речах своих он не может быть ничем иным, как самим собой.

Не является ли это ответом на вопрос, который так мучил Ференци: чтобы довести признание субъекта до конца, не должен ли аналитик произнести свое собственное? На самом деле бытие аналитика действенно даже в его молчании: там, где мелеет поддерживающая его на плаву истина, субъект как раз свое слово и выговаривает. Если же, в соответствии с законом речи, именно в нем, как другом, обнаруживает субъект свою идентичность, то лишь для того, чтобы сохранить там свое собственное бытие.

Результат, как видим, с нарциссической идентификацией, столь тонко описанной Балинтом (см. выше), ничего общего не имеющий, ибо субъект, млеющий от блаженства, приносится этой последней в жертву той непристойной и свирепой фигуре, которую анализ называет “Сверх-Я” и которую следует представлять себе как бездну, которую раз-

верзает в воображаемом любое отвержение [*Verwerfung*] заповедей речи[40].

И нет сомнения, что дидактический анализ этим и кончится, если для свидетельства о подлинности своего опыта – например, о влюбленности в женщину, открывавшую ему дверь в квартиру аналитика и принятую им за его жену – субъект не найдет ничего лучшего. В данном случае перед нами фантазия благодаря своему видимому правдоподобию весьма пикантная, но вовсе не дающая субъекту повода похваляться познанием на собственном опыте эдипова комплекса, а предназначенная, скорее, его этого знания лишить, ибо удовольствовавшись этим, он переживет разве что миф об Амфитрионе, да и то на манер Сосикла, то есть ровным счетом ничего не поняв в нем. Стоит ли надеяться, что подобный субъект, сколь бы многообещающе проницательным ни казался он поначалу, сможет, когда наступит его черед высказаться по вопросу о вариантах, проявить себя иначе, нежели напичканным сплетнями уличным повесой!

Во избежание этого результата необходимо, чтобы дидактический анализ, условия которого, по единодушному признанию авторов, о нем пишущих, обсуждаются исключительно в отцензурированной форме, не окутывал свои цели и свою практику мраком, становящимся все гуще по мере того, как растет формализм мнимых гарантий, которые ему приписывают, – о чем ясно и очень обоснованно пишет Микаэль Балинт[41].

В анализе количество исследователей само по себе никак не сказывается на качестве исследования, как это бывает в науках, базирующихся на объективности. Сотня посредственных психоаналитиков не продвинут познание ни на шаг, в то время как простому врачу удавалось, будучи автором гениальной работы по грамматике (и не воображайте, пожалуйста, будто речь идет о какой-нибудь симпатичной поделке медицинского гуманизма), поддерживать в течение всей жизни стиль общения внутри группы аналитиков вопреки бурям разногласий и морю вынужденных обязанностей.

Дело в том, что анализ, чьи успехи заключаются, по сути дела, в росте не-знания, примыкает в истории науки к тому

состоянию ее, в котором она пребывала до своего определения Аристотелем и которое именуется диалектикой. О чем свидетельствуют, в частности, и труды самого Фрейда с их многочисленными ссылками на Платона и досократиков.

В то же время, однако, он далеко не изолирован от других наук, да и не поддается такой изоляции, ибо находится в самом центре того широкого концептуального движения, которое в наши дни, перестраивая весь круг наук, именуемых "общественными", изменяя или заново находя смысл определенных разделов математики – этой точной науки по преимуществу – с тем, чтобы восстановить тем самым основы науки о человеческой деятельности как базирующейся на предположении, заново классифицирует, под названием гуманитарных наук, весь комплекс наук об интерсубъективности.

Многое из того, что необходимо ему для решения труднейших проблем вербализации в ее техническом и научном аспекте, аналитик может найти в конкретных достижениях современной лингвистики. В то же время, в организации таких специфических феноменов бессознательного, как сны и симптомы, узнаются, самым порою неожиданным образом, ветхие фигуры риторики, позволяющие, оказывается, дать этим феноменам самые детальные описания.

Для понимания роли истории в индивидуальной жизни субъекта не менее важным оказывается для аналитика современное понятие истории.

Но в первую очередь именно теории символа – и уже не в качестве той диковины, какой представала она в, скажем так, палеонтологический период анализа, или под углом зрения пресловутой "глубинной психологии" – призван анализ вернуть ее универсальную функцию. И ни одно занятие не способствует этому лучше, чем изучение целых чисел, над чьим неэмпирическим происхождением аналитику следует размышлять неустанно. При этом, даже не углубляясь в плодотворные выводы современной теории игр, а тем более в многозначительные формализации теории групп, он найдет достаточно материала для обоснования своей практики хотя бы в том, что научится, как пытается внушить своим ученикам автор этих строк, правильно

считать до четырех (то есть сумеет включить в отношения внутри Эдипова треугольника функцию смерти).

Мы не собираемся определять здесь конкретные материалы программы, мы просто хотим указать на то, что если анализу действительно суждено занять достойное место, которое не могут не признать за ним отвечающие за сферу образования чиновники, его основы следует открыть для критического пересмотра, без чего он рискует превратиться в своего рода последствие коллективного совращения.

На самом же деле именно его внутренней дисциплине предстоит предохранить от этих последствий подготовку аналитика и внести тем самым ясность в вопрос о ее вариантах.

И тогда ясна становится исключительная сдержанность, с которой Фрейд подходит к самим формам образцового лечения, успевшим с тех пор сделаться стандартными, говоря о них буквально в следующих выражениях:

«Я должен, однако, прямо сказать, что техника эта была разработана мной как единственная вполне подходящая для меня лично, и не рискну оспаривать тот факт, что врач с личностью другого склада предпочтет, возможно, иные подходы как к самим больным, так и к проблемам, подлежащим решению»[42].

Ибо сдержанность эта перестанет относиться на счет его великой скромности, и в ней разглядят, наконец, утверждение той истины, что лишь на путях ученого незнания обретает анализ свои подлинные масштабы.

Примечания:

* Variantes de la cure-type. Ecrits. 1966.

1 В 1966 мы, надо сказать, питали к нему отвращение. Признание это позволяет нам с легким сердцем переписать первую главу заново.

2 Хотя не исключена возможность включения в структуру заново того, что характеризует нашу “клинику” в еще сохраняемом ею смысле момента рождения – момента, изначально вытесненного у врача, который переносит ее на более поздние сроки, сам все более уподобляясь с этого момента потерявшемуся ребенку. Ср.: М. Фуко. Рождение клиники, P. U. F., 1964.

[3] См.: *International Journal of Psycho-Analysis*, 1954, № 2 (весь номер).

[4] I. J. P., цит., р. 95. Полный французский перевод статьи можно найти на последних страницах сборника работ этого автора, опубликованного под названием Техника психоанализа, P. U. F., 1958.

[5] I. J. P., цит., р. 95.

[6] Курсив автора, I. J. P., цит. р. 96.

[7] I. J. P., 1954, № 2, р. 96.

[8] "Проблема переноса". *Rev. franc. Psychanal.*

[9] В 1966 нет никого, кто посещал бы наш семинар, не зная, что перенос – это вмешательство времени знания.

Текст этот, хотя и переписанный заново, скрупулезно следует нашему ходу мыслей в то время.

[10] Три абзаца переписаны заново.

[11] Коль скоро с помощью этих строк, как и наших семинаров, власть скуки, с которой мы боремся, нам удалось рассеять достаточно, чтобы при просматривании их стиль высказывания менялся едва ли не сам собой, добавим здесь следующее: в 1966 году мы назвали бы *Я* богословием свободного предпринимательства и дали бы ему троицу покровителей в лице Фенелона, Гизо и Виктора Кузена.

[12] Цитируем в нашем переводе.

[13] Проблемы психоаналитической техники, P.U.F., р. 63.

[14] I. J. P., 1954, № 2, р. 97.

[15] *В. Райх.* "Анализ характера", Internat. Zschr. arztl. Psychoanal., 1928, 14, № 2, p. 180–196. Англ. пер. в: The psychoanal. Reader, Hogarth Press, Лондон, 1950.

[16] *Р. Стреба.* "Судьба Я в аналитической терапии", Internat. J. Psycho-Anal., 1934, № 2–3, р. 118–126.

[17] *В. Хоффер.* "Три психоаналитических критерия для завершения лечения", J. Psycho-Anal., 1950, № 3, р. 194–195.

[18] *С. Ференци.* "Гибкость психоаналитической техники", Internat. Zschr. arztl. Psychoanal., 1928, 14, № 2, p. 207–209.

[19] Т. е. переноса у самого аналитика (прим. 1966 г.).

[20] *Фрейд.* "Анализ завершенный и анализ без завершения", G.W., В. 16, S. 93.

[21] Internat. Ztschr. arztl. Psychoanal., 1928, № 2, S. 207.

[22] Ференци и в голову не приходило, что в один прекрасный день это можно будет прочесть на рекламном щите (1966).

[23] *В. Райх.* "Анализ характера", Internat. Zschr. arztl. Psychoanal., 1928, 14, № 2. Англ. пер. в: The psychoanal. Reader, Hogarth Press, Лондон, 1950.

[24] Op. cit., p. 196.

[25] *З. Фрейд.* "Влечения и их судьбы", G.W., X, S. 210–232.

[26] *З. Фрейд.* "Коллективная психология и анализ Я", G.W., XIII, S. 71–161.

[27] *З. Фрейд.* "По ту сторону принципа удовольствия", G.W., XIII, S. 1–69.

[28] *З. Фрейд.* "Запирательство", G.W., XIII, S. 11–15.

[29] *З. Фрейд.* "Неудовлетворенность цивилизацией", G.W., XIV.
[30] *Ж. Лакан.* "Агрессивность в психоанализе" (1948) и "Стадия зеркала" (1949), см.: *Ecrit*, р. 101 и 93.
[31] *М. Балинт.* "Об окончании анализа", Internat. J. Psycho-Fyfk., 1950, р. 197.
[32] *М. Балинт.* "Любовь и ненависть", в: "Первоначальная любовь и психоаналитическая техника", Hogarth Press, Лондон, р. 155.
[33] *М. Балинт.* "Любовь к матери и материнская любовь", Internat. J. Psycho-Anal., 1949, р. 251.
[34] *М. Балинт.* "Изменения в целях и терапевтической технике психоанализа", Internat. J. Psycho-Anal., 1950. Замечания по поводу Two-bodi psychology см. на р. 123–124.
[35] См. приложение к статье "Любовь к матери", цит. выше.
[36] Garden City Book, N.-Y., 1951.
[37] *Р. П. Найт.* "Условия организации психоанализа в США на сегодняшний день", J. Am. Psychoanal. Ass., av. 1953, I, № 2, р. 197–221.
[38] *М. Гительсон.* "Терапевтические проблемы анализа нормального кандидата", Internat. J. Psycho-Anal., 1954, 35, № 2, р. 174–183.
[39] *З. Фрейд.* Перспективы психоаналитического лечения. G.W., B. VIII, S. 122.
[40] *З. Фрейд.* "Случай Человека с Волками", G.W., Bd. XII, S. 111.
[41] *М. Балинт.* "Аналитическая подготовка и дидактический анализ", Internat. J. Psycho-Anal., 1954, 35, № 3, р. 157–162.
[42] *З. Фрейд.* "Советы врачу относительно психоаналитического лечения", G.W., Bd. VIII, S. 376. Отрывок переведен автором.

СТАДИЯ ЗЕРКАЛА
И ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ФУНКЦИИ Я В ТОМ ВИДЕ, В КАКОМ ОНА ПРЕДСТАЕТ НАМ В ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОМ ОПЫТЕ[1]

Концепция стадии зеркала, впервые высказанная мною тринадцать лет назад на нашем последнем конгрессе, успела с тех пор войти в практику французской группы более или менее прочно.

Сегодня однако мне представляется нелишним предложить ее вашему вниманию вновь — на этот раз в связи с тем новым светом, что проливает она на функцию *я* (je) в имеющем с ним дело психоаналитическом опыте. Опыте, решительно противопоставляющем нас всякой философии, исходящей непосредственно из *Cogito*.

Я надеюсь, некоторые из вас помнят, что строя эту концепцию, мы исходили из определенной особенности человеческого поведения, выявленной данными сравнительной психологии. Состоит эта особенность в том, что ребенок, отставая какое-то — относительно недолгое, правда, время от детеныша шимпанзе по развитию инструментального мышления, способен, однако, уже в этом возрасте узнавать свое отражение в зеркале именно в качестве своего собственного. Об узнавании этом свидетельствует мимика озарения, характерная для так называемых *Aha-Erlebnis* – мимика, в которой Колер видит выражение ситуационного восприятия, этой существенной ступени мыслительного акта.

Акт этот, не исчерпываясь, как у обезьяны, единожды достигнутым контролем над бессилием отражения, тут же выливается у ребенка в ряд игровых жестов, с помощью которых тот старается в игровой форме выяснить, как относятся движения уже усвоенного им образа к его отраженному в зеркале окружению, а весь этот виртуальный комплекс в целом — к реальности, им дублируемой, то есть к его собственному телу, а также людям и неодушевленным предметам, расположенным в поле отражения по соседству.

Благодаря исследованиям Болдуина, нам хорошо известно, что событие это может произойти начиная с шес-

тимесячного возраста, и захватывающее зрелище того, как ребенок ведет себя перед зеркалом, не раз наводило нас на размышления. Малыш, не умеющий не то, что ходить, даже держаться на ногах, поддерживаемый либо кем-то из взрослых, либо искусственными приспособлениями (из тех, что у нас во Франции называются *trotte-bébé*), озабоченно рвется, вне себя от радости, из своих помочей и, наклонившись вперед, застывает, стараясь зафиксировать в поле зрения мгновенную картину собственного отражения.

Вплоть до восемнадцатимесячного возраста поведение это сохраняет именно тот смысл, который мы обнаружили — смысл, который проливает определенный свет как на либидинальный динамизм (до сих пор остававшийся проблематичным), так и на онтологическую структуру человеческого мира, прекрасно вписывающуюся в наши представления о параноидальном познании.

Важно лишь понять происходящее на стадии зеркала как *идентификацию* во всей полноте того смысла, который несет этот термин в психоанализе, т. е. как трансформацию, происходящую с субъектом при ассимиляции им своего образа (*image*), словно нарочно предназначенному этому стадиальному аффекту послужить — о чем и свидетельствует употребление в психоаналитической теории древнего термина *imago*.

Радостное усвоение ребенком на стадии *infans*, т. е. ребенком, кормящимся грудью и неспособным самостоятельно передвигаться, собственного зрительного образа является идеальной ситуацией для изучений той символической матрицы, где оседает в своей первоначальной форме — прежде чем будет объективировано в диалектике идентификации с другим, и прежде чем язык восстановит функционирование этого *я* во всеобщем в качестве субъекта.

Если бы мы хотели ввести эту форму в регистр явлений, нам известных, нам следовало бы назвать ее “Я-идеал” (*Je-ideal*)[2], имея в виду, что ей предстоит стать источником тех вторичных идентификаций, чьим функциям либидинальной нормализации мы этим термином как раз и воздаем должное. Но для нас важно в этой форме то, что она сразу, еще до ее социальной детерминации, ставит инстанцию *Я*

(moi) в ряд фикций, для отдельного индивида принципиально неустранимых. Точнее говоря, фикция эта будет всегда сближаться со становлением субъекта лишь асимптоматически, независимо от того, насколько успешными окажутся попытки диалектических синтезов, с помощью которых он, в качестве *Я*, призван свое несоответствие собственной реальности, преодолеть.

Дело в том, что целостная форма тела, этот мираж, в котором субъект предвосхищает созревание своих возможностей, дается ему лишь в качестве *Gestalt*'a, т. е. с внешней стороны. Конечно, по отношению к этой внешней стороне форма выступает, скорее, как образующая, чем как производная, но важно то, что с этой стороны своей она является субъекту зафиксированной в рельефной статуарности и обращенно симметричной, в противоположность той бурной активности, которой силится субъект ее оживить.

Таким образом, этот *Gestalt*, содержательность которого должна рассматриваться как связанная с родом, хотя двигательный стиль остается покуда нераспознанным, символизирует двумя аспектами своего влияния ментальное постоянство *я*, преобразуя одновременно ту отчуждающую функцию, к которой оно предназначено; она еще чревата соответствиями, которые связывают *я* со статуей, в которую человек себя проецирует, с призраками, которые над ним господствуют, и с автоматом, наконец, в котором, неоднозначно связанный с ним, стремится найти завершение мир его собственного изготовления.

Что же касается *imagos*, чьи сокровенные лики вырисовываются для нас, их привилегированных тайнозрителей, как в нашем повседневном опыте, так и в полумраке символической действенности[3], то когда мы полагаемся на зеркальное расположение, которое принимает *imago собственного тела*, с его индивидуальными особенностями, физическими недостатками, и даже проекциями на объекты в наших снах и галлюцинациях, или когда мы обращаем внимание на роль зеркального аппарата в явлениях двойника, служащих проявлением определенных психических реальностей, порою разнородных, образ, зримый в зеркале, представляется для них порогом видимого мира.

Тот факт, что *Gestalt* способен оказать на организм формирующее воздействие, подтверждается биологическими экспериментами, самой идее психической причинности столь чуждыми, что даже сформулировать ее на своем языке они не осмеливаются. Между тем экспериментальная биология признает, что необходимым условием созревания гонады голубки является наличие в поле ее зрения любой особи того же вида, независимо от ее пола; причем условие это столь достаточное, что результата можно добиться, поместив подопытный экземпляр в поле зеркального отражения. Другой пример перехода перелетной саранчи из одиночной фазы в стадную в течение одного поколения можно добиться, подвергнув экземпляр саранчи на определенной стадии воздействию – исключительно визуальному – образа ему подобного существа, лишь бы образ этот воспроизводил движения, достаточно сходные с теми, что данному роду насекомых свойственны. Эти и подобные им факты вписываются в категорию гомеоморфной идентификации, которую в свою очередь, следовало бы рассматривать в контексте более общей проблемы – проблемы смысла красоты как формативного и эрогенного начала.

Но факты миметизма, понятые как случаи идентификации гетероморфной, представляют для нас не меньший интерес, ибо именно они ставят проблему значения, которое имеет для живого организма пространство. Ведь психологические теории вряд ли более неспособны пролить на эту проблему некоторый свет, чем смехотворные попытки свести все дело к закону адаптации, как якобы основному. Вспомним хотя бы, с каким блеском освещает этот предмет, скажем, Роже Кайуа (тогда еще молодой и только-только порвавший с социологическим окружением, где формировалось его мышление), который, воспользовавшись термином "*легендарная психастения*", представил морфологический миметизм как разновидность одержимости пространством в его дереализующем воздействии.

Мы сами показали, что причина, дающая человеческому познанию большую независимость от силового поля желания, нежели у животного, но в то же самое время детерминирующее ее "толикой реальности", о наличии кото-

рой свидетельствует неудовлетворенность сюрреалистов, заключена в социальной диалектике, придающей этому познанию параноидальную структуру[4]. И эти соображения склоняют нас к признанию, что проявляющаяся у человека на стадии зеркала способность пространственного присвоения является результатом предшествующей этой социальной диалектике органической недостаточности, заложенной в самой его природной реальности – если, конечно, мы еще придаем слову "природа" какой-то смысл.

Таким образом, функция стадии зеркала представляется нам частным случаем функции *imago*, которая заключается в установлении связей между организмом и его реальностью – другими словами, между *Innenwelt* и *Unwelt*.

Но у человека связь с природой оказывается искаженной в силу наличия в недрах его организма некой трещины, некоего изначального раздора, о котором свидетельствует беспомощность новорожденных в первые месяцы после рождения и отсутствие у них двигательной координации. Объективные данные об анатомической незавершенности пирамидальной системы, а также наличие у ребенка определенных гуморальных остатков материнского организма подтверждают нашу точку зрения, согласно которой налицо факт *специфической для человека преждевременности рождения.*

Заметим, кстати, что факт этот признан, по сути дела, и эмбриологами, чем термин "фетализация" указывает на преобладание так называемых высших отделов нервной системы, в особенности же коры головного мозга, которая судя по данным нейрохирургических операций, является для организма своего рода внутренним зеркалом.

Это развитие переживается как временная диалектика, которая решающим образом проецирует формирование индивида в историю. Стадия зеркала, таким образом, представляет собой драму, чей внутренний импульс устремляет ее от несостоятельности к опережению – драму, которая фабрикует для субъекта, попавшегося на приманку пространственной идентификации, череду фантазмов, открывающуюся расчлененным образом тела, а завершающуюся формой его целостности, которую мы назовем ортопедической, и облачения, наконец, в ту броню отчуждающей

идентичности, чья жесткая структура и предопределит собой все дальнейшее его умственное развитие. Таким образом, прорыв круга *Innewelt* в направлении к *Umwelt* порождает неразрешимую задачу инвентаризации “своего Я”.

Это расчлененное тело – термин, тоже включенный нами в нашу систему теоретических отсылок, – регулярно является в сновидениях, когда анализ достигает в индивиде определенного уровня агрессивной дезинтеграции. Появляется оно в форме разъятых членов тела и фигурирующих в экзоскопии органов, вооружающихся и окрыляющихся для внутриутробных гонений – тех самых, чье приходящееся на пятнадцатый век восхождение в воображаемый зенит современного человека навеки запечатлено в живописных видениях Иеронима Босха. Но форма эта приобретает осязаемость и на органическом плане, в тех чертах повышенной хрупкости, которыми отмечена наблюдаемая в шизоидных и спазматических симптомах истерии фантазматическая анатомия.

Формирование *я* символизируется в сновидениях, соответственно, укрепленным лагерем и стадионом, чья арена и внешняя ограда с окружающими ее болотами и строительным мусором распределены между двумя полями сражения, где субъект мечется в поисках гордо возвышающегося в отдалении внутреннего замка, чья форма, фигурирующая порою в этом же сценарии, впечатляющим образом символизирует Оно [*ça*]. Аналогичные структуры типа крепостных сооружений мы обнаружим реализованными и на ментальном плане. Метафора эта возникает спонтанно, как бы из самих симптомов субъекта, и указывает на такие механизмы навязчивого невроза, как инверсия, изоляция, редупликация, аннулирование и перемещение.

Но стоит хотя бы на волос отделить эти субъективные данные от условий опыта, демонстрирующего их генетическую связь с техникой языка, как всякая попытка положить их в основу теоретических построений начнет давать повод к обвинению в проецировании этих построений в сферу абсолютного субъекта, лежащую вне пределов мыслимого. Поэтому мы и прибегли к настоящей, основанной на комплексе объективных данных гипотезе, рассчитывая найти в ней направляющую сетку метода, который мы на-

зовем *методом символической редукции*.

В линиях *защиты Я* этот метод устанавливает генетический порядок, который, следуя пожеланию, которое сформулировала в первой части своей замечательной работы Анна Фрейд, относит (вопреки распространенному предрассудку) истерическое вытеснение и его рецидивы к стадии более ранней, нежели навязчивая инверсия и ее изолирующие процессы, а их, в свою очередь, рассматривает как предшествующие по отношению к параноидальному отчуждению, возникающему при обращении от *я* зеркального к *я* социальному.

Посредством идентификации с образом [*imago*] себе подобного и столь убедительно исследованной школой Шарлотты Бюлер на фактах детского транзитивизма драмы первичной ревности этот завершающий стадию зеркала момент кладет начало диалектике, которая в дальнейшем связывает *я* с социально обусловленными ситуациями.

Это и есть тот момент, когда все человеческое знание опрокидывается в состояние опосредованности желанием другого, образует в соперничестве с другим равноценные в своей абстрактности объекты и делает из *я* аппарат, для которого всякое движение инстинкта несет в себе опасность, даже если оно отвечает естественному процессу созревания – ведь и сама нормализация этого созревания требует с этого момента культурного посредничества, что в случае сексуального объекта наглядно демонстрируется эдиповым комплексом.

В свете нашей концепции становится очевидным, что, использовав для обозначения свойственный этому моменту либидинальной нагрузки термин "первичный нарциссизм", создатели психоаналитической теории проявили тем самым глубокое понимание скрытых возможностей семантики. Проясняется одновременно и то динамическое противостояние этого либидо либидо сексуальному, которое создатели теории пытались определить, когда ввели понятие *инстинкта разрушения* и даже *инстинкта смерти*, рассчитывая дать с их помощью объяснение очевидной связи между нарциссическим либидо и отчуждающей функцией *я* – связи, обуславливающей проявления агрес-

сивности в любых отношениях этого *я* с другим, даже когда оно выступит в роли милосердного самаритянина.

Дело в том, что родоначальники психоанализа уже соприкоснулись с той экзистенциальной негативностью, о которой столь шумно заявляет современная философия.

Но философия, к сожалению, постигает эту отрицательность лишь в границах самодостаточности сознания, которая, будучи одной из предпосылок ее, присоединяет к конституирующим Я непризнаниям ту иллюзию автономии, которой сама же и доверяется. Перед нами игра ума, которая, исключительно много позаимствовав в психоаналитическом опыте, кончается претензией на создание экзистенциального психоанализа.

Теперь, когда историческая попытка общества игнорировать любые функции помимо чисто утилитарных подходит к концу, а концентрационно-лагерная форма социальных взаимоотношений, созданием которых эта попытка, похоже, увенчалась, вызывает у индивида лишь ужас и тоску, экзистенциализм сам выносит себе приговор тем оправданием, которое получают в нем субъективные тупики, этой ситуацией обусловленные: свобода, обретающая подлинность лишь в тюремных стенах; требование ангажированности, обнаруживающее бессилие чистого сознания справиться с какой бы то ни было реальной ситуацией; вуайеристски-садистская идеализация сексуальных отношений; личность, осуществляющая себя лишь в самоубийстве; сознание другого, удовлетворить которое способно лишь гегелевское убийство.

Весь наш опыт восстает против подобных воззрений, ибо не позволяет ставить проблему “восприятие-сознание” в центр *Я* и рассматривать это последнее как организованное “принципом реальности”, впадая тем самым в сциентистский предрассудок, диалектике познания разительным образом противоречащий. Взамен этого он предлагает нам исходить из “функции непризнания”, которая характеризует все структуры *Я*, столь тщательно описанные Анной Фрейд. Ибо если *Verneinung* представляет собой явную форму этой функции, следствия ее остаются по большей части до поры скрытыми на фоне той неизбежности, где показывается Оно.

Тем самым находит свое объяснение та свойственная большинству формаций *я* инерция, которую можно рассматривать как наиболее общую характеристику невроза, точно так же как поглощение субъекта ситуацией можно рассматривать как наиболее общую формулу безумия – как того, что обитает в стенах лечебниц, так и того, что оглушает землю своим шумом и яростью.

Причиняемые психозом или неврозом страдания являются для нас школой душевных страстей, а коромысло психоаналитических весов, на которых взвешивали мы угрозу, исходящую от них, целым сообществам, указывает нам на степень затухания страстей публичных.

Здесь на стыке природы и культуры, ставшем для современной антропологии предметом упорного изучения, только психоанализ сумел распознать тот узел воображаемого рабства, который любовь обречена вновь и вновь развязывать или разрубать.

Мы, для которых агрессивность, лежащая в основе деятельности филантропа, идеалиста, педагога, и даже реформатора, видна как на ладони, не станем доверяться в таком деле альтруистическим чувствам.

В пути, на страже которого мы стоим, — в пути, на котором субъект прибегает к субъекту – психоанализ может сопровождать субъекта до экстатического предела "ты еси это", где открывается ему шифр его смертной судьбы. Но не властен практикующий аналитик один, своими силами, подвести его к тому моменту, с которого начинается его настоящее странствие.

Примечания:

* Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je. Ecrits. 1966.

[1] Доклад, читанный на XVI международном конгрессе по психоанализу в Цюрихе 17 июля 1949 года.

[2] Принятый в этой статье необычный перевод фрейдовского термина *Ideal Ich* мы оставляем как он есть, без комментариев, добавив лишь, что с тех пор мы им более не пользовались.

[3] Ср. Cl. Levi-Strauss, «L'efficacité», *Revue d'histoire des religions,* janvier-mars, 1949.

[4] Ср. J. Lacan, *Ecrits*, pp. 111, 180.

СОДЕРЖАНИЕ

По ту сторону Воображаемого - Символическое, или от маленького другого к Большому

Окончание

Приложения

Жак Лакан

‘Я‘ в теории Фрейда и в технике психоанализа

Семинары: Книга 2 (1954/55)

Перевод с французского – *Александр Черноглазов*
Корректура – Д. Лунгина
Препринт – *Издательство “Логос”*

Издательство “Гнозис”, Издательство “Логос”
Москва, Зубовский пр, 2 стр. 1
e-mail: letterra@gmail.com; logospublishers@gmail.com
Справки и оптовые закупки по адресу:
Книжный магазин “Гнозис”, тел. (499)2557757.

Подписано в печать 04.11.2009. Формат 60x90/16.
Печать офсетная. Печ. л. 32,5.

Заказ № 1908.

Отпечатано в ППП “Типография “Наука”
121099 Москва, Шубинский пер., 6

КНИГА 1 – **Работы Фрейда по технике психоанализа**
КНИГА 2 – **"Я" в теории Фрейда и в технике психоанализа**
LIVRE III – Les psychoses
LIVRE IV – La relation d'objet
КНИГА 5 – **Образования бессознательного**
LIVRE VI – Le désir et son interprétation
КНИГА 7 – **Этика психоанализа**
LIVRE VIII – Le transfert
LIVRE IX – L'identification
LIVRE X – L'angoisse
КНИГА 11 – **Четыре основные понятия психоанализа**
LIVRE XII – Problèmes cruciaux pour la psychanalyse
LIVRE XIII – L'objet de la psychanalyse
LIVRE XIV – La logique du fantasme
LIVRE XV – L'acte psychanalytique
LIVRE XVI – D'un Autre à l'autre
КНИГА 17 – **Изнанка психоанализа**
LIVRE XVIII – D'un discours qui ne serait pas du semblant
LIVRE XIX – ... ou pire
LIVRE XX – Encore
LIVRE XXI – Les non-dupes errent
LIVRE XXII – R.S.I.
LIVRE XXIII – Le sinthome
LIVRE XXIV – L'insu que sait de l'une-bévue s'aile à mourre
LIVRE XXV – Le moment de conclure
LIVRE XXVI – La topologie et le temps